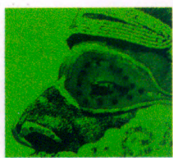


СИНДРОМ
ЧЕРНЫША



ДМИТРИЙ
БЫКОВ

ДМИТРИЙ
БЫКОВ

СИНДРОМ
ЧЕРНЫША



ДМИТРИЙ
БЫКОВ

СИНДРОМ
ЧЕРНЫША

РАССКАЗЫ
ПЬЕСЫ

МОСКВА / ПРОЗАиСК / 2012

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос=Рус)6-4
Б95

Дизайн Бориса Протопопова

Быков Д.А.
Б95 Синдром Черныша: рассказы, пьесы / Дмитрий Быков. —
М.: ПРОЗАиК, 2012. — 512 с.

ISBN 978-5-91631-171-6

В первую часть сборника «Синдром Черныша» вошли 23 рассказа Дмитрия Быкова — как публиковавшиеся ранее, так и совсем новые. К ним у автора шести романов и двух объемных литературных биографий отношение особое. Он полагает, что «написать хороший рассказ почти так же трудно, как прожить хорошую жизнь». И сравнивает свои рассказы со снами — «моими или чужими, иногда смешными, но чаще страшными». Во второй части сборника Д.Быков выступает в новой для себя ипостаси — драматурга. В пьесах, как и в других его литературных произведениях, сатира соседствует с лирикой, гротеск с реальностью, а острая актуальность — с философскими рассуждениями.

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос=Рус)6-4

ISBN 978-5-91631-171-6

© Быков Д.А., 2012
© Оформление. ЗАО «ПРОЗАиК», 2012

РАССКАЗЫ

СИНДРОМ ЧЕРНЫША

1

Сначала была клиника неврозов, потом центр Морозова, потом опять клиника, уже другая, и все говорили — нормально, легкий случай, затем держали три недели, пожимали плечами и выписывали. Все было нормально, ела, пила, разговаривала, но не могла работать, не умела заставить себя по утрам встать с постели и сварить кофе, а по ночам сплошные слезы, никогда бы не смогла поверить, что в одном человеке может быть столько слез. Дело было уже не в Черныше и не в аборте. Что-то такое из нее вынули, без чего человек перестает держаться. Она со всей возможной доходчивостью объясняла это отцу, брату, профессору Дымарскому, молодому и славному человеку, перед которым ощущалось даже нечто вроде вины: десятый час вечера, домой давно пора — нет, он сидит с ней и ведет разговоры. Дымарский уверял, что поступает так из чистого эгоизма — твой случай, говорил он, войдет в историю. Ведь ты здорова. Ты самый здоровый человек в районе, а не только в клинике. Я могу заколоть тебя препаратами до полной обезлички, ты будешь как Самсонова, видела Самсонову? — Кивает. — Нет, не кивай, ответь словами: видела? Хочешь, как она? Никакой депрессии, очень довольная, имя только забывает, а так полный о'кей. Между прочим, домашние уже на все согласны. Но я-то вижу. Я вижу, что ты абсолютно в себе, не надо мне косить под психическую, я психических повидал. Была бы ты парень — я понял бы, классический случай, армия впере-

ди. Но тебе не грозит армия, от тебя требуется только собраться, это как в детстве перестать плакать, хотя хочется хныкать еще. Один раз глубоко вдохнула и пошла жить. Господи, люди теряли детей, родителей, проходили через Освенцим, что я тебе рассказываю, ты все знаешь, это позорная распущенность, в конце-то концов! Как было объяснить Дымарскому, что Освенцим не утешает, наоборот. Прежде ужас мира можно было переносить, хотя он торчал отовсюду: жалко было выброшенную газету, которая не успела все рассказать, сломанную ветку, не говоря уже про облезлую елку, которую она в марте, в первом классе, нашла на свалке и пыталась воткнуть в землю. Земля же влажная, вдруг приживется. Жаль было всех, всегда, но была какая-то защита. Теперь пробили дыру, и вся та влага, которая обволакивала душу, как околоплодные воды, весь этот защитный слой, который был как желточный мешок у малька, — все вытекло, и защита лопнула, и нечем залатать. Хорошо, говорил Дымарский, хотя она ничего не говорила. Допустим, это я понял. Прости, ляпнул сдуру. Конечно, не утешает и ничего не дает. Но вообразим невообразимое — заметь, я с тобой откровенен вполне, постарайся и ты так же. Хоть я-то тебе не кажусь монстром? Нет, вы не кажетесь. Отлично: тогда вообразим, что он вернулся. Это что-нибудь изменит? Он был готов к любой реакции — слезы, гнев, — но она только улыбнулась: нет, что вы, что вы, что вы. Это все равно как — она не подобрала сравнения, но он понял: все равно как предлагать вернуть Елену на пятый год Троянской войны или Судеты в разгар Сталинградской битвы. Поздно уже, какие Судеты.

Ну вот что, сказал Дымарский отцу. Я вам советую сейчас не кипешиться и набраться терпения. Если честно, скорей уж вы мой пациент, чем она. Вам я могу помочь, а ей нет. Можно внушить человеку, что жизнь переносима, и подкрепить это таблеткой, но нет такой таблетки, которая объяснит, зачем она вообще нужна. Мы все, если угодно, ходим по тонкому льду, но этого не помним, а она вспомнила, причем после первой же трещины. На самом деле жить нельзя, это я вам как врач

говору, но если живем — надо соблюдать какие-то конвенции. Вот с ней не соблюли эти конвенции, и она теперь не понимает, как можно существовать вообще, когда — ну что я вам объясняю... (Он видел, что отец не понимает: человек действия, привык, что из любой ситуации есть конкретный выход, а если нет, надо доплатить.) Я вам предлагаю больше по клиникам ее не таскать, только хуже сделаете. Она вся сейчас без кожи и не желает ею обрастать. Это случай не медицинский.

— Может быть, гипноз? — невпопад спросил отец.

— Поймите, тут никто посторонний ничего не делает, — с тоской произнес Дымарский. — Это она, она сама себя должна загипнотизировать. Как гипнотизируем мы, вы, я, любой на улице встречный идиот. Каждый с утра, в первую минуту пробуждения, чувствуя, так сказать, бремя мира, внушает себе, что жизнь приемлема. У нее сломался клапан, который за это отвечает. Он может заработать, попробуйте возить, развлекать, ни в коем случае не навязываться, потом, может быть, вернется интерес к учебе, интеллект не поврежден, годы ее позволяют надеяться, восемнадцать лет... Я буду приходить, наблюдать, телефон у вас есть, звоните в любое время, но от лечения, честно вам скажу, лучше воздержаться.

Отец, конечно, не поверил, и была еще одна клиника, — как она догадывалась, на пределе средств, — элитная, в районе Профсоюзной, неподалеку от больницы Академии наук. Палата на одну, с телевизором — санаторий, а не клиника. Знаменитый профессор, на которого вся надежда, старый, длинный, сухой, все больше молчал. Он решился все-таки попробовать гипноз, но толку не было. За оградой начинался лесопарк, и однажды, когда она гуляла — тут гуляли без присмотра, в пределах территории полная свобода, — к ней подошел Антон, он же Черныш.

Она много раз представляла себе, как это будет, потому что в глубине души всегда знала — будет; так душа на самом дне все-таки знает, что бессмертна. Идея мести отбрасывалась сразу: отомстить никому нельзя. Если бы он пришел через неделю, еще до всего, была бы надежда на временное помрачение, с кем не случается. Если бы

пришел после, когда вся семья дружно возила ее лицом по стене — образно выражаясь, конечно, — за то, что никому ничего не сказала и пошла выскребаться, она бросилась бы к нему как к спасению от семьи, и простила бы, и обошлось. Если бы он пришел в первый месяц, была бы надежда, что связь между ними никуда не делась, он почувствовал, как все плохо, и вернулся. Но он не почувствовал, прошло четыре месяца, без нее начался учебный год, про нее уже мало кто помнил, и постепенно Черныш в ней умер, как умирает, говорят, нежизнеспособный зародыш. И если бы он пришел прежний, здоровый, веселый, излучавший счастье, она бы оттолкнула его, даже не слишком сильно, спокойно, как лодочник отпихивает бревно, — но он пришел страшный, черный, изглоданный раскаянием, изменившийся даже больше, чем она.

— Как ты прошел? — спросила она вместо приветствия и всякого выяснения отношений. Они стояли среди опавших листьев у черной холодной решетки, он боялся взглянуть ей в глаза и носком ботинка разгребал листву, и ботинок тоже был старый, обшарпанный, она никогда его не видела в таких. Кто-кто, а Черныш за собой следил. Этот ботинок сказал ей больше, чем все слова, которые он мог бы выговорить и которые застряли у него в горле.

— Я давно тут хожу, — выдавил он наконец.

— Почему?

Он молчал.

— Мне очень плохо, Черныш, — сказала она. — Я думаю, я уже никогда ничего не смогу.

— Я тоже, — сказал он и поднял глаза. В них плескалось столько боли, словно в разлуке с ним прошло не четыре месяца, а четыре раза по четыре года, и каждый день в эти четыре года он истязал себя; и она подошла и ткнулась растрепанной головой ему в грудь. Он даже словно стал ниже ростом — теперь ее макушка приходилась ему под самый подбородок.

— Как-нибудь надо жить, да? — сказала она и почувствовала по движению этого острого подбородка, что он кивнул.

— Я убийца, — сказал он вдруг.

— Это я убийца, — сказала она. — Но они там сказали, что есть еще шанс... есть же еще шанс?

Он опять молча кивнул и обнял ее наконец, и так они стояли, пока не стемнело. Потом он ушел, но на следующий день пришел снова и начал было рассказывать, как страшно было без нее, но она его остановила. Зачем? Чужая боль оказалась целебней любого лечения. Жить можно было опять, только бы он никуда не делся; какое глупое слово «простила». Ожила — вот это то, что надо.

Через неделю она выписалась из больницы, отец снял им квартиру, и они впервые стали жить вместе — не ночевать, а жить.

2

Первый месяц был поистине медовым, но на второй она стала замечать, что медицинская помощь, пожалуй, требовалась не ей, эгоистке и дуре, а ему. Подтверждалась старая мужская шовинистическая максима: вы чувствуете глубже, но излечиваетесь быстрее. Вы приземляетесь на четыре лапы. Вы природнее, а потому и раны ваши затягиваются быстрее, как заплывает смолой шрам от топора на сосне. Так оно и выходило: прежний Черныш, всегда веселый и легкий, исчез безвозвратно. Всегда такой ровный, такой неуязвимый, способный взять себя в руки — да что там, не выпускающий из них! — теперь он чередовал эйфорию с беспросветной апатией, и она не знала, что хуже. Пожалуй, эйфория. Тогда его болезнь была еще наглядней: ничто так не подчеркивает уродства, как желание уроды выглядеть здоровым, на костылях поспешать за физкультурниками. Вот увидишь, говорил он, я преодолею это и смогу... я доучусь... я устроюсь, вот увидишь, мне же предлагали приличные места! В конце концов, архитектор — это сейчас нужно. Все как бешеные взялись перестраивать квартиры, и еще это... ландшафтный дизайн. Но помилуй, какой же ты архитектор? Ты учился вместе со мной на биолога, тремя курсами старше; рисование — твое увлечение, не более... Все это она могла бы ему сказать, но

не говорила. Если после нескольких эскизов — славных, но аляповатых — он считает себя художником и даже — поди ты — архитектором... Он рисовал и ее, как раньше, — в одежде, без, на улице, на балконе, — но в новой, отталкивающей манере: на этих картинах она сама на себя не была похожа. Что это? Почему раньше было столько света, а сейчас сплошная тень? Хорошо, говорил он и рисовал ее на солнце, но получалось еще страшней — беспощадный белый свет и под ним она, съжившаяся на скамейке.

— Что с тобой, Черныш? — спрашивала она.

Он устроился куда-то на работу, но когда не было заказов, часами лежал лицом к стене. Иногда она подозревала, что дело не в заказах, а в этом его отвратительном внутреннем календаре: месяц бешеной активности — два месяца сонной тоски. Она посоветовалась даже с Дымарским, когда он — из чисто научного любопытства, все человеческое старательно отрицалось — зашел навестить их. Ну вот, сказал он удовлетворенно, что я говорил. Здорово, как сорок тысяч братьев. И даже пирог — о, какой пирог! Вижу, что покупной, но как старательно разогрет! Что касается Черныша, сказал он, когда вышел с ней курить на балкон, что ж, бывает... А прежде ты не замечала? Нет, что вы, он был удивительно ровен... Ну так тем лучше, сказал Дымарский. Значит, переживает. Иногда человеку нужно переживать, а то уже почти научились спасаться от совести таблетками. Чуть что, сразу: МДП, МДП! Знаешь ли ты, глупая, что такое МДП? Это серьезное заболевание, не твоему чета. Это когда человек в маниакальной стадии от избытка энергии спать не может, а в депрессивной ему трубку поднять тяжело. Не придумывай своему красивых болезней, сегодня депрессия — самое модное слово, а он просто человек с совестью, и скажи спасибо. Спасибо, сказала она, но просто вы не знали его тогдашнего. Не знал, кивнул Дымарский, и не жалею. Теперь он по крайней мере на человека похож. Жениться не думаете? Нет, сказала она, почему-то не хочу.

После очередной неудачи — клиент сорвался в последний момент — он три ночи где-то прошлялся,

а потом вернулся тихий и покаянный, изменив тон, прическу и профессию. Ничего, сказал он ровно, попробуем с другого конца. Не забывай, у меня есть и первое образование, незаконченное, правда, но кое-что — переводческое, английский плюс португальский, попробуем.

К такой резкой смене она оказалась не готова, но это было лучше, чем прыжки из эйфории в отчаяние и обратно. Он стал нормально спать по ночам, — правда, закурил, но от нервов чего не выдумаешь, — начал делать зарядку, искать заказы, скоро набрал, и начались невеликие, но регулярные заработки. Он с равной готовностью брался за технический, юридический и даже художественный перевод, ночами просиживал за компьютером, и — странное дело — она не жалела, что он не спит рядом. Почему-то после этого его внезапного оздоровления он не то чтобы перестал ей нравиться — что там, она его любила, ничего не могло быть проще, родней и естественней, чем любить Черныша, — но в постели все стало далеко не так хорошо, как во время депрессивно-эйфорических метаний. Сдвинулся какой-то рычажок — то ли ушла острота, то ли сам он стал, как бы это назвать, бесстрастней. Ей по-прежнему было хорошо с ним — хорошо лежать, просыпаться, готовить ему, по воскресеньям болтаться по парку, кататься на велосипедах — он очень пристрастился к велосипеду, — да и как могло быть плохо с Чернышом? Это же был он, часть ее существа, — и она утешала себя тем, что с родным в самом деле не может быть так, как с чужим, еще новым, непривычным, вот так она образуется, привычка, нарастает новая кожа, и неужели она хотела бы прежней боли, пусть оборачивающейся иногда невыносимым счастьем? Нет, конечно. Конечно, нет.

И все-таки он стал другой, другой настолько, что Дымарский, зайдя год спустя, не узнал его. Он быстро справился с собой, но первой реакции скрыть не смог.

— Что, очень изменился? — спросила она тревожно, провожая его вниз до машины.

Дымарский смотрел внимательно и, как ей показалось, сочувственно.

— Меняются люди, — сказал он неопределенно. У него было правило — не врать, почти невыполнимое при его профессии, но он хотя бы старался.

— Я сама чувствую.

Он посмотрел еще внимательней.

— Как тебе легче, так и делай.

— В основном все по-прежнему, — уговаривала она не то его, не то себя. — Это же Черныш. Ему все-таки двадцать четыре уже. Пора остепениться, он сам говорит.

— Рановато. Мне вот тридцать восемь, лысина уже, и никакой степенности.

— Ну какая у вас лысина...

— Обычная, — сказал он. — Как он, работает?

— Да. Но главное, больше не болеет. Зарабатывать я и сама теперь буду — вон редактором на радио звали...

— Тебя учили не этому.

— Какая разница. Сейчас все не по специальности. Скажите — вам со стороны видней, — в чем он изменился? Я же каждый день вижу, глаз замыливается...

Дымарский снова долго молчал, стоя у своего древнего «мерса» и глядя прямо на нее.

— Потолстел, — сказал он наконец, и непонятно было, то ли шутит, то ли всерьез. Наверное, он был в меня чуть-чуть влюблен, думала она, поднимаясь в лифте обратно. Это бывает между пациентками и врачами. Главное, что мы не дали этому ходу, и теперь он подспудно завидует. Это естественно. Вид Черныша — его спины, его монитора, чашки чая сбоку от мышинового коврика — ее успокоил и странным образом слегка огорчил: какая широкая спина, подумала она, правда, что ли, потолстел?

И он словно почувствовал этот взгляд и взялся работать над собой с таким энтузиазмом, что она впервые испугалась. Он забросил велосипед, потому что от велосипеда сугулость, и прекратились их чудесные прогулки. Зато началось прослушивание бесконечных телебесед с целителями, которых стало в «ящике» больше, чем когда-либо, словно вся страна одновременно отчаялась излечиться традиционными способами и надежда осталась только на уринотерапию. До этого, сла-

ва богу, не дошло, но постоянные замеры температуры, артериального давления, согласование каждого шага с врачами — все это поначалу смутно раздражало, а вскоре начало ее бесить. Она помнила, что это Черныш, тот самый, с которым она живет два года, тот, из-за которого когда-то чуть не погибла, тот, наконец, от которого она все еще надеялась зачать ребенка. Теперь он согласовывал это занятие с фазами луны и другими приметами, которых она не понимала. Он бегал по утрам, вместо чая пил отвары, кофе исключил напрочь и укоризненно качал головой, когда она утром приводила себя в чувство обжигающим горьким глотком, и она впервые задумалась о том, что мужчина в наши времена не может реализоваться уже ни в чем — ему остается бешеная, абсурдная забота о своем здоровье, хотя для чего беречь такую жизнь? Переводы он забросил, напросился в бизнес к другу, торговал теперь запчастями, друг был сомнительный, очень неприятный — Черныш перед ним явно заискивал, только что не приседал: ну посмотри, Рома, какая она у меня? Правда же, хороша? Рома смотрел сонно, как смотрят только самые хищные рыбы. Черныш, откуда ты взял этого Рому? Ты мне никогда раньше не показывал его. Повода не было, солнце, говорил он, и это «солнце» тоже появилось недавно — раньше был «малыш», тоже не очень приятный, напоминающий о другом, теперь уже, кажется, невозможном малыше. Но Черныш продолжал сообразовываться с фазами луны.

— Слушай, — сказал он однажды, — давай, может быть, поженимся?

Два года назад чего бы она не отдала, чтобы он так сказал; но сегодня ее даже слегка передернуло, и эта его новая манера спать в майке, которую он вдобавок не слишком часто менял...

Странней всего, однако, была появившаяся недавно привычка красить волосы. Она объяснила это себе тем, что так он убегает от чувства вины. В конце концов, все раз навсегда перед кем-то виноваты и теперь маскируются, меняют профессию, любовников, стараются выдать себя за другого. Но количество его странностей

стало зашкаливать: она стерпела бы эту рыжину, искусственную, совершенно к нему не идущую, но не могла понять, почему он стал выдумывать биографию. Знаешь, сказал он однажды, вот в армии был у нас старшина... Она перебила: Черныш, какая армия? О чем ты, в конце концов? Кому ты врешь? Он смотрел как баран: что ты, я же тебе рассказывал! Что ты мне рассказывал, взорвалась она впервые за все эти два года, как ты, идиот, мог мне рассказывать то, чего не было! Следи за собой, как женщина, простаивай часами у зеркала, крась волосы, но не ври, что ты был когда-то в какой-то армии, этого не было, кому, как не мне, знать твою жизнь! Но я военный билет тебе покажу, прошептал он. Тогда почему ты молчал?! Ты не спрашивала...

Это она уже отказывалась понимать и позвонила Дымарскому: пожалуйста, если можно, ничего срочного, но в субботу... где хотите... Он подъехал, презрительно поморщился при вопросе о деньгах, сказал, чтобы звонила при первом подозрении и даже без него, просто по-дружески. Ну что? А то, что у него нарастает какая-то новая личность, и я не знаю, что с этим делать. Возможно, он так бежит от сознания вины, от того, что зачать не получается... Синдром Черныша, берите название, дарю. Однако, усмехнулся Дымарский. Поначиталась литературы и понаслушалась разговоров. Какая новая личность, с чего? Не знаю, с чего он врет, что служил в армии. Почему ты думаешь, что врет? Может, действительно служил? Но послушайте, этого не может быть. Я была знакома с его матерью... немного, еще до всего. Она меня возненавидела, сейчас мы не видимся. Но клянусь вам, что тогда он не служил, она еще говорила, как страшно было бы отдать в армию такого чистого, такого кристального... Дымарский неприятно усмехнулся. Понимаю вашу иронию, но я не могу смотреть, как близкий человек, фактически ближайший, фактически муж, фактически сходит с ума! Попроси показать военный билет, сказал Дымарский неожиданно холодно. Она вскинула на него глаза: боюсь. Боюсь, потому что тогда окажется, что он еще и билет подделывает для каких-то своих целей.

— Ооо, как все прочно, — сказал Дымарский. Она не поняла этой фразы.

— Кстати, дай ему мой телефон, — попросил он.

— Зачем?

— Мало ли. Вдруг заметит за собой странности, испугается... В конце концов, я друг дома.

Она удивилась — ей не хотелось делиться Дымарским, — но телефон дала.

3

Неделю спустя, за обедом, она вдруг перестала понимать, что он говорит.

Он пришел с работы, она в тот день была дома, писала диплом. Сварила борщ. Он ел борщ и повествовал о новостях с неожиданно тягучей, занудной интонацией, какой она прежде у него не слышала, даже когда он рассказывал о своих невыносимых фазах луны. Какие-то шпиндели, какие-то Ивановы... Какие Ивановы? — спросила она, еле сдерживая брезгливость. Он поднял бараньи глаза: как, но ты же сама... Что я сама?! Но мы же были у них позавчера! Мы не были у них позавчера, я не знаю никаких Ивано... но тут, взглядевшись в его расплывающиеся, стремительно одрябшие черты, она зажмурилась и затрясла головой. Она не знала этого человека.

Он замер с ложкой на весу и даже, кажется, с открытым ртом, а она все трясла головой, словно надеялась вытрясти оттуда новое знание: это был не он, она его не знала, сквозь черты Черныша проглянула жуткая, пластилиновая рожа, рожа человека из спального района, какой не было и не могло быть у ее мужчины. Она слыхала, что безумие меняет людей, но не так же, в одночасье. В кого он превратился? Маска молодого, пусть странного, пусть рыжего, но все еще любимого, треснула и обвалилась, как грим: за этим новым лицом стоял долгий опыт полунищей жизни, утеснений, унижений, постыдного вранья, бессмысленных стоячих застолий с мужиками в пивняке, от этой рожи пахло прогорклым маслом, он сразу стал похож на мать, боже, как он стал

похож на мать, какое дряблкое, бабье из него поперло! Как она могла этого не видеть! С такого стало бы пить мочу. И когда он робко спросил: что с тобой, киска? — этой киски она уже не вынесла, бросилась в комнату, рухнула на диван и закусила зубами подушку. Но и сквозь подушку продолжала выть, а на все его попытки подойти отвечала таким визгом, какого и представить не могла — неужели это она сама, сама так орет? Но вообразить, что он прикасается к ней, было еще немыслимее.

Дымарский приехал через два часа, когда она уже охрипла: раньше не мог, пробки, город стоял.

— Ну, я где-то в это время и ждал, — сказал он Вите, когда она спала после укола. — Кстати, она вас так и не звала по имени?

— Никогда. Только Чернышом. Я все удивлялся, откуда эта кличка.

— Надо было мне вас предупредить, — сказал Дымарский. — А впрочем, это все равно кончалось. Очень быстро пошло.

— Все-таки я не представляю, — после паузы признался Витя. — Не могла же она в самом деле...

— Запросто могла, — убежденно ответил Дымарский. — Я же говорил... правда, не вам, а ее папе... но какая разница? Мы все на одно лицо... Я говорил, что все мы ходим по тонкому льду. И если не внушать себе на каждом шагу что-то другое, а просто видеть вещи как есть — не выдержит никакой мозг, никакой рассудок... Я и ей говорил: если что-то спасет, только самогипноз. Это сильнее любого чужого. И когда к ней в клинику подошел мальчик из соседнего корпуса, банальный МДП, ерундовый, в общем, случай, — она могла заговорить с ним на единственном условии: представив, что это и есть Черныш... которого я, кстати, никогда не видел.

— Но почему вдруг на ровном месте?! — взорвался Витя. — Я ничего не делал, сидел ел...

— Вы ни при чем, — сказал Дымарский устало. — Это как таблетка: кончилось действие — кто виноват? Только здесь она научилась сама, а резерв оказался не бесконечен.

— Но как можно жить с четырьмя, как вы говорите, мужчинами и внушать себе, что все это один и тот же?

— А зачем внушать? — усмехнулся Дымарский. — Все мы один и тот же, и я, и вы... Земля вокруг Солнца или Солнце вокруг Земли — выглядит одинаково, нет? И потом, я столько перевидал... с самыми экзотическими маниями, уж поверьте... все более или менее похожи, всем страшно, все хотят одного, иногда и правда перепутаешь... Синдром Черныша, так и назову. Я давно за этим случаем слежу, уже и описал. Теперь можно публиковать.

— А как вы думаете... — с надеждой начал Витя, но Дымарский оборвал неожиданно жестко.

— Никак не думаю, — сказал он. — Знаю. Что, красивая? Нравится? Самому нравится. Ничего не поделаешь, теперь всё. Двух самогипнозов не бывает. Раньше надо было думать, дорогой товарищ, когда ребенка ей сделал и сбежал.

— Какого ребенка, куда сбежал? — лепетал Витя, но Дымарский уже отвернулся.

ХРИСТОС

*...что именно такое, похожее
на все остальные лица, и должно
быть лицо Христа.*

И.С.Тургенев. «Христос»

20.09. 75 наряд по КПП, 192 дня до приказа

Чем хороша рота, так это полной одновременною всего у всех. Со временем этот феномен, наверное, объяснится как-то — то есть зубы, например, заболевают у всех одновременно, и, стоя еще по молодости на тумбочке ночью в наряде по роте, наблюдаешь, как один за другим мужики подходят к зеркалу, высматривают больной зуб, бегают в лазарет за каплями, прикладывают к деснам эту «денту», которая толком не помогает, только оттягивает боль. То же и с желудком, и не по вине повара, а из-за того же закона, и с простудой — прошлой зимой были дни, когда по подъему подымалось человек тридцать, не больше, остальные либо отбивались в расположении — в лазарете всего пять мест, — либо, с более легкой формой, вставали потом и становились отдельно; их оставляли в роте — ремонтировать расположение, что-то красить: весной ждали комиссию. То есть все происходит одновременно. Вечером все добры и благодущны: день прошел. Утром — хмуры и раздражительны: день впереди, недосып, орут на молодых — паче всего, конечно, на Чувилинского, да и всем достается.

Вот и теперь: когда о чем-то заговорят — на следующий день слухом полнится вся рота. Сегодня перед нарядом, в котором я все это пишу, ко мне подошел Серега Максимов и сказал, что близится конец света. То ли ученые просчитали, то ли пролетает какой-то метеорит.

Вечером из водительского взвода Ванька Колодный, длинный сутулый хохол, сказал, что в городе на выезде слышал разговоры: всё, скоро нам, ребята, крышка, летит комета. Наконец, вечером зашел дежурный по части проверить нашу с Валентиновым бдительность (Валентинов — молодой и по КПП стоит третий раз) и сказал, что всё, Серега, действительно летит какая-то комета и если в ближайший месяц врежется в Землю, то полетят клочки по закоулочкам. Даже с поправкой на преломление все это, вероятно, не лишено. Правда, не помню времени, когда таких слухов бы не распускали, да у нас теперь о чем угодно готовы говорить — о подорожании сахара, о конце света, о подорожании сахара в связи с концом света, о конце света в связи с подорожанием сахара... Вообще всегда можно ждать, может, и конец. Обидно, что до дембеля уже мало, а тут комета. Авось обойдется.

Сейчас ночь, в два меня придет менять Валентинов, если дневальные его подымут вовремя, а если не подымут, я им завтра вдую по первое число. Не так, конечно, как нам в свое время вдували, а чисто вербально. Книги никакой у меня нет, только тетрадь эта, которую привез из отпуска, чтобы не разучиться писать. Прежде я все больше ходил в наряды по роте, по столовой, теперь, со второго года, в основном по КПП. Правда, часто: народу у нас меньше в связи с сокращениями и прочим. Сокращения приятны, но по нарядам летать надоело. Одно радует: дембель близится, на двести никто из наших уже не ел масло, там — сто пятьдесят, сто, а там вообще всё, нас обещали после приказа не держать. На аккорд, скорее всего, я возьму себе тот же КПП.

Письма домой я уже написал, остается курить — водилы привезли из города «Астру», — писать это все да слушать, как у нас мышь под полом шуршит. С утра Валентинов будет подметать листья — я ему, впрочем, отчасти помогу. Забавно потом это все будет почитать.

Хотел бы я знать: конец света — чем это должно знаменоваться? С одной стороны, все говорили, что звезда Полюнь — это Чернобыль, так как Чернобыль и есть полюнь, и от него горечь потекла в реках. На са-

мом деле какой ужас весь Апокалипсис — и я ведь только в переложениях его знаю, не в подлиннике, а там, наверное, страшнее. Будут еще какие-то насекомые, пожрут людей, будут три всадника... потом три ангела... не помню. Надо взять почитать что-нибудь, у нас там атеистического целая полка. Но главное — помню однозначно, что должно быть второе пришествие Христа. Если пока его нет — слухи о конце света вполне дуги.

Мышь эта под полом меня сильно достала. Ночь кругом, сейчас дождь пошел. Половина второго. Скучно и спать хочется. Что писать еще?

Через три дня я дед. Ура!

28.09. 77 наряд по КПП. 184 дня до дембеля

Взял в библиотеке части почитать «Сказания апостолов» в переложениях Косидовского. Очень занятно. Христос был, в чем я никогда и не сомневался. Тут он, конечно, не такой, как в «Мастере». У Косидовского есть тут свидетельства, по которым он вовсе не был «прекраснейшим из сынов Израилевых». Писали, — не для того же, чтобы оклеветать?! — что он был и мал, и уродлив, и вызывал чуть ли не омерзение, и в него кидали грязью, и тем сильнее было противоречие между его обликом и речью. Думаю, что он ТАКОЙ мог бы и ничего не говорить — он своим видом достаточно вызвал к милосердию. Вот ведь, оказывается, как он выглядел, в армии бы его такого вообще зачмырили, прошу прощения, — почему-то высшей добродетелью у нас тут почитают чистоплотность, и не начальство, а свои же. «Погляди на себя, ходишь, как чмо», — это я часто слышал на первом году, а сейчас сам говорю так тому же Чувилинскому. Он сомной сегодня в наряде. Чувилинский заслуживает описания.

Для кого и чего я описываю Чувилинского? Для потомков? — я сделаю все, чтобы эта тетрадь до них не дошла, я ее торжественно сожгу на даче после дембеля (будет же это! И скоро уже довольно будет!) — а для себя? — так его я по гроб жизни не забуду. И все-таки пишу, потому что делать нечего, ночь, мышь, тишь, Чувилинский придет только через полтора часа.

Чувиллинского зовут еще «литтл Чуви» или просто Чуви. Он длинен, как его фамилия, — не высок, а длинен, у него бородавки, и такие же бородавки у его матери, она приезжала к нему как-то, Чуви всех оделял гостинцами, но и гостинцы у него брали неохотно. В Чуви все будит брезгливость. Чуви не то чтобы грязен — у него одутловатое лицо, маленькие глазки, выражение униженной и тупой ласковости. Выходит невыпукло, надо тренироваться, но я не писатель; нас учат литературу преподавать, а не портреты писать. Чуви туп безнадежно. Он совершенно не умеет с людьми. Раз его били в сушилке — тогда еще не ушли наши деды, он по тупости против них залупился, но залупился без всякого собственного достоинства, а как-то так чмошно! — и у него еще хватило ума в сушилке орать: «Вы чего — я же к вам по-хорошему!» Ржали они сильно. Сопризывники Чуви ни слова не говорили и в сушилку не заходили, хотя будь там кто другой, не Чуви, — тоже не зашли бы, такова сволочная наша природа, — но уж тут был Чуви, и за него никто вообще не хотел вступаться. Говорили сначала, что он постукивает, потом поняли, что у него и на это не хватило бы ума, — армия вообще культивирует стукачество, тут трудно устоять: делают с тобой всё, чтобы ты застучал, а застучишь, не дай бог, — и ставь на себе крест. Но, к счастью для себя, Чуви туп и для этого. В его тупости есть что-то демоническое, сверхъестественное, он ни на что не реагирует, чувство собственного достоинства у него к нулю сведено. Как-то его доставали наши:

— Чуви! У тебя девушка есть?

— Есть, — с робким самодовольством (непредставимое сочетание).

— А как ее звать?

— Оля.

— Ну, и как же ты с ней...

Чуви неуверенно хихикал.

— Она сама тебя сверху кладет или кое-как взбираешься своими силами?

Он опять хихикал.

У меня и Чуви, и эти фокусы вызывали равное ощущение: когда я говорил «хорэ, мужики», а когда

и просто не участвовал — тем мой протест ограничивался. Ведь в роте как: сейчас всё вроде в порядке, друзья есть, врагов явных не видно — а выделиться чуть, и займешь нишу Чуви. Когда сто здоровых рыл, работать надо, строевая каждый день и сало на завтрак, обед и ужин, — обязательно есть ниша чмыря, чмошника, эта ниша занята Чуви, но любой из нас — я говорю: любой! — может в ней оказаться ежесекундно. Тут надо балансировать на проволоке, чтобы и самому себя не съесть от совести, и тебя чтобы не съели. Я что-то уже путаюсь в словах, и выходит коряво, я спать уже очень хочу.

Стоит мне завтра сказать, что Чуви меня не сменил вовремя, — и КПП ему не видать больше, как собственной отвислой задницы (он ее как-то странно отключивает при ходьбе). Будет летать по роте, как милый. Он и так все больше по роте, КПП — халявный, дедовский наряд, ставят дежурным старика, а помощником — молодого. Сейчас Валентинов, который обычно со мной ходит и хорошо все всасывает, просто болен, — а то б Чуви и теперь гнил на тумбочке, как все мы на ней гнили. Уходя из части, я охотно сжег бы тумбочку; я и сейчас охотно ее сжег бы. Если Чуви опоздает, я прокачаю ему грудак. Нет, противно, я не прокачаю ему грудак. Я пишу уже любую чушь, чтобы не заснуть. Чушь. Тишь. Ночь. Мышь. Сочинить рассказ, весь из таких слов.

Если Чуви меня не сменил, я не знаю, что я с ним сделаю, — я тогда засну, дежурный по части меня найдет, снимет с наряда, я тогда заставлю Чуви... я ничего не заставлю Чуви, это без меня найдется кому делать, я не умею этого всего, и потом я брезгую с ним иметь дело. Чуви туп и нечист. Я повторяюсь, а что мне делать, я иначе засну.

Издали вижу: идет Чуви. Руками болтает нескладно. Спать.

15.10. 80 наряд по КПП. 167, после отбоя 166 дней до дембеля

В роте отбой. Скоро 150, там совсем близко 100.

Там совсем близко дом. Вся жизнь хочешь, чтобы время шло подольше, — кому умирать-то охота?! — но

в армии этого не чувствуется: тут скорей бы. Наш паровоз, вперед лети!

Такими надписями был весь прежний стол на КПШ изрезан, там и моя была, вчера или позавчера стол заменили, сию пишу.

Интересно у Косидовского: оказывается, многие в Христе видели бесовское, дьявольское начало. Он изгонял дьяволов, бесов — значит, имел с ними связь. Предположить, что они ему просто так подчинялись, для тогдашнего разума было невыносимо. Легче было допустить, что он — их князь. Особенно если предположить его уродливый облик — жалкий или страшный, какой угодно. Но в нем могли видеть нечто демоническое.

Занятно вообще: в крайних проявлениях уродства, тупости есть нечто вообще мистическое, жуткое. Не забуду никогда, как в Тимирязевском музее видел заспиртованного анацефала, так, кажется, — зародыша без мозга. То есть голова была, но какая-то треугольная, без черепной крышки или просто с чем-то оттуда торчащим — брр... Мне казалось (а он был весь серый, заспиртованный, цвета замазки), — мне казалось, что он что-то жуткое знает, эти закаченные глазки, очень почему-то выпуклые, этот вид его... я потом из музея, после экскурсии, отстав от класса, бежал в диком страхе — темно, район незнакомый почти, хотя всего и времени — часов семь вечера, — и еще мне под ноги упал какой-то пьяный, я давно заметил, что есть такой «паровоз» — если что-то тебя испугало, то все будет подбираться и пугать, одно к одному. Счастливым человеком притягивает счастье, а несчастный наоборот. Так и в армии: если ты весел, все к тебе добры, а если грустен — тут же и добавят. Чуви только добавляют.

Так вот, — на Руси ведь всю жизнь боялись, чтили юродивых, дурачков, у Леонида Андреева в повести идиот вообще символ рока, это я по школе помню, нам говорили, и сам я читал. Что-то во всем этом есть жуткое, я всю жизнь шарахаюсь от даунов, и в Чуви что-то такое есть, в его покорности, маленьких глазках, туповатой улыбке, в его беспрерывном бурчании в животе,

в его дурном запахе изо рта (я стараюсь отворачиваться, когда он говорит), — в его наивности, доходящей до я не знаю чего. На прошлой бане он подходит ко мне — помаз, годовик, к деду! — и говорит с улыбкой блаженного идиота: «Сережа, потри спинку!» Глазки светятся кротостью и тупостью (светиться тупостью нельзя). И главное — на всех пена как пена, на нем — серая, жидкая, омерзительного вида, волосатая сутулая спина, отвисшее пузо, он не толстый, но кажется толстым; тонкие ручки, длинная, нескладнейшая фигура. «Ты что, — говорю, — Чуви? Ты охренел? Иди! И не вздумай припахать какого-нибудь молодого, я уши твои лопухие тебе оборву!» Он виновато улыбнулся, не сказал ни слова, пошел, мокрый, обливаясь из шайки (в баню мы ходим в поселок, тут и шайки, и душ, но молодежи под душем мыться не положено). Гад я или не гад после этого, но никакой жалости я к нему не чувствовал — к этой волосатой заднице, тонким ногам, дурацкой походке, — я утешаю себя тем, что он сам себе все это и заслужил, но ведь каждый из нас может быть на его месте, случись что... И еще я утешаюсь тем, что Чуви типичное быдло, и если найдется кто-то чмошнее, чем он, — первым будет чмырить этого несчастного, применяя к нему все те изощренные фокусы, которые только что испытал на собственной шкуре.

Так что я не жалею Чуви, я дураков вообще никогда не жалею, и сам ни в чьей жалости не нуждаюсь. Что-то я расписался, мне и спать сегодня не хочется, и потом — я же должен хоть сам-то себе объяснить Чуви?! Недавно я на техтерритории опоздал на обед, затрепался с молодой кладовщицей на складе — у нас гражданских много в части, — прибежал, нелепо болтаясь, Чуви в своих не по размеру сапогах, с ласковой и тупой улыбкой, напрашивающейся на дружеское расположение: «Тебя в строй вызывают!» — голос низкий, тягучий, унылый... И так я наорал на него! — и оттого, что сейчас за опоздание в строй дрючить будут, и оттого, что так он улыбался тупо — радовался, что ли, тому, как меня сейчас?... А он не прекращал улыбаться, и в этой улыбке действительно что-то было демоническое; демон Чуви! —

анекдот, кому рассказать, но действительно: мистическая фигура, демон Чуви!

В прошлый раз он, стоя со мной в наряде по КПП — или в позапрошлый? — совсем я пугаюсь во времени! — оставил тут бумажку со своим письмом, а я, грешным делом, прочел. Начало письма к возлюбленной. «Дорогая Оля! — прямой, идиотский почерк. — Как ты поживаешь? Я живу хорошо»... Демон Чуви!..

25.10. 82 наряд по КПП. 158 после отбоя до дембеля

Дочитал Косидовского сегодня ночью. Как раз коновал выезжал из части (коновал — наш полковник, почему его так зовут, уже не докопаться — то ли за ярко-красную рожу, то ли по причине якобы жуткой его силы; говорили, он чуть ли не быка сваливал, но это, по-моему, просто тяга к легенде какой-то — нельзя же допустить, что ты в полном подчинении у совсем уж ничтожества, надо ему изобрести хоть какой-то плюс — так, я думаю, это подсознательно объясняется). Коновал выезжал из части, я зазевался из-за чтения и еле успел открыть ему ворота. Господи, из-за каких вещей тут трясешься! Но успел, даже несколько прорубился, он мне отмахнул честь, уехал. С отъездом коновала в части полный покой.

Что-то я теряю мысль. Дочитал Косидовского. И странная вещь мне приходит: мне все кажется, что Христос явился не для того, чтобы что-то проповедовать. В конце концов, все эти заповеди уже были заложены в Ветхом (прерывался. Приходил дежурный по части) Завете, в Ветхом Завете. Там он и был предсказан. То есть он, конечно, все это очеловечил, приблизил и так далее, и красиво проповедовал, и говорил, и был очень обаятелен, наверное, — но мне все больше представляется это так: пришел нарочито уродливый, жалкий, ничего не делающий и не умеющий человек — только для того, чтобы проверить, как люди чтят Ветхий Завет и главное — насколько они люди. То есть — я не очень знаю, какая нравственность была заложена в Ветхом Завете, но думаю, его послали проверять, есть ли какие-то общечеловеческие правила у них или нет. И во-

обще, верующим я себя не назову, но у меня, как по Стругацким, часто бывает ощущение, что нам та или иная вещь посылается ради проверки нашей реакции. Мне представилось, что здесь был тот самый случай, и человечество этой проверки не прошло, потому что им, во-первых, подкинули не такого, как все, а это уже кошмар, а во-вторых — не такого в худшую сторону, то есть грязного, оборванного и т.д. Правда, если бы он был красавец, как о том писали, то все равно эта история повторилась бы. Кстати, если он был уж настолько жалок — стоило ли его распинать? Но, может, он действительно так проповедовал, что без этого нельзя было обойтись? Меня там другое потрясло: «Не знаете ни дня, ни часа, когда придет Сын Человеческий». Значит, бодрствуйте. Значит, он может прийти в любой момент.

Значит, он может прийти в любой момент.

Что-то я начинаю повторять фразы, то есть задумываюсь, а потом пишу то же самое. Это оттого, что очень голова болит и постоянно недосып.

Я всегда был уверен, что все не как все, нет одинаковых, но теперь вижу, тут есть какие-то вещи. Надо их в себя упрячивать, особенно в армии, я и упрячивал подсознательно, и мне трудно уже сказать, какие это вещи. Почему травят Чуви (ладно, будем честно: почему все мы, включая меня, травим Чуви), я еще могу понять: потому что надо кого-то травить, а он по определению безответен. А если бы он мог вмазать в ответ? Тогда травили бы не его, а кого-то еще, этим кем-то свободно мог оказаться я, и меня бы ничего уже не спасло, как и любого другого.

То-то и кошмар: мы травим Чуви, а на самом деле травим не его, а нишу, а в нише может быть любой из нас, то есть мы травим себя же, это получается абсолютно по Христу.

Одно я могу сказать совершенно определенно: мне Чуви отвратителен. Он настолько туп, что это выглядит закосом. Но если это и закос, а может, и не закос, не знаю, — как бы то ни было, если Чуви нам послан для испытания, мы этого испытания категорически не выдерживаем.

Однако они и нашли, куда его заслать: в армию! Христа, когда его взяли, всю ночь били солдаты в караулке (там уже были караулки! — это есть где-то такое указание, или я тоже у Андреева читал?). К солдатам вообще никого нельзя засылать, тут бы не только Христа, тут бы всех апостолов...

От однообразия нашей жизни можно с ума сойти. Валентинов принес курева.

Мишка Ковальчук сказал, что я стал странный. Он это сказал с хихиканьем. Это значит, что если я стану чуть более странным, я могу заполнить нишу. Как только я понял, что она существует, я стал ее бояться, а как только начинаешь бояться — тут привет.

Это все фигня. Мне до дому почти полтора года. Это фигня уже.

Первым делом я все-таки сожгу эту тетрадь. Потом сяду в ванну.

29.10. 83 наряд по КПП. 152 после отбоя до дома

Вчера Чуви не поставил свои сапоги в сушилку, он устал и лег спать, потому что его послали на разгрузку вагона, там была мебель для военных городков, он наломался. Он поставил сапоги около кровати. Его распинали... то есть что я пишу? Я имел в виду, что его разбудили пинками, пинали, пока не отнес сапоги. Потом сержант младшой, его сопризывник, Ванька Мельников, откуда-то чуть не из-под Воронежа, его заставил нюхать ногу: четыре человека сидели на Чуви, хотя его можно было и не держать, а Ванька совал ему ногу свою в нос. Чуви чего-то выл, но очень чмошно.

Я их разогнал, но это мало что дало — они уже и надо мной улыбаются.

— Вон любитель Чуви, — сказал сегодня Ванька.

Кто-то из наших его осадил, но и наши уже не понимают, с чего я защищаю Чуви. Они не понимают, что я не его защищаю, — на фиг он мне сдался — я, может, душу свою спасаю, в городе вон всюю говорят — конец света, конец света... Если Чуви действительно нас испытывает, то ведь нам всем тогда гореть. Вообще шутки шутками, но могут быть и дети.

Все последнее время у меня жутко болит голова. Меня доводит эта жизнь, этот напряг, эта бессонница. Я не говорю об этом никому и в письмах не пишу, но себе самому могу сказать. Я начал разговаривать сам с собой на КПП, Валентинов со мной однажды стоял, я не заметил, как он вошел с обеда (я ходил есть с расходом), — он сказал, я разговаривал о чем-то, он тоже хихикал.

В армии после года у мозга нет новой пищи, он начинает, как голодный желудок, сам себя переваривать, начинается то же, что и язва желудка, но только язва мозгов. Жуткое дело. Вообще, пока человек подозревает, что он сходит с ума, он, значит, еще не сошел. Но правы были деды: последние полгода — самая жуть. Как первые. Потому что уже мысли только о доме, делать ничего не можешь по определению, мозги едят сами себя. Может, поэтому у меня так болит голова.

И почерк у меня изменился: я все время боюсь, закончив слово, оторвать от него ручку: рисую его как-то, дорисовываю, ставлю точки, крючки — мне кажется, если я оторву ручку раньше, чем надо, что-нибудь произойдет. Я смотрю на Чуви и всего боюсь.

Если мы все будем гореть (приходил дежурный по части, спросил, отчего глаза красные), если мы все будем гореть, это очень обидно.

5.11. 85 наряд по КПП. 146 н.о. до дома

Он был без отца, и Чуви тоже без отца.

Я тоже без отца, но это ни о чем не говорит.

Мать Чуви зовут не Мария — не помню как, но точно иначе, к ней по имени-отчеству обращался замполит. Чуви не еврей.

Если б он был еврей, его бы вообще...

Но они же не будут унижаться до таких мелких совпадений, им важен принцип. Наоборот, им лучше, чтобы он был непохож. Бодрствуйте, ибо не знаете ни дня, ни часа. Чтобы никто не узнал.

Прошло две тысячи лет, а мы не изменились, мы прокололись.

Но кто им велел в армию, в армию его засылать? — на гражданке, говорят, он студент, у него все благопо-

лучно, — хотя какой из него студент? Разве что техникума? Нет, не могу...

Неужели я сам поверил? — но ведь конец света не я придумал...

В конце концов, если я стал читать Косидовского, то это ведь тоже не случайно. Я сам бы в жизни не стал читать Косидовского. Это мне кто-то ВНУШИЛ, что это надо, чтобы я понял, чтобы я предупредил. Я ничего не сделал. Я стою сейчас в предпраздничном наряде. Какая идиотская фраза, если вдуматься: представляешь себе человека, предпразднично наряженного. Только что впустил в часть машину с праздничным обедом.

Мне из института письмо пришло.

Я уже что угодно готов писать, чтобы не думать. У меня голова разваливается, разламывается, затылок больше, у меня будто всю распирает ее. Господи, как у меня болит голова. Он умел лечить головную боль. Чувил ничего не умеет. Это еще ни о чем не говорит. Может, у них просто так проходила голова, а они приписывали ему. Попросил у медика нашего две таблетки анальгина. Он пойдет с расходом и принесет мне.

Надо чем-то отвлечься срочно, иначе я еще и не такое себе изобрету.

И все-таки что-то такое на нас летит — вчера была передача по местному телевидению. Значит, все не фигня. Значит, это именно я и должен буду сказать.

После анальгина. Выпил, легче. Перечитал. Ужас, что я пишу.

7 ноября

НЕТ, ВСЕ ПРАВИЛЬНО. Я ВСЕ ПОНЯЛ. СПАСИБО ТЕБЕ, ГОСПОДИ, ЗА МОЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ. Я ВСЕМ СКАЖУ.

На этом обрываются записи в черновой тетради, найденной в тумбочке рядового Сергея Н., фамилию которого мы из понятных соображений не называем.

7 ноября, во время заступления праздничного наряда, когда рядовой Чувилинский, лишенный праздничного увольнения, должен был заступить дневальным по роте, пришел с развода и уже становился на тумбочку

ку, проходивший мимо младший сержант Мельников дал ему пинка. Все засмеялись. В этот момент, неожиданно для всех, Сергей Н., в чьем поведении уже и раньше замечали небольшие странности, отпихнул Чувиллинского, вскочил сам на тумбочку и закричал на все расположение:

— Не трогайте его! Это Христос!

Поначалу это было принято за новую шутку, и Мельников пообещал даже распять Чувиллинского, но Н. был абсолютно серьезен, страшно возбужден, глаза его горели. Он выкрикивал бессвязные фразы о каком-то откровении, встал на колени перед Чувиллинским, отбивал ему поклоны, благодарил Бога за свое предназначение, призывал военнослужащих покаяться и упоминал адское пламя. Все попытки успокоить Н., за которым никогда не водилось особенной религиозности, ни к чему не приводили: он отбивался с поразительной силой, тут же просил прощения у тех, кого ударил, метался по расположению и кричал, что Чувиллинский — новый Христос, посланный на землю как духовный индикатор. Чувиллинский испуганно жался к стене, а потом забился в Ленинскую комнату. Он весь трясся.

Сергея Н. отправили в город, в окружной военный госпиталь, где диагностировали у него острый реактивный психоз на почве переутомления, недосыпа и психического перенапряжения. В часть выехала комиссия, но не нашла никаких нарушений.

В декабре того же года, за три месяца до приказа, Сергей Н. был комиссован и отправлен на долечивание в Москву. Сейчас он вполне нормален и почти ничего не помнит о происшедшем.

И ни в роте, ни в части, ни в госпитале ни одной живой душе не пришло в голову, что он, единственный человек, пожалевший последнего чмошника, — ЧТО ИМЕННО ОН-ТО И БЫЛ ХРИСТОС.

ПРОЩАЙ, КУКУШКА

1

В феврале у жены обострилась базедка, как ласково, домашнему она ее называла, и это словцо тоже его бесило, как бесило все в последнее время. Врач, визит к которому обошелся в двадцать три франка, не стал даже толком выслушивать жалобы: внезапная, на ровном месте, дрожь в руках, сердцебиения, ночные поты — и ровно, уютно пояснил, что, если сейчас же не выехать хотя бы недели на две в санаторию, перемены сделаются необратимы. «Wendepunkt! — говорил он, поднимая палец. — Gabelung! Точка раздвоения, откуда либо вверх, — и он задрал яйцевидную голову, — либо уже только вниз, и тогда... вы знаете. Я сразу понял, как увидел эти блестящие глаза». Жена улыбнулась, словно ей сказали комплимент. «Эти глаза! — Он поднял палец. — Отечные веки, редкое моргание! Это значит, что уже затронут зрительный нерв, и если теперь же, auf der Stelle, не взять решительные меры — я просто разведу руками, уже только разведу руками». И он развел. Ужасна была манера здешних докторов все говорить при пациенте, идиотская банковская честность. Российский врач долго бы мялся, кашлял, пил водку, потом отвел бы мужа в сторону и, взяв за пуговицу... Тоже, конечно, мерзость; да и всё мерзость! Всего противней была доверительность, с которой швейцарец подмигнул при прощании: «У мужчин данный этап протекает тяжелей, возможны уже первые трудности с... вы понимаете? При правильном лечении возможно восстановить, но...» Выходя из

клиники, мельком глянул на себя в зеркало. Гадкая мнительность, но что если уже подозрительно блестят глаза? Проследил за собой: не реже ли мигаю? Нет, как будто даже чаще обычного... Праздный, ничем не занятый ум цеплялся за все, начинал бесплодную лихорадочную работу. Кончу безумием, это совершенно ясно. Вот и всё, и ничего кроме.

Санаторию швейцарец посоветовал, но такую, что сбережений не хватило бы и на полдня; пришлось унижаться, спрашивать, есть ли дешевле, — врач пожал плечами и предложил несколько на выбор, но и это все было не то, в лучшем случае — три дня с отказом от завтрака, и наконец, глядя на него со странной укоризной — изволь платить, если хочешь быть здоров, или уж, если беден, не болей, — предложил последний вариант: если не подойдет и это, я разведу руками, просто разведу руками. На самой немецкой границе, в горах, пятнадцать франков в день, весьма достойный Heilverfahren — сиречь процедуры. Нет, конечно, ни циркулярного душа, ни солевой пещеры, но что вы надеялись получить за пятнадцать франков? Есть диета, многократно проверенная; правда, его пациенты там еще не бывали — он подчеркнул это, глянув поверх очков с той же укоризной, — но, судя по проспектам, все соблюдается. Я могу, если хотите, написать врачу записку с подробным диагнозом, хотя, уверяю вас, для специалиста все ясно с первого взгляда. Но есть ли места? О, уверяю вас, там есть. Они поблагодарили и вышли.

Надо было собираться и ехать — хоть какое-то действие в сплошной, вынужденной, вязкой паузе, когда казалось, что война никогда не кончится и они навеки заперты в этой торричеллиевой стране, откуда откачали весь воздух. Дали телеграмму в лечебницу, чтобы встретили на станции. Билеты третьего класса (сразу же вместе с обратными, три франка прямой экономии) окончательно истощили запас, поступлений не предвиделось, лекции никому не требовались, из России третий месяц не приходило ни гроша. Коротенький, пятивагонный поезд одышливо карабкался в гору, словно и сам ехал ле-

читься от туберкулеза. Болен был весь мир, вся природа: колкий, мелкий, нерусский снег (никогда не видал здесь мягкого и липкого, как в Кокушкине), рыжий хвойный лес, задыхающийся паровоз, дряхлый вагон и все попутчики. В углу сидел явный идиот, зобатый, злобный; двое тучных пьяниц со всеми следами порока и вырождения на жирных пористых лицах то и дело принимались горланить что-то солдатское, но забывали слова. Жена третий день чувствовала себя виноватой: им не пришлось бы тратиться и срываться с места, если б не дрожь в руках и ночные поты, симптомы, в сущности, пустяковые. Он, как мог, ее успокаивал — она была последним существом, которому было до него дело. Что делалось в России, он понятия не имел; в этой глуши, должно быть, и газет не достанешь, да и много ли прочтешь в этих газетах? Их заполняло что угодно, кроме главного.

На станции встретил их потешный шарабан, размалеванный не хуже циркового: хозяин санатории завлекал пациентов веселенькой рекламой. Пухлые женщины с ногами-сардельками прыгали через веревочку: добро пожаловать в санаторию Тицлера, мир здоровья! Вообразил жену с веревочкой; она, как всегда, угадала его мысль, и оба прыснули. Ехать было версты три да последние полверсты карабкаться пешком; мир здоровья — белый трехэтажный особняк на уступе — снизу казался игрушечным и недостижимым. На постоялом дворе оставили лошадь с шарабаном, дальше тяжело ползли вверх — провожатый, румяный чернобровый здоровяк из тех, что и в сорок чувствуют себя пятилетними, подбадривал, хохотал, хлопал себя по коленкам. Наконец вползли — последние шаги жена прошла, держась за его плечо и дыша, как рыба на песке; накликал-таки, дав ей треклятое прозвище. Вот те и Рыба, да и сам уже Старик; старик и рыба. В просторном холле, выложенном шахматной плиткой, вдова Тицлера, белая, рыхлая, вся словно налитая жидкой сметаной, встречала их, кивая сплюснутой, как брюква, головой. Мудрый выбор, лучшая санатория. Особенно хороша диета, лучшая диета на основе чистого молока.

Молоко! Он застонал. Если и было нечто, чего он так и не научился переносить за годы скитаний, побегов, ссылок, переездов и нищеты, нечто ненавидимое упорно и брезгливо, то это молоко, от которого его не удержи́мо рвало еще в детстве. Он не переносил его ни в каком виде — ладно, готов был терпеть в твороге, из которого теща делала прелестные жареные лепешки с изюмом, но молочная диета! Жена взглянула умоляюще; он махнул рукой. Пускай, не может же быть, чтобы к молоку не давали хлеба. Им отвели комнату на втором этаже.

Сразу оказалось, что невозможно спать. Он надеялся после переезда лечь пораньше, клонило в сон, болела голова — он приписал это разреженному воздуху, горной болезни, боясь думать, что нагоняет проклятая отцовская хворь. Легли сразу после ужина, состоявшего из отвратительной местной простокваши с мягким, но тоже кисловатым хлебом, — не полагалось даже чаю, от которого одно расстройство нервов, в особенности на ночь. Без чаю он не мог сосредоточиться, но здесь махнул рукой — ну его к бесу, оно же и лучше, не станет отвлекаться и забудется. Но только они легли, спина к спине, как спали давно уже, — внизу оглушительно грянул аккордеон и бешено затопали грубые башмаки: приплюснутая местная публика, еще в столовой показавшаяся ему неумовимо гнусной, ударилась в вечерние развлечения. Сначала они принялись плясать под дикую польку — откуда силы брались у слабогрудых? — а потом трижды кряду затягивали томительное «*Lebe wohl, kuckuck*». На третьем разе он не выдержал, бросил попытки засунуть голову под подушку, вскочил, оделся, чертыхаясь, и спустился вниз, где заходило на второй час это слезное веселье.

Тицлерши не было. В столовой, сдвинув в угол столы и расчистив площадку для танцев, расставили вдоль стен длинные серые скамьи, расселись и пели. Он снова заметил, как отвратительны лица: не на чем взгляду отдохнуть. Это были не крестьяне, не фабричные, а обыватели, составлявшие в Европе решительное большинство; он сам не понимал, почему в России мещан было

не в пример меньше. Здесь же все, кто трудится, словно попрятались стыдливо, а главным классом сделался бургер. Разумеется, это не могло быть так, защищал он сам перед собой привычную картину мира. Разумеется, все это пролетарии, в худшем случае зажиточные крестьяне, просто они желают выглядеть как обыватели, в отличие от наших, среди которых и купец-миллионщик глядится иногда мужик мужиком. У наших принята мимикрия — все хотят казаться грубее, хуже, чем есть, интеллигенция щеголяет грязными словечками, словно поголовный стыд перед народом заставляет носить хамскую маску. Эти же изо всех сил желали выглядеть как порядочные, и когда он вошел, разъяренный, красный, — дружно изобразили любезность.

— Господин новоприбывший, — медово осклабясь, сказал длинный, похожий на кельнера, — не желаете ли присоединиться к скромной компании, у нас запросто, потоварищески...

— Прошу простить, — прервал он яростно, — но моей жене нужен сон, и мне тоже нужно выспаться. Ваше веселье несколько шумно, мы наверху не можем спать.

— Зачем же спать, — крикнула раскрасневшаяся от пенья и смущенья бесформенная толстуха, тоже, верно, с базедкой. — Зачем же спать, когда можно тут с друзьями веселиться. Скажите же вашей супруге, что завтра еще будет дневной сон и она выспится.

— Моя супруга, — вспыхнул он окончательно, — моя супруга знает, когда ей спать... Я прошу вас прекратить, или по крайней мере тише... Вы одно и то же шестой раз поете...

— Что же вы сердитесь, это наш обычай, — умильно сказала мужеподобная, огромная, в толстых вязаных чулках. — У нас когда провожают кого, всегда поют «Прощай, кукушка». — И она горлом, горлом игриво изобразила припев: Ай, ай, ку-ку. Ай-яй, ку-ку.

От этого кукованья он почувствовал то истинное бешенство, с которым иногда не мог совладать, то самое, от которого чернел язык.

— Если вы не замолчите, — крикнул он, — я пожалуюсь... — И сам возненавидел в ту же секунду собственный смешной гнев: кому он собрался жаловаться на этой высоте?

— Однако же вы не очень-то, — подал голос старец с дряблой шеей. — Вы не очень-то, вы не с женой тут, вы не дома. У нас веселая компания, дорогой господин. Вы нам не нарушайте компанию, вас с супругой двое, нас тут двадцать три, есть право большинства. Еще нет даже десяти часов. У больных людей мало радостей. Вы не хотите присоединиться к компании добрых друзей, ваше дело. Но вы не можете тут выкрикивать оскорбительные слова, нет! — Старец затряс кривым пальцем.

Что оставалось? Оставалось плюнуть и поднятьсь наверх, под взрывы хохота и визг дам. Жена похрапывала, воспользовавшись перерывом в пении. Он улегся рядом, чувствуя, как все тело зудит от ненависти. Внизу все еще переговаривались, доносились взрывы хохота — им понравилось, как отшили новичка. Но скоро они опять запели что-то веселое, он не слышал слов, но с прозорливостью истинной ненависти угадывал их — наверняка о том, как парень предлагает девушке пройтись на сеновал, чтобы посмотреть там на птиц, а она отвечает: ах нет, мой милый, до свадьбы мы не пойдем, иначе у меня птиц набьется полный живот, ха-ха! Или он предлагает ей сходить на рыбалку и накопать червей, а она отвечает: ах нет, мой милый, до свадьбы никакой рыбалки, иначе мы накопаем мне полный живот червей, ха-ха! Или он предлагает изловить ей енота или иного пушного зверя, на что она отвечает: ах нет, до свадьбы никаких зверей, иначе у меня к зиме будет прелестный енот, ја, ја! Напал смех, как бывало у него после приступов ярости, и он заснул. Утром стыдно было войти в столовую, думал — станут хихикать, но ничего: гнев его был пугающ, он сам знал это. Переглядывались, перемигивались, шушукались, но прысканья не слышал.

Обычно от всяких мерехлюндий спасала его работа, любая, хотя бы статья на заказ или реферат для публичных чтений, на которые давно, впрочем, не удавалось собрать слушателей. Но здесь не было работы, а почта доставлялась раз в неделю, и мозг выкипал в бессильном, мелочном злобствовании. Это был первый раз, что он ничем не мог себя занять. Надо было, по идее, писать статью против Гримма. Гримм, пользуясь мягкостью, благодушием, а по сути тупостью большинства, протолкнул резолюцию о пацифизме. Надо было сразу бросить им в лицо, что нельзя, невозможно порядочному человеку оставаться с ним в одной организации. Надо было немедленно выступить открыто, но промедлил, опасаясь обострения, и теперь что же махать кулаками. Это были, конечно, не марксисты и не социалисты вовсе. Это была кучка филистеров, ни в чем не преуспевших, называвшихся партией по давно прошедшей моде. Он чувствовал, что мода прошла, что война изменила Европу неузнаваемо, что после Вердена все эти их пацифизмы, соглашательства, оборончества не могут иметь никакого смысла. Он им с письмами основоположников, подлинными, очищенными от ложных толкований, — они ему о том, что хватит крови, или о том, что до революции доживут, может быть, внуки. Он сам чувствовал, что доживут внуки, да и в тех был не уверен, — но говорить об этом вслух было подлейшим отступничеством, безобразнейшей, гнуснейшей трусостью, мерзостью, для которой нет названия. А все-таки здесь, наверху, он мог себе это сказать. Лихорадочная деятельность, помимо скудного пропитания, имела теперь один смысл: так сказать, терапевтический. Ею можно было лечиться от чувства незаполнимой пустоты, проигранной жизни. Им вполне овладела уверенность, что жизнь именно проиграна. Это был кризис, о котором он читал, — но самая мысль о таком кризисе антинаучна, ибо никто не знает середины своей жизни. Это выдуманно для оправдания

всяческих мерехлюндий. На самом деле всякая жизнь бессмысленна, и он это знал всегда.

Никогда ничто не внушало ему такой ненависти, как жизнь и жизнелюбы. Здесь он смыкался, пожалуй, с самыми отчаянными декадентами, чего вслух отроду не признавал, — но и в декадентах была правда: они как никто чувствовали всю обреченность, всю гнилость etc. Он и сам был себе отвратителен, но что же делать? В этой мышинной возне вокруг Гримма, склоках, рефератах, копейных самолюбиях, взаимных жалобах и их заочных, через многие версты, разбирательствах, в этой разбросанной, уничтоженной партии, в спивавшихся и сходявших с ума товарищах, из которых одни сидели, а другие нищенствовали по заграницам, — была единственная панацея от жизни, последняя защита от нее. Все они были рождены для великого, каждый это доказал, каждому была бы по плечу задача, от которой в ужасе отступился бы самый просвещенный европеец, — но где было и ждать, что найдется такое дело? В России война испортила все. Если бы не война — впереди было три, много пять лет гниения; но шовинистический угар, но сплочение вокруг обожаемого монарха, но подлейшая, гнуснейшая, бесстыднейшая продажность так называемой интеллигенции... Лучшие были деморализованы и раздавлены, худшие приспособились, и никогда он не чувствовал такого одиночества. Отсюда, с высоты, он смотрел на свою жизнь. Жизнь не удалась. Жена была омерзительна, и всего омерзительней было выражение кроткой виноватости, с которым она, овцеподобная русская женщина, пила теплое молочко. Он пробовал днем, когда она погружалась в благодетельный сон на балконе, писать реферат о каутскианстве. Не было под рукой цитат, статистики. Каутскианство было чушью. Все остальное было жизнью, от которой он так успешно прятался то в стачку, то в ссылку, то в конспирацию, то в эмиграцию. Теперь она догнала его и каждую ночь с особым злорадством, словно отпевая надежды, орала внизу «Прощай, кукушка».

На вторую неделю приехал солдат. Надо было к нему подобраться, расспросить, что все-таки в окопах. Солдат был немец, приехал к здешней родне, подкормиться на нейтральной почве. Он получил трехмесячный отпуск по тяжкому ранению, ничего не мог есть, у него отрезали чуть не половину желудка. У солдата, хоть и отъедавшегося уже вторую неделю на сельских харчах, при разговорах о фронте дрожали руки и дергалась шея, и отвечать на прямые вопросы он избегал, а что такое дух войск, не понимал вовсе. Он говорил только, что трудно очень без баб и что заедают вши. Вот если бы, говорил он и улыбался робко-похабно, если бы вместо вшей все это были бабы, тогда и война была бы прекрасная вещь. О русских он не мог сказать ничего, потому что в бою с ними не сталкивался. О французах он был ужасного мнения, англичан презирал за надменность, «а на самом деле в них ничего нет, одна пустая шкурка».

— Ты вокруг него, как кот вокруг сметаны, — робко улыбалась жена, не чувствуя по врожденной бестактности, что его вырвет сейчас от упоминания о сметане, что он видеть не может сметану, слышать не желает о ней. Но мир солдата, с которым он все пытался заговорить, был еще омерзительнее, чем молочная кухня. Однажды в книге, которую довелось ему пролистать в лондонской библиотеке, он рассматривал рисунки душевнобольных, лишенные, конечно, всякой связи и смысла, потому что люди, создававшие их, давно — а может, и с детства — не работали. Они лишены были того единственного, что дает возможность переносить мир и даже при необходимости изменять его. У душевнобольных в рисунках не было связности, потому что в ежедневной практике им не нужно было выстраивать социальные отношения. Он с ужасом подумал, что и сам эдак может сойти с ума, чего больше всего боялся в молодости, когда впервые заметил за собой страсть к повторам, тавтологиям, эксплуатацию одной и той же мысли: это был признак будущего безумия, но как иначе объяснить не понимающим ниче-

го, не желающим, не могущим ничего понять? Как объяснить тем, кто ничего не понимает? Если ничего не понимают, какое же может быть объяснение?! Он впервые в жизни дошел до того, что прочел книгу неполитического содержания. Книга была «Дым опиума», французский роман, похожий на рисунок душевнобольного, вне всякого понимания социальных связей. Герои существовали в пустоте, ни о ком не сообщалось главного — цифра месячного дохода, род занятий. Видно было, что герой потому полюбил, что тянулся к представительнице своего класса, и потому же отверг любовь женщины более простой, работницы. Но работницы чего, на чем, — сказано не было, и потому извлечь из книги хоть каплю смысла оказалось заведомо невозможным. Однако вернемся к душевнобольным, сказал он вслух. В лондонской библиотеке в ожидании сложного заказа он вынужден был пролистать новое поступление — книгу рисунков, среди которых оказался единственный, испугавший его по-настоящему. Он не боялся ни разнообразных змей с птичьими головами, ни моря, зубами грызущего сушу, — запомнился ему лишь рисунок пятнадцатилетней олигофренки, растленной солдатом. Там — детскими, неуверенными, старательными штрихами — изображался действительно солдат, в фуражке, с круглой масляной рожей, ртом до ушей и огромными, омерзительно свисающими гениталиями. Видно было, что девочке нравился солдат, что она отроду не видала ничего более удивительного. Знамо, что и могла она рассмотреть в нем. Точно таков был и этот солдат, и все солдаты. Идеальным препровождением времени для него было растлевать олигофренок. Если бы всех таких солдат переубивали, в этом не было бы большой беды.

Ужасен был мир солдата, как он ему представился, — а между тем эта война сделала солдатами почти всех, даже и тех, кто остался дома. Он ненавидел и Бюхнерова «Войцека», которого смотрел как-то в Германии, пьесу, невыносимо пугавшую его. Всего ужасней сходят с ума те, кому не с чего сходить. Мир солдата, более всего похожий на квадратную коробку гаупт-

вахты, квадратный плац, мир, где преобладали вши и эротические галлюцинации, где скучно и однообразно мучили друг друга, — таков был ад, и никакое декадентское воображение не могло быть страшнее и таинственнее этого ада. Он и вообще боялся сумасшедших, но больше всего кретинов. Здесь, у Тицлера, больные кретины обступили его.

Мир состоял из олигофренок, растленных солдатами. В иное время от этого можно было бежать в разнообразные и прекрасные отвлечения, включая оборончество. Но здесь, кажется, жизнь догнала и уже почти поглотила его. Он не мог спать, бессильно ворочался, ложился на пол, на полу мерз. Жена плакала, он слышал, но не утешал. Она была не виновата, а все-таки виновата. И ее болезнь и подступающая старость, и чувство собственной старости, бесплодной, неотвратимой, чувство презренного бессилия, негибкости мысли, прежде столь сильной и послушной, — все душило его так, что он как к единственному спасению кидался к реферату против Гримма, и Гримм вырастал у него в средоточие всемирного зла. Однако лучше уж было это зло, чем ад вещей и прыщей, седых волос и базедок, ежеутренних разговоров о том, у кого что ноет, и ночных прощаний с кукушкой.

4

Но все кончается, и накануне отправки на утренний поезд им спели «Прощай, кукушка». Это был первый раз, что он выслушал песню без отвращения. «Прощай, кукушка, лети к своим деткам. Где же твои детки? У тебя нет деток! У тебя нет гнездышка, у тебя нет рубахи. У тебя нет шляпы, у тебя нет сапог. Ничего у тебя нет, свободная ты птица. Прощай, кукушка, вот уж и понедельник». Это повторялось семь раз, пока не наступало воскресенье.

Уезжали они назавтра, в четверг. День отъезда был тепленький, серенький, с дождем. Окрестности санатория, исхоженные за две недели, были теперь уже непохожи на горный лес, окружающий заколдованную твердыню, — нет, обычный лесок, чахлый и скудный. Пахло

отсыревшей хвоей, корой, полверсты надо было спустаться пешком, и, свернув с тропы, он неожиданно увидел несколько крупных боровиков. В Швейцарии! Грибы! В феврале! Он и забыл, когда в последний раз собирал грибы. В России, особенно в Сибири, случалось часто, несколько раз повезло в Кокушкине — он до сих пор помнил огромный подосиновик, никогда потом не видел ничего подобного. Он окликнул жену. До поезда еще было время. Они принялись собирать грибы. Ей трудно было нагибаться, он один набрал больше полсотни, снял пиджачок, завязал рукава, неумело — никогда ничего не умел как следует руками — изготовил подобие мешка. Жена качала головой.

— Володя, — сказала она, — как же ты набросился на них! Как на меньшевиков в Циммервальде.

Отчего-то это сравнение позабавило его. Он представил: вот Нис, вот Айнинген, вот трухлявый Каутский... Он углублялся бы в лес и дальше, но жена выразительно покашливала, и — нечего делать — пришлось из пропахшего мокрой елью сумрака возвращаться на дорогу, идти к шарбану. Когда же они прибыли на станцию, оказалось, что поезд ушел пять минут назад. Видно, они долго провозились с грибами, дыша февральской хвойной сыростью. Следующий поезд был только вечером, через восемь часов.

Естественно было бы вернуться в санаторий, но он не мог заставить себя перешагнуть тицлеровский порог. Им смеялись бы в лицо, еще, чего доброго, спели бы «Прощай, кукушка»... Жена видела, каково ему, и не спорила. Денег было в обрез. Станционный буфет предлагал глинтвейн и сыр. Восемь часов просидели они на сырой и холодной станции. Стемнело. Такой тоски, такого отчаяния не испытывал он никогда. Это поистине была низшая точка его жизни, страшней, чем смерть брата, чем тифозная горячка сестры, чем все его неотомщенные поражения. Никогда не чувствовал он так остро своего ничтожества и неудачливости, как в дождливый февральский день, с полным пиджаком грибов, на станции в горах, в ожидании вечернего поезда.

Восемь месяцев спустя он стал диктатором шестой части суши, судьба которой решалась в эти две недели в санатории с молочной кухней. Здесь между ним и жизнью случился окончательный разрыв, которого не могла исправить никакая революция. Полгода спустя он начал строить свой мир, пригодный для чего угодно, но не для жизни.

Эту историю — достоверную во всем, включая февральские циммервальдские грибы, солдата и прощай-кукушку, я прочел в первом издании воспоминаний его жены, купленном у ялтинского букиниста. На красной книге с желтыми страницами лежал отчетливый отпечаток времени и страны, о которых, должно быть, мечталось ему в горах. Все в городе располагало к жизни, и столовая «Сирень» по соседству щедро предлагала свои котлеты с макаронами.

Прощай, кукушка, думалось мне. Лети к своим деткам, свободная ты птица.

МАРШРУТ

*Это будет очень печальное
И тревожное путешествие.*

Михаил Нодель

Слим задержался в подъезде, оттягивая выход. Идти страшно не хотелось, но надо было кормить семью. Семье надо есть, вот в чем дело. Жаль, что этим ни перед кем не оправдаешься. Грузная соседка, забыл как зовут, вскарабкалась по ступенькам и проползла мимо. Слим сочувственно поздоровался. Сейчас он радовался даже ей — все-таки своя, сюда еще неизвестно, вернешься ли.

Связной должен был ждать его на улице Красной Собаки, в четверти часа неспешной ходьбы, но сегодня надо было идти медленно, смотреть очень внимательно. Карвер подобрался ближе, чем когда-либо. Все было пропитано его дыханием, даже лифт гудел недоброжелательно. Бывают такие дни. Спускаясь, Слим правым локтем коснулся перил, а левой рукой провел по дребезжащим, серым почтовым ящикам: он понимал бессмысленность этих ритуалов, но когда однажды со страшным усилием ими пренебрег — лучше не вспоминать, что было.

Оказавшись на улице, он первым делом засек время: 17.45. И погода, как назло, стояла отличная, в такую погоду бы куда угодно, только не на маршрут, маршрут он ненавидел, а проделывать его приходилось дважды в неделю. Он прикинул: как сегодня — через Святительскую или по Змеиной? По Змеиной дольше, но безопасней: петляет, хуже просматривается. Выключил мобильник. Лучше бы вообще оставить дома (Слим не знал уже толком, где дом, но настоящий был так далеко, что приходилось называть так это скудное жилище с не-

счастливыми, близорукими, непонятливыми соседями, завязавшими свои жизни в такой невообразимый узел), однако ровно в 17.00 надо было просигнализировать, отфиксироваться на так называемой базе. Сунул мобильник в карман, ноги сами понесли на Змеиную, но не прошел и шести шагов, как сзади деликатно шаркнули, и Слим, оглянувшись, увидел своего агента, Рыжего: имен собственных ангелов-хранителей он не знал, так меньше было риска, что выдаст их, если дойдет до худшего. Странно, он ни о чем не предупреждал Рыжего — должно быть, тот торчал у окна от нечего делать, чистая, трогательная душа; сидел на подоконнике, как любил сам Слим, глядя на улицу, чувствуя тепло от батареи — конец сентября, только что затопили, — увидел, что человек вышел на маршрут, ну и выбежал, безмолвный спутник. Но сегодня рисковать Рыжим было нельзя, а палить Рыжего — и подавно. Слим никогда не заговаривал с ним. Была система знаков, выработанная в молчаливых диалогах по общему согласию: Слим остановился и посмотрел на часы, почесал в затылке и снова посмотрел. Рыжий должен был понять, он понимал всегда.

Но на этот раз, как назло, он ничего не понял — застыл в пяти метрах позади и тоже принялся чесаться. Что он хочет? Если бы отвернулся, Слим бы понял, это означало бы: иди себе, я по своим делам. Но он стоял, уставившись на Слива, бедный дурак, — почему у меня в добровольной охране только такие простые души, неужели я сам какой-то больной, что притягиваю только их? Слим топнул правой ногой, ноль реакции. Ну же, ну, умолял он, догадайся хоть как-то, ведь у вас, дураков, говорят, телепатия развита. Иди домой, сегодня опасно. На его счастье, в этот момент вниз по горбатой Змеиной дунула серая кошка, тощая и драная, с ближайшей помойки, — Рыжий отвлекся, и Слим поспешно свернул во двор. Он пересек его наискось, прошел мимо скрипучих качелей, на которых вяло раскачивалась, толкаясь одной ногой, девочка в красном беретике, и оказался на Повстанческой с ее желтыми березами и кривыми, старыми липами. Красный берет, подумал он. Нет, это вряд ли. Совсем уже сдвигаюсь.

Он поглубже засунул руки в карманы и стал подробно продумывать маршрут — это был лучший способ успокоиться: допустим, Повстанческая. Радости мало, но для такого дела семь верст не крюк. Грех сказать, он не любил эту улицу, потому что именно на ней тогда... Впрочем, мы договорились об этом не. Теперь нам короче всего будет через Пьяную, если только там не пристанет хвост... оставь, осадил он себя, с какой стати хвост? Кто вообще мог предположить, что тебя понесет в противоположную сторону? Дальше мы срезаем через Французскую, берем вправо на Аптечной — и вот она, пожалуйста, Красная Собака, хоть и с другого конца. Он усмехнулся. А ведь и погода прекрасная. Конец сентября, а какая густая синева, ни в каком марте такой не увидишь. И эта старая клумба с торчащими сухими стеблями, живого только и осталось — вечно цветущие бархотки, ярко-оранжевые, уже потемневшие по краям. Тревожное было в бархотках, он что-то забыл. Никогда нельзя идти дальше, если что-то забыл. Он обошел клумбу. Хорошо бы сейчас тринкету, моду на тринкеты ввел Смайлс, прелестный человек, один из немногих понимающих, — и его, как всех понимающих, перевели, и вот уже год они не виделись. Смайлс уверял, что тринкета прибавляет ума, они всей компанией тогда ходили с этими баллончиками, посмеиваясь над собой, а все же немного шикуя. Но тринкеты не было, и Слим сосредоточился безнее. Нечетное число, вспомнил он. Французская исключена.

В другое время Французская была лучшим выходом: короткая, уютная, зеленая, не содержащая в себе ничего французского, но что же делать, он там на скамейке читал когда-то именно о Париже, и с тех пор Париж связался с улицей безвестного героя со скучной фамилией. Он давно привык к этой личной топографии, чтобы даже во сне не проговориться об истинном маршруте. Двадцать девятое, какая уж тут Французская. Возьмут сразу, не посмотрят, что трижды кавалер. Что же делать, что же мне делать, соображал он лихорадочно, не забывая посматривать по сторонам: проехал велосипедист, прошла старуха с собакой, хвоста не было.

В смысле у собаки тоже не было, мопс. Слим усмехнулся. Хорошо, если не Французская, у нас есть Забытый переулок. Как всегда, о нем вспоминаешь в последний момент. Да, но это еще пять минут задержки. Ничего, сказал он себе. Перетерпят. В конце концов связь нужна им, а не мне. И он решительно отправился на Пьяную.

— Здорово, — сказала Вэл.

Вот уж кого он не ожидал встретить — и не мог сразу решить, хорошо это или плохо, что на углу стоит Вэл, независимая, спокойная, дикая, удивительным образом сочетающая надежность и опасность. Он был испуган и счастлив одновременно. Он никогда не знал, как вести себя с Вэл. Он знал только, что страшно рад ее видеть, не видел уже две недели, и хотя она понятия не имела о маршрутах, о Карвере, обо всей безумной паутине сложнейших обстоятельств, в которую превратилась его жизнь, — иногда ему казалось, что она знает все и больше, чем все. Женщины, они умеют это. И вышла она сейчас не просто так, а потому, что почувствовала, каково ему на самом деле.

Вэл вела странную жизнь. Слим не знал толком, здесь она живет или на окраине, и возраст ее назвал бы лишь приблизительно, и даже цвет глаз не вспомнил бы, хотя она смотрела прямо на него, даже, пожалуй, не без вызова. Но несмотря на всю эту неопределенность, в главном он не сомневался: на всем маршруте Вэл была единственным человеком, который не предаст, ах, нет, и это не так, и как не идет к ней само это слово, — просто она была единственной, кому он рад, не той убогой радостью, с какой провожал в подъезде старуху, а той, которая достигала его иногда, весенними вечерами, в Забытом переулке.

— Здорово, — сказал он небрежно.

— Куда идешь?

Он вздрогнул. Это был пароль, но вчерашний. Дуры бабы, вот так всегда с ними: скажет не подумавши, а серьезный человек голову ломай.

— Да есть тут у меня, — сказал он со смешком, — одно дельце.

— Слышал, чего с Серым сделали?

Ого, понял Слим. Все она знает, нечего было от нее прятаться. Конспиратор, шенок.

— Рассказали, — кивнул он.

— Серый сам виноват, — сказала она торжествующе. — Я ему когда еще говорила, а он говорит — ничего не будет, я знаешь под кем хожу? Доходился.

— Слушай, это, — сказал Слим, не желая поддерживать опасный разговор. — Мы бы, может, сходили как-нибудь, а?

— Куда сходили? — спросила она настороженно, подойдя ближе, и это был уже совсем явный знак — опасно, говорила она, иди отсюда сейчас, говорила она.

— Ну в кино, — с последней надеждой спросил Слим. Это значило: шанс есть, я не Серый, я хожу под теми, кого ты не знаешь.

— Чего там делать, — сказала она и покусала губу. Ей не надо было этого делать, он и так понял. В этом было уже прямое унижение, хуже, чем тогда, на Повстанческой.

— Ну в театр, — сказал он уже нагло. Она не могла не ответить на этот вызов. Слим не удивился бы даже пощечине. В конце концов, мелькнуло у него в голове, перед кем притворяемся, зачем вся эта конспирация? Разве что ее слушают... — В театр, а?

— Совсем ты ваще, — сказала Вэл, но в ее голосе он явно слышал одобрение.

— Да просто так можно куда угодно, — проговорил Слим, осмелев. — Не сейчас только, меня ждут сейчас.

— Кто тебя ждет-то, — ответила она с великолепно разыгранным пренебрежением, но он мгновенно подсчитал в уме: тринадцать букв. Значит, засады нет, и она знает.

— Да уж есть кому. («Спасибо. Я знал. Завтра здесь же».)

— Мелочь есть? — спросила она. — Коктейль хочу. Не может быть, чтобы у Вэл не было денег. Но тогда это значит... Черт!

— Лишних нет, — ответил он грубо.

— Ну и топай валяй.

Он улыбнулся ей нежно и благодарно. Это значило: пока я здесь, путь свободен. Он прошел еще сто метров, оборачиваясь: она так и стояла у стены, нога согнута в колене, руки скрещены на груди. Еще бы ей сигарету, и совсем бы классический вид. Но он так и думал о ней с благодарной нежностью: то, что Вэл стояла на углу, означало, что прямой опасности пока нет. Под ее взглядом ничего не могло случиться. И следующий укол тоски он почувствовал, только дойдя до остановки «Школа».

О, проклятый режим; Слим, может, потому только и вошел в Лигу, что не мог больше спокойно жить в мире, где такие места называются школами. Сотни, тысячи людей ходили мимо и понятия не имели, что в действительности делается там, за этими стенами, в подвале-лабиринте, выдаваемом за бомбоубежище, в длинной пристройке, которую снаружи принимали за спортзал. Цитадель, пыточная камера, тюрьма, казарма, инкубатор, все вместе — каждый этаж отвечал за свое, но всех обманывал идиллический фасад с профилями, спортплощадка с баскетбольными кольцами, цветы на окнах... Если бы они на миг представили, что там делается, — они обрушили бы забор, повалили охрану, выдавили решетки первого этажа; но никто не решался сказать вслух, а может, уже и не поверили бы. Раствление дошло до того, что перестали верить очевидному: тогда, на Повстанческой, многие видели, но никто даже не остановился. Слим знал это место, столько раз, рискуя жизнью, проникал сюда неузнанным, наизусть, разбудил его ночью, рассказал бы, где какой кабинет, — но сейчас прошел мимо, стараясь не смотреть направо. Внезапно его прошиб холодный пот: надо было позвонить, отметить — а он так далеко от базы; о черт. Ничего, скажем отсюда. Но не на улице же было делать контрольный звонок — он осмотрелся и быстро зашел в арку. Оттуда хорошо просматривалась улица и виден был кусок двора, заваленного каштановой листвой.

— Да, — сказал он, когда отозвались. — Я на полпути примерно.

— Почему на полпути? — с неудовольствием сказал Папа. Кто придумал эту кличку для человека, сроду никого не назвавшего «сынок»? Вечно эта потребность очеловечивать начальство.

— Там надо было обойти, — сказал он уклончиво.

— Что обойти?

— Дорожные работы.

— Где, какие дорожные работы?

Идиот, выругался про себя Слим. Кретин. Когда они выучат коды?!

— Я перезвоню, — сказал он.

— Слушай, — буркнули в трубке. — Не забывай, что сегодня суббота.

— Я такие вещи не забываю, — огрызнулся Слим и отключился. Слава богу, теперь никаких звонков до объекта. Он проверил на всякий случай бумаги, которые должен был передать связному: на месте. По двору на бесконечно печальном самокате ехала бесконечно печальная толстая девочка. Мир был полон угнетения, и если бы не Забытый — Слим бы так и не улыбнулся за весь маршрут; но Забытый искупил бы дюжину таких путешествий.

Есть места, где хорошо, и Слим догадывался, почему. Вероятно, здесь был портал, через который он мог бы вернуться домой, и вернется рано или поздно, когда поймет наконец, в какой последовательности производить уже угаданные действия (более сильные чувства вызывал третий справа клен, восьмая скамейка, почему-то очень нравился желтый кирпичный дом, по которому так скользило солнце, придавая ему цвет совершенно уже нездешний). Вообще в Забытом все указывало на другой мир, из которого сюда просачивались небывалые краски: иногда какое-нибудь зеленоватое рваное облако на горизонте, на фоне подъемного крана, говорило больше, чем всякая книга, чем любое кино. И люди здешние словно подмигивали, они были Слиму приятны, и он им был приятен, просто так, ни за что. Везде листья гнили, а здесь шуршали, и рос на повороте странный куст с красными ветками — по весне, когда начиналось движение соков, они прямо-таки пламенели, и Слим не

знал, что за куст, а спросить не решался, потому что сразу выдал бы себя. Он знал, что опаздывает, но позволил себе постоять в Забытом минут пять, не больше, и впервые с дивной ясностью увидел последовательность, которую — не сейчас, конечно! — надо было применить для перехода, нельзя было пренебрегать возможностью, надо досмотреть... но тут все переменялось, это длилось долю секунды, и мир, в котором он очнулся, был уже мир Карвера. Оказалось, и Забытый ни от чего не спасал.

— Ты ббл, — сказал ему на варварском наречии адский местный с совершенно белыми глазами. Злоба, переполнявшая его, искала выхода, он словно лопался по всем швам, потому что тарачился так.

Слим смотрел на него, понимая, что последнюю степень защиты в этих обстоятельствах применять нельзя — нельзя ни по какой конвенции, ни при каких вводных, этого не простят, будь ты кавалер хоть трижды, хоть десятижды. Он не мог сказать ни слова, и все-таки даже теперь на дне его души шевелился не ужас, нет, то было любопытство: он еще не встречал таких и хотел знать, как они действуют. Жаль ему было только связного.

— Ххлтты тттудт, — повторил белоглазый невнятной прежнего. — Ттты, тты хххухль.

Но Забытый есть Забытый, и в следующую секунду Слим был чудесно спасен — по крайней мере от этой опасности, явно не последней, как подсказывала медленно наполнявшаяся болью голова. Из подъезда выскочила женщина изумительной роковой красоты, несколько волчьей, с заостренными и явно нездешними чертами — портал, портал, даже не уговаривайте! — и, ни звука не произнося, несколько раз ударила белоглазого полотенцем, а потом ухватила за лапищу и властно поволокла за собой, и он пошел покорно, как за матерью, даже не обернувшись. Слим хорошо ее запомнил — на ней был только халат, белый с лиловыми цветами и кое-где смуглыми дырами; под халатом не было ничего, он не столько видел, сколько чувствовал это. Вместе с ней на секунду вырвалась на улицу волна чужих запахов, нездешних, неопределимых — если суп, то каково должно быть суще-

ство, из которого он сварен?! Слим еще немного посто-ял, регулируя дыхание, и двинулся дальше, к повороту на Аптечную, но все было уже не то, все более и более не то; и он был к этому готов, потому что Карвер его почув-ял, не мог не почувять.

Сначала впереди замаячил странный, сутулый ро-весник — Слим нарочно не стал его обгонять, ибо это мог быть банальный, классический хобот (слежка спереди, в противоположность хвосту). Скоро, однако, он убедился, что человек впереди как-то уж чересчур мед-лителен и шаток, идти в таком темпе значило уж навер-няка пропустить все сроки, и Слим решился на обгон. Только природная выдержка удержала его от вскрика — это был не ровесник, а старик, с лицом, наполовину за-тянутым кожаной маской: что было под этой маской — Слим боялся домыслить. Может, там была ужасная рана, а может, мясной нарост, но старик явно был болен, над маской видны были только страдальческие глаза, и одет он был чересчур тепло для конца сентября, — нет, таких к нему не подсылали, и Слим, стыдясь здоровья, вино-вато ускорил шаг. Темнело, и от встречи со стариком на душе стало еще хуже, — он физически ощущал, как сгуща-ется Карвер, как из каждой встречной машины, из лю-бого куста глядят стальные глаза. Слим ускорил шаг — а этого делать не следовало, никак не следовало, ибо на полупустой субботней улице он выделялся теперь неу-местной деловитостью, и тот, кому поручено было за-держать его любой ценой, уже шел следом, Слим слышал его шаги.

Он не оглядывался. Профессионал не оглядывает-ся. Кавалер не оглядывается тем более. Мы скажем все по звуку, по этому дробному, то нарастающему, то отда-ляющемуся, кого выслали за нами на этот раз. Слим представлял его с болезненной ясностью, настигавшей его теперь все чаще. Это веселый, ненамного старше его, играющий с ним, как кошка с мышкой, глумящийся, легкий, снисходительный, безошибочный убийца; ошиб-кой всех прежних была, конечно, их паучья серьезность. Но у этого с юмором все было в порядке, и потому вне-запные парадоксы Слива, его броски в подворотни или

через стадионы, его внезапные исчезновения в подъездах или прыжки на подножку не могли ввести в заблуждение: он читал, предугадывал. Карвер рано или поздно должен был найти такого человека, сколько можно бегать от него, рано или поздно он просчитает твою манеру — и тогда надо будет резко ее менять, а меняться поздно. Слим знал это и надеялся на одно. Если в окне седьмого дома будет цветок, есть надежда. Слим помнил имя этого цветка, это был амариллис, его ни с чем не спутаешь, это тебе не кустарник с красными ветками. Он видел это окно на прошлом маршруте и заметил два бутона — тугих, длинных; в литературе утверждалось, что цветок будет огромный и яркий. Слим нарочито замедлил шаг, — преследователь тотчас остановился, — и резко надал ближе к седьмому дому: ну же, ну!

Зажглись фонари, и поначалу в темной комнате было ничего не разобрать. Лишь взглядевшись, Слим с ужасом понял: они убрали цветок! Они унесли его с подоконника вообще! Более ясного знака он не получал на всем маршруте.

Собственно, можно было не спешить. Он взглянул на часы: 18.50. Все свободны.

И в эту секунду из окна второго этажа хлынула музыка — кто-то бурно и радостно, кое-как, с грубыми ляпами забарабанил божественную и торжественную, какую же еще, мелодию древнего языческого танца, песнь девушки, танцующей на тамтаме. Может, это было не фортепьяно, а просто кто-то включил телевизор, — но этот звук, варварский, дикий и бодрый, дал Слиму последний толчок. Он собрался с духом и оглянулся.

В трех шагах от него стоял Бак — унылый тип из соседнего дома.

— А я иду думаю ты не ты, — как всегда, без знаков препинания сказал Бак.

— Я, — подтвердил Слим. — А что?

— Ниче думаю иду ты не ты.

— Я, я. А ты куда?

— Я никуда я так. А ты че ты куда.

— И я никуда, — сказал Слим. Если они завербовали уже и Бака, значит, дело их совсем тухлое, вообще уже

не на кого опираться. Этого мы сделаем. Господи помилуй, а мы ожидали легкого, страшного, умного. А это Бак, мусорный бак. Черт с тобой, бак.

— Я пошел, — сказал Слим.

Но как только он отвернулся, музыка «Барабанного танца» сменилась адским галопом, и сзади раздались все более решительные, сильные и твердые шаги. Как он мог обмануться! Разумеется, Бак был личиной. Еще чего. Станет Бак преследовать его на Аптечной. С какой стати?! Это был тот, новый, умеющий ко всему прочему так изменять внешность, что даже он, Слим, купился на первый раз. Но теперь в нем разыгралась такая злость и обида, что прежнюю покорность как рукой сняло. Он мельком глянул на часы: 18.55. Еще повоюем. Нельзя, нельзя включать последнюю степень. Он ускорился и перешел на бег. Сзади затопали, потом вдруг отстали. Бешено визгнули тормоза. Ага, оторвался. Поворот на Красную Собаку был уже перед ним, он в два прыжка добежал до угла, повернул — и увидел, как старуха у дверей заведения переворачивает табличку.

Когда он подбежал к дверям, на нем лица не было — даже старуха отшатнулась.

— Тетенька, — выдохнул Слим, — пустите, пожалуйста, очень надо.

Булочная закрывалась по субботам в семь, и толстуха уже готовилась сдавать кассу, но он скорчил такую умильную рожу, что его пустили. Времени как следует выбирать батон уже не оставалось, да и наивно было ждать, что к закрытию останется что-то приличное, — но он старательно перещупал несколько булок железной вилкой на веревке и выбрал, как ему показалось, не самые каменные. Еще надо было полбуханки черного круглого деду — другого он не ел — и булку брату, черт бы его побрал совсем. Приди он раньше, и выбор был бы побогаче, и батоны помягче, — но тут уж надо было выбирать: либо поход в булочную превращается в маршрут, либо это просто поход в булочную, угрюмая вещь, особенно по субботам.

— Ну ты быстрее, а? — торопила его уборщица. Ей тоже хотелось домой. За окном совсем стемнело, выходить не хотелось, но на обратном пути ему уже ничто не угрожало: на обратном пути, через Фурманова, потом по Октябрьской и метров сто по Димитрова, Карвер уже не имел никакой силы. Вообще приобретение хлеба странным образом ослабляло Карвера. А если не ослабляло, всегда можно было доехать на тридцать четвертом, но тогда не хватило бы на тринкету.

— Земляничную, — попросил он.

Через тридцать лет Карвер все равно достал его на этом самом повороте, когда он не успел его проскочить под носом грузовика. С некоторыми играми надо расставаться вовремя, а может, вредно всю жизнь жить в одном районе, где никогда не отделаешься от себя прежнего. Но скорей всего любой Карвер попросту набирается силы за тридцать-то лет.

КИЛЛЕР

Триллер

На вечеринке лучших друзей, как в песне поется, двадцатитрехлетний студент четвертого курса Института стран Азии и Африки Коля Артемов заметил офигенную девушку своих примерно лет, без спутника, зато с удивительным совершенно лицом, при одном взгляде на которое становилось веселее. Она так и вплыла в комнату, улыбаясь, как солнышко, сознавая всю свою прелесть и сияя золотом волос — явно своих, без всякой краски. Росту в ней было почти столько же, сколько в Артемове, а в нем его было дай бог.

К моменту вечеринки лучших друзей Артемов успел один раз завалиться на вступительных экзаменах в ИСАА (он знал о Китае все, что можно узнать самоучкой, но происходил из простой семьи с минимальными средствами и не мог себе позволить репетитора из желанного вуза), потом служил в армии, где оказался отличным стрелком и регулярно показывал лучшие в полку результаты, и наконец поступил, куда хотел: после армии, да еще с потрясающей характеристикой, барьер оказался не столь непреодолим. Он недурно учился, успел два раза съездить в Китай, кое-что зарабатывал, консультируя несколько совместных предприятий (переводчики с китайского в Москве немногочисленны и потому ценимы), женат не был и не так давно расстался с девушкой-хиппушкой, все время учившей его жить. Хиппушка любила изрекать фразы типа: «Как говорит

мой учитель, пророк новой эры Витя Пупышев...» Витя Пупышев целыми днями просиживал на Арбате и говорил ужасные глупости, явно почерпнутые из Интернета. Хиппушка его обожала и пыталась склонить Артемова к такому же образу жизни. За полгода это его достало.

— Вань, — обратился он к виновнику торжества, чей день рождения как раз отмечался. — Это кто?

— Это? — Ваня глумливо подмигнул. — Это не для нас сварено. Катя Остапчук, слышал такую фамилию?

— Не слышал, — честно признался Артемов.

— Я тоже не слышал, — вздохнул Ваня. — Но говорят, что она дочь ужасно крутых родителей. И сама — видишь какая? К телу никого не допускает. Тут такие люди зубы себе обламывали, что куда тебе. Поклонников — до Чукотки раком не переставишь, — Ваня очень любил это выражение и произнес его со вкусом. — Даже и не пытайся.

Артемов любил трудноразрешимые задачи, а неразрешимых пока не встречал. Невзирая на недавний облом с хиппушкой, он не жаловался на дефицит женского внимания, сложение имел гибкое, лицо смуглое, с несколько китайчатым разрезом глаз, усы брил, волосы стриг коротко, умел изъясняться с восточной витиеватостью и чрезвычайно много читал. Больших денег на красивые развлечения у него не водилось, но уболтать он мог кого угодно.

— И кто за нею волочился? — процитировал он.

— За нею волочился Смирнов, — Ваня назвал в качестве убойного аргумента фамилию редкого хлыща с их курса, который благодаря рыбному бизнесу отца швырялся деньгами и ездил на джипе.

— Смирнову и я бы не дал, — честно сказал Артемов. — Он кретин полный.

— И еще за ней один бегал, лет сорока, — продолжал Ваня, — коммерческий директор чего-то там. Подарил манто бог знает из чего. Мексиканский тушкан отдыхает. Манто взяла, но и только.

— Молодец девушка, — сказал Артемов. Катя Остапчук нравилась ему все больше.

— И наконец, — этот факт Ваня приберег для пушего эффекта, — за нею волочился Бобров! Но и здесь — увы, увы и увы.

Бобров, генератор телевизионных идей, стоявший у истоков народной программы «Доброе утречко» и создатель телеканала «Сквозняк», вел на НТВ программу «Осчастливчик». По слухам, перед ним не мог устоять никто. Артемов лично знал штук шесть девушек, уверявших, что Бобров регулярно бывает с ними близок. Если все они не лгали, бледность его в последних выпусках «Осчастливчика» была более чем объяснима.

— Это набор стандартный, — припечатал Артемов. — Сынок, нувориш, плейбой... Слышь, Вань, ты ведь с ней хорошо знаком, да?

— Познакомить? — хихикнул Ваня.

— Нет, голубчик. Банальщина. Намекни ей, пожалуйста, что я киллер.

Ваня свистнул.

— В какой форме? Я боюсь, это будет не очень естественно...

— Господи, ну мне, что ли, учить тебя!

— Нет, ну как ты себе это представляешь? Мы сидим за столом, я ей накладываю салату и тут говорю: между прочим, вот этот смуглый брюнет справа — киллер. Она сразу: ой, как интересно! Можно он кого-нибудь убьет? У нас же тут все люди со способностями. Гамалов стихи читает. Лукьянова знает восемь языков. Ашумова вяжет крючком из рыболовной лески. А Коля Артемов сейчас по просьбам публики произведет контрольный выстрел в затылок.

— Ванечка! — проникновенно сказал Артемов. — Честное слово, это женщина моей мечты.

Ванечка был уже довольно хорош и потому, отважно махнув рукой, пересел поближе к Кате Остапчук, оживленно беседовавшей с кем-то из гостей. Он в своей легкой манере включился в разговор, что-то быстро сострил, а потом повел Катю курить на балкон и там долго о чем-то рассказывал. Пару раз Катя обернулась, мило щурясь, и на лице ее была написана явная заинтересо-

ванность. После перекура она вместе с Ваней подошла к Артемову и с детской естественностью спросила:

— Коля — вас ведь Коля зовут, да? — ваш друг намекнул, что вы человек очень интересной профессии.

Артемов смерил Ваню столь убедительным ненавистническим взглядом, что тот невольно поежился.

— И кое-кто имеет шанс очень быстро в этом убедиться, — сказал он вежливо.

— Ну, вы тут поболтайте, — быстро сказал Ваня, — а я пойду распоряжусь насчет горячего, — и его сдуло в кухню.

— Знаете, — сказала Катя, словно они век были знакомы, — мне даже не то интересно, что у вас профессия такая экзотическая, а то, что вы признались. Ванька ведь знает откуда-то? Я не думаю, что он пользовался вашими услугами.

— Если бы он пользовался моими услугами, — флегматично сказал Артемов, — нас познакомил бы кто-нибудь другой.

Катя засмеялась.

— А почему же вы не скрываете, что... — фраза повисла.

— Лист лучше прятать в лесу, — пожал плечами Артемов. — Все равно никто не верит.

— А если я поверю? — поинтересовалась она.

— Вы-то явно не поверите, — закинул он первую удочку. — При вашем характере интересоваться моей средой — не знаю... противоестественно как-то...

— А что вы знаете о моем характере?

— Знаю, что вы человек очень живой. А я... редко имею дело с живыми. И недолго.

Дальнейший разговор от него больших усилий не потребовал: рассказывать другим об их характерах он умел, умел и говорить то, что хотели услышать. Это была целая наука — выдавать главным образом гадости, но при этом гадости, льстящие самолюбию собеседника; заранее угадывать и опровергать контраргументы, словно угаданная мысль этим заранее обезврежена; мельком выспрашивать нужное, чтобы потом это нужное, выболтанное машинально, преподнести как собственное от-

крытие. Существовала и масса других приемов, но по большей части в таких случаях Артемов импровизировал. Его несла неведомая сила. К полуночи он рассказал Кате об ее характере массу взаимоисключающих вещей. Надо отдать ей должное — она умела слушать: ни секунды не кокетничала, не позволяла себе ни искусственного смеха, ни ложной многозначительности, не картинной печали. Она легко усвоила его стиль — произнесение вслух вещей рискованных, постыдных, скрываемых. Только однажды тень задумчивости легла на ее сияющее круглое лицо.

— А занятно, — сказала она.

— Что именно?

— Как мы с вами теперь из этого будем выкручиваться.

— В смысле?

— Нет, ничего... продолжайте.

Но ясно было, что выкручиваться предстояло из взаимной влюбленности, — так объяснил себе дело Артемов, и в груди у него стало жарко. Около половины первого Катя засобиралась. Ваня смотрел на Артемова со смесью восхищения, зависти и лицемерного осуждения. Артемов вызвался добросить Катю до дома на своей «таврии». «Таврия» была на самом деле отцовская, но иногда он ее брал.

— Вы же пили...

— Это не называется пить.

— Но если дотошный мент?

— А если дотошный мент, — сказал Артемов, — то есть вот это.

Он извлек из кармана две недели назад купленное на Арбате «Удостоверение сволочи» и показал Кате свое фото, аккуратно вклеенное туда. На малом предприятии, где он переводил, знакомая секретарша шлепнула печать, девятизначный номер он придумал сам.

— «ЗАО “Желтая река”», — прочла Катя буквы по ободку печати. — Это ваш кооператив?

— Это наши люди, которые работают с ГИБДД, — снисходительно пояснил Артемов. Шла чистая импро-

визация, но он был ею доволен: именно так, весело и неожиданно, и должны выглядеть серьезные вещи. — Можно показать, и ни один гаишник не оштрафует. Скажите, а вы всегда задаете так много вопросов?

— Это моя профессия — я ведь журналист...

— Знаете, у меня тоже есть профессия. Давайте хотя бы друг для друга не будем только профессионалами, — предложил Артемов. — А то мои ответы на ваши вопросы могут оказаться... не совсем симметричными.

— А почему «таврия»?

— А вы хотите, чтобы я ездил на «мерсе»? Попробуйте, до чего все начитались покетбуков...

— Ну не обижайтесь! — серьезно попросила она. — О журналистах — в особенности журналистках — тоже у всех превратное представление. Вот Бобров — знаете Боброва? — он как узнал, что я журналистка, сразу решил, что я лезу к нему в постель для эксклюзивного интервью. Очень мне нужен этот ростовский парвеню! Да и о вашей профессии мне писать, честно говоря, неинтересно. Я бы охотнее с вами поговорила еще раз, как сегодня. О себе, о вас... Просто так.

Артемов поразился легкому успеху и даже несколько разочаровался в девушке, которая так быстро бежала на запах крови. Но, с другой стороны, он отлично понимал, что глагол «поговорить» следует понимать строго буквально — по крайней мере на первых порах: у нее явно кто-то был, кто-то давний и постоянный, — такие вещи он просекал, перед ним была спокойная и счастливая девочка с уверенностью в завтрашнем дне. Предстояла борьба, но тем интереснее все выглядело.

Он прикинул свои шансы: кабаки отпадают, но серьезные киллеры и не ходят по кабакам. Они читают классику, часто и помногу думают о жизни и смерти. Они немного философы, эти настоящие киллеры. В каждой профессии есть своя элита: те, кого уже не интересуют деньги и успех. Их интересуют вершины мастерства. «Мне по душе строптивый норов артиста в силе, он отвык». Они едят только диетическое, совершают упорные медитации на специальном коврикe, истязают тело

долгими тренировками. Женщины их не интересуют. Они нужны им, чтобы поговорить — если, конечно, это женщины, с которыми стоит говорить.

Так Артемов за считанные минуты придумал класс продвинутых киллеров — интеллектуальных чистильщиков, которые, уничтожая одного жирного грабителя по униженной просьбе другого, испытывают мстительную радость: вот и еще один паразит лопнул, упившись нашей кровью. А там и до заказчика дойдет — мало ли у него противников. После удачного дела он бросает снайперскую винтовку на чердаке и спешит домой — к своей манной каше, экологически чистому салату и ледяному молоку.

Удивлять надо было сразу. Следующее свидание Артемов назначил не в кабаке и не у себя, а в Сокольниках. Была осень, сухие коричневые листья шуршали под ногами. Садовники в желтых стеганых жилетках поверх ватников жгли костры. Он рассказывал Кате Остапчук о милых и необязательных вещах — о своей собаке, об армейской службе. Как-то случайно вырулили на Китай. Он стал рассказывать о китайском стихосложении, щедро привирая.

— Вот, например, — говорил он с трогательной серьезностью, — простой русский глагол «любить».

Катя слегка зарделась — или ему это показалось?

— Он китайского происхождения, — с каменным лицом продолжал Артемов. — Был известный китайский поэт Лю Цзин, в просторечии просто Лю. Когда мужа соблазненных им женщин собирались его колотить, они кричали друг другу: «Эй, пойдем Лю бить!» Этот глагол перешел в Индию, а оттуда его привез на Русь Афанасий Никитин. До него у нас тут говорили просто «трахать». «Я тебя трахну, Любава!» — И Катя расхохоталась. Похоже, ее устраивало это обещание.

Разумеется, Артемов выбрал Сокольники не просто так. Он любил стрелять в местном тире, едва ли не лучшем из открытых тиров Москвы. Катя палила в белый свет как в копеечку и хохотала не умолкая. После этого Артемов спокойно взял десять пулек и все их торжественно всадил в движущиеся мишени.

— О, это серьезно, — уважительно сказала Катя, попросила старичка-тировладельца повесить для нее мишень и пятью пулями выбила тридцать восемь.

— Ничего, — снисходительно сказал Артем, попросил не снимать листок и всадил следующие пять пуль в дырки от ее попаданий. Ему почудилось в этом что-то фрейдистское. Катя посмотрела на него долгим взглядом и ничего не сказала.

В тот вечер они перешли на ты. В дебрях парка Артем извлек пневматический пистолет — любимую игрушку, отцовский подарок к дембелю — и, доставая из кармана пульки, стал постреливать по ее заказу в старые плакаты, вышибая буквы. На ее месте, оставшись среди пустого осеннего парка с киллером наедине, Артем испугался бы, но Катя вела себя с такой уверенностью и свободой, что он влюбился окончательно.

— Честно говоря, — сказала Катя, — на твоём месте я проводила бы с жертвой предварительную беседу. Ты действуешь успокаивающе. У меня сейчас проблемы, а я про них не вспоминаю вот уже три часа.

— Если проблемы серьезные, я помогу, — пожал он плечами.

— За сколько?

— Из любви к искусству.

— Скажи... а как на тебя выходят серьезные заказчики?

— Если я тебе расскажу всю цепочку, ты все равно ничего не поймешь. Слава богу, тебе эти имена ничего не скажут.

— А все-таки?

— Вчера я виделся с Ханом, — скучно перечислил Артем, с ходу импровизируя убедительные клички. — Хан сказал, что Серого перестал устраивать Тяпа. Я связался с Серым. Серый через Толстого Брата передал мне аванс. Я поехал к Барыбе, но Тяпа почуял и предупредил измайловских, а сам не приехал. Он не знал, что Серый скорешился с измайловскими. Тяпа успокоился и пошел выгуливать Усатого — это терьера его так зовут, Усатый... то есть звали... Ну и всё.

— Что — всё?

— Больше не выгуливает. Слушай, неужели тебе это интереснее, чем про Китай?!

— А ты не знал Солоника? — задумчиво спросила она.

— Я знал Солоника, — лаконично ответил Артемов, лихорадочно придумывая, каков был Солоник в личном общении.

— Он действительно мертв?

— Как пень, — убежденно ответил Артемов. — И по делом.

— Почему? Он дорого брал?

— Он обидел Котика, — сымпровизировал Артемов. — Он очень сильно обидел Котика. Все вышло из-за этого. Я не последний человек в Москве, но и я не стал бы обижать Котика.

Катя усмехнулась.

— Про Котика я слышана...

«Интересно, откуда, — подумал Артемов, усмехаясь в ответ. — Я выдумал этого Котика две минуты назад».

За время последующих прогулок — всегда долгих, иногда сопровождавшихся чаепитием в скромной артемовской квартире (родители деликатно исчезали в гости), — Артемов успел рассказать Кате Остапчук несколько кратких, но сочных историй в духе экономических расследований Юлии Латыниной — столь же непонятных и кишачих кликухами. Катю интересовало все: например, ей было очень интересно, как Доренко не боится так ругать Лужкова.

— Смотри, — с нажимом, как непонятливой школьнице, разъяснял Артемов. — Береза проплачивает норильский газ. Так?

— Так, — кивала Катя, хотя о норильском газе слышала впервые.

— А Лебедь в свою очередь проплачивает, чтобы не трогали каспийскую нефть.

— Господи, ему-то что до каспийской нефти?! — округляла глаза Катя.

— Ему — ничего, но он держит все канские глиноземы, а канские глиноземы нужны Сухому, который держит Каспий, — снисходительно пояснял Артемов. —

А дальше все просто: Лужок проплачивает Кострому и Вологду, Позгалеv в Вологде обеспечивает прикрытие Потанину, Потанин сбрасывает Абрамовичу, а Абрамович заинтересован в том, чтобы на Каспии не было людей Черномырдина. Понятно?

— Теперь понятно, — кивала Катя.

Ее понятливость была феноменальна. Артемов ни за что бы не разобрался в лабиринтах собственного вранья, но хорошо знал, что для убедительности — и это главная особенность нового русского языка — надо употреблять так называемые глаголы сильного управления без зависимых слов: сбросить, проплатить, сказать... Все проплачивали и сбрасывали неизвестно что, суетились вокруг пустоты, и именно в этом заключалась великая суть виртуального русского бизнеса, до которой и Пелевин не доехал. Кстати, книга с автографом Пелевина (они были немного знакомы, обменивались специальной литературой по Китаю, как обмениваются ею все продвинутые московские китаисты) расположила Катю к Артемову настолько, что последовал поцелуй.

— Слушай, — сказала она ему через неделю, когда роман стремительно летел к главному своему этапу. — Ты обещал однажды, что мог бы меня выручить.

— Смотря чем.

— Понимаешь, я-то сейчас в порядке, но вот на мою подругу серьезно наехали. Она уступила свою машину одному парню — прокатиться. Он прокатился и въехал в чужой новый «вольво». И смылся. Они засекли номер, по номеру вышли на Олю, но она ни в чем не виновата. Понимаешь? Надо сделать так, чтобы они отстали — у нее сейчас нет свободных денег...

Отступить Артемову было некуда. Он вспомнил все, чему его когда-то учили в секции карате, сунул в карман пневматический пистолет и пошел на стрелку вместо Оли. Стрелка была назначена на Профсоюзной, напротив ресторана «Ханой», под большим солнцеобразным памятником Хо Ши Мину. С отвращением чувствуя дрожь в коленях, Артемов вылез из «таврии», направился к памятнику, по возможности небрежно покручивая на пальце ключи, и прямо под носом доброго вьетнамца

обнаружил того, с кем ему предстояло встречаться. Ожидавший тоже был явно напряжен и тоже крутил на пальце ключи. Взглянув друг на друга, оба с облегчением расхохотались. Перед Артемовым стоял его однокурсник Петя Морощкин — простой, широкоплечий и веселый малый, вечно без копейки денег.

— Ты чего, Петь? — спрашивал Артемов, ударяя его по плечу, когда они взяли по пиву в ближайшей забегаловке.

— Да эта... дура моя... взяла отцовский «вольвешник», захотела поездить — ну и на светофоре ее этот шибанул. На «девятке». Она сама же была виновата — надо было уступить, а она поперла. Запомнила номер, через ГИБДД выяснила и мне говорит — стребуй, мол, с него бабки. А машина оказалась не его, а хозяйка какая-то ужасно крутая: я, говорит, пришлю к вам своего представителя... Ну, думаю, попал! Я ведь ей не говорю, что я студент. Кто сейчас будет со студентом... Морда у меня, сам видишь, широкая, — я ей дал понять намеками, что с солнцевскими дружу, она варежку и разинула. Не, Коль, она полная дура, но у нее, Коль, такая грудь, что я могу ее пять раз за ночь и еще хочу. Она орет, как десять кошек. Слушай, как хорошо, что это ты-то, Колянчик! Я уже с жизнью прощался!

— Я тоже. Петь, а тебе не кажется странным, что они охотнее всего связываются теперь с бандитами?

— Ну а с кем им связываться, Колянчик? Других профессий не осталось — кино посмотри, книжку почитай... Все либо журналисты, либо киллеры, что, в общем, одно и то же. А что ей работягу любить? Где они, работяги? И потом, они же бабы, Коль. Они надежность любят. Ну какое у нас с тобой будущее? Ты по горло в своем Китае, я — в своей Саудовской Аравии. В лучшем случае третий секретарь посольства, в худшем — преподаватель полуживых языков. А так — все-таки с будущим... прикидываешь?

— Но ты с этой Оли слезь, Петь. Твоя же сама была виновата.

— Да конечно, Коль! Я ей так и скажу, что мы это дело замаяли на обоюдке. На обоюдной вине то есть. Каждая чинит свою.

Друзья с облегчением выпили еще по полной кружке и разошлись, еще более укрепив подспудную взаимную симпатию. Теперь на семинарах они здоровались с особенно теплым чувством и крепким рукопожатием. Оля была вне себя от счастья, что с нее слезли, а Петя убедил свою дуру — потратив на это, верно, не одну ночь, — что она должна Бога благодарить, потому что за Олей стояли очень, о-о-очень крутые люди, которые держат всю Москву и аэропорт «Домодедово» в придачу. Иногда Артемову начинало казаться, что все крутые, которые что-либо здесь держат, точно такие же притворяшки, как они с Петей. Во всяком случае, их действия, в которых нельзя было уловить никакой логики, навели именно на такую мысль.

Приближался Хеллоуин — ведьминский праздник конца октября. Артемов, после истории с Олей награжденный очень профессиональным, но вместе с тем непосредственным и искренним поцелуем, имел основания рассчитывать на более серьезное вознаграждение. Он уже был представлен Катиному отцу, оказавшемуся действительно огромной шишкой, но где и в чем — он так и не понял: впечатляла квартира. Сановитый папа небрежно сунул Артемову пухлую кисть и отдался раздумьям о государственных, видимо, делах. Фамилии Остапчук среди виднейших правительственных чиновников Артемов не помнил, но пресса приучила его, что самые главные люди и есть самые законспирированные. Катя тоже сделалась частой гостьей в крошечной комнате Артемова, где он угощал ее китайской едой по древним рецептам, заваривал жасминовый чай («как любил Мао», — пояснял он небрежно), показывал простые упражнения из древней монастырской гимнастики, учил медитации и гадал ей по Книге перемен. Он знал разное гадание — по руке, по ступне и даже по губам и этому последнему виду предавался с особенным жаром. Катя несколько раз прилегла на его узкую кушетку и многозначительно посетовала на ее малый размер.

На Хеллоуин она попросила Артемова планов не строить:

— Мы идем в гости. К моей подруге.

— К Оле?

— Нет. Оля — журналистка, а знакомить тебя с журналистками я не хочу. Ты мой эксклюзив.

Артемов хотел было отказаться, чтобы усилить в Кате любопытство и влечение: сказать, например, что именно этим вечером он занят. А после этого вечера еще два дня не допускать ее до себя, якобы смывая кровь с рук — естественно, путем медитаций и усиленной гимнастики, возвращающей духу равновесие и чистоту. Один раз он уже воспользовался этим приемом, и Катя добросовестно ждала его трое суток, не звоня и не напоминая о себе. Потом, правда, все равно не выдержала и позволила первой — это был хороший знак.

В ночь Хеллоуина Артемов нарядился во все черное, пустив на наряд все привезенные из Китая экзотические тряпки. Он ожидал шумного застолья, во время которого они с Катей найдут время уединиться, но не видел греха и в том, чтобы подождать: в конце концов, первый раз с киллером должен быть первым разом. Романтичным и несуетливым. Во время одной из сокольнических прогулок он уже прочел Кате целую лекцию о том, что человек, часто видевший смерть, совсем иначе относится к женской плоти и стремится к ней словно к бессмертию. При этом он обильно цитировал Мисиму — японскую прозу ему тоже приходилось почитать, и он в ней ориентировался прилично. Катя трепетала.

Против артемовских ожиданий, Катя отперла дверь своим ключом. В квартире было темно, и только неоновая реклама «Внуковских авиалиний» мигала на соседней крыше.

— Не надо зажигать свет, — сказала Катя с интонациями Мюллера.

— А где подруга?

— Эта квартира наша, — многозначительно ответила Катя, уже в прихожей выгибаясь под его руками и присасываясь к артемовскому рту в еще небывалом, не оставляющем сомнений поцелуе. Язык ее творил чудеса. — Эта квартира наша на всю ночь, и ночь наша, и никакой подруги здесь не будет до полудня... я обо всем договорилась... иди в комнату, я сейчас.

Артемов шагнул в единственную комнату: скромно, почти голо... стол, кровать... видимо, квартира часто служила подобным целям...

— Разбери постель! — крикнула Катя уже из ванной.

...Сказать, чтобы Артемов был вовсе неискушен в делах любовных, значило бы сильно погрешить против истины. Но в его жизни еще не было женщины, которая бы до такой степени все понимала. Он чувствовал ту божественную свободу, когда понимаешь, что можно все, — и наслаждался этой свободой медленно, со вкусом, никуда не спеша и ни о чем не беспокоясь. Сходство характеров оборачивалось сходством темпераментов, все происходило одновременно, не было ни лишнего движения, ни лишнего слова, ни малейшей преграды, — и, продлевая и продлевая первый раз (китайцы в этом смысле продвинулись далеко), Артемов успел мимоходом — поскольку никогда не забывался до полного бездумья — пожалеть Боброва, который лишился, может быть, главного удовольствия в жизни, и безвестного нового русского с его дорогостоящим манто он тоже пожалел и тут же с победительной гордостью подумал, что ведь это он, простой и бедный русский студент, сделал то, что не удалось ни хлыщу с папиной рыбой и джипом, ни нуворишу, ни шоумену, — и гордость его была такова, что он собрал все силы и терзал Катю еще минут двадцать. Впрочем, это медленное и согласное движение с перерывами, с долгими поцелуями и милыми шуточками вроде внезапной щекотки если для кого и было терзанием, то разве что для духов, выползающих к людям в ночь Хеллоуина и завистливо наблюдающих за теми утонченными удовольствиями, которых бестелесные сущности лишены.

— Знаешь, — сказал Артемов. — Я иногда думаю, что бояться смерти — то же самое, что бояться кончить. Тянешь, тянешь... и не без удовольствия... но смысл-то все равно только в этом.

Катя засмеялась в темноте.

— Это у вас, мужиков. У нас все иначе. Кстати, а женщин тебе... не приходилось?

Артемову было так хорошо, что он тоже засмеялся в ответ.

— Катька! — сказал он с нежностью. — Катька, солнце мое! Я думал, ты давно все поняла. Я тебе собирался еще неделю назад сказать, но решил все-таки сегодня.

Руки, обнимавшие Артемова, враз похолодели.

— Ты... догадался? Ты знаешь? — спросила она в ужасе.

— Да о чем? — беззаботно отозвался Артемов. — Это ты должна была догадаться. Я никакой не киллер, Катька. Но, к сожалению, мне про тебя такого нарасказали... что ты с огромными понтами и все такое... Теперь-то я понимаю, что у нас и так бы все было отлично. Я студент, Катя. Простой студент МГУ, факультет ИСАА, группа 412, скромный китаист.

— А этот... авторитет, с Олиной машиной... — Голос у Кати странно одеревенел. — Это тоже трюк? Я же все проверила...

— Катенька, солнце, раньше студенты соблазняли барышень, играя с ними в революцию и в конспирацию. Теперь им приходится косить под круглых. Он такой же студент, как и я. Но согласись, это было весело. И я почему-то убежден, что это тебе не мешает повторить все только что проделанное еще раз... и еще много, много раз...

Артемов не врал, ибо снова ощущал готовность к действиям, но Катя странно замерла, словно не могла осмыслить его слова, а потом порывисто вскочила и кинулась к своей одежде, оставленной в ванной. Там, в заднем кармане джинсов, у нее был мобильный телефон.

— Идиот! — крикнула она сквозь зубы, и потрясенный Артемов не мог не отметить, что голая, на бегу, озабоченная рекламой, она была все-таки необыкновенно хороша.

— Отбой! — кричала она в коридоре. — Все отменяется! Пятый, пятый! Передай им — отбой! Он все врал! Я сама объясню Алпатову, я все объясню... черт... — и в голосе ее послышались злые рыдания. — Нет, нет! Мы его не берем! Я с ним сама, сама... Данетже, господи! Он

совершенно не тот! Он все врал! Ладно, потом, — и мобильник звучно шлепнулся о стену. Похоже, Катя действительно была зла.

Она вернулась в комнату, но не полезла к нему под одеяло, а прижалась к стене напротив. На ней уже был махровый халат — видимо, хозяйский. Даже в скудном освещении мигающей красно-зеленой рекламы и уличных фонарей видно было, как горят ее глаза и какой ненавистью перекосило лицо.

— Сволочь, — сказала она сквозь зубы. — Сволочь... из-за тебя у меня теперь всё...

Но вникнуть в смысл ее слов Артемов толком не успел, потому что внизу завывла милицейская сирена, заурчала, разворачиваясь, машина, и, прыгнув к окну, он с убийственной ясностью дурного сна увидел, как два милицейских «форда» стремительно выезжают со двора. А по соседней крыше в мигании рекламы топотал к слуховому оконцу человек, только что державший на прицеле их окно. Позиция, отметил Артемов, была выбрана классно.

— Идиот, — всхлипывала Катя, — сколько людей из-за тебя ночь не спали... Какая операция... Я на самом высоком уровне, самому большому начальству докладывала... Все, теперь сорвалась моя стажировка в Штатах... Меня теперь вообще турнут... Господи, попалась, как первокурсница!

— Так ты... — Артемов все еще не мог прийти в себя и даже не натягивал трусов. — Ты... из РУОПа, что ли?

— Я с Петровки! — с отчаянием в голосе выкрикнула Катя. — А ты идиот и сволочь... голову мне морочил со своей любовью...

— Но Катя, — начал обороняться Артемов, — почему же морочил?

— А про Котика?

— Да я же выдумал этого Котика! — завопил он в тоске, не зная, что сделать, чтобы она ему поверила.

— Да? — с почти девчоночьим ехидством ответила Катя. — А если я сама на него ориентировку читала? Котэ Магарошвили, вор в законе по кличке Котик, предположительно смотрящий по Свиблову?

— О господи, — Артемов расхохотался, но тут же посерьезнел. — Ну, прости... Но что тут такого неблаго-родного? Ты не находишь, что с твоей стороны было гораздо хуже... вываживать меня, как рыбу, и потом сдать? Ты понимаешь, что я бы оказался в камере и потом полгода, при ваших-то темпах, доказывал бы, что я не я и лошадь не моя? А что с родителями было бы? А диплом бы я где защищал? На нарах? — Он постепенно разъярялся. — Ты что, не могла по своим каналам проверить, действительно ли я студент?

— Проверила! — с ненавистью орала Катя. — Я все проверила! Ты, может быть, думаешь, что у них у всех так в трудовой книжке и записано — киллер? Они тоже где-то работают... один учился... А из твоей части прислали характеристику, что ты отличный стрелок, и из школы — что ты обладал... большой целеустремленностью... — Она разрыдалась. — И графолог наш... помнишь, ты мне телефон записал своей рукой? Графолог наш сказал, что такой убьет — не поморщится...

В эту секунду Артемов сознавал всю правоту графолога. Все-таки у них там неплохие специалисты.

— Скажи, — спросил он, уже одевшись и собираясь уходить, — ты меня... никогда... ни секундочки не любила? Все-таки я старался...

— Тебя? — В голосе ее было такое непередаваемое презрение, что Артемов ощутил себя вошью и только тут легко поверил, что она действительно из органов. Больше так разговаривать нигде не умели. — Тебя-а-а? Вот, смотри! — Она достала из кармана брюк бумажник, тот самый, который Артемов видел в ее руках столько раз, и извлекла из потайного кармашка фотографию: ее, только чуть помоложе, совсем девочку, обнимал за плечи громадного роста подполковник с широким добрым лицом. Тупость и надежность не просто заявляли, но криком кричали о себе каждой черточкой этого мужественного лица. В учебке у Артемова был такой прапорщик.

— Да, — сказал Артемов и, не сдержавшись, усмехнулся. — Мы с Бобровым, конечно, отдыхаем. А квартира эта, надо понимать, конспиративная? И многих ты

тут уже... накрыла этим способом? (Он хотел добавить — «этим местом», но решил оставаться в рамках, как и учит нас терпеливый Восток.)

— Ты первый, — бросила она с ненавистью. — Мой диплом.

— Не грусти, Катя, — сказал он, открывая дверь. — Облом в начале — хорошая примета. Еще Лю Цзин писал: «Зашла луна — и солнцупуть открыт. Чу, иволга поет! Пойду гулять».

Он даже не хлопнул дверью.

Никогда в жизни Артемов не чувствовал себя таким безнадежно раздавленным. Самое лучшее было — не думать, китайцы и здесь придумали несколько недурных способов саморегуляции, и Артемов попросту фиксировал глазом все происходящее: одинокое такси (денег нет, подумал он, придется пешком), встречного пьяницу, который покачивался на ходу (вот, кому-то хуже, чем мне), красно-зеленый отблеск в мокром асфальте...

Неожиданно около него с визгом затормозил новенький «БМВ». Бронированное стекло опустилось. Оттуда выглянуло до боли знакомое лицо того самого Вани, в гостях у которого началась вся эта история.

— Ну чего, Колёк? — окликнул он Артемова с какой-то новой, придурковатой и вместе властной интонацией. — Базар до тебя есть. Мы посмотрели, прикинули — гарный ты хлопец, и ведешь себя хорошо, и шмаляешь помаленьку... С бабой, конечно, облом вышел. Кто ж знал, что она такая... Но насчет тебя мы подумали и решили — подходишь. Садись в тачку, покалякаем о делах наших скорбных... — Ваня глумливо усмехнулся.

Артемов взялся за ручку двери и замер в нерешительности.

ЭКЗОРЦИСТ

6 января 2006 года молодой поэт Коркин, криво улыбаясь, сидел в кабинете немолодого поэта Катышева, редактора поэтического отдела в толстом журнале, выживающем исключительно молитвами Сороса. В последнее время Сорос манкировал молитвами. Видимо, его вера слабела. На столе у редактора стояла трогательная пластмассовая елочка с крошечными шариками. Редактор принимал поэта на дому — журналы были в новогоднем отпуске.

— С вами все понятно, — сказал Катышев, возвращая Коркину дискету с подборкой. — В принципе, не будь у вас задатков дарования, следовало бы посоветовать вам навсегда оставить виршеплетство и заняться, например, коммерцией. А лет пятнадцать назад вас послали бы на завод. Так сказать, знакомиться с жизнью. Вставать в шесть утра, потеть и коптиться у вагранки, сливаться с пролетариатом, после смены пить пиво и через два года такой жизни отупеть до полной бездарности. После этого вам была бы открыта дорога в заводскую многотиражку, потом — в литобъединение «Закал», в журнал «Литературная учеба» и — как следствие этого — в Союз писателей.

В голосе Катышева зазвучала ненависть. Чувствовалось, что на этот путь его в свое время подталкивали много и усердно и только фантастически дурной характер позволил ему назло соблазнителям двадцать допере-

строечных лет влачить жизнь литконсультанта при журнале «Пионер».

— Но у вас есть способности, да и в разговоре вы производите впечатление воспитанного юноши, — продолжал редактор, в упор глядя на Коркина. — Поэтому примем меры радикальные. Вы, как и вся ваша генерация, обчитались Бродским. Это дело опасное, потому что в результате здоровые, полнокровные люди начинают писать мрачные и скучные тексты без ритма и музыки о том, как им все надоело. Все превращается в перечень, понимаете? Глаз скользит по пейзажам и лицам, ни на чем не задерживаясь. Все бабы априорно сволочи. А между тем в паре ваших текстов чувствуется теплота, юмор, живая наблюдательность — словом, жаль, если пропадете. Вас надо отчитать.

— Да вы уж отчитали, — буркнул Коркин, в глубине души убежденный, что Катышев почуял в нем нового гения и теперь зажимает из зависти.

— Я не в том смысле, — отмахнулся Катышев. — Вы про Колесникова слышали?

— Который футболист? — презрительно спросил Коркин.

— Темный вы человек, Володя, — укоризненно сказал Катышев. — Он экзорцист. Спас для литературы больше людей, чем этот ваш футбольщик голов забил. Приходят к нему кликуши, мизантропы, ксенофобы, патриоты-деревенщики... А уходят нормальные люди. Некоторые, конечно, сразу бросают литературу. Оно и к лучшему. Но другие выходят наконец на свою дорогу.

— Экзорцист... — протянул Коркин, вспоминая знакомое слово. — Я кино такое смотрел, помнится. Там в девочку вселился дух, а священник его выманил. Она все писалась, писалась... потом ее рвало... кощунства всякие... а подлинная ее сущность высывалась и пищала: спасите меня, спасите меня!

— Вот и ваша высывается и пищит, — сказал Катышев. — Спасите меня, я хочу жить, а не презирать все живое! И если вы не пишете и не кощунствуете, это вовсе не значит, что вам не нужен экзорцист.

Он снял трубку старомодного дискового телефона и набрал номер, который помнил на память.

— Коля? — спросил он тепло и уважительно. — К тебе на когда можно записаться? Нет, мне бы поскорей... Да, довольно запущенный, но не без потенциалов. Бродский, да. Минуточку.

Он прикрыл трубку ладонью и доверительно спросил Коркина:

— Пятьдесят баксов есть?

— Найду, — пожал плечами поэт. — Но это ведь чистое шарлатанство...

Катышев погрозил кулаком.

— Да, Коленька, он согласен, — сообщил он невидимому экзорцисту. — Завтра? Отлично, я бы мог в пять. Сам и приведу.

— Но завтра Рождество, — промямлил Коркин.

— У вас планы?

— Собственно, я...

— Собственно, вы собираетесь сидеть дома в темной кухне и сочинять рождественские стихи, — догадался Катышев. — Не надо. Придумайте что-нибудь свое. Попробуйте сочинять пасхальные.

Следующее утро Коркин провел в терзаниях. Он ненавидел себя за податливость и за то, что дает катышевскому другу-шарлатану подзаработать. Редактор явно получал комиссионные за отлов новичков. Но с другой стороны, столь мелкое жульничество не вязалось с образом катышевского лирического героя, да и поэт он был значительный — его похвала, хоть и с оговорками, грела коркинское самолюбие. Кроме того, он надеялся, что пятьдесят долларов служат в вожделенном журнале неким вступительным взносом, обычной платой за публикацию: рынок проник повсюду, литературному изданию без таких ухищрений не выжить... Как бы то ни было, в назначенное время Коркин зашел за Катышевым в редакцию, и они пешком направились в мансарду на Малой Бронной.

— Главное, не бойтесь, — наставлял Катышев. — Он отличный малый, без всяких оккультных примочек. Вы

такое облегчение почувствуете, милый мой! Мир для вас заиграет всеми красками...

Коркин посмотрел вокруг, и настроение его испортилось окончательно. Играть всеми красками было решительно нечему. Стояла оттепель, погода была вовсе не рождественская, снег лежал разве что в витринах, и то искусственный. Люди, утомленные недельными празднованиями и предвкушавшие еще два дня мучительного отдыха, вяло плелись по бульварам. Все были смертны, а возлюбленная, которой Коркин позвонил утром с поздравлениями, явно торопилась на встречу с кем-то более веселым. «Где она нынче — мне неизвестно, правды сам черт из нее не выбьет», — вспомнилось поэту. Пятнадцатый троллейбус прополз мимо, взбаламутив льдисто-грязевое крошево. Толстый карликовый бульдог с выражением злобной целеустремленности на морде, натягивая поводок, тащил за собой по бульвару толстую старуху с выражением испуганной покорности на лице. Деревья топорщились голыми ветками, как легкие на школьной диаграмме. Навстречу попалась влюбленная пара: девушка в пудовых, по последней моде, башмаках брезгливо пропускала мимо ушей пылкие речи спутника, явно думая о чем-то, а может, и о ком-то постороннем. «Вот и все они такие, — с тоской подумал Коркин. — Идет с одним, мечтает о другом, а достается третьему, с деньгами». Получились две ямбические строчки, которые он решил со временем раздуть в полновесную элегию о подлости всего сущего. Если бы экзорцист жил чуть подальше, он бы успел придумать рифмы, но тут Катышев решительно подтолкнул его к темному подъезду.

— Сюда, сюда... на самый верх...

На лестнице пахло штукатуркой и кошками. За железной дверью помещалась неожиданно просторная приемная, в которой уже дожидались своей очереди пять человек разного возраста и пола. Колесников заставлял себя ждать. Лишь в половине шестого он стремительно вышел из маленькой дверцы, видимо, отделявшей приемную от кабинета. Следом появилась красотка

с подносом. Она остановилась напротив Коркина в выжидательном полупоклоне.

— Деньги доставайте, — грозно шепнул Катышев.

Коркин криво усмехнулся и извлек зеленую бумажку. Девушка кивнула и обошла остальных. Некоторые выкладывали сразу по две сотенных, из чего Коркин заключил, что его случай не самый тяжелый. Колесников обладал ярко выраженной восточной внешностью: ассирийская борода, густые брови, еще более грозные при малом росте, и адабашьяновские глаза навывкате. Знаменитая «Овсянка, сэр!» была бы в его устах вполне органична.

— Господа, — начал он ровным и тихим голосом, — мой метод предполагает групповую терапию. Вы не должны в страхе ожидать приглашения за эту дверь, и потому я сам выхожу к вам. Не стесняйтесь товарищей по несчастью: все вы одержимы духами, но это не демоны низкой наживы и мелкого мошенничества. Вы больны, но это болезнь высокая, говоря словами одного из самых сильных духов в русской литературе. Только коллективное желание преодолеть одержимость способно принести плоды. Кроме того, само сознание типичности вашего случая, возникающее при групповом беспризвании, облегчает душу. Сегодня, в святой вечер Рождества, духи особенно восприимчивы. Поздравляю вас. Приступим. Начнем, пожалуй, с... с... с...

Палец Колесникова заблуждал по кругу. Коркин вжался в кресло.

— С вас, если позволите, — обратился он к надменному посетителю лет двадцати пяти, бледному, прыщеватому, с длинными невымытыми волосами и толстой взлохмаченной рукописью в картонной папке. — У вас кто?

— Вы сказали — Набоков, — презрительно отвечал посетитель.

— А, так вы после первичного осмотра... Припоминаю, — прищурился Колесников. — Помнится, полгода назад я вам сказал зайти весной, провериться... Что же, прочтите пару абзацев.

Криво улыбаясь и качая головой, дескать, так и быть, доиграю с вами эту вздорную драму, длинноволосый достал листок и монотонно, несколько нараспев прочел: *«Вспоминая лакомую гладкость ее долголягих ног, оттененных штриховым пушком снутри, Цептер грезил – вот подойду, вот трону, но соглядамай, живший в нем безотлучно, принимался мерзко хихикать, и образ таял, как колышущееся дымное кольцо, выпущенное усатым весельчаком в душевной берлинской пивной на потеху честной компании. (Стук кружек, гогот.) Меж тем крался изразцовый вечер, и закат краснел, смущаясь, что опять не поспел вовремя, и подаваясь взад-вперед в такт дребезгу трамвая, под его звяканье, подобное осипшему дверному звонку...»*

– Достаточно, – безапелляционно прервал Колесников. – Подзапустили. Надо бы нам с вами не откладывать до марта... Но ничего, ко мне теперь часто с Набоковым приходят. Есть безотказные приемы. Прошу вас, никакого волнения... тьфу, какой заразный! – Экзорцист тряхнул головой, отгоняя непрошеную цитату. – Могут быть неприятные покальвания и легкое головокружение, но это быстро пройдет. Сосредоточьтесь и слушайте внимательно. Если возникнут вибрации, не пугайтесь. Если затошнит, не удивляйтесь. Когда я подам знак, выпейте это. – Он кивнул девушке, и она тут же извлекла из стоящего в углу холодильника литровый пакет молока «Милая Мила».

– Холодноовато, – пощупал Колесников. – Дашенька, подогрейте до температуры парного... и подуйте в соломинку, чтобы вспенилось. Раз, два, три! – Он сделал стремительный пасс в сторону длинноволосого, и тот безвольно поник в кресле, сраженный гипнотическим сном.

Колесников стремительно подошел к книжному шкафу и почти наугад, как бы в трансе, извлек толстый красный том. Голос его зазвучал тяжело и властно. Даша поспешно сунула в вялую руку пациента круто посоленную ржаную горбушку и встала наготове с подносом.

«И вот в нелегкое это время скупо и неярко, словно стыдясь неурочного часа, расцвела любовь Федора Морозова

и Клашки Никульшиной. Они не ложились теперь, как когда-то, в пахучие травы, не гулевали, взявшись за руки, по зареченским лугам, любясь, как зажигаются звезды. Нароботавшись бок о бок в тех самых лугах, они присаживались приморить усталость, и Клашка доверчиво мостила голову на его мохлястые колени.

– Что ж закрепшее вино в ковшике носить? – спрашивал Федор. – Расплетется! Не томи, Кланя!

– Не могу я допрежь свадьбы, Федя! – раздумывая от стыда и доверчивого девичьего желанья, отвечала Клашка. – Как я людям в глаза посмотрю, как мамане отвечу?

Хмыкал да гмыкал Федор, а вокруг духмяно возрастали горькие сибирские травы...»

При этих словах руки длинноволосого беспокоийно задвигались, словно ища, кого схватить. Даша поспешно сунула ему кружку, в которой пенилось подогретое молоко. Пациент осушил ее единым духом и сомнамбулически откусил полгорбушки, после чего сморщился и мелко затрясся.

«Сильно и часто вздымалась Клашкина крепкая грудь, увлажнились чуть раскосые глаза.

– Люб ты мне, Федя! – выдохнула она и, рванув на тугих грудях платье из застиранного ситчика...»

Длинноволосый содрогнулся всем телом и прерывисто вздохнул, как человек, сдерживающий рвоту.

– Не сдерживайтесь! – повелительно воскликнул Колесников.

Длинноволосый открыл рот. В воздухе запахло хорошим парфюмом и альпийским медом. Внезапно пациент закашлялся, и изо рта у него вылетела небольшая серая бабочка, больше напоминавшая моль, покружилась над длинноволосым, словно изумляясь, как могла выбрать такое непрезентабельное жилище, и вылетела в заблаговременно открытую Дашей железную дверь. Все произошло так быстро, что Коркин не успел опомниться.

– А что такая маленькая? – любопытствовала высокая темноволосая девушка из угла.

– Раз на раз не приходится, – оборотился к ней Колесников. – По таланту, дорогая моя, по таланту. Из

Виктора Ерофеева в свое время вообще мушка вылетела, типа дрозодилы... А как благодарил!

Длинноволосый медленно приходил в себя. Незнающими глазами обвел он комнату, словно спрашивая: где я? отчего так сижу? Впрочем, ввиду излечения он уже не спрашивал ничего подобного. Нормальным, несколько не надменным голосом он поинтересовался:

— Николай Андреевич, получилось?

— Ну вы же сами чувствуете, дорогой мой! — улыбнулся Колесников. — В Батово не тянет? По родине не тоскуете? Перестал я вам напоминать шахматного коня?

Длинноволосый порывисто вскочил, несколько раз энергично тряхнул руку экзорциста и, забыв в кресле свою папку, вылетел за дверь.

— Набоков вообще хорошо изгоняется деревенщиками, — доверительно пояснил Колесников. — Это дух покладистый, невредный... Вот с самими деревенщиками труднее. Давеча одного два часа Сартром отчитывал — ну и хлынуло же из него потом, правду сказать! Конским навозом три дня пахло, а в сочетании с елеем это, знаете, то еще амбре... Ну-с, продолжим. Почитаете, что ли? — обратился он к высокой брюнетке, спрашивавшей про размеры бабочки.

Брюнетка была ничего, только держалась болезненно прямо, словно проглотила линейку, и нехорошо посверкивала глазами, особенно долго задерживая взгляд на бедном Коркине. И ноги у нее были великоваты, размер эдак сороковой, — не то Коркин, конечно, возымел бы на нее виды.

— Всем взглядом — вонзаюсь,

Всей грудью — прильну,

Всем телом — вгрызаюсь

В твою — глубину, —

с легким задыханием скандировала брюнетка по рукописи, обозначая паузами бесчисленные тире.

— Распята — навеки

На зимнем — ветру,

Учитесь, калеки,
Пока — не умру! —

с вызовом закончила она.

— Сложный случай, — покачал головой Колесников. — С одной стороны, чистая цветущая, но с другой... почерк покажите, пожалуйста. — Он впился взглядом в тетрадь. — А почему вы заглавное А пишете как строчное, только перечеркиваете? Эх, ахматовская душа... И потом вот это. — Он небрежно перелистнул страницу. — «Таинственных слов твоих жало, томительных горечь утех я в тысячный раз променяла на то, что доступно для всех...» Да, голубушка, сложно. Как-то они вас борют по очереди... Чем же мне вам помочь-то? Дашенька, тальяночку бы мне...

«Неужели Есениным будет отчитывать?!» — ужаснулся Коркин, но Колесников уже развернул крошечную гармонику, и при первых ее звуках брюнетка погрузилась в тяжелый сон. Даша достала из кармана красный платок, повязала на голову и мгновенно преобразилась в пейзажку. Колесников приплясывал, высоко взбрасывая короткие ноги.

— Дура, дура, дура ты,
Дура ты проклятая,
У него четыре дуры,
А ты дура пятая! —

запел он неожиданным дребезжащим фальцетом.

Даша, взвизгивая, подхватила:

— Мне милый изменил
Под железным мостиком!
В добрый путь, ему сказала,
Обезьяна с хвостиком!

И на два голоса они триумфально закончили свой дивертисмент:

— Сидит милый у ворот,
Моем морду борною,
Потому что пролетел
Ероплан с уборною!

На этих словах брюнетка выпрямилась более обыкновенного и принялась изрыгать клубы папиросного дыма. Повеяло древними поверьями, старинными духами и немного отчего-то ладаном. Послышался демонический женский смех, перешедший в икающие рыдания. Кратковременно пахло сиренью; брюнетка испустила стон страсти и обмякла.

— Скажите, — спросил осмелевший Коркин, пока она приходила в себя и поправляла прическу, — а вы с Сорокиным поработать не пробовали? Вот где, по моему, благодатная почва... хотя, простите, если я лезу не в свое...

— Да как же с ним поработаешь, голубчик? — искренне изумился Колесников. — Из него дня три лезть будет, по преимуществу Петр Павленко, это сами знаете, какие ароматы, — а потом, ведь ничего не останется, у него сил не хватит своими ногами уйти! Рассеется, как Грушницкий из школьного сочинения. Помните? «Грянул выстрел, и Грушницкий рассеялся, как дым». Я тут недавно из одной поэтессы — не будем называть имен, дама известная, православная — целый букет изгнал, весь Серебряный век, почитай, и еще Слуцкий... навонял мне тут ружейной смазкой... И что вы думаете? Под руки выводили, пять килограммов потеряла за сеанс! Теперь уехала на пасеку и больше не пишет. Следующий!

Короткий опрятный мужчина лет сорока пяти с бородкой клинышком, с крошечными изящными ручками и ножками прочел абзац, из которого Коркин понял только, что какой-то японский рыбак никак не мог понять, он ли снится рыбе или рыба ему, после чего выяснилось, что оба они снятся арабскому звездочету, который, в свою очередь, является галлюцинацией Артюра Рембо, а Рембо на самом деле не было, потому что его выдумал слепой аргентинец. С аргентинцем все было понятно по первой фразе, но Колесников слушал внимательно, не прерывая. Наконец абзац кончился. В финале выяснилось, что слепой аргентинец тоже не существовал, потому что привиделся в горячечном бреде

дочери бедного скотовода, которая после такого кошмара сошла с ума и умерла, не приходя в сознание. Колесников медлил и хмурился.

— Сильный... сильный дух... давно его не было, — бормотал он, подойдя к книжному шкафу. — Что бы тут попробовать? С Гессе работал, с Кортасаром работал, а этот библиотекарь чертов... Лучше бы Джойс, право слово, или Пруст на худой конец, противэтих Мельников-Печерский отлично шел... А, ладно, была не была! — Он сделал повелительный пасс в сторону изящного корытшки и гробовым голосом продекламировал:

— Дуй, ветер, дуй, пока не лопнут щеки,
И разнеси по свету семена,
Плодящие людей неблагодарных!

Здесь, однако, произошло неожиданное. Корытшка встал и лихорадочно быстро заговорил, не открывая глаз, не выходя из транса, но бурно жестикулируя:

— Как, разве вы не знаете? Никакого Шекспира не было, это плод коллективной мистификации французского библиографа прошлого века Пьера Менара и его аргентинского приятеля Хереса де Пуэльяра! Об этом можно прочесть в единственном сохранившемся томе энциклопедии литературных курьезов, которую выпустил в Антананариву сумасшедший исследователь древних языков...

— Эк его разобрало-то, — сокрушенно покачал головой сосед Коркина, плотный мужичок с хитроватым лицом. — Активизировался...

— *Каждый пишет, как он слышит, каждый слышит, как он дышит,* — пожал плечами Коркин.

Как ни странно, эта цитата, произнесенная вполголоса, произвела на борхесомана совершенно потрясающее действие. Он мелко затрясся, и глаза его стали медленно открываться.

— Продолжайте, продолжайте! — яростно зашептал Колесников.

— *Как он дышит, так и пишет, не стараясь угодить,* — напел Коркин.

На словах *«так природа захотела, почему – не наше дело»* изящный коротышка вдруг испустил из всего своего существа облако пыли, словно его выбили, как старый ковер, принадлежавший упомянутому знатоку восточных языков. Запахло старой бумагой, зубным эликсиром и плесневым грибом. Из рта одержимого выполз маленький книжный червь и в горестном недоумении шлепнулся на пол, где его тут же раздавил торжествующий Колесников.

– Спасибо, голубчик! – горячо обратился он к остолбеневшему Коркину. – Сам бы я ни за что не додумался! Как подействовало-то, а? Непременно в следующий раз попробую это же против Кафки, а то Маяковский, подлец, берет через раз...

– А Маяковского, Коля, чем берешь? – спросил молчавший доселе Катышев.

– Вертинский неплохо шел до последнего времени, – отозвался экзорцист. – Но сейчас, Миша, чистый Маяк – редкость неслыханная. Он теперь в компании с Летовым, с панк-роком, а что с Гребенщиковым делать, я вообще ума не приложу. Только Шевчуком и спасаюсь, да еще если Кобзона включить – сразу вылетает. Совершенно не терпит патриотической песни.

– То-то он, говорят, выпускает диск – песни Кобзона в своем исполнении, – вставила очухавшаяся брюнетка. – Вертинского пел, Окуджаву пел... Теперь за классику принялся. Только слова меняет: «И Будда такой молодой, и Кришна всегда впереди...»

Подошла очередь хитроватого. Он начал было читать описание какой-то бурной оргии на вилле у нового русского, и Коркин слушал его с большим понятным интересом, но на словах «его тридцатисантиметровое чудо по самые гогошары вошло в податливую жаркую плоть Вероники» Колесников решительно прервал пациента.

– Это дух древний и сильный, – сказал он серьезно. – С одного раза вряд ли. Кроме того, в умеренных количествах он даже полезен, но у вас, дорогой, неумеренное количество. Это уже, знаете, приапизм. Спать! – И хитроватый растекся в кресле.

— Что-нибудь целомудренное? — подсказал Ка-тышев. — Может быть, «Девушка пела в церковном хоре»?

— Жалко на Баркова такие стихи тратить, — покачал головой Колесников. — Барков хорошо изгоняется, знаете, патриотической лирикой. О любви к Родине — замечательно идет. Ну-ка... *Я люблю тебя, Россия, дорогая наша Русь...*

Брюки хитроватого натянулись в известном месте. Он плотоядно оскалился.

— Ну-ну, — успокаивающе проговорил Колесников. — Что-нибудь поспокойнее... *Разве можно забыть этих русских мальчишек, пареньков, для которых был домом завод? Забота у нас простая, забота у нас такая: жила бы страна родная, и нету...*

Не успел он дочитать «других забот», как в воздухе послышалось словно хлопанье огромных крыльев, запахло неприличным, мелькнула розовая задница, послышался раскатистый хохот и громовое многоэтажное ругательство. Брюнетка покраснела. Хитроватый сразу осунулся, словно сдулся. Он казался постаревшим.

— А он после этого будет мочь? — не совсем по-русски спросил испуганный Коркин.

— Мочь — будет, — успокоил Колесников. — Насчет сочинять — не знаю. Надеюсь, что нет. Ваша очередь, молодой человек. Почитайте.

Коркин преодолел мучительный стыд, которого обычно не испытывал на публичных, всегда успешных чтениях, и начал:

— Как ни странно звучит, но теперь уже, дорогая, несмотря на все твои письма, увы, когда я вспоминаю тебя — то почти уже беспристрастно, ибо время, всегда побивающее пространство, лечит все; и когда, как Овидий или Горацій, я сижу с полным ртом сравнений в тени акаций, то моя душа, в пустоте воспаряя к Богу, обглаживает любовь, как куриную ногу.

Не дослушав, Колесников засуетился, забежал по приемной, дергая себя за бороду и потирая лоб. «Сложно, сложно, — бормотал он про себя, — глубоко проник, да и дух сильный, нешуточный... Чем бы его... чем бы...»

И в этот момент он неуловимо напоминал Коркину фельдшера из «Хирургии», который выбирает между щипцами и козьей ножкой.

— С вами придется без гипноза, молодой человек, — сказал он наконец Коркину. — Без вашего усилия ничего не выйдет. Либо вы по собственной воле освободитесь от этого рабского влияния, либо он так в вас и останется, лучшие годы отравит. Сосредоточьтесь и усилием воли исторгайте его из себя. Вам же лучше знать, где он сидит! А я помогу...

И Колесников четко прочел:

— Шепот, робкое дыханье,
Трели соловья,
Серебро и колыханье
Сонного ручья,
Свет ночной, ночные тени,
Тени без конца...

Коркин ясно чувствовал, что внутри у него что-то морщится и подергивается, как от укулов, но не сдается. Рот наполнился едкой горечью. Глядя прямо в глаза поэту, Колесников перешел на более мощное средство:

— Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины,
Как шли бесконечные злые дожди...

Дух внутри Коркина заметался, но тут же заглушил голос экзорциста начальными строчками «Памяти Жукова», которые громом отдались в ушах молодого литератора. «Универсальный, черт», — краем сознания сообщил Коркин, но Колесников не сдавался.

— В закатных тучах красные прорывы.
Морская чайка, плаваний сестра,
Из красных волн выхватывает рыбу,
Как головню из красного костра.

Дух скривился, заставляя скривиться и Коркина, и отозвался цитатой из «Нового Жюль Верна». На лице Колесникова выступил крупный пот, на лбу ижицей вздулась вена.

— Стояла зима.
Дул ветер из степи.

И холодно было младенцу в вертепе
На склоне холма.

Дух взорвался в ушах Коркина строчками «Рождественского романса», заглушившими даже следующий колесниковский залп — «Балладу о рыжей дворняге» Эдуарда Асадова. На такие тексты он не реагировал вообще.

Но тут, чувствуя переломный момент, вмешался Катышев. Он пружинно вскочил на ноги и, оставив прямо в Коркина указующий перст, напористо и быстро за тараторил:

— Драмкружок, кружок по фото,
А мне еще и петь охота!
А что болтуня Лида, мол,
Это Вовка выдумал.
А болтать-то мне когда?
Мне болтать-то некогда!

Коркин на миг потерял сознание. Он очнулся от резкого и сложного запаха, сочетавшего в себе крепкий табачный перегар, послевкусие граппы и гнилье прилива. Пахнуло каменной сыростью и тухлой водой канала. Послышался осенний крик ястреба, картавое тьяканье чаек, и сноп искр вырвался из коркинского рта. Блаженное опустошение овладело поэтом, как если бы он свалил со спины пятидесятикилограммовый мешок цемента. Демон с шумом ввинтился в потолок, слегка опалив известку, и запахи пропали. Колесников вытер пот.

— Молодец, Мишка, — сказал он после паузы. — Как же я сам-то не догадался?

...Легкость и радость не покидали Коркина на обратном пути, когда он, оставив Катышева распивать чай с экзорцистом, торопился домой. Предварительно они с брюнеткой обменялись телефонами под предлогом последующих консультаций насчет последствий лечения. Брюнетка при ближайшем рассмотрении оказалась очень даже ничего себе. Вдвоем они сволокли хитроватого в такси и расстались до ближайших выходных. Коркин ликовал, глядя, как в конусах света под фонаря-

ми резвится морось. Дружелюбный троллейбус, наполненный светом, проплыл мимо и разделил его радость. Двое совершенно счастливых влюбленных, не сводя друг с друга глаз и поминутно спотыкаясь из-за этого, шли по Бульварному кольцу, сиявшему витринами. Дома Коркина ждал заботливо приготовленный матерью рождественский гусь.

«Гусь — это прекрасно, — думал Коркин, машинально подыскивая рифму. — Гусь... гусь... влюблюсь!»

— Молодой человек! — услышал он слева от себя. Прелестная девушка в ярко-красной куртке протягивала ему сигарету и спички. — Попробуйте наши фирменные сигареты «Казбек люкс» и знаменитые спички того же названия!

— Вы... вы девочка со спичками? — потрясенно говорил Коркин.

— Типа того, — кивнула она.

— Так пойдете ко мне! — воскликнул он. — Вы же замерзнете!

И они пошли к нему. Но это уже совершенно другая сказка.

ОБХОДЧИК

Александр Житинскому

Старцев отряхнулся, оббил снег с валенок, снял тулуп и поставил чайник. За окном темно. Полотно было в порядке, посторонних он не заметил, да и неоткуда было взяться посторонним. Все эти разговоры про диверсантов гроша ломаного не стоили. Поезда сегодня не было, и до конца недели он его тоже не ждал. Зачем поезд? Про вечно бодрствующую армию на границах Старцеву тоже было все понятно. Никому ничего не надо, любой мог прийти и взять, если б нашел, что брать. А если и была какая-то армия — тоже небось состояла из одного дежурного по КПП. Прочие спали в дормиториях, замаскированных под казармы.

Спячка продолжалась вторую неделю — полная, глубокая, трехмесячная, третья по счету. Спали горожане, крестьяне, бомжи, металась во сне интеллигенция, храпели попы, отслужив напутственное молебствие на сон грядущий: «Дажь мне, Господи, в ноци и зиме сей сон перейти в мире, да восстав в апреле от смиренного ми ложа, благоугожду пресвятому имени Твоему и поперу борющие мя враги плотския и безплотныя». Спала власть в подземном дортуаре, истинного местонахождения которого не знал никто (хоть и поговаривали, что самая-самая элита инкогнито оттягивается на лыжных курортах — Старцев знал, чувствовал, что никуда они не делись, что никакой курорт не заменит им сна, благодетельного, уютного, снимающего все вопросы). Куда бы они сбежали, на кого оставили страну? Про мистиче-

скую связь народа и власти — все правда. Оставишь народ в дормиториях, улетишь в Альпы — и заснешь посреди трассы, отскребай тебя потом. Да и мало ли что тут делается, пока ты бодрствуешь. Нет, спать, так уж всем. И сонная эта эманация была до того заразительна, что один чех, встретившийся ему летом, так и признался: около ваших границ, говорят, народ зевает и спит на ходу. Кофе глушить приходится литрами. Может, это у вас сонные генераторы включены? Да нет, пожал плечами Старцев, какие генераторы. У нас это давно, мы это умеем, это с самого начала было в нашей природе, которой мы теперь наконец перестали противиться.

Спячка выходила выгодной со всех сторон. Производство давно было чисто символическим — так только, чтобы занять руки населения, не участвующего в добыче и экспорте сырья. Жизнь, доказали ученые во главе с министром здравоохранения, заметно удлилась. Мозг отдыхал. В конце концов Россия — страна рискованного земледелия, нас нельзя судить по американским критериям, у нас в иную погоду на улицу выйти — подвиг, а каждый день ходить на работу, наворачивая на себя по три килограмма меха, пуха, кожи, смазывая щеки кремом, а губы специальной помадой, — доблесть, сравнимая с зимовкой в Антарктике. Самое интересное, что Старцев ничуть не завидовал спящим. Он не считал свою работу подвигом, ибо выбрал ее по темпераменту, по любви, а не по наводке профтехобразования.

Иногда он спал, разумеется, — не долее шести-семи часов, через два дня на третий. Дело было не в бессоннице, возведенной теперь в ранг бунта, — а в блаженстве, которое он испытывал, бодрствуя посреди спящей страны. Он никогда в жизни не испытывал такой радости — не спать посреди огромного спящего пространства, чувствуя себя не просто его тайным хранителем, но, если угодно, гарантом существования. Вот этот, который спит сейчас где-нибудь за красной зубчатой стеной или, как Сталин во время войны, в самарском бункере, — какой он гарант? В чем его работа? А путевой обходчик Старцев каждый день и каждую ночь обходит свой участок дороги. В этом нет никакого смысла, потому что

поезд ходит все реже, а к январю, как в прошлом году, перестанет ходить совсем. И так ведь ясно, что армия не нуждается в подвозе продуктов, потому что во сне не ест. Ну, может, кто-то и ест — двое или трое упомянутых дежурных, — но не целый же поезд они сжирают. Так что все эти экспрессы к границам — чистый пиаровский ход, имитация дежурства, ночной зимней жизни... хотя — для кого имитировать? Кто сунется в это подмороженное болото? Старцев любил родину — именно за возможность быть зимним путевым обходчиком, который не спит, когда все спят, — но отлично понимал, что она никому особенно не нужна. Разве что самому Старцеву, и то потому, что здесь он мог чувствовать себя хранителем целой страны, а больше нигде.

Телевизор давно показывал сетку под советские военные марши, радио передавало лирические песни из советских же кинофильмов, а Интернета у него в будке не было. Он в нем и не нуждался. Тут были самые необходимые, надежные и прочные вещи: топчан с двумя одеялами, плитка, чайник, стол, стул, шахматы, библиотечка из пятидесяти книг, которые он отбирал за лето и осень, несколько видеокассет, телевизор, совершенно бесполезный, но почему-то создающий уют, и черный эбонитовый телефон для связи с миром. Телефон иногда звонил, но всякий раз, как Старцев брал трубку, до него доносились только попискивания и потрескивания. Он думал сначала, что это его проверяет госбезопасность, уж она-то не спала, — но какой смысл госбезопасности проверять путевого обходчика? Некого больше, что ли?

Спячка была, если вдуматься, совсем неплохим изобретением. Единственная трудность — с воспроизводством населения: залетать можно было только в марте, чтобы родить в первых числах декабря и погрузиться вместе со всей страной в благодетельный сон. Правда, теперь и рожали мало — не то что во дни процветания; но сырье еще кое-чего стоило, а потому страна продолжала размножаться, хоть и без особенного смысла. Кого плодить-то — сонь? Большая часть населения теперь работала на эти три месяца сна: в ток-шоу обсуждали сны, в НИИ выдумывали безвредные снотворные... Тем не

менее умудрялись как-то рожать, тут же отдавая младенцев в младенческие спальни. Дома всю зиму стояли пустые, в них не топили, экономя на солярке: отапливались только дортуары, похожие на многоэтажные парковки. В дортуарах спала вся семья Старцева — мать, отец, жена, двое детей. Старцеву было странно, что когда-то он считал этих людей своей семьей. Первая же зимовка отделила его от них бесповоротно. У тех, кто впадает в спячку, не может быть ничего общего с тем, кто по собственному почину от нее воздерживается. Экстремисты, говорят, тоже все поуходили из семей.

Экстремисты не желали спать и всячески срывали процесс, но их отлавливали и усыпляли принудительно. Напрасно они устраивали марши протеста, апеллировали к Западу, давно на нас плюнувшему, и доказывали, что спячка отнимает у россиян четверть жизни. Население осуждало их единодушно и охотно. Население хотело спать. Пожалуй, только экстремистов и стоило бояться — Лимонов в свои восемьдесят никак не желал угодниться, и последователей у него хватало, но на подрыв поезда пока никто не решался. Иногда Старцеву казалось, что экстремистов выдумали, наняли за деньги — просто чтобы остальным спалось спокойней. Всегда лучше спится, когда рядом кто-то бодрствует. Он еще в армии заметил: высшее счастье — проснуться среди ночи, услышать, как, ругаясь, встают шоферы на ночной выезд, и радостно провалиться обратно в сон: можно, Господи, не вставать! Это и есть истинный уют.

Раз за день и раз за ночь он по часу обходил свой участок, повторяя про себя: где черный ветер, как налетчик, поет на языке блатном — проходит путевой обходчик, во всей степи один с огнем... Есть в рельсах железнодорожных пророческий и смутный зов благословенных, невозможных, не спящих ночью городов. И осторожно, как художник, следит проезжий за огнем, покуда железнодорожник не пропадет в краю степном.

Это были очень старые стихи. Тогда еще были не спящие ночью города. Скоро рельсы совсем заметет снегом, и Старцеву нечего будет обходить — он уже знал это по опыту двух предыдущих зимовок. Ничего, все равно

будет протаптывать дорожку и проходить хотя бы километр. Полезно. В сущности, он не испытывал к спящим никакой враждебности. Легкое высокомерие, не более. В конце концов, человек — обычное высшее животное, и впадать в спячку для него естественно. Он так увлекся самокопанием — нет ли в нем, на самом деле, презрения к человечеству и если есть, то как бы его побыстрее выкорчевать, — что не сразу расслышал стук в дверь, а потом в окно. Ему показалось, что ему показалось. В следующую секунду он бросился к двери и широко распахнул ее.

На пороге стояла очень замерзшая девушка лет семнадцати.

Старцев так обалдел, что в первую секунду не задал никаких вопросов — просто схватил ее за вялую, безвольно висевшую руку в серой вязаной варежке и втащил в теплую дежурку. Удивительно, как у нее хватило сил постучаться. Лицо у нее было бледно-синее, губы белые, выражение безнадежное. Старцев усадил ее ближе к обогревателю и принялся раздевать, растирать, тормошить — нельзя было отпустить ее в беспамятство, сейчас она должна была любой ценой двигаться, разгонять кровь, говорить, соображать. Самое страшное начинается, когда достигнешь цели и решишь, что всё позади. Тут то от тебя и требуется все мужество, вся сила. Он бормотал ей это, но она вяло кивала и клонилась на лавку, и Старцеву пришлось сильно надавать ей по щекам, чтобы во взгляде ее появилось подобие осмысленности.

— Ты откуда? — спрашивал он. — Как ты тут вообще? С ума сошла, все спят, а она ходит...

— Я из Москвы, — сказала она.

— Это что ж, ты пятьдесят километров пешком шла?! — не поверил Старцев. Начало декабря было холодное, страшное, он замерзал на десятой минуте обхода и принимался подпрыгивать, пробегать метров по сто, тереть нос и уши — как она дошла в своей тонкой дубленке?

— Я хотела на поезд, — сказала она.

— Сейчас, сейчас, — суетился Старцев, наливая ей кирпичного чаю и доливая в тонкий железнодорожный

стакан пятьдесят граммов из заветного запаса. — Вот, пей, да не обожгись.

Она отхлебнула, поморщилась и чуть не уронила стакан.

— Как тебя звать-то?

— Женя, — почти беззвучно сказала она.

— И чего ты делаешь ночью на дороге?

— Поезд, — повторила Женя. — Я думала, что поезд.

— И куда б ты на нем уехала?

— Не знаю. Но ходит же куда-нибудь.

— А чего ты не спишь-то?!

— А вы кто? — спросила она наконец.

— Я обходчик здешний. Путевой обходчик, знаешь про таких?

— Не знаю, — сказала она.

Она была красивая, он только сейчас заметил это, красивая, хотя и простоватая: такие если что решат, не отговоришь. У нее было совершенно детское круглое лицо, круглые глаза, нос кнопкой. Такого ребенка нельзя было выпускать из дому зимой, но кого же они спрашивают? Уходят, куда глаза глядят, и не удержишь. Такие влюбляются на всю жизнь и никогда не прощают измен, им ничего нельзя объяснить. Лицо круглое, а сама худая. Слава богу, ничего не отморозила, — Старцев растер ей ноги, уложил под ватное одеяло, силком влил стакан чая с ромом и уселся рядом. Около часа она пролежала молча, но не спала, а всем телом впитывала тепло. Из нее словно вынули позвоночник — вся сила ушла разом, она и пальцем не могла пошевелить. Только через час стала монотонно рассказывать, глядя мимо него, — Старцев молча слушал, дивясь ее наивности и тому, что одинокая будка со светящимся окном так издали случилась у нее на пути.

Она была влюблена в экстремиста, уже второй год, влюбилась сразу после школы. Он был ее однокурсник. Учебный год начинался теперь первого апреля и заканчивался первого декабря. Однокурсник был красивый, загадочный, грязный, неухоженный. На третий день знакомства он признался ей, что не спит. Они все в организации не спят, потому что не считают возможным отнимать у себя по три месяца. Организация ей

тоже понравилась: романтично, и так странно, что их все ищут, а они так запросто растворены в городе: учатся в институтах, кадрах девушек. Она сама не заметила, как стала везде ходить с ним, говорить только с ним, а потом и спать с ним. Матери с отцом он активно не нравился, и это тоже было романтично.

— Он все рассказывал, как они не спят. Все автобусами разъезжаются по дортуарам, марши там, митинги... проводы... Хрюша и Степашка всех благословляют, из «Спокойной ночи, малыши»... Потом прием снотворного, коллективный. Всем из ложечки, как причастие. А они сбегают. Просачиваются как-то. Там же, знаете, и не досматривают как следует. Ясно же, что все равно тут зимой делать нечего. Все спят. Магазины закрыты. Жрать нечего, в телевизоре один канал армейский. Сума сойдешь за три месяца. Дортуары все равно закрыты, буди не буди. Ну разбудишь ты одного, двух, а толку? Они все равно все как под кайфом, разговаривать нельзя... Но Павел — он так рассказывал! Он говорил, что когда все спят — тут самое начинается интересное. Ночная жизнь. Что они на квадратах каких-то гоняют. Что по пустому городу устраивают автогонки. Что никакой милиции — делай что хочешь. И хотя квартиры закрыты, но можно иногда залезть. Не то чтобы воровать — они же идейные, не воруют, — а просто вот так залезть в чужую жизнь. Очень интересно. Он мне рассказывал, как однажды ночью залез в антикварный магазин и три дня там прожил среди старых вещей.

Старцев ни за что не хотел бы остаться на ночь в пустой Москве. Электричество в домах отключено, энергия экономится, полусвет и тепло только в дортуарах, да и тепло такое, какого достаточно медведю для спячки: что-нибудь около нуля. Пустые серые улицы, короткие дни, долгие морозные ночи. Даже в Новый год никого не будят — его празднуют заблаговременно, накануне спячки, перед тем как погрузиться в трехмесячную нирвану. Поговаривают, что рано или поздно научатся транслировать фильмы непосредственно во сне, с помощью специальных электродов, прикрепляемых ко лбу, — но пока не получается. Все лежат и смотрят соб-

ственное скучное кино про скучную жизнь, а жизнь наполнена девятимесячной подготовкой к главному празднику. Счастье наступает в дортуаре, после ложки снотворного, в уютном спальном мешке, в сознании полной безопасности, в детском, даже и не детском, а пренатальном, дородовом уюте. Спать, пуская слюни; спать, ни за что не отвечая, ничего не делая, ни о чем не помня; спать, как спят в ночном поезде, промахивающем снежные пустые равнины, — все равно от тебя ничего не зависит, ты не можешь изменить маршрута, железная дорога потому и называется железной; спи, во сне ты не сделаешь зла, не обидишь, не предашь; спи, во сне ты привыкаешь к смерти и видишь — ничего страшного. Когда тебя вычли из мира, он не рухнул, не перевернулся. После смерти мы, наверное, тоже проснемся, посмотримся, поймем, что без нас ничего не изменилось, — и снова провалимся в сон, уже окончательно. Это и будет Страшный суд.

— Ну вот, — продолжала Женя, повернувшись на левый бок и подложив кулак под щеку. — В первую спячку — она вообще была вторая, но у нас первая — я отказалась с ним остаться. Я пошла и заснула с родителями. А он меня после спячки встретил и еще месяц презирал. Демонстративно с Катькой ходил. Но потом помирились как-то, в парке Горького. Я ему все сны рассказала, а он говорит — дурацкие у тебя сны. Мы, говорит, пока ты дрыхла, устроили тут ролевою игру в блокаду, в вымерший город. Фотки показывал. Я потом только узнала, что он их из Сети скачал и что ничего не было.

— А что было? Что они делали?

— Ничего не делали, — сказала Женя. Старцев подумал, что сейчас она заплачет, но она сдержалась. Если бы она и плакала, то уж никак не от тоски по своему неухоженному красавцу, а исключительно от стыда. Потому что она поверила, как последняя дура, а верить было нельзя ни в коем случае. Она убежала из дома за день до спячки, испортила родителям Новый год, тайно встретила в лесу с этим своим Павлом и всей его командой и приготовилась к долгой зимовке, запасала, идиотка, консервы... а они, как только отгремели митинги и окон-

чательно успокоилась во сне Москва, побежали в какое-то выселенное здание, где у них, представляете, был устроен собственный дортуар, с автономным отоплением... и полезли в спальные мешки... и нагло тались снотворного... и стали спать, как суслики! Пашка, сволочь, первый же захрапел!

Она действительно едва не разревелась, вспомнив, как стояла одна посреди заброшенной пустой школы, которую облюбовала оппозиция для дортуара, как смотрела на их вождя, с довольным похрюкиванием забравшегося в красный атласный мешок, как все они натягивали толстые вязаные шапочки, как закрывали на молнию мешки, оставляя снаружи только пороссячи розовые носы, — и как Паша уже сквозь сон ей пробормотал: «Ну что ты как дура! Полежай ко мне! Как ты не понимаешь, нам совсем не обязательно НЕ СПАТЬ. Нам важно СПАТЬ НЕ С НИМИ. Это и есть настоящая оппозиция... опезо... Кххр...»

— А ведь это он дело сказал, — удивился Старцев. — Действительно умный парень, Паша-то.

Женя посмотрела на него с недоумением.

— Но они же всё ввали, понимаете? Нету никаких экстремистов!

— Почему, есть, — усмехнулся Старцев. — Целых двое. Мы с тобой.

— В смысле?

— В смысле мы не спим. А все спят. Какого тебе еще экстремизма?

Только тут она испугалась его.

— А вы почему не спите?

— Да не маньяк я, — сказал Старцев. — Не бойся. Я дежурный по этому участку, путевой обходчик. Слежу за железной дорогой, чтобы поезд ходил.

— А он ходит?

— В последнее время не ходит, — признался Старцев.

— Тогда зачем же вы...

— Ну, не знаю. Просто так. Считаю, что я оппозиция.

Некоторое время они молчали.

— А что, — снова усмехнулся Старцев. — Я вообще то догадывался. Больно рожи у них были заспанные в апреле.

Женя кивнула.

— Я тоже заметила. Паша опух даже. Говорил, что от холода.

— И что ты делала? — спросил Старцев. — Когда заснули все?

— Да ничего. Пришла в город. Пошла к себе домой. У меня ключ был. Мать мне записку оставила, что я сволочь и все такое. Догадалась. Первое время у меня все было — консервы, печенье. Я отложила в диван и на антресоли еще. А потом чувствую — скоро еда кончится. Магазинов нет. Милиции нет, дрыхнет вся. Где-то очень глубоко дрыхнет, чтобы во сне не поубивали. Ну вот, они спят, а мне что делать? Я вспомнила, что поезд должен отходить на границу, со снабжением. Пошла на Ленинградский, а там никого. И на Ярославском никого. Я на Белорусский, там меня чуть не арестовали. Убежала. Думаю, значит, по рельсам пойду и в дороге перехвачу. Иду, иду, а поезда нет. Замерзла совсем, а назад страшно. Потом вижу — у вас свет, вас издали видно. Километра за три. Еле дошла. Думала, что арестуют, а потом думаю: ну не убьют же! Лучше арестуют, чем так... в полях, на рельсах...

— Ну а если б поезд пошел? — спросил Старцев. — Что б ты делала?

— Махала бы, — с недоумением, словно удивляясь собственной наивности, сказала Женя. — Он бы остановился... наверное. Подобрал бы.

— Хрена он тебя подобрал бы.

— Да нет, не может быть. Неужели замерзать бы бросил?

— Ну, может, и подобрал, — буркнул Старцев, не желая подтачивать ее веру в человечество. — Привез бы тебя в часть. А там один дежурный пограничник. Что делать будешь?

— Ну, тушенка-то у них есть какая-нибудь? — спросила Женя. — Нашли бы для меня хоть буханку, нет? И потом, все-таки люди...

— С людьми-то страшной иногда, — сказал Старцев.

— Нет, — убежденно возразила она. — Страшной, чем в Москве без людей, нигде не будет. Там же совсем никого, понимаете? Вообще. Ледяная пустыня. А он говорил — гонки...

Она все-таки разревелась.

— Да не реви ты, — сердито сказал Старцев. — Что такого? Подумаешь, весна скоро. Через два месяца с небольшим, всего-то. Проснутся все. А ты им будешь рассказывать, какие тут гонки.

Эта мысль ее позабавила.

— А мы тут пока с тобой дежурить будем, — воодушевился Старцев. — По очереди полотно обходить. Чаю у меня хватит, ем я мало. Книжки есть. Будем сочинять, чего тут было, пока все спали. Когда тепло, то не страшно. Печку будем топить. Знаешь, как интересно обходить пути? Идешь совсем один, небо бархатное, звезды. Вокруг ни человечка, ни огонька, ни дымка отдаленного. Фонарь у тебя. У меня большой фонарь, красный с белым. Над полосую отчужденья фонарь качается в руке, как два крыла из сновиденья в середине ночи на реке... И в желтом колыбельном свете, у мироздания на краю, я по единственной примете родную землю узнаю... И осторожно, как художник, следит проезжий за огнем, покуда железнодорожник не пропадет в краю степном.

— Это что? — спросила она.

— Это старые стихи, не важно чьи.

Он только теперь понял, как ему не хватало второй живой души. Хорошо не спать ночью, а одному все-таки страшно. Лучше, когда не спишь вместе с кем-то. Какое счастье — спать вдвоем, вспомнилось ему. Да, спать вдвоем, но не спать вдвоем — куда большее счастье! Теперь он не один, и, чем черт не шутит, может быть, не один уже навсегда — нашлась наконец такая, которая тоже не спит зимой. Сама пришла из ночного холода, из пустой Москвы, взялась ниоткуда... Старцев налил себе стакан чая и стал медленно, блаженствуя, пить.

— А вас как зовут?

— Олег.

— А вы как думаете, Олег, — спросила она смущенно, — он меня простит?

— Кто? — не понял Старцев.

— Ну... Пашка. Что я не легла с ним.

Старцев помолчал.

— Ему-то с чего тебя прощать? — спросил он брезгливо. — За что? Это тебе прощать его надо — за то, что одну бросил...

— Но он же не мог иначе, — убежденно сказала она. — Он клятву давал, кровью подписывался. Он со всеми. Я сама виновата, если не захотела. А так получается, что я его предала.

Старцев не ответил. Потом до его слуха снова донеслось жалобное хныканье из-под одеяла.

— Да простит, простит он! — сказал обходчик. — Куда денется...

— Мало ли что ему там присни-и-ится, — простонало из-под одеяла.

— Да не приснится ему ничего особенного. Чтобы снилось, надо, чтобы в голове что-то было. А что у него в голове?

— Вы не знаете! — возмущенно прохлюпала она.

— Все я знаю, — сказал обходчик. — Спи.

— А вы не будете?

— Я не буду, мне пока нельзя.

Некоторое время он посидел за столом, прислушиваясь к ее ровному сопенью, потом взял фонарь и вышел пройтись. Все правильно, думал он. Если ты кому-то нужен — ты уже не путевой обходчик, а так, дилетант. Было безветренно, тихо, совершенно пусто. Крупные звезды смотрели на обледеневшую насыпь, да летел между ними спутник, посылая в никуда никому не нужный сигнал.

ПРОВОДНИК

Когда Степанову все надоело, он решил уехать давно выбранным маршрутом, а именно куда попало. Опустим причины, по которым ему надоело, и детали, и отвратительные формальности, почти всегда сопровождающие отъезд. Суть в том, что после некоторых неизбежных переживаний, которые лучше всего перенести, внутренне зажмурившись, — он оказался в удобном спальном вагоне, в котором ехал один, и почему-то в сумерках, хотя дом покидал в разгар душного, влажного, с прибывающей тяжелой жарой летнего дня, еще укрепившего его в решении немедленно куда-нибудь отсюда деться. Вероятно, несколько часов ушло на адаптацию. В английском есть прекрасное выражение *found himself*: оно гораздо точнее нашего «очутился» и всех его синонимов. Он именно нашел себя, как если бы долго шел по качающемуся прохладному вагону с разлетающимися занавесками и вдруг увидел, что давно уже сидит в купе, и тут же с собой воссоединился. Так это выглядело. От жары и не такое померещится.

Он не взял с собой почти ничего, потому что путешествовал без всякой цели и не очень себе представлял, где окажется. Багаж ведь на девять десятых определяется пунктом назначения: к морю берешь плавки и крем от солнца, за границу — путеводитель, к иногородней возлюбленной — подарок, а он ехал с твердым намерением сойти, где понравится. У него было сколько-то денег и кредитная карточка: на месте сориентируемся. Не-

сколько раз в жизни он уже решал так свои проблемы — садился в поезд и ехал куда глаза глядят, и за время его отсутствия все рассасывалось само. Устраниться — это самое верное, без нас решат свои проблемы, вернемся на готовое: как сложится, так и сложится. Сумерки тянулись долго, как бывает только в июне. За окном стоял болотный зеленоватый свет, тянулся зубчатый лес, над ним висела бледная звездочка, похожая на цветок во мху. Темнело и никак не могло стемнеть окончательно, в этом было что-то жалобное, как будто некто на прощание уговаривал Степанова: не едь, ну его, можно еще сойти. Была даже пара остановок на станциях с незначущими названиями, которые он тут же забыл, хотя уже проезжал, вероятно, во время своих бесчисленных отъездов из Москвы по всяким, как казалось теперь, дурацким делам. На одной станции — то ли Девятово, то ли еще как-то — он особенно ясно почувствовал, что вся его дальнейшая судьба решится именно тут: можно сойти, и тогда все пойдет одним путем, а можно остаться, и тогда — другим. Но чтобы сойти, требовалось усилие: надо было встать, пройти по коридору, выйти из прохладного вагона на все еще душную станцию, где асфальт нехотя отдает дневной жар, да идти по ней, да еще как-то добираться домой из пригорода, борясь со смутным стыдом от нереализованного намерения. Да и желание вернуться было слабое, вроде укола, вроде виноватого призыва — так однажды позвала Степанова одна женщина, которая полчаса очень серьезно его убеждала, что им надо обязательно разбежаться, а когда он встал с облупленной скамейки и пошел прочь из пыльного жалкого сквера, в который у них давно все превратилось, — она вдруг беспомощным голосом окликнула его по имени, но он уже, конечно, не обернулся, потому что сам давно хотел ей все это сказать, но жалел. Ему всегда проще было довести до того, чтобы как-то разрешилось само. Вероятно, это было плохо, но укол совести был такой же слабый, как призыв остаться. Он уже освоился в вагоне, отяжелел и как-то привык.

Именно после этой станции, на которой, словно давая ему время для выбора, простояли минуты четы-

ре, — появился проводник. Он был высокого роста и пригнулся, чтобы войти в купе; на вид ему было лет сорок с небольшим, как и самому Степанову, и у него было длинное лицо с извиняющимся выражением, какое бывает только у очень хороших проводников, отлично сознающих, что даже самое комфортабельное купе и самое деликатное обслуживание не искупают маленькой трагедии отъезда, перехода из одного уклада в другой. Проводник нес чай в тонком стакане, в старинном серебряном подстаканнике — Степанов понял, что купил билеты на очень дорогой поезд, но было так жарко, он ничего не соображал, дремала даже жадность... Впрочем, для такого путешествия, когда все действительно очень надоело, не надо жалеть денег. Пусть все будет по высшему разряду. Проводник поздоровался, поставил на стол свой тяжелый подстаканник и жестами фокусника, с той же виноватой улыбкой, принялся извлекать из бесчисленных потайных кармашков нехитрое, но вкусное дорожное угощение: вафли «Артек», пакетик с цукатами, орешками...

— Сколько с меня? — спросил Степанов.

— Ничего, это все входит в стоимость... Если что-то понадобится, позовите меня. Тут кнопка, — он отвел занавеску и показал небольшую белую кнопку рядом с лампочкой.

— Понимаете, какая вещь, — осторожно начал Степанов, понимая, что сейчас скажет глупость и будет выглядеть смешным, но почему-то это не имело значения. — Я еду не по делу, просто так путешествую. И у меня еще нет окончательного решения, где сойти. Может быть, вы подскажете какой-то пункт назначения, какой-то город, где можно провести время... отдохнуть от всего и вообще...

— Я подскажу, — кивнул проводник. — Это будет утром, часов около восьми. Разбужу за полчаса.

— А что за город? — лениво поинтересовался Степанов. Его уже клонило в сон, прохлада этого вагона и зеленоватый свет за окном удивительно располагали к дремоте.

— Вы не перепутаете, — сказал проводник. — Других остановок не будет. Потом будут, а до него нет.

Проводник не задвинул за собой скользящую бесшумную створку, и Степанов увидел, как по коридору с обычным подстаканником идет другой проводник, приземистый и плотный, и мелькнула еще длинноногая поджарая проводница с бутылкой сидро.

— Как вас здесь много, — заметил он одобрительно.

— Да, у нас поезд высокой комфортности. У нас каждому пассажиру придается свой проводник, — это было сказано со сдержанным достоинством, с тайной гордостью за фирму.

— Вообще, понимаете, — произнес Степанов, отчего-то чувствуя себя очень легко и непринужденно с этим длинным, которого видел впервые. — Мне кажется, что здесь несколько перебарщивают. Что комфортабельность дороги, как бы сказать, обратно пропорциональна ее осмысленности. Когда человеку очень нужно куда-то попасть, он не обращает внимания на комфорт, на крыше готов ехать. А когда ему все равно куда, очень важно именно обставить дорогу. Вы не находите, что у нас сейчас очень много внимания уделяют именно разнообразному укомфорчиванию, обудобливанию, — он говорил, посмеиваясь над собой, с легкостью, которая бывает только во сне, но сейчас все было наяву, только ощущения доходили с запозданием, как по укурке. Чай горяч, но горяч словно сквозь пелёну, и даже хруст надкусываемой вафли доносился с небольшой задержкой, как гром после молнии. Эта мысль дополнительно позабавила Степанова, и проводник, казалось, прочитал ее — он тоже улыбнулся.

— Да, вы правы, — заметил он, — но ведь это всегда так. Забота о комфорте — всегда забота о человеке. А о чем еще сейчас заботиться? Разве лучше, когда едут друг у друга на головах?

— Не только о человеке, — уточнил Степанов. — О лице фирмы.

— Ну, у нашей фирмы такая репутация, что уже и заботиться особо не надо, — серьезно сказал проводник. — Потом, мы все-таки монополисты.

— Э, э, э! — добродушно погрозил ему Степанов. — Так нечестно.

— Как это говорится? — при всем богатстве выбора альтернативы нет, — ответил проводник. Он, казалось, никуда не торопился, сидел напротив, зажав руки между колен, и всем видом изъяснял готовность поддержать разговор, чтобы пассажир, не дай бог, не загрустил. Чай был крепкий, бодрил, — Степанову расхотелось укладываться, он решил потолковать с проводником, отвечавшим на все вопросы удивительно точно, то есть в полном соответствии со степановскими ожиданиями и даже чуть умней. Говорить можно было все что угодно: проводник есть проводник, нанятый попутчик. Так иногда случайному человеку в купе выложишь все о себе и пойдешь с утра жить дальше, облегчив душу.

— Но все-таки признайтесь, что большинство сейчас едет, как я, — продолжал он, развалясь. — Никакого особенного представления о цели, поэтому особенное внимание к обстановке. В сущности, только удобствами все сейчас и заняты, только это и предлагается. И я не возражаю — мне очень нравится этот ваш поезд. Но этим всем искупается, так сказать, полная неопределенность в конце...

— Я не думаю, — мягко сказал проводник. — Это, наоборот, как бы намекает, что в конце не будет ничего плохого... ничего страшного. Какова бы ни была цель вашего путешествия, как бы ни выглядели его причины — вам по крайней мере дают понять, что жизнь несколько лучше ваших представлений, что мир устроен милосерднее, что о вас позаботятся. Сегодня, кажется, главная проблема как раз в том, что человек ходит по очень тонкой пленке и в любой момент может провалиться, и ему кажется, что никто не протянет дружескую руку. Но когда он попадает в атмосферу заботы, ему сразу начинает казаться, что мир не так уж враждебен... что он, может быть, не вытесняет его, а даже рад... Согласитесь, что сама по себе ситуация отъезда... от всего привычного... она предполагает некий стресс. Даже просто выйти из дому и доехать до вокзала — уже стресс,

хотя вы не отдаете себе в этом отчета. Надо это уравновесить, если можно, — разве нет?

— Но тогда из таких стрессов состоит вся жизнь, — возразил Степанов.

— А как же. Все не очень удобно, чаще всего противно... Потом это накапливается, и тогда в один прекрасный день все надоедает. Тогда нужен проводник. Он дает вам понять, что ни перед кем не нужно больше оправдываться. Вы все делаете правильно, вы сели именно в тот поезд и приедете именно в тот город.

— Замечательно, — протянул Степанов. — Замечательно! Какая отличная услуга! Человек едет в командировку, совершенно не нужную ни ему, ни делу, просто для галочки. К нему в купе заходит проводник и убеждает, что эта поездка осмысленна, что все по делу...

— Да, конечно, — кивнул проводник. — Но это, само собой, не во всяком поезде.

— Ну хорошо. А уговорить меня, что все остальное имело смысл, вы можете?

— Само собой, — кивнул проводник. — Вы же попали в наш поезд, а значит, все не просто так.

— Но этот поезд расслабляет, — Степанов сделал последнюю попытку объяснить себе и проводнику чувство смутной неловкости, незаслуженности происходящего. — Мне начинает казаться, что я все это заслужил. А я ведь не заслужил, я просто купил билет.

— Ну, купить билет тоже надо уметь. Нужна решительность, даже храбрость, — уважительно сказал проводник. — Я бы во многих ситуациях еще подумал, а люди так быстро делают выбор. Это героизм, почти как на фронте.

— Да, да... Но понимаете, когда человек окружен удобствами и услужливостью, он поневоле приходит к более высокой самооценке. Ему кажется, что он ни в чем не виноват. А ведь все виноваты...

— Неправда, — сказал проводник. — С этим я буду спорить. Я не знаю, кто вам это внушил. Почему виноваты, перед кем? Почему обязательно надо представлять себе суд? Человек мучается всю жизнь, с самого рожде-

ния, — надо быть поистине очень изобретательным сандистом, чтобы за это с него еще взыскивать. Есть, конечно, люди дурные, наслаждающиеся страданиями ближних, но их количество сильно преувеличено, в основном литературой, которой все время нужны конфликты. А так — обычные пассажиры, уверяю вас. Я много повидал пассажиров, давно работаю. И каждый, садясь в поезд, почему-то уверен, что он виноват. Кто вас так довел — непонятно. Никто ни в чем не виноват, спите.

— Ну, как знаете, — проговорил Степанов, уютно устраиваясь на полке. — По-моему, я все-таки не очень хороший человек.

— Очень, очень, — пробормотал проводник и, пригнувшись, вышел. А Степанов заснул еще до того, как синяя сутулая спина проводника растворилась в сумраке коридора.

Он проснулся утром от деликатного стука в стенку — дверь так и оставалась всю ночь открытой.

— Вставайте, приехали.

— А что за город все-таки?

— Да вы не беспокойтесь, я провожу, — сказал проводник.

— В каком смысле проводите? Вам же ехать дальше?

— Нет, у нас такая услуга. Я помогаю выбрать город и устроиться, а потом поеду. Проводник — значит, провожает.

— Но тут хоть гостиница есть?

— Зачем гостиница? — удивился проводник. — Мы дом снимем.

— Это что, тоже такая услуга? — начиная злиться, спросил Степанов. Ему переставал нравиться этот повышенный комфорт.

— Это уже не наша услуга, это город предоставляет. По договору с нами. Неужели вы думаете, что не заслужили дом?

— Да откуда вы вообще знаете, что я заслужил или не заслужил?! Я уехал на два дня, в себя прийти...

— Ну и славно, и разве можно в гостинице прийти в себя? Гостиница — шум, плохой буфет, чужие люди...

В доме хоть выспаться можно. Посмотрите город, погуляете...

— Черт знает что, — проворчал Степанов.

Он представил, что проводник сейчас ответит его в город, к какой-нибудь домохозяйке, с которой у него договор о поставке клиентов, а дом небось грязный, провинциальный, еще баб каких-нибудь навяжут, сутенеры... Проводник смотрел на него с тайной насмешкой, и это бесило еще больше.

— Если вам что-нибудь не понравится, — сказал проводник, — вы всегда можете выбрать гостиницу или другой дом. Но вам понравится, я для этого с вами и схожу.

Поезд дернулся, как бы предупреждая о скорой отправке.

— Пойдемте, пожалуйста, — сказал проводник. — Еще заедем куда-нибудь не туда.

— Да мне одеться — подпоясаться, — буркнул Степанов, надел ботинки и вышел вслед за проводником на прохладный пасмурный перрон. Хорошо, что жара отступила и началась его любимая погода — серенькая, с вечно собирающимся, но так и не проливающимся дождем, с низкими тучами, ходящими вокруг. Он взглянул на желтое здание вокзала, пытаясь прочесть название города, сощурился, но так ничего и не разобрал. Видно было, что кончается на «ск».

Он бывал в таких городах, хорошо знал их — желтые и серые домики, холмы, широкая стальная река, перелаивающиеся собаки, маленький базар с семечками, солеными грибами и китайским ширпотребом, обязательно районная библиотека имени родившегося здесь трехстепенного литератора, полуразвалившийся кинотеатр, иногда краснокирпичное заводское здание на целый квартал... Они долго шли в гору, Степанов даже начал задыхаться, — проводник шел легко, уверенно и мог бы идти гораздо быстрее, но из уважения к Степанову подлаживался под его медлительность. Он, кажется, точно знал пункт назначения и не путался в паутине неотличимых горбатых улиц, то утыканых частными одноэтажными домиками, то заставленных рядами ветшающих хрущоб. Степанову казалось, что он узна-

ет места, но это потому, что он слишком часто бывал в таких городах. Однако один поворот показался ему окончательно и безоговорочно знакомым — кажется, точно так обрывалась улица, на которую они с родителями только что переехали, когда Степанову было пять лет. Тогда московская окраина только застраивалась, и можно было ходить в ближайшую деревню за сиренью. Вот эта улица была очень похожа на ту, обрывающуюся, — только сирени уже не было, отошла. Все-таки ужасно, как у нас все одинаково.

— Вот сюда, — сказал проводник. — Если не понравится, мы еще поищем.

Он привычно достал ключ из-под половики и открыл деревянный дом, выкрашенный изрядно полинявшей синей краской, — Степанов отлично помнил этот цвет, так выглядел дом дачного соседа, человека таинственного, вечно палившего свет по ночам. Говорили, что он сошел с ума и добывает химическое соединение, способное уничтожить на участке всю траву и не причинить вреда только полезным культурам. Сосед был ласков, тих и угощал Степанова малиной, росшей вдоль забора.

Но, едва войдя, Степанов сразу понял, что ничего другого искать не придется. Если у проводника и был договор с домохозяйкой, то домохозяйка по крайней мере честно выполняла все условия. Первая же комната, в которую они шагнули с веранды, была та самая, какую он хотел: самая счастливая его комната, в которой он жил, когда ему было пятнадцать. Это вообще было лучшее время, пробуждение всех способностей, осознание всех возможностей. Мир глядел на него тогда с радостным изумлением — вон как, ты умеешь и то, и это! Он радостно узнал диван с зеленой обивкой, стол с выдвигающимися ящиками, старый, от прабабки (один не открывался, он так и не узнал, что там, — пока был в армии, родители поменяли всю мебель; что там могло быть? Ничего, теперь посмотрим, теперь наверняка откроются все ящики). Он заглянул под диван и радостно увидел мяч, потерянный, когда Степанову было пять лет, на ровном месте: укатился в лесу за кусты, все искали, не нашли.

Вот он где! Обои несколько обветшали, но узор на них был прежний, пересекающиеся под прямым углом линии, белые на сером фоне, столько раз рассматривал по утрам, в солнечном квадрате, медленно перемещавшемся от изголовья к ногам. Когда он доползал до трещины, уже точно пора было вставать.

— Ну? — радостно спросил проводник. — Я же говорил, вам другого не захочется.

— Нормально, нормально, — пробормотал Степанов.

Все было сделано точно, со вкусом, фирма веников не вяжет. Правда, увлеклись, копируя: вот дверь на балкон, ведь они жили на третьем этаже, а какой балкон в одноэтажном деревянном доме? Но он подошел к балконной двери и увидел тот самый пейзаж, с которым вырос, который сменился после переезда, но так и остался любимым и незаменимым. Люди идут с работы (рядом был завод, обычная рабочая окраина Москвы начала семидесятых), троллейбусы поворачивают за угол... Правда, сейчас почти никого не было, но время было то самое: золотистый закат над улицей и далекими капустными полями. Еще дымит толстая приземистая труба, за которую как раз и опускается солнце. Надо будет завтра с утра посмотреть — вдруг там будет утро?

— Я посмотрю другие комнаты, хорошо? — Степанов почему-то спрашивал разрешения, хотя понимал, что этот дом уже его собственность.

— Конечно, конечно, — разрешил проводник, присаживаясь на диван.

Степанов думал, что в соседней комнате будет их комната с Ольгой, но вместо Ольгиной комнаты оказалась Надина, полутемная, грустная, где всегда было так невыносимо жаль всех и больше всех Надю, беззащитную, беспомощную Надю, которая этой своей беспомощностью опутала его крепче любых сетей; он отлично знал цену всей этой неустроенности и беззащитности и потому-то сбежал в конце концов, потому что понял, что его уже поймали и сейчас будут жрать; но все-таки нигде и ни с кем он не был так счастлив, как в этой комнате, которую они обставляли вместе, исключитель-

но на его деньги. С Ольгой все было хорошо, нормально, Ольга могла позаботиться о себе, а Надя не могла; но он чувствовал, что Надя играет на этом, а Ольга просто и честно живет, обеспечивая себя, и потому от Ольги не ушел, а Надя не пропала, уехала в конце концов в Англию, но и там, говорят, была несчастна. Комнаты этой больше не было — она продала квартиру, а потом старый дом снесли, это была кирпичная пятиэтажка в районе Рязанского проспекта, но он любил и тополя за окнами, и клумбу под окнами, и даже отвратительных старух у входа. Как-то так получилось, что отдавать, содержать, обхаживать и выхаживать было в его природе, и Надя к этой природе подходила больше; у нее вечно все ломалось, разваливалось, даже новая кровать, которую они выбирали вместе, даже телевизор, который он приволок сам вместо старого, — но и эта хрупкость вещей ему нравилась, все ветшало не просто так, а от соседства с настоящей страстью, всегда разрушительной. И почему тогда не ушел? Все равно ведь ушел потом от Ольги. Ужас в том, что пока отношения живые — они живые в обеих семьях, и мертвеют почему-то тоже одновременно, так что и уходить становится незачем. Он мечтал иногда — вот бы эта комната была его собственная; и она теперь была его, насовсем, но без Нади, которая только мешала бы, без слишком понятной теперь Нади с ее замаскированным, хитро спрятанным хищничеством. Это и есть самое лучшее — когда все о ней напоминает, но самой ее при этом нет. Он радостно узнал ее древний проигрыватель, набор виниловых дисков, сумку со старыми фотографиями на шкафу. Кажется, у нее полно было сумок, не разобранных с прошлого переезда. У нее вечно ни до чего не доходили руки, а чем она, казалось бы, занималась? Но зла не было, никакого зла, одна грусть. И в окне у нее стояло то вечное время, которое он любил больше всего, — четыре часа пополудни, спальня район, вернувшиеся из школы дети скрипят качелями во дворе, покрикивают, гоняют мяч. И ветер из форточки холодит разгоряченное тело. Он больше всего любил оставаться у нее днем, вокруг шла жизнь, никто ничего не знал. Близость

казалась острее от соседства этих криков и скрипов за окнами. Старуха выходила поливать грядку левкоев — интересно, выйдет ли старуха? Или у нее теперь другой дом? Может, ей всю жизнь хотелось играть на фортепьяно или вальсировать с полковниками, а вовсе не поливать левкой?

Третья комната — да, конечно, об этом он догадывался. Эта была дачная, с разохшейся, музыкально поскрипывающей мебелью. Деревянный дом его детства давно сломали, а тот, который выстроили, он не любил. Но тут все было, как надо, — клеенка с изображением чайных чашек, блюдца, розеточки, тахта с красным в полоску покрывалом, шкаф со старыми журналами, лестница на чердак с множеством таинственных предметов и осиными гнездами, лепящимися к крыше... Теперь мы все пересмотрим, все переберем, перечитаем журналы, времени будет много.

Четвертой комнатой оказалась детская первого сына, старшего, любимого (врут, что младших любят сильнее), — он вырос теперь и стал неузнаваем, с ним не о чем было говорить, Степановым он явно тяготился, как тяготились им в последнее время все — неуместным, неудачливым человеком, что-то обещавшим, ничего не сделавшим. Да и что можно сделать? Чего мы ждем от людей? Чтобы они мир перевернули? Но сыну он обещал что-то особенное, персональное, и хотя в этой детской он был особенно счастлив, читая сыну вслух или собирая с ним сборные модели, — Степанов почувствовал именно тут страстную тоску, мучительное желание немедленно что-то сделать, что-то, чего ждали все. Но что именно сделать — он опять не догадывался и вернулся в первую комнату, больше всего боясь, что проводник сбежал и ответа искать не у кого. Но он не сбежал — честно сидел на диване, доброжелательно улыбаясь.

— Спасибо вам, вы очень хорошо все сделали, — сказал Степанов. — Замечательно построили, все детали учтены, я очень рад.

— Благодарите себя, — улыбнулся проводник. — Это ведь вы построили, это и есть ваш дом, который вот так сложился.

— Да, да, — рассеянно проговорил Степанов, — кто что построил, тот это и получит... Очень приятно, что по крайней мере не газовая камера. Но понимаете, я вдруг сейчас подумал: если все этим и исчерпывается, то не совсем правильно. Не совсем. Понимаете, я мог бы больше, лучше... мог бы вообще совсем другое...

— Там еще кладовка, — в некоторой тревоге пояснил проводник. — Ну, помните, десятый класс... у одноклассницы Астаховой Марии...

— Это я помню, да, — отмахнулся Степанов. — Кладовка, спасибо, очень хорошо. Но понимаете... изо дня в день, всегда, смотреть на эти пейзажи... — Тревога, только что напомнившая о себе все тем же слабым уколом, теперь разгоралась, расплзалась по телу, горела уже не только грудь, но и все лицо, и трудно было пошевелить левой рукой. — Мне кажется, что это тоска. И хотя я очень люблю... любил... провинциальные русские города, но есть же множество других возможностей. Мне кажется, если бы вы мне предоставили еще какой-то шанс...

— Но это же было ваше собственное решение, — удивился проводник. — И в Девятове можно было пере-думать...

— Да, да! — досадовал Степанов; его уже бесила эта вежливость. — Можно, но понимаете... иногда до такой степени все это достает... Поймите, иногда себя не контролируешь.

— Мы можем посмотреть другой дом, — терпеливо сказал проводник. — Другие комнаты.

— Нет, нет, не в этом дело! Все равно они все ведь уже были, понимаете?! Иногда принимаешь опрометчивое решение. Бывает, под влиянием минуты, и что я вам рассказываю?! По вам видно, что вы никогда ничего подобного не испытали. Я ценю вашу фирму, я заплачу сколько надо и чем надо. Но я вас очень прошу отвести меня на вокзал. Сам я тут не разберусь, а вы проводник. Вам положено. Это входит в ваши обязанности, в конце концов.

Проводник поднялся, и Степанов обрадовался.

— Ну вот, — сказал он. — Ну вот видите, я же говорил. Пойдемте, да?

— Я пойду, — виновато сказал проводник. — Вы пока посидите тут, успокойтесь. Потом пойдете, погуляете, встретите людей. Тут много людей, просто сейчас на работе все.

— Нет-нет, — настаивал Степанов, — мы пойдем вместе, и вы проводите меня на вокзал. Ну передумал, ну бывает. Ну пожалуйста! — канючил он уже совершенно по-детски. — Что я буду тут делать, сами подумайте! Это же невыносимо, я столько раз все это видел! Столько еще всего можно... пойдете, да? Вы же отведете! Вы проводник!

Проводник остановился на пороге.

— Понимаете, — сказал он, — я, наверное, сам виноват. Надо было предупредить. Дело в том, что я не совсем проводник...

— Ах, да я давно догадался! — воскликнул Степанов. — Что за секреты, подумаешь, все понятно со второй страницы...

— Да не в том смысле. — Проводник поправил очки и наклонился к его уху. — Я полупроводник, понимаете?

— Не понимаю, — сказал Степанов.

— Только в одну сторону, — сказал проводник. — Это там было написано, на стене в поезде. Просто никто не запоминает, а зря. Ну, вы отдохните пока. И потом это... там еще сад, в нем яблоки. Помните, как в колхозе, после первого курса...

— Да-да, — сказал Степанов. — Помню, помню. Яблоки.

МИЛЕДИ

Независимая, состоятельная, молодая, красивая, пышноволосяя, худощавая, длинноногая, изысканная, изящная, профессионально успешная женщина Татьяна по прозвищу Миледи — а как вы хотите, чтобы окружающие трансформировали фамилию Милетинская? — ехала в Москву из Петербурга в комфортабельном, уютном, дорогом, шикарном, отличном купе сверхскоростного поезда ЭР-200, чтобы отметить свое неотвратимое, приятное, зрелое, своевременное, несколько не огорчительное тридцатилетие в обществе своего нового красивого, щедрого, молодого, состоявшегося любовника по имени Григорий.

Миледи сидела в купе и думала о себе именно этими словами. Это было нечто вроде профессионального аутотренинга, но, по совести сказать, она и в самом деле встречала тридцатилетие в полном шоколаде. Врут, что большинство женщин боится возраста. Возраст — это компетентность, это право пользоваться плодами трудов, это особая, зрелая, чуть терпкая привлекательность (она так и думала: «чуть терпкая»). Молодость унижительна. Зрелость — ровное, надежное плато, достигнутое равновесие, и только от нас зависит растянуть его практически до бесконечности. Кроме того, новый любовник Миледи хоть и был младше ее на два года, но совершенно об этом не догадывался: он был главной ее вершиной, тем самым, к кому она шла все эти годы, дегустируя и отвергая предыдущие варианты. К этому че-

ловеку можно было бы даже переехать — он уже намекнул на это. Отметить вступление в новый возраст Татьяна хотела именно с ним. Как встретишь, так и проведешь.

В купе она была одна. Думала сначала выкупить второе место, но потом решила лишний раз испытать судьбу. Судьба в последнее время подбрасывала ей подарок за подарком — повышения, знакомства, проекты. Миледи передвигалась по жизни в ауре всеобщего завистливого обожания, ловила на себе восторженные взгляды и не снисходила до того, чтобы отвечать на них благодарной улыбкой. В конце концов, все это было должное, заслуженное. Тут и таилась прелесть возраста: спелые, так сказать, плоды. Страшно вспомнить, сколько она комплексовала в юности. Теперь уже ничьи резкие слова и грубые замечания (проистекавшие, понятно, от зависти) не портили ей настроения — она научилась игнорировать их. Но ждать подарков от судьбы не переставала — вечная азартная девочка, Диана-охотница. Так думала она о себе: да, Диана-охотница. Беру, что хочу. Вот сейчас войдет прелестный мальчик, или опытный зрелый мужчина, или увлекательный творческий человек, телеведущий или Сергей Минаев, и дорога превратится в еще одно приключение, а Григорий никогда ничего не узнает. Жизнь надо воспринимать именно так — как череду легких праздников, веселых авантур и увлекательных... она задумалась, подыскивая третье слово, и тут дверь купе отъехала в сторону, и глазам Миледи предстал ее бывший муж Прохоров.

— Здорово, Таня, — сказал он, отдуваясь. Прохоров был полноват, но это его не портило — мог себе позволить при почти двухметровом росте. — Не ждала?

— Прохоров?! — изумилась Миледи. — Здравствуй, я очень рада! Какие бывают удивительные совпадения!

— Да, да, — сказал Прохоров. — Прямо как в «Космо». Поздравляю тебя, Таня, с днем рождения.

Он уселся напротив и угнездил на коленях дипломат, но никакого подарка оттуда не извлек. Вот тебе и судьба, подумала Миледи. Разумеется, никакой речи о возобновлении отношений и быть не могло, Прохоров

был исчерпан и отброшен еще три года назад, да и брак длился всего пару лет, — но занятно было посмотреть на него с высоты своих прекрасных тридцати. В нем что-то было, да, что-то надежное, мило-медвежковатое, — но он, конечно, сильно отличался от двадцативосьмилетнего щедрого, состоятельного, состоявшегося, веселого, белозубого, безукоризненно одетого, благоуханного, свежего (нужное подчеркнуть — нет уж, давай все вместе) Григория.

— Прекрасно выглядишь, Таня, — сказал Прохоров с мягкой улыбкой. — А я вот, видишь, все один и выгляжу не очень хорошо.

— Ну что ты, Прохоров, — очаровательно улыбнулась Миледи. — Ты очень, очень славный. Я часто вспоминаю тебя. Мы были друг для друга необходимым этапом. Я благодарна всему и ни от чего не отрекаюсь.

— Да-да, — рассеянно кивнул Прохоров. — А у меня после тебя все не очень хорошо. Ты видишь какая, а я, прямо скажем, не ахти...

«И впрямь не ахти», — подумала Миледи с явным удовольствием.

— Ну, не надо опускать руки, — сказала она. — Никогда не поздно реализовать свой шанс. Ты всегда был недостаточно позитивен, а ведь всё в наших руках.

— Ну да, ну да, — снова кивнул Прохоров, вытаскивал недорогой, некрасивый, немодный потрепанный, неинтересный, ненавороченный мобильник и набрал номер.

— Уже здесь, — сказал он в телефон. — Да, да, все отлично. Ну, привет.

Через несколько секунд дверь купе опять отъехала, — они как раз пролетали мимо Купчина, — и взору Миледи предстал Паша, которого тут не могло быть ни под каким видом. Паша два года назад, с тех самых пор, уехал за границу. Он написал ей, что у него всего два варианта — или убить ее, или убить себя; но поскольку на самоубийство он пока решиться не может, то предпочитает мягкий его вариант, а именно Швейцарию.

— Ой, Паша! — воскликнул Прохоров. — Какая удивительная встреча!

— И то сказать, — кивнул Паша. — Прелестные бывают совпадения. Здравствуй, Коля.

Мужчины пожали друг другу руки.

— А ты гляди, с кем я еду-то! — радостно сказал Прохоров.

— О-о-о! — воскликнул Паша. — Ты едешь с Таней! Вы опять вместе?

— Что ты, Паша, — кротко сказал Прохоров, потупившись. — Разве Таня теперь снизойдет до меня... Видишь, я какой... Я старый, и толстый, и немодный... Нет, я оказался здесь для того, чтобы поздравить Таню с днем рождения.

— Еще одно удивительное совпадение! — с некоторым гнусноватым подвыванием ответил Паша. — Я здесь ровно для того же, йа, йа! Натюрлихь! Дорогая Таня, я поздравляю тебя с наступающим днем рождения.

— Спасибо, — суховато ответила Миледи. Ей переставал нравиться этот парад удивительных совпадений. — Очень приятно, мальчики, что вы встретились как друзья.

— Ну теперь-то что же нам делить? — искренне изумился Паша. — Теперь мы, конечно, друзья. Мы все теперь веселые, позитивные друзья... я присяду, дорогие ребята? — Он плюхнулся на мягкий диван рядом с Прохоровым. — Дружба — такое удивительное, прекрасное чувство... оно, мне кажется, даже больше любви. Как ты думаешь, Коля?

— Нет, — сказал Прохоров и решительно покачал головой. — Нет, как хочешь, Павел, а я не соглашусь с тобой. Я буду с тобой спорить. Любовь провоцирует нас подчас на чудесные поступки, мы сами потом не можем понять, что это на нас нашло... Вот, например, узнав, что Таня любит тебя, я сжег твою книгу в ванной. Вообрази. Там на обложке был твой портрет. Сначала я проткнул тебе глазки и ушки, а потом сжег на хрен в ванной. Прости, Паша.

— Ерунда, — сказал Паша. — Я даже ничего не почувствовал. Зато теперь мы друзья, и это прекрасно.

— Зато Таня почувствовала, — сказал Прохоров. — Правда, Таня? Ей было очень приятно. Когда она об

этом узнала, она очень смеялась, очень. Вообще, мне кажется, ей нравился наш тройственный союз...

— Только когда ты не напивался, — резко сказала Миледи.

— Да, да, я напивался, — покаянно кивнул Прохоров. Она сразу вспомнила эту его манеру — шутовские покаяния вместо того, чтобы сделать хоть шаг к реальному изменению ситуации. — Я вообще чуть не спился, когда ты ушла, Таня. Точнее, когда ты выгнала меня. Правда, мы купили квартиру вместе, но ты сумела мне доказать, что любой суд встанет на твою сторону...

— Это так и было, — заметила Миледи.

— Я пил довольно долго, — продолжал Прохоров. — Но потом, как видишь, взял себя в руки и попытался начать все сначала. Это было не очень легко, но постепенно удалось.

— Я рада за тебя, — совсем уж неприязненно сказала Таня. — По-моему, ты выбрал не лучшее время для выяснения отношений.

— Да мы ничего не выясняем! — воскликнул теперь уже Паша. — Мы встретились в одном купе, и это очень приятно! Правда, оно двухместное, но мой друг Коля пригласил меня зайти в гости, и вот я тут с коньячком. — Он извлек коньячок. — Знаешь, Таня, я тоже тебе очень благодарен. Потому что после изгнания Коли мы были с тобой так чисто, так безмятежно счастливы целую неделю! Пока я не заглянул в твою электронную почту. Представляешь, до чего ты меня довела?! Ты — меня, писателя, человека строжайших правил! Но я сделал это, Таня: ведь когда-то я сам завел тебе эту почту на Яндексе, я знал пароль, и просмотр твоих писем привел меня в неистовство. Я давно уже замечал некоторое охлаждение в наших отношениях. Кажется, я был тебе интересен только до тех пор, пока у тебя — точнее, у нас — был Коля. Но стоило нам съехаться после Колиного переезда к маме, как я сразу почувствовал: ты из тех женщин, кому мало одного! Ты стала холодна. Тебя все стало раздражать. Я не мог, извини, взять с собой в сортир книгу — а без этого какое же удовольствие?! Дело не в этом, конечно... — Он разлил коньяк по походным металличе-

ским стопочкам, Миледи предусмотрительно отказалась, а Коля опрокинул. — Короче, через неделю это началось, месяц я терпел, а потом заглянул к тебе туда. И открылись удивительные вещи! Таня, оказывается, все это время ты любила вовсе не Колю и не меня, а нашего друга Геннадия!

— Алле-оп! — послышалось за дверью, и в следующую секунду в купе вошел, кто бы вы думали, естественно, Геннадий, и это было совершенное уже черт-те что, потому что после той истории Геннадий свалил в Киев, это я вам совершенно точно говорю, поехал делать украинскую версию своего издания, потому что там теперь свобода. Он сказал, что уходит от несчастной любви в революцию, ибо только революция способна склеить разбитое сердце. И тем не менее это был он, собственной персоной, чуть лысее прежнего, но в остальном прежний.

— А мы тут случайно встретились с Таней, — кивнул Прохоров.

— Представляешь? — подтвердил Паша. — Совершенно случайно!

— Так я шо и говорю, — с комическим украинским акцентом сказал Геннадий. — Я шо и кажу, хлопцы. И я совершенно случайно услышал ваши голоса — дай, думаю, загляну на огонек... Имею сало! — Он достал из-под мышки аппетитный сверток.

— Так и закусим! — возгласил Паша. — Мы как раз вспоминаем, Гена, как я узнал о твоём существовании. Я прочел вашу переписку с Таней, то самое письмо, из которого явствовало, что я оказался совсем не тем человеком. Она теперь очень томилась рядом со мной, я измучил ее подозрениями, ревностью, оказался хуже Коли...

— Трудно, трудно, но можно, — покаянно кивнул Коля.

— Хуже Коли, — со значением повторил Паша. — О Господи, чего я только не делал, прочитав ваши взаимные излияния. Конечно, Таня и тогда писала в стиле женского глянца, причем самого низкого разбора, — но все равно, знаешь, было очень увлекательно. Знаешь, что я тогда сделал?

— Что же ты сделал? — с живейшим интересом спросил Геннадий. На Миледи они, казалось, вовсе не обращали внимания.

— Я написал тебе письмо с описанием своих сексуальных фантазий! — воскликнул Паша. — С ее ящика. Ты, наверно, очень удивился...

— Да, признаться, я немного удивился, — согласился Гена. — Я даже смутился. Я не предполагал в Тане такого бесстыдства. Но я с удовольствием предложил ей попробовать некоторые из описанных ею трюков, после чего в наших отношениях зазмеилась первая трещина.

— Это что! — продолжал Паша. — Я стал бомбардировать ее письмами с твоего ящика. Это продолжалось довольно долго, и ты узнал о себе много интересного...

— Мразь! — воскликнула Миледи. Для нее в этой истории до сих пор было много загадочного.

— Мразь, — согласился Паша. — А ты не мразь. Ты вся в белом. Коля спился, я скурвился, Гена с горя сделал революцию, а ты молодая, красивая, состоятельная, неуязвимая, остроумная, длинноногая женщина в полном расцвете сил.

Тут красивая, молодая, состоятельная (нужное подчеркнуть) окончательно сбросила с себя личину преуспевающей светской львицы и завизжала дурным коммунальным голосом, выдающим ее пролетарское, инженерское петербургское, безотцовское, восьмидесятичское происхождение:

— И это вы, блин, пришли тут ко мне предъявлять претензии?! Вы, которые не могли обеспечить женщине нормальную жизнь?! Импотенты, блин! Лузеры! Я вынуждена была работать, я... Я дальше Праги никуда не ездила! Я одевалась на Сенном рынке! Я состоялась только потому, что вовремя всех вас послала нах!

Три мушкетера покаянно кивали.

— А помнишь, Гена, — ласково улыбаясь, заметил Паша, — как Миледи тебе письмо написала — вот про все это самое? Про то, что ты импотент и тварь, и у нее нет больше сил терпеть твой запах, и у тебя никогда не будет настоящих денег?

— Очень хорошо помню, — кивнул Гена. — Я после этого письма и уехал. Правда, перед этим я на улице человека избил. Меня поймали и сутки держали в ментовке, а потом выпустили с благодарностью, потому что это оказался криминальный авторитет по кличке Перец Тамбовский. Он мог меня убить, конечно, но я, во-первых, этого не знал, а во-вторых, был очень, очень зол.

— Так вот, — сказал Паша, — это письмо тоже я тебе написал.

— Какая же ты сука, Паша, — горько сказал Гена. — Но ты ни в чем не виноват, Таня несколько раз говорила мне подобные вещи... Я чувствовал, что не удовлетворяю ее ни в каком отношении.

— Ребята, не ссорьтесь, — мягко сказал Прохоров. — Я старше вас всех, мне тридцать пять, и я отлично знаю, что удовлетворяет нашу Таню.

— Что, что удовлетворяет нашу Таню?! — взволнованно спросил Паша. Он даже покраснел.

— Нашу Таню можно удовлетворить всего двумя способами, — важно заметил Прохоров.

— Может, я лучше выйду?! — с невозмутимым презрением произнесла Таня.

— Сиди, сиди, — разрешил Прохоров.

— Но мне надо! — сказала Миледи, пытаясь улыбнуться.

— Ссидеть! — рявкнул Паша. — Говори, Колёк.

— Во-первых, наша Таня испытывает наслаждение, когда сталкивает мужчин лбами или выслушивает мольбы и признания от того, кому только что изменила в ближайшей подворотне. А уж когда один из нас бьет другому морду, Таня испытывает такое наслаждение, которого не доставил бы ей и самый чуткий вибратор, не говоря уж о любом реальном самце. Скажу вам правду, хлопцы, Таня ведь не так уж любит это дело.

— Серьезно? — не поверил Гена.

— Конечно. То есть она любит это дело, но так, как ты, Гена, любишь сало. А вот так, как ты, Паша, любишь литературу, — она уважает только одно: возможность стравливать нас, изменять нам, лгать нам и выбрасывать нас вон, как пустые скорлупки. Это первый способ удов-

летворить нашу Таню, и признайтесь, что каждый из нас этим способом хоть раз ее удовлетворил.

— Было дело, было, — кивнул Паша. — Я один раз из-за нее стеклянную дверь кулаком разбил, потому что мне было очень грустно. И заметил на ее лице гримасу адского сладострастия...

— Кровь не слизывала с тебя? — деловито осведомился Гена.

— Нет, до этого не доходило...

— А с меня слизывала. Когда я головой об стену бился, услышав, что она любит одного финансового аналитика.

— Ну, финансовый аналитик ее довольно быстро бортанул, — заметил Прохоров. — Я собирал сведения.

— Да, но она не оставила дела так. Это ведь по ее письму его взяли — она сообщила, что он вынашивал планы убийства крупной шишки из Минэкономразвития. Я журналист, мне положено знать такие вещи. Но только я понял, каков был истинный мотив...

— Его оправдали! — взвизгнула Миледи.

— Ну, мало ли кого оправдали. Три месяца-то посидел? И поседел?

— Ох, как Тане было хорошо, когда его взяли! — покачал головой Прохоров. — Впрочем, тогда многих брали... и теперь берут... Мы все думаем: почему репрессии? А потому, что таких, как наша Таня, очень много. Просто одни сводят счеты за несчастную любовь, а другие за успешный бизнес. На этом фоне наша Таня еще очень благородная девочка, правда, Таня?

Просвистели сквозь Бологое.

— Но есть и второй способ, и ты о нем ничего не сказал! — заметил Гена. — Неужели ты скажешь нам что-нибудь об анальном сексе?

— Анальный секс — хорошая вещь, — меланхолично заметил Паша. — Первый муж нашей Тани до сих пор ничем другим не занимается — инсталлятор Кузькин, если помните. Он после Тани решил, что с женщинами дела иметь не нужно, раз они все такие, как Таня. Он теперь имеет дело только с немецким галеристом Шульценом. Хоть кому-то стало хорошо от нашей Тани.

— Да, есть второй способ, — торжественно продолжил Прохоров. — О нем хорошо сказано у Василия Розанова: что можно сделать с Настасьей Филипповной? Только убить! Да, милостивые государи, только убить!

— Это совершенно верно, — кивнул Гена.

— Я тоже так думаю, — поддержал Паша. — Ведь Таня всегда стремится использовать мужчину по максимуму. А максимум того, что может сделать мужчина с женщиной, — это именно убить ее, чтобы она перестала отравлять жизни окружающим...

Миледи побледнела. Она поняла, что дела ее плохи.

— Блин, — сказала она, еле шевеля пересохшим языком. — Плохие шутки.

— Да какие шутки, — невозмутимо ответил Прохоров. — Кто тут шутит-то. По-моему, за три сломанные жизни, плюс украинская революция, плюс отсидка несчастного аналитика Кренкеля, плюс похищенная квартира и бесчисленные депрессии, плюс еще один какой-никакой инсталлятор, сменивший сексуальную ориентацию...

— Достаточно, вполне достаточно, — кивнул Паша. — Еще как достаточно.

— Ребята, — пролепетала Миледи. — Вы втроем... на девушку...

— О, как я люблю этот аргумент! — провыл Гена. — Мужики, я так часто с этим сталкивался! Пока она на коне, ей все можно, но как только она в луже, сразу: я девушка, я девушка! Небось если бы вас тут было трое, а я один, это бы вас не остановило, так? Когда вы втроем, тристервы, на Клавкином ток-шоу застебали несчастного мальчика из правых сил — это нормально было, так? Это еще был твой шоуменский период, это ведь я тебя на Пятый канал пристроил, дуру неблагодарную! Ток-шоу «Глядя изнутри», блин! А теперь, конечно, тебе не нравится, когда трое на одну...

— Да чего там! — воскликнул Прохоров. — Ребята, я вам еще и не такое расскажу...

И он рассказал много интересного. Паша тоже рассказал, и Гене тоже было что вспомнить. Миледи

была потрясена их вниманием к своей биографии: ведь все они давно исчезли из ее жизни — но вот, оказывается, не перестали существовать, были где-то, делали что-то... Собирали досье... Почти каждый ее шаг придиричиво отслеживался, и этапы ее восхождения от скромной редакторши до владелицы небольшого холдинга были запротоколированы и исчерпывающе объяснены. В изложении Паши, Коли и Гены эта биография выглядела, конечно, несколько грубо, резко, неприятно — но Миледи успела порадоваться тому, как много она успела. В этом страшном мужском мире, где каждый норовит тебя использовать и выбросить, она действовала достойно, жестко, честно, и ей не в чем было себя упрекнуть. Она была последовательна. Она была достойна того, чтобы о ней написали в «Карьере». Правда, теперь она могла рассчитывать разве что на некролог. Но следовало бороться до конца.

— Я описаюсь, — жалобно сказала она, когда проезжали Клин.

— Дело хорошее, — кивнул Паша и продолжил лекцию. Впрочем, он почти все уже рассказал.

— А теперь, дорогие коллеги, — сказал Прохоров, — давайте, что ли, кончать.

— Пора, пора, Москва скоро, — заторопился Паша.

— Давайте, — кивнул Гена.

— Я первый, — сказал Прохоров. Миледи вжалась в спинку роскошной парчовой, мягкой, бесполезной, невостребованной, последней, как выясняется, кровати в своей бурной, прекрасной, насыщенной, триумфальной, гламурной, безвременно оборвавшейся биографии.

— Я закричу, — прошептала она.

— Кричи, кричи, — разрешил Прохоров.

Миледи заверещала. Распахнулась дверь, и на пороге вырос проводник.

— Чего шумим? — спросил он сурово.

— Да вот... — начала Миледи и осеклась. На пороге купе в форме проводника стоял Кренкель и смотрел на нее с ласковой ухмылкой.

— Типа лилльский палац, — сказал Гена. — Давай, аналитик, чайку нам пока сообрази...

— Все схвачено, за все заплачено, — подтвердил Паша. — Мы готовились, Таня.

«Мне конец», — подумала Миледи. Она зажмурилась, но ничего не происходило. Когда она наконец открыла глаза, перед самым ее носом покачивался брильянтовый кулон от не знаю кого, пусть читатель по своему вкусу впишет что-нибудь гламурное.

— Поздравляю, Танечка, — нежно сказал Прохоров. — Нам было с тобой интересно. Мы благодарны тебе за самые яркие переживания в нашей дешевой и, в общем, беспросветной жизни. И спать с тобой тоже было довольно приятно.

— Только благодаря тебе нам есть что вспомнить, — торжественно подтвердил Паша и извлек из нагрудного кармана кольцо от сами впишите кого, с изумрудом цвета Таниных глаз в летний день.

— Ты иногда прелестно острила, — добавил Гена. — Помнишь, мы ездили на Цейлон, в гостинице не было телевизора, только висел на стене странный медный диск, и ты сказала, что это буддийский телевизор? Что хочешь, то и видишь? Я это запомнил, ты так редко шутила удачно... Но уж когда получалось, это запоминалось.

Он порывлся в кармане пиджака и достал часики от впишите кого хотите, но очень дорогие, впишите, сколько не жалко.

Миледи моргала, не в силах поверить своим глазам. Перед нею на столе лежало целое состояние. Ее Григорий никогда не дарил ей ничего подобного.

— Бери, не жалко, — кивнул Прохоров. — Без тебя мы никогда столько не заработали бы. Нам ведь нужна была сильная компенсация за все, пережитое с тобой и услышанное от тебя. Ты нас разбудила, можно сказать. Теперь мы больше не лохи, не лузеры, а от Гены никогда теперь не пахнет потом.

— Только очень дорогим парфюмом, изысканным, горьким, тонким, нежным, капризным и непредсказуемым, как ты, — сказал Гена и сунул Тане под нос неболь-

шой флакончик. — Это тебе на память, нюхай и помни этот день.

— Спасибо, мальчики, — сказала Таня.

Поезд подходил к Москве.

— Может, поужинаем? — робко предложила Миледи.

— Спасибо, — отказался Коля. — У нас свои дела в городе. Может, когда-нибудь и увидимся.

Они вышли и исчезли в конце вагона, в купе проводника.

Некоторое время Таня сидела в оцепенении. Поезд затормозил у перрона. Она вышла на яркий солнечный свет и подумала, что все в жизни она делала правильно.

И, тряхнув головой, веселая, счастливая, красивая, умная, состоявшаяся и состоятельная, с чувством собственного достоинства отправилась потрошить Григория.

ДЕВОЧКА СО СПИЧКАМИ ДАЕТ ПРИКУРИТЬ

Святочный рассказ

Маленькая аккуратная девочка со спичками, в белой шубке, белых сапожках и голубой вязаной шапочке, стояла на перекрестке двух центральных улиц и предлагала всем прикурить.

Это происходило в крупном городе, может, столичном, а может, просто миллионном — хоть в том, в каком живете вы, милый читатель. Я не стану пугать вас ужасными подробностями, которые так любил сентиментальный садист Андерсен, вечно подвергавший своих малолетних героев неслыханным испытаниям. У нашей девочки не было ни потрескавшихся башмаков на красных от холода ножках, ни рваных рукавиц на синих от холода ручках, ни жалобных просьб на белых от холода губках. Она не собирала денег на больную маму, не просила подать на пропитание малолетнего братика и вообще смотрела на прохожих с глубоким сочувствием, словно это не ей, а им требовалась благодетельная помощь.

Надо сказать, в Рождество или незадолго до него на улицах любого города можно периодически встретить девочку со спичками. Но для этого, во-первых, надо, чтобы у вас была неразрешимая проблема, а во-вторых — чтобы вы не полностью утратили полезную способность смотреть по сторонам и замечать маленьких аккуратных девочек с золотистыми волосами и голубыми серьезными глазами.

Как раз по центральным улицам в это время ходило довольно много народу с неразрешимыми проблемами. Девочки со спичками знают, где стоять.

Например, как раз во время ее загадочного дежурства в дальнем конце улицы появился бледный молодой человек с синими кругами под глазами. Он третью неделю размышлял, стоит ли позвонить подруге, которую он без особых оснований заподозрил в неверности. Подруга до того обиделась, что не стала его разубеждать. Более того — она намекнула нашему студенту, что от такого дурака и впрямь впору сбежать к первому встречному, и если она не сделала этого раньше, то исключительно из сострадания. Тогда молодой человек обозвал подругу соответствующими словами и хлопнул дверью, а теперь жестоко раскаивался. Вдобавок ему страшно хотелось курить, а зажигалку он, как назло, забыл вчера в гостях, где переусердствовал по части спиртного, заливая любовную тоску. Ни одного табачного киоска поблизости не было. Студенту даже вспомнился анекдот про ад, в котором травки и гильз сколько угодно, а спичек нет.

— Молодой человек, — тихо и серьезно окликнула его девочка со спичками. — Вам прикурить не надо?

Студент остановился и спросил себя, не почудилось ли ему это своевременное предложение. Нет, не почудилось.

— Очень надо, — честно сказал он.

— Выберите спичку, пожалуйста, — сказала девочка и раскрыла перед ним коробок, в котором виднелись спички с разноцветными головками. Каких только тут не было — и фисташковые, и густо-зеленые, и белые, и красные, и даже блестящие, будто из сусального золота. Черная была только одна, она лежала в самом дальнем углу коробки, но студент потянулся именно к ней, потому что она соответствовала его настроению.

— Нет, эту пока не надо, — все так же серьезно сказала девочка, и студент подумал, что какая-то она подозрительно взрослая для своих десяти-двенадцати лет. Какая-то чересчур умная, какими не бывают даже отлич-

ницы этого возраста. — Вам, пожалуй, вот эту, — и она решительно чиркнула по коробку спичкой с розовой головкой.

Студент успел разглядеть картинку на коробке — огромная елка, вся в старомодных шариках и свечках; он видел такие обложки в детских журналах 1900-х годов — журналах, сотрудники которых и помыслить не могли, какая участь готовится их читателям.

Студент нагнулся к розовому огоньку, вдохнул дым «Честерфилда», и голова у него слегка закружилась. Девочка смотрела на него с любопытством и удовлетворением, слегка склонив голову набок. Примерно так же смотрела на него возлюбленная после первого свидания, когда он робко заметил, что запал на нее еще с первого курса. В следующую секунду у студента зазвонил мобильник, он глянул на определитель, покраснел, побледнел, вспотел и равнодушным голосом сказал: «Да».

На него обрушился поток жалоб, слез, нежных упреков, угроз и раскаяний. Ноги его подкосились, но тут же обрели нездешнюю силу — и студент, не поблагодарив девочку со спичками, галопом помчался туда, откуда на него изливались долгожданные слова прощения и грусти. Девочка посмотрела ему вслед и спрятала коробок.

Вскоре, правда, ей пришлось извлекать его снова, потому что по другой, перпендикулярной улице к ней приближался пациент куда более тяжелый. Сорокалетний безработный, перепробовавший множество разных профессий, умевший водить машину и трактор, паять кастрюли, вскапывать огород, починить при случае несложную электронику и провести сквозь шторм небольшую яхту — словом, один из тех, на ком в идеале держится всякое общество, в тяжких раздумьях о полной своей неостребованности шагал по заснеженной улице. Надо ли добавлять, что наш лузер был вдобавок обременен семьей. Только что закрылось московское представительство крупной фирмы, отчаявшейся привить местному населению законопослушность, обязательность и прозрачность. Наш герой был вышвырнут на улицу без

извинений и выходного пособия, как оно бывает сплошь и рядом, невзирая на растущую цивилизованность отечественного бизнеса. Когда-то по требованию шефа водитель бросил курить, но шефа теперь не было, и закурить было бы в самую пору.

— Дяденька, — сказала девочка. — Закурить не желаете?

— Рано тебе курить, — сурово сказал безработный. У него своих таких было двое.

— Я не курю, я прикуриваю, — назидательно сказала девочка. — Доставайте вашу «Приму».

— Я бросил, — бросил работяга.

— Ну и что же, — ответила девочка. — У вас в кармане пальто одна завалялась, я точно знаю. Доставайте, она в левом.

Дяденька послушно полез в левый карман и с ужасом обнаружил, что ребенок прав.

— Ясновидящая, что ль? — спросил он подозрительно. Ему теперь казалось, что все его хотят развести.

— Ты, дяденька, много не спрашивай, — улыбнулась девочка, и что-то в ее улыбке подсказало дяденьке, что расспрашивать действительно не нужно. — Ты спичку тyani.

Дяденька зажмурился и вытянул черную спичку.

— Как сговорились, — вздохнула девочка, отняла черную спичку и достала зеленую.

Она чиркнула ею о коробок и поднесла к дяденькиной «Приме» маленькое зеленое пламя. Дяденька сладко затянулся и ощутил прелесть независимости. Голова его слегка закружилась, он задрал ее, чтобы кровь отлила, — его когда-то учил так делать знакомый рыбака-гипертоник, — и тут же увидел прямо над девочкиной головой объявление: «Требуется водитель со стажем на очень хорошую оплату, курить можно». Он потянулся сорвать объявление, чтобы должность никому больше не досталась, но вместо объявления в руке у него вдруг оказалась визитная карточка будущего нанимателя с двумя телефонами, служебным и мобильным. Дяденька потряс головой и потрусил наниматься.

Девочка и ему вслед посмотрела с затаенной хитростью, с какой отдельные умные девочки глядят иногда на глупых мальчишек, но улыбка тут же сошла с ее лица, потому что с противоположной стороны улицы к ней в неуклюжей отечественной коляске приближалась женщина лет тридцати, с детства страдавшая мышечной дистрофией. В последнее время отчаяние этой женщины доходило до того, что она готова была запить или закурить, лишь бы отвлечься от немощи и полной невосребованности. Несмотря на повсеместную стабильность, инвалид как был, так и оставался никому не нужен, кроме собственной семьи, а силы семьи не бесконечны.

— Сударыня, — сказала девочка, пренебрегая принятым здесь обращением «женщина» или «ну, ты». — Не желаете ли закурить?

— Мне нельзя, — сказала калека. — Я и так ходить не могу.

— Раз в год можно, — убедительно сказала девочка, уверенно вынимая пачку тонких дамских сигарет. — Выберите, пожалуйста, спичку!

Само собой, инвалиды в таких ситуациях почему-то всегда выбирают черную, но девочка посмотрела на женщину с осуждением, чиркнула оранжевой спичкой — и коляска растаяла, а несчастная калека с размаху плюхнулась на тротуар.

— Вот видишь, — сказала она, не упуская случая напомнить о своей правоте. — Мне нельзя курить, я уже падаю.

— Вставай и иди, — грубовато сказала девочка. — Разлеглась тут.

Несчастливая неуверенно встала на четвереньки, потом, цепляясь за девочку, поднялась на ноги, потом выпрямилась и сделала первый шаг.

— Чтой-то я? — спросила она полупшепотом.

— Двигай давай, — подбодрила ее девочка, пряча спички. — Курить ей вредно, видите ли... Жить тоже вредно, от этого знаешь что бывает?!

В следующие два часа девочка со спичками дала прикурить одинокому гею, тут же резко ощутившему

свою натуральность, печальной натуралке, мечтавшей устроить ребенка в детсад, двум гастарбайтерам, настрадавшимся от скинхедов, и одному скинхеду, настрадавшемуся от прыщей; мимо нее прошел также учитель, чуть не плакавший оттого, что у него ничего нет, и олигарх, в голос рыдавший оттого, что у него все есть. Прикурив у девочки со спичками, они, к обоюдному удовольствию, поменялись местами — и скоро учитель, назначенный губернатором отдаленного региона, решительно вывел его в лидеры, а олигарх научил детей действительно важным вещам. Впрочем, это случилось через год. А пока девочку со спичками обнаружил на перекрестке крупный чиновник городской мэрии.

— Девочка! — заорал он. — Со спичками! Где твои родители, девочка?!

— Дяденька, — сказала девочка очень серьезно и посмотрела на него большими прозрачными глазами. — Вы на совещание опоздаете.

— Какое совещание! — вскричал чиновник. Он как раз отвечал за борьбу с беспризорностью, и похвастаться на этом поприще ему было решительно нечем, потому что в детприемниках его родного города для детей создавались такие условия, от которых они немедленно сбегали обратно на улицы — там было и теплей, и уютней, и безопасней. Чиновнику предоставлялся уникальный случай личным пиаром спасти положение. — Какое может быть совещание, когда на улице замерзает бесхозная девочка со спичками! Да я немедленно, своими руками отвезу тебя в детприемник и прослежу, чтобы тебя побрили, потому что ты, наверное, вшивая!

— Руки уберите, пожалуйста, — тихо сказала девочка.

— Нет-нет, умоляю, не убирайте руки! — завизжал над ухом чиновника чей-то удивительно гнусный голос. Такой голос не мог принадлежать ни мужчине, ни женщине, ни старику, ни ребенку, а только автору и ведущему «Ядерной программы», скандальному репортеру Глебу Косых. — Мы как раз готовим сюжет о растлении малолетних, а когда крупный чиновник городской ад-

министрации гладит девочку — это самое то! Умоляем, еще одно поглаживание! Напоминаю, что наша программа официально приравнена к нацпроекту, потому что никто так не компрометирует идею журналистского расследования, как мы-ы-ы! — Голос Косых сорвался на совершенно уже невыносимый визг, и выросший рядом с ним откуда ни возьмись толстый оператор уже нацеливался на чиновника тусклым глазом телекамеры.

— Эт-та что такое?! — прогремел представитель местного УВД, отправлявшийся в очередной рейд (не забывайте, что улицы были центральные и представители власти появлялись на них регулярно). — Девочка? Со спичками?! Поджигаем существующий порядок?! Ах ты нацболка! — Он вытащил из кармана наручники и жизнеутверждающе потряс ими перед девочкиным носом. — Расступитесь все, граждане, сейчас здесь начнут задерживать малолетнюю экстремистку! Ишь чего выдумали — среди бела дня на улице со спичками! Вас не устраивает растущее благосостояние? Мы будем немножко допрашивать!

— Вот так расправляются власти с инакомыслящими! — радостно заверещал случившийся тут же оппозиционер. — Даже дети становятся жертвами режима, даже малолетние девочки выходят на свой марш несогласных! Немедленно, немедленно пришлите сюда представителя международного фонда «Злорадное наблюдение» и запечатлейте страдания ребенка, изнемогающего от полного отсутствия свободы слова!

— Девочка? Со спичками? — с негодованием рявкнул представитель движения по борьбе с незаконным передвижением мигрантов «Тутошние мы». — Ты что тут делаешь, а?! Да ты не местная! Признавайся, подлая гастарбайтерша, откуда пришла! Что-то я раньше тебя здесь не видел! Это из-за таких, как ты, понаехавших тут, наши коренные уроженцы не имеют возможности торговать спичками! Я с детства, с младенчества мечтал торговать спичками, а из-за таких, как ты, вынужден помирать с голоду в движении «Крашенная сотня»! Ну-ка, покажь паспорт с пропиской, или я в двадцать четыре часа устрою тебе полную Кондопогу!

— Не смей, не смей, это моя девочка! — ревел в задних рядах образовавшейся толпы крупный местный благотворитель, в ревушие девяностые известный большинству жителей под кличкой Сявка, а ныне державший казино в самом центре. — Я буду сейчас благотворительствовать! Пустите меня, я ей дам! Все говорят — выслать игорный бизнес в четыре зоны, а игорный бизнес кормит голодных детей! Пустите меня к девочке, я несу ей золотую карту нашего казино и завтрак из овсяных хлопьев!

— Отстаньте все от девочки! — надсадно верещал красный от возмущения мальчик из молодежного движения «Слава», названного так в честь своего верховного куратора. — Это наша, правильная девочка! Она пополнит ряды лояльной молодежи, пойдет с нами на пикет у американского посольства и поедет на Селигер! Пустите меня, я комиссар района! Мне Глеб Савловский руку жал и настоящими слезами плакал, приговаривая: «Вот до чего я дошел!»

Некоторое время девочка со спичками брезгливо смотрела на жадные руки, тянущиеся к ней, и слушала алчные выкрики. Всем этим людям она была нужна, даже необходима — но совершенно не для того, для чего была на самом деле предназначена. Она криво усмехнулась, и все затихло. Только бился сзади в истерике депутат местного законодательного собрания, призывавший немедленно оштрафовать ребенка за демонстративное курение на улицах. Сам депутат держал небольшой притон, но делал это скрытно, недемонстративно.

Девочка открыла свой коробок, где оставалось уже совсем немного спичек. Их, однако, все еще было вполне достаточно, чтобы решить проблемы нескольких жителей этого города, но, судя по хитрой улыбке, озарившей ее лицо, она нашла вдруг гораздо более простой способ решить эти проблемы и вдобавок сэкономить спички.

— Да идите вы все на фиг, — сказала девочка с ангельской улыбкой и чиркнула черной спичкой.

В ту же секунду толпа вокруг нее рассеялась. Контуры городской элиты побледнели, заколебались и рас-

таяли в морозном воздухе. Никто даже не успел пискнуть, только длинное лицо Глеба Косых, очень быстро реагирующего на любые изменения, вытянулось еще больше, и на нем мелькнуло мимолетное сожаление о том, что рассказать об этом чуде в своей «Ядерной программе» он не успеет уже никогда. Да и программы никакой уже не бу...

— Вот и славненько, — сказала девочка со спичками.

Она аккуратно сняла белую шубку, под которой оказалась пара тоже очень белых, посверкивающих на солнце крылышек. Взмахнув крылышками, она плавно отделилась от мерзлой мостовой и поплыла вверх. В руках она крепко сжимала коробок со спичками.

Кое-кто, конечно, сочтет этот финал недостаточно оптимистичным, потому что спички ведь улетели, а нерешенных проблем осталось еще ого-го. Но смею вас уверить, что Рождество бывает раз в году, не чаще и не реже, и девочка со спичками встретится вам еще неоднократно. Надо только уметь смотреть по сторонам.

ПРЕДМЕТ

1

Предмет был обретен в 2308, в последний год допредметной эры, в пятый день божественной Седмицы. Его отдал Тхутху Первому неуклюжий, мало на что годный, неспелый человек из чужих мест, называвший себя Пингвингстоном. Произнося это дикарское имя, он смешно ударял себя в безволосую грудь стыдного цвета. Сколько он ни подставлял тело солнцу, но истинной спелости достигнуть не мог. Питаться им побрезговали. Он служил для забавы.

Было даже странно, что Пингвингстон обладал таким прекрасным, можно сказать, священным предметом. Подобная вещь не могла достаться ему по заслугам, ибо какие заслуги у чужеземца? Правда, в Предании, предусмотревшем решительно все, находилось объяснение и этой причуде Бграбгра: старики помнили завет — «Нужное придет через ненужное, великое через малое». Вот оно и пришло. Немудрено, что, увидев Тхутху Первого и осознав его величие, странный уродец смиренно поднес Предмет верховному правителю племени.

Губы пришельца при этом широко раздвинулись, обнажив ряд мелких кривых зубов. С такими зубами настоящий джамбо не добился бы даже звания воина, а уж странствовать одного его бы никогда не отпустили. Показывая жалкие зубы, чужестранец надеялся умиловить Тхутху Первого, словно расписываясь в своей непригодности даже к достойному наказанию. Если бы

у какого-нибудь джамбо были такие зубы, он не посмел бы показать их не то что правителю, а и последнему джинго.

— Это это вот, — сказал мелкозубый на отвратительной смеси джамбо и своего варварского наречия. — Вот это быть твой, твоя. Я дать, ийти. Надо быть туда. Ты взять, хранить твоя голова моя Пингвингстон.

Только вопиющей неучтивостью и непрошибаемой тупостью Пингвингстона, приехавшего из своего чужеземья набраться разума у джамбо, да так ничего и не понявшего, можно было объяснить его тхиу-тхиу — состояние разума, при котором ослепленный безумием полагает, будто у верховного правителя есть время и силы хранить в своей голове что-либо, кроме своей небесновосходящей родословной и свода законов племени. Тхиу-тхиу бывает присуще низшим чинам и рубщикам хижин, полагающим, будто они смеют тревожить повелителя просьбами. Втолковать чужеземцу столь тонкое понятие невозможно, для него, вероятно, и слов нет в варварских наречиях непропеченных племен — и потому Тхутху Первый не приказал немедленно удавить Пингвингстона лианой, а снисходительно принял из его рук маленький тяжелый Предмет.

— Быть польза, — сказал Пингвингстон, жестом попросил Предмет обратно и показал, какая именно от него бывает польза.

Тхутху Первый пережил в эту секунду одно из сильнейших потрясений за все свое шестидесятилетнее правление, — он начал править еще во чреве матери. Не каждый день случается Откровение, и никогда не знаешь, через кого оно явится. Он проделал с Предметом то самое, что делал Пингвингстон, и с первого раза получил результат. Это чрезвычайно обрадовало путешественника. В соответствии с варварскими обычаями своего племени он издал громкие лающие звуки и широко открыл пасть.

— Это быть окей! — воскликнул он. В его дикарском наречии слово «окей» заменяло множество тонких понятий, служа то выражением униженной просьбы, то одобрения, то испуга; «Окей, окей!» — повторял он, пом-

нится, когда Мбанга, оруженосец царя, собрался немного поучить его манерам.

— Ты мочь, видеть? Ты делать!

Деликатно пропустив мимо ушей непристойный лай чужестранца, верховный правитель спросил:

— Отчего ты, презираемый шакалами, брезгливо пощаженный гиенами, не дал мне прежде этого божественного Предмета, хотя слоняешься здесь уже три луны, препятствуя нашему племени длить свою Тхаллу?

Путешественник развел руками:

— Я смотреть, как вы делать сами. Если я дать, вы делать через эта штука. А я иметь долг понять, как вы зазывать Бханга.

Тхутху Первый понял, что ради удовлетворения своего ничтожного любопытства путешественник спокойно наблюдал за церемонией вызова Бханга — сложнейшей из церемоний джамбо; надо было долго, очень долго крутить между ладонями деревянную тхунжу, зажатую меж двумя тхунжами поменьше, и только тогда, снизойдя к усилиям верховного жреца, умиловивленный Бханга сходил к племени и широко, жарко являя свою силу. Удержать его трупом удавалось не всегда, порой он бежал от дождя, порой засыпал сторож — жрецу приходилось умиловивливать Бханга два-три раза в течение одной луны... и Пингвингстон вместе со всеми джамбо наблюдал за процессом, — тогда как волей Бграбгра обладал способностью вызвать Бханга одним щелчком!

— Недоволен тобою, — скупое сказал Тхутху Первый.

К этому ничего не требовалось добавлять, обычно любой подданный, услышав эти слова, уходил в темную глубь джунглей, чтобы уже не возвращаться. Но Пингвингстон принял эти слова за выражение скорби по случаю его отъезда, проявив тем самым возмутительную хтумпхту — самообольщение, свойственное чужеземцам в сезон засухи. Объяснить им это заблуждение было невозможно: хтумпхту — слишком тонкое понятие даже для простых джамбо.

— Я быть верну себя, — закивал Пингвингстон, смагивая слезы. — Я быть прийти еще, принести вещи удивить ты! Еще видеть меня, стать мой друг, — и много еще чепухи на его родном языке.

Разумеется, даже если бы он и пожелал вернуться, он не нашел бы уже и следа стоянки джамбо, ибо племя не любило долее пяти лун сидеть на одном месте; выполнив свое назначение, Пингвингстон мог проваливать хоть в желудок крокодиловой матери.

2

Путешественник исчез, и больше его в самом деле никто не видел, — а джамбо продолжили свою жизнь по новому летоисчислению. Важной его особенностью стало то, что в пятый день божественной Седмицы отныне запрещались какие-либо действия, включая даже собирание корней: каждому джамбо надлежало лежать под сенью священного дерева Агора-оэ и размышлять о божественных Предметах. Любое действие в этот день расценивалось как кощунство, а совокупление запрещалось до окончательного угасания божественного Бханга.

И в год второй по этому летоисчислению случилось то, что чуть было не положило начало новому календарю: Предмет перестал действовать, или, вернее, впал в состояние кхекхе, для которого и пришлось специально вводить это тонкое понятие. Кхекхе — такое состояние Предмета (или племени, или единичного джамбо, или всего мироздания), при котором функционировать в полную силу уже невозможно, но искра былого могущества еще сохраняется. У человека кхекхе бывает следствием болезни или старости, но у Предмета, как у сущности божественной, не могло быть старости. Да и что такое полтора года?! Тут дело было в грехах, исключительно в грехах, о чем и сообщил племени верховный жрец Мтутси, известный таким благочестием, что даже совокуплялся не иначе как четырежды в год, только при условии полной тсулли и сотворив многократную бгрвану.

— Видите это?! — кричал он племени, высоко подняв над головою магически иссякнувший Предмет. — Видите ли вы, дети дикобразов, раздражатели обезьян, гнилозубые джинго?!

Племя недовольно зароптало. Оно могло еще сделать сравнение с обезьянами и дикобразами, но называть их именем их главного врага не смел и самый целомудренный жрец.

— Божественный Предмет иссяк! — кричал Мтутси. — Божественный Бханга не приходит больше на зов Предмета, хотя ранее являлся по первому щелчку! В последнее время он не всегда являлся даже и по третьему, а теперь только бледная искра озаряет собою беспробудную ночь нашей будущности! Молитесь! Молитесь всемогущему Бграбгра, умерьте пищу и прекратите совокупления! В совокуплениях расходуете вы энергию Тпрутпру, привлекающую Бханга! Довольно совокуплений! Два месяца воздержания — и к божественному Предмету вернется сила!

Племя послушалось Мтутси, поскольку за время своего жречества он совершил по крайней мере одно бесспорное чудо. Пусть ему ни разу не удалось вызвать дождь или, напротив, прекратить его, когда Пхлюпхлю обиделся на джамбо и плакал от обиды четыре месяца подряд, размывая джунгли и вызывая простуду; но Мтутси совокуплялся четырежды в год, а это само по себе такое чудо, что любые манипуляции с дождем бледнеют перед этим. Если бы Пхлюпхлю обладал человеческой тхаррой, то есть способностью испытывать благоговейный восторг перед людскими деяниями, он плакал бы над подвигом Мтутси непрерывно. К счастью, у богов своя тхарра, и плачут они непредсказуемо.

В течение двух последующих месяцев джамбо воздерживались, и сам Пхлюпхлю разрыдался, глядя на их благочестие. Он рыдал неделю и две, и охота стала невозможна, а плоды сгнили, и никаких развлечений, кроме совокупления, у джамбо не осталось — а Предмет все пребывал в состоянии кхекхе, ограничиваясь бледной искрой, да и та высекалась теперь с неприятным скре-

жетом, словно Предмету надоело, что его беспокоят по пустякам. Способ Мтутси оказался плохим, негодным, бхребхре способом. В племени скопилось столько энергии Тпрутпру, что оно двинулось к жилищу верховного жреца и немедленно излило бы избыток энергии в общем совокуплении с ним, после чего Мтутси мог сразу перейти в божественное состояние, но его спас гонец джинго, явившийся на Поляну сбора прямо в своей безвкусной раскраске.

— Люди джамбо! — воскликнул он визгливым голосом, отличающим всех джинго. — Оставьте бесполезный бунт и обратите свою Тпрутпру в правильное русло. Мы знаем, отчего ваш Предмет утратил божественную Предметность. Отдайте его нам, и вы увидите, как божественный Бхунгу — ошибочно называемый вами Бханга — явит свою тхлюллу с прежней яркостью и жаркостью.

Верховный жрец Мтутси, заметив, что дело принимает непредвиденный оборот, вылез из своей хижины и обратился к гонцу джинго со столь отборной бранью, что джамбо переглянулись и простили ему многое. Все-таки он был настоящий святой.

— Почему же вы, гиений послед, испражнение больной черепахи, желчь гусеницы, полагаете, что имеете особое право на Предмет, который сам Бграбгра руками недостойного чужеземца вручил нашему судьбоносному правителю? — закончил он свою речь, вошедшую в поговорку. Любой, кому удавалось удачно ответить собеседнику, хвастал в кругу родственников: «И тут я отдал его, как Мтутси джинго!»

— Не трать даром Тпрутпру, — отвечал гонец, непристойно ослабившись. — Если бы ты чаще совокуплялся, седая вошь, клянусь, ты говорил бы меньше глупостей. Божественная сила оставила Предмет потому, что он находится в неправильных руках. Ничтожный чужеземец должен был отдать Предмет нашему правителю, молниеносному Мгбрумгбру Шестому, потому что мы должны были стоять на этой стоянке восемнадцать лун назад. И тогда мы владели бы Предметом, а вам достался бы Пфупфу.

Люди джамбо могли стерпеть многое, но от такой наглости схватились за копья. Мтутси остановил их праведный гнев повелительным жестом.

— Каждый мужчина джамбо и без того имеет Пфупфу, — ответил он с великолепной язвительностью. — Если мужчины племени джинго не имеют Пфупфу, это их проблемы. — И, сбросив травяную бхтамптху, Мтутси продемонстрировал потрясенному гонцу великолепный Пфупфу, не истертый частыми совокуплениями. — Мы были тогда на своем месте и занимали свою стоянку, а если вы прощелкали своими клюклю и не успели к божественному откровению, вам остается поедать свои кхакха!

И, комически присев и натужившись, Мтутси изобразил, как именно джинго должны делать кхакха. Племя джамбо замерло в ужасе. Это означало войну.

Ритуал кхакха считается у джинго особенно священным и обставляется массой условностей — джинго проявляют при этом чудеса терпения. Во-первых, никто не смеет делать этого в одиночку — ибо слишком частое кхакха оскорбительно для взора Бгрубгру, как называют они верховное существо; все племя собирается для кхакха единожды в сутки. Во-вторых, перед каждым кхакха верховный жрец джинго произносит часовую молитву-извинение, прося прощения у Бгрубгру за то, что племя сейчас осквернит его взор и обоняние; недержание кхакха карается немедленной смертью. При всей своей ненависти к джинго люди джамбо не могут не оценить их верности ритуалу и стараются не оскорблять его даже во время непрерывных взаимных перепалок. Если Мтутси посмел осмеять кхакха — значит, он вызывал джинго на бой.

Гонец понял это. Некоторое время он стоял в немом оцепенении, потом резко повернулся и ушел в чашу. Он шагал, высоко поднимая костистые дхартха и размахивая жилистыми тхертхе, — так идет человек, несущий весть о войне.

Первый Предметный поход отделялся от второго всего двумя лунами. Джинго не могли смириться с неудачей, тем более что несколько раз они были буквально в шаге от Предмета, — первый Предметный поход совпал с переходом в совершенное состояние божественного Тхутху Первого, съевшего слишком много древесных грибов. Человек не может съесть столько древесных грибов, это под силу лишь божеству — каковым Тхутху Первый и сделался, освободившись предварительно от всего кхакха, какое в нем было. Его старший и любимый сын Баубау Первый не растерялся и дал джинго отпор столь достойный, что еще две луны им неповадно было и думать о реванше. Однако в начале третьей луны они вооружились легкими копьями, запаслись отравленными стрелами и приступили к второму Предметному походу, закончившемуся для джамбо трагически. Предмет был не только похищен, но и поврежден. Во время генерального сражения, когда за обладание Предметом дрались Мтутси и Нстухни, из предмета выпал крошечный твердый камешек вроде кремня, после чего перестала высекается даже искра. Бграбгра и Бгрубру окончательно отвернулись от своих несчастных подопечных.

На второй Предметный поход джамбо спустя пять лун ответили Предметным походом детей. Расчет их был прост: в бою джинго явно научились превосходить джамбо. Закаленные ритуалом кхакха, обладающие нечеловеческим терпением, воины их не знали усталости, никогда не испытывали постыдного хрумхрум и унижительного кхекхе. Вернуть Предмет можно было лишь силою хитрости — выставив против воинов такую силу, которой они не посмели бы сопротивляться. Пойти на избиение агуагу могли только законченные фуфу. Рисковать жизнью своих агуагу племя может только в крайнем случае, в период великого хныхны и действительно грозной опасности — но попробуйте представить себе, что такое жизнь без Предмета, тяжкая, унылая беспредметная жизнь! Не зная Предмета, еще можно без него обходиться; но обладать предметом и утратить его — не-

посильная кара для народа, еще вчера вызывавшего Бхангу одним щелчком.

И джинго в самом деле не решились истребить агуагу — они просто взяли их в плен, превратив в свою прислугу; об этом поведал самый хитрый агуагу, сумевший бежать к своим через ночные джунгли, находя путь по предусмотрительно оставленным ккакха. Дело в том, что сразу после пленения агуагу джинго снялись со стоянки и ушли вглубь джунглей, и если джамбо хотели вернуть своих, нагонять их следовало быстро.

Так джинго сделали то, что не прощается, — и началась Вечная Война; вечная — ибо исходом такой войны может быть лишь полное истребление противника. А поскольку джинго все время ставили себе цель вести себя хуже, чем джамбо, — джамбо в ответ задались целью вести себя хуже, чем джинго, и в конце концов наперегонки устремились к состоянию фуфу. Впрочем, ни одна воюющая сторона уже не помнила столь тонких понятий — разве что верховным жрецам эти слова еще что-то говорили.

Война, однако, велась по строгим правилам. Джамбо строго соблюдали Пятый день божественной Седмицы. У Джинго был свой праздник воздержания от каких-либо действий — Шестой день Божественной седмицы, в который в ходе второго похода был обретен Предмет. В этот день Джинго лежали под деревом Алохауэ, размышляя о своих воинских подвигах и о жертвах, принесенных ими ради обладания Предметом, и были легкой добычей: джамбо могли их бить сколько угодно — они не имели бы права сопротивляться. Штука в том, что джунгли велики и труднопроходимы, а потому, прежде чем истребить беспомощных джинго, их еще надо было найти. Это же касалось джамбо, умудрявшихся в пятый день божественной Седмицы как-то так рассредоточиться по джунглям, что сам божественный Бханга не сразу нашел бы их с небес огненным глазом. Правда, в седьмой год нового календаря джинго все-таки нашли стоянку джамбо в пятый день и вырезали почти всех; объевшись на радостях, они не смогли уйти далеко, и в шестой день остатки джамбо вырезали почти всех

джинго. Для восстановления войск понадобилось десять лет — все это время война велась с прежней интенсивностью, но далеко не в прежнем масштабе.

Прервать Предметную войну хотя бы на миг значило предать Предмет. Джинго обращались с ним не просто неправильно, а кощунственно. Так, они вырезали из дерева скульптуры, на которых Пингвингстон вручал предмет их вождю Мгбрумгбру Пятому, что было, во-первых, исторически неверно, а во-вторых, теологически оскорбительно. Изображать Пингвингстона нельзя было уже потому, что Пингвингстон выступил в этой ситуации орудием Бграбгра, а Бграбгра, равно как и его орудия, изображению не подлежат. За одно это всех джинго следовало бы истребить до девятого колена, но еще ужасней было то, что они пытались проникнуть в божественный Предмет с намерением, о смешные недоумки, исправить его! Как человек может исправить то, что сломано Богом в наказание за наши грехи?! Но тот, кто надеется объяснить что-либо глупому джинго, сам не умнее ничтожного джинго. Надо дожидаться Пингвингстона — ведь он обещал вернуться. Он придет и во время своего второго пришествия расскажет всем, кому подарил Предмет. И верные возликуют, а неверные устыдятся.

Война тянулась уже двадцать лет с регулярными перерывами на пятые и шестые дни божественной Седмицы, когда войска бездействовали, а работали только разведчики. Несколько раз их поиски увенчивались успехом, но в таких случаях, как назло, счастливыцы, обнаружившие стоянку чужих, не могли на обратном пути найти своих. Божественный Предмет переходил из рук в руки, задерживаясь у каждого из племен не более седмицы. Джанти, джойнты, дженни и другие племена, населяющие джунгли, наблюдали за вечной битвой джамбо и джинго со смесью тхулле и тхилле.

4

В седьмой день божественной Седмицы, служивший в мирное время для отдыха и развлечений, молодой разведчик джамбо, известный под именем Змееда, лако-

мился молодыми зелеными кваква на поляне близ ручья. Дело было после трудного боя, во время которого джамбо, вот уже неделю обладавшие Предметом, доблестно отбили очередное нападение джинго. Личному составу разрешено было оправиться и поесть.

Змеед упрыгал вглубь джунглей за одной особенной юркой, хоть и жирной кваква, когда услышал позади себя на поляне два подозрительно знакомых голоса. Он сразу узнал их — у разведчика должна быть хорошая память. Разговаривали престарелый Мтутси и его коллега из племени джинго, преемник старого Нстухни, унаследовавший его имя.

— Здесь нас никто не услышит, Мтутси, — самонадеянно заметил юный Нстухни.

— Если же и услышит, то не поймет, — отмахнулся Мтутси.

— Ты принес?

— Разумеется.

Змеед, затаившийся в кустах, не поверил своим глазам. Мтутси достал из складок бхтамптки божественный Предмет и протянул Нстухни бесполезную матовую святыню.

— Утром я скажу им, что Предмет похитили ваши разведчики во время ночного набега. Сам же себе нанесу свежие раны.

— Ты отважен, Мтутси, — уважительно заметил Нстухни.

— На многое приходится идти, чтобы не прервалась божественная Тхалла, — сухо ответил старик.

— Согласен с тобою, — кивнул молодой жрец. — Война есть лучший способ длить божественную Тхаллу. Глупые дженни, безумные джойнты и самодовольные джанги не знают божественной Тхаллы, а потому обречены вечно оставаться дикарями. Тогда как мы продвигнутые люди.

— Да, — признал Мтутси. — Для этого не жаль никаких жертв. Только мы, жрецы, умеем поддерживать божественного Бхангу и после того, как Предмет перестал вызывать его.

— Воистину, — поклонился джинго. — Бхтумптф!
— Бхтамптф, — поправил Мтутси и стремительно исчез.

Змееед укусил себя за палец и подумал, что все это ему приснилось. Нельзя есть слишком много кваква, от них и мысли начинают прыгать куда не надо.

5

Второе пришествие Пингвингстона, о котором так долго грезили джамбо и джинго, несколько запоздало. Он двадцать лет собирал деньги на новую экспедицию, а когда собрал — сам был уже не тот. Ему оказалось не просто найти то самое место, на котором он прощался когда-то с обаятельным, доброжелательным вождем открытого им дикарского племени. Он написал у себя на родине десять книг об этом племени, но они не принесли ему денег — никто не верил в существование бродячих племен в джунглях, а доказательств у него было мало. Лишь на двадцать первый год он проплыл по великой реке к тому месту, где, казалось ему, он высадился когда-то, — но никаких следов джамбо и джинго в джунглях уже не было.

— Я клянусь вам, что это тут! — чуть не плача, повторил Пингвингстон.

— Очень может быть, — снисходительно кивал Гаттерас, представитель спонсора, приданный Пингвингстону для освещения сенсации. — Но сейчас здесь нет никаких следов человека.

— Я ведь обещал им вернуться, — шептал Пингвингстон. — Неужели они не дождались?!

О причинах исчезновения джамбо и джинго Пингвингстону путано рассказал случайный джанги. Пингвингстон почти не понимал языка джанги, ибо даже наречие джамбо освоил с трудом. До него дошло только, что джамбо таинственно исчезли, а вместе с ними и джинго, их главные и любимые соперники. Их пожрала таинственная Тхалла — джанги и сам, кажется, не очень понимал, что это такое. Но если неспелый человек пожелает, он может увидеть причину всего.

Пингвингстон пожелал. Его отвели на стоянку джанги. Маленькие агуагу, как называли их некогда джамбо, играли небольшим тяжелым предметом.

— Господи! — выдохнул Пингвингстон. Перед ним лежала его верная «Пиппо», давно уже не разжигавшая ничего, кроме национальной розни. Да и та закончилась.

— Я забрать это? — робко спросил Пингвингстон.

— Мне по пфыпфы, — пожал плечами джанги, что означало «пожалуйста».

Пингвингстон нагнулся было за предметом — дети равнодушно посторонились, — но в последний момент отдернул руку. Предмет, за который умерло много народу, обладает темной аурой даже после того, как погиб его последний защитник.

— Ладно, — сказал Пингвингстон. — Я не быть хотеть, не нуждаться. Играть, не бояться. Я иметь много такой предмет.

ПОДЛИННАЯ ИСТОРИЯ МААТСКОЙ ОБИТЕЛИ

1

Инспектор нашел учителя на огородах и понял, что он все знает. Да и не дурак же он был, в конце концов. Разговаривать при подопечных обоим не хотелось, но учитель оттягивал беседу — вероятно, трусил. Начались ненужные отсрочки, оттяжки, демонстрация теплиц, «а вот у нас цитсы», хотя цитсы испокон веков росли тут сами, без всякого ухода. Колонисты смотрели виновато, словно тоже догадывались. Прошли непременно маршрут: медпункт, школу, рекреацию, солнечные часы на центральной площади, гигантские, с орнаментами, — учитель суетился и повторял все, что инспектор выслушивал ежегодно: успехи в социализации, рост числа добровольцев, подготовка к выпуску, который на этот раз будет отмечен фейерверком... Инспектор кивал, кисло улыбался и под конец разозлился: какого черта! Для чего ставить друг друга в заведомо неловкую ситуацию! Прислали бы другого — он бы крикнул просто: разойдись, и через два дня памяти не было бы ни о какой колонии. Он устал ходить по жаре и чувствовать себя виноватым, начал многозначительно кашлять и наконец предложил пройти в учительскую.

— Но мы же еще не видели танцы, — заюлил учитель, — мы хотели вам показать танцы...

— У меня времени мало, — сказал инспектор.

— А, ну да, — пробормотал учитель, сразу сдувшись. — Да, пойдете, конечно.

В канцелярии работал кондиционер и стоял кулер. Инспектор выпил залпом два стакана ледяной воды, надеясь смыть с языка вкус мерзкого столовского компота, и решительно сказал:

— Ну, в общем, как вы понимаете, лавочка закрывается.

— То есть как, — без особого удивления сказал учитель, пытаясь имитировать шок.

— Да вот так. Дольше этот бардак терпеть нельзя, позавчера похитили еще троих, и все, между прочим, новобранцы.

— Хорошо хоть не в праздник, — помолчав, сказал учитель.

Ночь на послезавтра была особая, праздничная, — середина весны, Бааста, воскрешение верховного божества. Праздник был древний, полузабытый, отмечавшийся только для туристов, — в колонии его не праздновали, но помнили.

— Двое суток вам на ликвидацию, послезавтра в это время придет бронемашина, и поедете. Сколько у вас педсостава?

— Все те же, — сказал учитель. — Пятеро плюс врач.

— Вот и готовьтесь.

— А они? — спросил учитель.

— Эти-то? Пойдут к своим. Желающие могут перебежать к нам, если будут, конечно. Что-то мне подсказывает — не будет.

Учитель глядел в стол. Инспектор понимал, что он подыскивает аргументы и что аргументов нет, все тысячу раз повторены и никого не убедили. Через три дня тут будет расчистка, останавливать ее бесполезно, и лучше всего было не затевать эту программу с самого начала. Он так и сказал.

— Лучше было вообще сюда не ехать, — сказал учитель.

— Ну опять, — беззлобно ответил инспектор. — Сколько можно.

— Но прав-то я! — крикнул учитель. Инспектор на всякий случай выглянул за дверь, не подслушивают ли.

От хитрых скотов, которые тут еще и разбаловались, всего можно было ждать. — Прав-то я! Если вы скатываетесь к варварству, будьте готовы, что вас там встретит варвар. Настоящий, а не такой, как вы. Настоящему вы всегда проиграете. Вы сначала встанете с ним на одну доску, спуститесь к нему в яму, а в этой яме он вас сожрет, потому что это его среда.

— Слушайте, охота вам, — незлобиво протянул инспектор. Он все еще не давал себе воли.

— Но признайте, что я был прав. Только это. Ничего уже не сделаешь, только признайте, и все.

— Ну а в чем правы? В чем вы таком правы-то?

— Что вы кончите, как они. Что у вас нет выхода, кроме как стать ими.

— Да что вы ерунду городите? На всякого варвара есть пушка.

— У варвара тоже пушка.

— Разумеется. Надавали всякие на свою голову, вроде вас. Но он потому и варвар, что не умеет ее чинить и никогда не сможет изобрести другую. Так что как раз до ямы лучше ему не доводить.

— Но это их земля, — сказал учитель и поднял глаза. — Их земля. Надо уж тогда честно называть себя конкистадорами и мерить другой меркой. Без всяких этих претензий на цивилизацию.

Инспектор хотел сказать, что давно и нет никаких претензий, как и никакой цивилизации, что все это лицемерие осталось в прошлом веке, что так называемая цивилизация спокойно смотрела, как их народ в третий раз за столетие выжигали каленым железом, и тысячи собирались на демонстрации «руки прочь от убийц!», а особо хитрые представители диаспоры в голос выли, что к ним теперь из-за агломерата хуже относятся и даже, страшно сказать, увольняют с работы. Инспектор всей душой ненавидел диаспору: хиленьких, хитреньких программистиков, брокеров-дилеров, интеллектуалов-импотентов, получивших шанс стать народом и испугавшихся этого шанса. Любой, кто мог стать джугаем и остался хеграем, заслуживал всего, включая новое ис-

требление, если оно случится. Учитель-то ладно, он честно приехал на зов, наравне с другими осушал и перепыхивал болота, забыв про два высших образования, — но он был святоша, из породы исусиков, а время исусиков кончилось, по крайней мере в болотах. Инспектор его даже жалел, а потому и спорил не в полную силу: смешно доказывать очевидное человеку, который все понимает. Да еще и дело у него отобрали. Ничего, пойдут в школу.

— Это не земля, — терпеливо сказал инспектор. — Конкистадоры шли за золотом, за всяким какао. А мы пришли на болото, и болото у нас зацвело. Теперь они говорят, что это их земля. Какого черта, где они были тысячу лет? На, воздělывай! А они с вашими техниками, с нашими инструментами воздělать не могут. Я же вижу эти ваши теплички.

Теплички были, конечно, ударом ниже пояса, но сколько можно.

— Вы просто не знаете, — говорил учитель вполголоса, без напора, как спорят люди, понимающие, что от спора уже ничего не зависит. — Вам кажется, что единственно возможное устройство мира — это агломерат. Но у них куда более сложный мир, вы просто не видите его. Я не понимаю, как можно в этом веке говорить о прогрессе. Видели, куда ведет прогресс. Все успехи агломерата... вы сами знаете... только на фоне краха двух мировых систем, сиамских близнецов, в общем. Это все был прогресс. Мир варвара организован... как эти солнечные часы: вы скажете, что они проще наручных? Для вас проще, но наручные вы сделать можете, а сделать, чтобы ходило солнце, — увы. Я знаю, вы скажете, что солнце без них ходит. Это верно, но они его приспособили, а вам оно только мешает, я вижу, как вам на нем тошно.

Это тоже было ниже пояса. Инспектор приехал с северных территорий, первую половину жизни прожил в отвратительных сосновых лесах, где был, кажется, единственным хеграем на сотню квадратных километров и полной ложкой жрал ненависть, которая за неимением сородичей доставалась ему одному.

— Мне не на солнце тошно, — сказал он, закипая. — Мне у вас тут тошно, где миндальничают с убийцами. С ефрейтором позавчера, практически мальчиком, такое сделали, что в части не знают, как матери писать. Три часа отрезали по куску. Новобранцев будут зубами рвать, а вы тут цветочки садить?

— Ну вот только этого не надо, ради Бога! — простонал учитель. Любой спор о варварах давно состоял из повторений «вот только этого не надо». Надо признать, цивилизаторы были априори слабей истребителей, поскольку истребитель в некий момент непременно говорил: «А вот нашего мальчика позавчера...» — и мальчик непременно находился. После этого можно было только переводить спор на следующий уровень — и заявлять, что вообще не надо было... но если сами вы уже здесь и никуда не едете — кой черт в таком аргументе?

— А почему не надо? — не уступал инспектор. — Как надо? Танцы с ними танцевать? Фейерверки? Я вообще не понимаю, как вы тут три года тратите государственные деньги, а решение вопроса, серьезно говоря, один десантный полк.

— Решали уже десантным полком, — почти прошептал учитель, и это тоже было ниже пояса.

— Гуманно решали. Сейчас по-другому будем решать. Короче, чтобы через два дня, когда придет машина...

— Да я понял уже, — сказал учитель. — Вы только скажите: двадцатого?

— Этого я сам не знаю. А и знал бы, не сказал.

— Скольких я могу взять с собой?

— Мой вам совет, — сказал инспектор, понизив голос и сразу успокоившись, — никого.

— За совет спасибо. Но все-таки?

— Одного, — сказал инспектор. На самом деле и это было вранье, но насчет одного он мог в столице переговорить.

— Хоть поужинать останьтесь, — сказал учитель, криво улыбаясь.

— Я эту кухню не люблю.

— Да у нас по-всякому умеют. Не хуже, чем в столице.

— Не могу, — замотал головой инспектор. — Что хотите. Я даже когда баклажаны у них ем — мне все кажется, что человечина.

— Это как же, — задумчиво сказал учитель, — все рестораны варварской кухни закроют? «Закон джунглей» на набережной?

— Почему, — пожал плечами инспектор. — Ничего не закроют. Ассимилированные пусть живут, программа ассимиляции действует. Вот займетесь, если хотите. А бандиты — увольте, хватит бандитя.

— Да-да, — сказал учитель. — Ну, увидимся.

Уезжая, инспектор обернулся: он так и стоял на крыльце администрации, в красной глинистой пыли, исусик. Инспектор слегка раскаивался. Все-таки не надо было с ним так уж. Особенно стыдно было разводить про наших мальчиков. Он отлично знал, как развлекались на территориях наши мальчики.

Красная маатская дорога пылила, джип трясло, вдоль дороги тянулись рисовые поля, потом пошли уродливые, перекрученные деревья — пейзаж был инспектору ничуть не родней, чем треклятые северные сосны, а когда справа показалось алое закатное озеро, все окончательно сделалось инопланетным. Перед сумерками инспектор всегда тосковал — примета людей, неуверенных в собственном праве на жизнь, клятое наследие северных лесов: промежуточные состояния природы тревожат их, резонируя с вечной внутренней неустойчивостью. Будущего нет, думал он, сама земля вытесняет. Они могли осушать и перепахивать ее сколько угодно, но понятно же было, что она никогда не станет своей. И арифметически было очевидно, что миллион джугаев среди трех миллионов варваров, вдобавок неостановимо плодящихся, обречен, как любое воюющее меньшинство: меньшинством хорошо быть, когда ты хеграй, носитель идей, возбудитель, бродило, когда тебя можно сколько угодно ненавидеть, но остатки древнего страха мешают окончательно истребить. Тогда

тебя унижат, наплюют в рожу, но сохранят жизнь, а если и не сохранят — мир велик, отыщется щель укрыться... Те же, кто более не желал щемиться по щелям, съехались сюда, на древнюю землю, откуда их разогнал когда-то гнев Господень, но съехались, как он понимал, на гибель, и тактика учителя, ныне явно позорная, могла в перспективе оказаться разумнее десантного полка. Среди всех аргументов, которых он наслушался, — тут тебе и гуманизм, и мир смотрит, и диаспора — серьезен был один, но перевешивающий многое. В прошлую инспекцию — сколько переменялось за год! — учитель сказал: как вы не видите, что нормальное состояние всякой нации — диаспора? Этим кончат все, это и сейчас уже так. Как всегда, мы этого состояния достигли первыми — и променяли его все на ту же почву, сделав шаг назад, а это не прощается. Только рассеяние, распыление, связанность верой и тайным родством... это будущее для всех, отказ от любых изначальностей, а на что это променяли мы с вами? На болота? Инспектор еще возразил: неужели вы считаете, что все имеют право на территорию, на армию и государство, а мы — нет? Учитель махнул рукой, уже и тогда мало веря в пользу подобных столкновений, но в конце концов он был самым вменяемым из левых, а инспектор — самым терпеливым из правых, как было не поспорить... «Это все равно как если бы птица спрашивала гадов: почему вы все имеете право ползать на брюхе, а мне не дано?». Не договорились, но разошлись мирно. В те времена похищали солдат еще не каждую неделю и не рассаживали своих детей по крышам школ и больниц, доходя до последней, ничем уже не замаскированной варварской подлости. Спорить, зря или не зря съехались, не было больше смысла. Теперь надо было идти до конца. Хуже нет, как играть по правилам с тем, кто плевать хотел на саму идею правил. От озера тянулось мерзкое зловоние. Дураки, что не решились начать в праздничную ночь. В джунглях наверняка празднуют, посты сняты, веселятся внаглую — тут-то и накрыли бы. Нет, и здесь миндальничают. Были же в штабе трезвые люди, требовали на-

чать ровно в Баасту — но кто же из джугаев слушает другого, все самые умные...

Инспектор думал, что, пожалуй, не увидит больше учителя. Что-то в нем сегодня было такое. Жаль, что он не сможет приехать через двое суток. Через двое суток он будет уже на территориях, в тылу, среди фальшиво ревущих, закутанных в черное баб, у каждой в подполе пулемет, в рукаве нож, в джунглях муж. Бог весть, вернется ли, но в худшем случае прихватит многих. Какая пошлость, подумал инспектор, какая смертная тоска.

2

Известие о том, что колония закрывается, учитель встретил с тайной радостью, в какой признавался себе одному, и то угрызаясь: он знал, что дело мертво, но никому не спустил бы таких слов. Ликвидация позволяла сохранить лицо: сопротивлялся до последнего, но есть логика войны. Только идиот мог еще до начала, на стадии проекта, не предугадать дикого фарса, в который мирное перевоспитание превратится немедленно: в колонию хлынули, во-первых, слабаки и ничтожества, которых били свои же, — и за дело, — а во-вторых, явные паханы, решившие пожировать на харчах мирового сообщества.

В письмах к дочери он подписывался теперь Робинзоном — слава Богу, что жена сбежала и увезла ее на второй год: все было как на острове — дикари, беспомощный цивилизатор и выгнанный из дикарского сообщества Пятница, от людоедов отставший, к цивилизации не приставший. Пятниц было, по пословице, семь, и все они были так глупы, зловонны и ни к чему не годны, что учитель сам едва удерживался от рукоприкладства. Они липли к нему, старались услужить, ночевали на веранде его дома — доверие доверием, а дом охранялся. Счастье, что в столице его не послушались и прислали взвод для охраны и хозработ: варвары не снисходили до труда. Мушщина, пояснил ему Бааф, ковыряя в зубе, — мушщина не может пачкаться в земле. Вы возделываете, ну и возделывайте. Вы не мушщины,

вы плесень на земле, и мы вас в нее притопчем, говорил Бааф, пожирая ветчину, присланную мировым сообществом. Ва-а, вы презренны! Когда приезжали журналисты, Бааф был звезда, и в самом деле, какая фактура! Огромный, жирный, от глаз начинается чернущая, мелкокурчавая, положенная по вере борода. Только здесь, говорил он медленно, усиливая акцент, только здесь мы понимаем, что значит быть цивили... ливи... цивилизованным человеком. Только здесь, с нашим учителем (снисходительно хлопал по плечу, сдавливал шею, и чувствовалось, как легко может свернуть ее насовсем), с этим па-адвижьником, слушай, мы понимаем сполна, что нам на самом деле несет агломерат. Атлична! Очень атлична! Сам тут жить буду, детям завещваю, детям детей завещваю. Хорош был также Коол: если Бааф не участвовал в экзекуциях и брезговал избиениями, то Коол — каддыкастая шея, козлиная бороденка, серьга, — был главным мучителем Пятниц: шутки его плохо кончались. Учитель не сомневался, что Сууфа — единственного из слабаков, посмевшегося взбунтоваться, — забил до смерти именно он, но доказательств не было, ибо варвары были варварами и своих не сдавали. Это джугаи вечно спорили, а варвары, даже из Пятниц, не понимали, как можно сказать на своего.

Учитель ничего не мог поделать с тайной неприязнью, а то и ненавистью к Пятницам. Человек устроен так — впрочем, может, это только наше, но разве мы не концентрат человека, не предельное его выражение? — что сильный и убежденный враг ему милее корыстного и слабого друга; что искательная дружба исправившегося дикаря ему подозрительней и тошней откровенной вражды лесных и горных; а сильные его не уважали, ибо силы-то за ним и не чувствовали.

На следующий день после отъезда инспектора учитель отправился на ферму. За коровами ходили солдаты из хоззвода. Маал и Гооп курили трубочки у крыльца, усевшись на корточки. На корточках варвары проводили большую часть дня. Бывший руководитель учебной части, большой знаток и любитель варварства,

сбежавший через семь месяцев, пояснял учителю, что это поза метафизическая, молитвенная, что варвар в этой позе напряженно удерживает связи между предметами, сохраняя мир от распада. Откуда он это взял — не объяснялось: темно намекал, что указание на это есть в «Саине» — мифическом варварском эпосе, которого никто не слышал, только в горах остались два сказителя, помнящие три песни, но так как петь их можно было только при западном ветре, в определенной фазе луны... Варвар больше всего делает, когда ничего не делает, учтите это, говорил завуч, собственно, и драпанувший после того, как на него, утопавшего в болоте, неподвижно, сидя на корточках, полчаса смотрел Яук. На крики завуча прибежали солдатики, кое-как вытащили, хотя еще бы чуть — и был бы повод присвоить колонии его труднопроизносимое имя (он, как это называлось в первом поколении, «взошел» из Латинской Америки). Яук на дознании показал, что была пятница третьей луны — священный день, начальник; в этот день никакое действие нельзя, в особенности на болоте. Религиозное обоснование находилось у варваров на любое дело, в том числе на попытку изнасилования волонтерши-медсестры. После этого учитель категорически прикрыл волонтерство — жалкий, чего уж там, извод былой пассионарности. В первом поколении все еще верили, что удивят дряхлый мир и построят в джунглях рай, во втором надо было эту веру заменять, и народились волонтеры с их истерикой: у самих дома больные старики, но лечить своих — разве миссия? А любить себя за что-то было нужно, без этого уже не могли: диаспора пять веков любила себя за то, что она диаспора, джугаи в первом поколении гордились тем, что перестали быть хеграями, а этим что досталось? Пошло истерическое самопожертвование, и Гаак напал на девочку семнадцати лет, некрасивую, слабенькую, — как женщина она его, разумеется, не привлекала, чистый садизм. Учитель тогда впервые применил оружие, в чем не раскаивался. Гаак, однако, не обиделся и даже, кажется, на парудней зауважал. Самое же удивительное, что и с прострелен-

ной ногой он отказался покидать колонию: какие горы, начальник? Я инвалидный теперь! В горах-то надо было либо стрелять, либо пасти скот, а тут он прекрасно себя чувствовал. Что напал — извини: мы люди горные, у нас в третью луну бывает особый пост баабах. Каждый вечер надо. А что остальные не соблюдают — так извини, начальник, вырождается народ. Совсем ваши затеснили. Древние обычаи кто блюдет? — только наш гааковский род, от первосвященника Гаабаха. Убил бы своими руками, но сообщество взбунтовалось: мы не для того спонсируем колонию, чтобы учитель распускал руки. Дело учителя — учить.

Он не знал, как их учить. Что было сейчас сказать Маалу и Гоопу, курящим у крыльца? Методики для обучения варваров не существовало, ибо само пребывание в колонии, устроенной захватчиками, считалось у них позором. Как во всяком архаическом сообществе (тоже дурацкий термин, ибо архаика предполагает модернизацию, а варвары намеревались оставаться варварами вечно), позор этот был уделом двух категорий, двух крайностей: сюда могли отправляться либо изгои, туда им и дорога, либо привилегированная и втайне ненавидимая каста: паханы, воры. Их, разумеется, чтити и все такое, но в лесах и на горах не любили, нет. Бааф мог сколько угодно грозиться, что, если не прибавится мяса, он уйдет — куда бы он ушел? Пристрелил бы первый пастух из настоящих партизан. Разбойника уважали для виду, потому что боялись, а так-то он был личность презираемая: уважали только бойца, убийцу, истинного зверя, каким был Ваа-Сим, пристреленный в прошлом году. И пристрелили-то его по-дурацки, когда этот отважный воин, горный барс, грабил храм; то есть и тут не было доблести. Учитель давно знал, что научиться от варваров ничему нельзя, что всякие ожидания варваров — великая глупость, что собственное их варварство — давно уже пустая оболочка, в которой все выедено червями, да и было ли? Ведь варвар — всего-навсего тот, кто в любой ситуации делает наихудший выбор, и никакой великой культуры, никакой свя-

зи с природой за этим нет. Разве в том смысле, что природа тоже из всех вариантов выбирает самый ползучий.

После бессмысленного разговора: «Доброе утро, начальник! Вот работаем, начальник!» — и все это не поднявшись даже для виду, — учитель отправился в классы. В первом занимался Туут, личный его ординарец и камердинер, взятый в услужение не потому, что умел услужить, а потому, что иначе бы его забили. По хорошему надо бы увозить его. Он точно не жилец, в любом бою убьют первым. С чего, однако, мы взяли, что спасать надо слабейшего? До этого дорос прогресс, это и губило сейчас так называемую цивилизацию, отпадением от которой так гордились джугаи. Учитель не хотел брать Туута, Туут был ему противен — в особенности липкой услужливостью, грубой лестью, откровенной трусостью (до сих пор ничего не мог с собой поделаться, обильно пускал газ при виде Баафа). Учитель с трудом удерживался от того, чтобы Туута поколотить: он ронял посуду, прожигал утюгом одежду, однажды при попытке сготовить учителю настоящий саамат (настоящий, учитель! Такой, как в джунглях! Эти все не умеют, а мы родом повара!) чуть не сжег избу... Еще один волонтер, очкарик из провинциального университета (три факультета, сто тридцать человек, научный центр, ты что!), уверял, что именно с этих слабаков и начнется великая культура: «История показывает, это, что культуру делают, это, отвергнутые варварами маргиналы, они единственные, так-скть, у кого мотивация к окультуриванию». Как все теории, эта выростала из личного опыта — должно быть, били в детстве, он и придумал, что изгой движут миром, тогда как от изгоев толку еще меньше, чем от пассионариев. Чумоход и есть чумоход. Куда Туут сдвинет мир? Мир движут те редчайшие одиночки, которых травят вовсе не за слабость и тупость, а превентивно, чтоб не выросли, не набрались сил и не поставили раком существующий миропорядок; и им травля только на пользу — вырастают приличные люди, но не среди варваров же. Среди варваров, кажется, был

такой один, и его бы спасти... его бы... но об этом будет еще время подумать.

Туута учили решать задачи. Как все варвары, он не мог сосредоточиться ни на одном предмете долее, чем на пять минут, — у детей это к семи годам проходит, у варваров никогда, и это-то пытаются выдать за родство с природой, тоже вечно пребывающей в движении. В случае Туута к этой хронической рассеянности прибавлялась неуместная туповатая игривость, которой он надеялся расположить учителей к себе. Два яблока да три груши, сколько всего тебе дали? Учитель, я не люблю груши! Я люблю цитсы, учитель! Цитса — ты знаешь, для чего хорошо цитса? От цитсы (краснеет, хихикает, плохо изображает смущение) бууб растет во-о-о! Давай так: было две цитсы, дали еще две цитсы, какой тогда бууб? Но и во время всех этих игр на дне его глаз плескался ужас, потому что в соседнем классе, тоже в одиночестве, занимался Бааф. Он рассказывал словеснику, как пять лет назад лично освежевал сержанта, приехавшего в деревню варваров раздавать гуманитарную помощь.

— Теперь не тот я стал, — умиляясь себе, говорил Бааф. — Старый стал, дедушка стал...

Когда учитель, заглянув на уроки, вышел, Бааф нагнал его на крыльце.

— Слышь, учитель, — сказал он. — Ну, ты слыхал, чего этот-то приезжал?

— Обычная инспекция, — сказал учитель, поправляя очки: этот жест всегда придавал ему уверенности, как инспектору — незаметное прикосновение к кобуре. — И в прошлый год было.

— Ты мне в уши-то не лей, умник, — сказал дедушка Бааф. Когда поблизости не было журналистов и гостей, он говорил почти без акцента. — Когда начнется?

Или у них шпионаж, или подслушивал. Как же так, ведь инспектор проверял...

— Мне не докладывают.

— Врешь, учитель. Врешь. Однако бууб с тобой, я тебя сейчас не убью. Ты нужный пока. — Он гоготнул. —

Одного забрать можешь, да? Ну, ты понял, конечно, кого забрать можешь?

— Я не знаю, о чем ты говоришь, Бааф, — сказал учитель твердо и посмотрел в золотистые варварские глаза.

— Говори как знаешь, ты учитель, не я, что мне учить тебя, — страшной скороговоркой сказал Бааф. — Но ты понял, учитель, да? В город меня возьмешь, понял? Я в город поеду, расскажу всем, как ты нас тут учил хорошо, кормил хорошо... Тебе большой прибыток может быть. Тебя в любую за границу возьмут. Будешь там всех учить. Тебе так-сяк, все равно бежать. Тут, если война пойдет, жизни не будет. Ты не знаешь, я знаю. У наших пушки есть, люди есть, все соседи помогут. Вам воевать нельзя, вам, если воевать, всем ахма будет, земля гореть будет. Вот и поедешь в за границу, меня возьмешь. Будешь людям показывать, какой ученый. Я для такое дело буквы выучу, ты понял, учитель?

— Иди учиться, Бааф, — сказал учитель.

— Но ты понял? — повторил Бааф, крючковатым пальцем цепляя его за пуговицу.

— Руки убери, — спокойно сказал учитель.

Бааф помедлил, потом нехотя опустил руки.

— Пока твоя власть, — сказал он. — А как ты, не дай Бог, меня не понял, я тогда тебя, как того молодого, по куску...

На крыльце у столовки две варварские девчонки, смуглые, чудовищно грязные, накладывали многослойный грим: и коробки с тушью, и тюбики помады, и наборы теней были у них той же дикой грязноты. Девчонок употребляло полдеревни, они свободно уходили из колонии и возвращались отъедаться, учитель ничего не мог с ними сделать, да и лучше уж легально, на виду, чем будут с ними ныкаться по огородам... У них был фотоаппарат, подаренный месяц назад французской журналисткой, посетительницей. Седовласая, восторженная левачка, штайнериенка, идиотка. Заглядывала повсюду, повторяла: *magnifique!* Теперь эти, рисуя себе рожи, снимали друг друга, потом фотографировались вместе,

держала указательные пальцы во рту и недвусмысленно посасывая. Смотрели на изображение — на это их хватало, поразительно легко осваивали технику, — ударяли по рукам и кричали: манифик! Это продолжалось, видимо, не первый час и не надоедало.

— Учитель, посмотри! — закричала одна.

— Красивые мы? Хочешь любиться? — закричала другая.

— Манифик! — завизжали они хором.

3

Учитель направился домой — там было все-таки прохладней, и надо было, если лавочка закрывается, систематизировать документы, а кое-что уничтожить; обучения не вышло, но наблюдения имели смысл. Он прошел мимо пасеки, огородов, полузаросшего детского городка для варварят — детей в колонии не было, родители не пускали, а изгои и разбойники не обзаводились семьями, — и возле мертвого кострища, где еще неделю назад разводили бессмысленный костер дружбы, увидел Арвина.

Имя было не варварское, с ударением на первом слоге, и говорили, что Арвин вообще втерся обманом, но трогать его боялись. Говорили разное. Говорили, что он из тех, древних, кого якобы поработили первые джугаи и держали в повиновении до тех самых пор, пока их не рассеял гнев Господень; от тех, древних, почти никого не осталось, а нынешние варвары были так, жалкое потомство. Говорили, что он из высокогорных, умеющих плавить камни и словом осушать реки. У варваров непонятно было, где ложь, где миф. Арвину могло быть и двадцать, и шестьдесят. Он приходил и уходил, когда хотел. Учитель взял бы его, это решение он принял сразу, ибо только в Арвине мерещилось ему временами человеческое. Арвин ничему не учился, но знал и буквы, и песни. На учителя он глядел сострадательно, но без высокомерия. Иногда он исчезал на месяцы, и учитель беспокоился о нем. Сейчас учитель подсел к нему, чертыхнувшись про себя, — он так и не выучился сидеть на

корточках, но разговаривать с Арвином стоя было бы неправильно.

— Арвин, — сказал он. — Я завтра уйду отсюда.

— Знаю, — сказал Арвин, не поднимая глаз.

— Хорошо бы ты ушел со мной.

— Куда? — ровно спросил Арвин.

— В большой город. Я думаю, что здесь нечего больше делать.

— Нечего, — так же ровно сказал Арвин.

— Ты пойдешь со мной?

— Куда?

— Я же сказал тебе, — терпеливо повторил учитель. — В большой город.

— Ты не пойдешь в город, — сказал Арвин.

— Почему? Ты что-то знаешь?

— Ничего не знаю, — сказал Арвин.

— Ну ладно, как хочешь. Хочешь загадками — давай загадками. Но все-таки пойдём.

Арвин поднялся — гибкий, тощий, грязный, в сложных татуировках, смысла которых не понял никто из заезжих этнографов: абстрактная живопись, не иначе.

— Я один хожу, — сказал он, — ни с кем не хожу.

— И хорошо. В городе тоже будешь ходить один.

— В городе зачем? Я могу здесь один. Кто ходит один — какая разница, где?

Акцент у него был странный, носовой, не варварский.

— А я почему не уйду? — спросил учитель.

— Хочешь — уйдешь, хочешь — не уйдешь, — пожал плечами Арвин и пошел прочь от кострища. Учитель опять ничего не понял, но это был единственный человек в колонии, которого ему интересно было не понимать.

— Постой, — крикнул он. — Скажи, я тебя все спросить хочу... Ты правда из древних?

— Каких древних? — ровно спросил Арвин.

— Из тех, что были до местных.

— Никого не было, — сказал Арвин. — Древних не было. Всегда так было.

— А откуда ты тогда?

— Всегда тут был, — сказал Арвин и пошел дальше.

До ночи учитель разбирался с бумагами, отвлекся только, чтобы похлебать кислого молока. Все-таки кое-что сделано, на книгу хватит. Немного успел записать от Сууфа, мир праху; побольше набормотал Туут, идиот, но по крайней мере ясно стала космогония — примитивная, традиционная, но с любопытными нюансами вроде богини скуки... Интересней всего были предания о тех, древних, настоящих — но в каждой архаической культуре, как он догадывался, жило представление о настоящих древних, по сравнению с которыми все мы, нынешние, ничто. Это был, скорее всего, результат демагогии вождей, вечно попрекавших варваров былым величием: так родители говорят — мы в ваши годы... Прочее было дрянь, методические наработки в особенности.

Давно упала ночь, и сопел в предбаннике Туут, выставив на коврик перед кроватью ночные туфли — учитель сроду не пользовался ими, но Туут ставил и, случалось, по часу выравнивал, подправлял, подчиняясь лично выдуманному ритуалу; без ритуалов вообще ничего не делалось, но если разбойники на них забивали, то чумоходы выполняли все, бесконечно придумывая новые, затрудняя до невыполнимости простейшие действия. Наконец установил, полюбовался, ушел; исчезло мешающее присутствие. Учителю надо было хоть пять часов в сутки быть одному — записывать, вспоминать, думать при других он так и не научился, а в колонии был на людях с рассвета до полуночи. Шугать Туута было бесполезно — он прокрадывался обратно и клялся, что не заснет, если не закончит установку: тангры, учитель, тангры. Танграми звались злые духи, вселявшиеся в оставленную одежду. Была варварская легенда о самостоятельно гуляющих сапогах.

Перед уходом Туут робко обратился с вопросом — был уверен, что учитель обожает просвещать, и потому, чтобы нравиться, надо как можно больше спрашивать. Видимо, он что-то чувствовал, потому что спрашивал теперь о городе.

— Учитель, а город ночью светлый?
— Светлый, — кивнул учитель, не отрываясь от записей. В городе все придется оцифровывать, местный комп вечно ломался, чинить было некому, — журнал наблюдений он вел от руки, как Крузо.

- А звезды видно? — после паузы спросил Тутт.
- Все видно. Зачем тебе звезды, гадать, что ли?
- Гадать, учитель. А машина ходит?
- Много машин. Иди спать.
- Да, иду. А по проводам ходит?
- И по проводам ходит.
- А по железу ходит?
- И по железу. Спокойной ночи.
- Да, ночи... Ночи, учитель.
- Иди, иди.

Засопел из предбанника почти сразу, засыпал мгновенно, с сознанием исполненного долга. Как же — тангров отвел, туфли установил, вопросы задал.

Как их учить, думал учитель, и надо ли их учить... Ясно, что вся наша методика тут пасует. Жить с ними в их деревнях, как пробовали миссионеры? Бред, народничество. Там они сильнее, там торжество их правил очевидней. Перевозить в города? Будет как с девчонками — научатся краситься, фотографироваться, и манифик. Убивать? Но пробовали. Есть единственный путь — он много думал об этом, не позволяя себе, однако, договаривать до конца. Перед ними можно было умереть, это они бы поняли. Смерть была единственным языком, на котором они говорили. Тот, кто умрет перед ними, докажет, что говорил дело. Ценна только вещь, за которую умерли. Это заставит еще не задуматься, но остановиться. Так сказать, встать с корточек. Дальнейшее — дело времени, но вопрос весь в том, кто...

Он не сразу понял, что все началось, или, правильной говоря, кончилось. В колонии и прежде взрывалось — Коол украл у девчонок баллон аэрозоля и шутки ради подложил в костер. Но загорелся один дом, другой, и все стало ясно.

Они не стали ждать до послезавтра.

Учитель выбежал из дома, вслед за ним с ночными туфлями в руках бежал и визжал насмерть перепуганный Туут.

— Учитель, надень, учитель! — верещал он.

Административное здание уже горело, другой снаряд разворотил теплицу. Как же так, думал учитель, зачем они присылали инспектора, мы же ничего не успели. Нельзя начинать в Баасту, теперь это никогда не кончится...

Жухнуло совсем рядом, он упал, рядом шлепнулся Туут.

— Конец неба, конец неба, учитель! — завизжал он и дальше визжал уже на варварском, которого учитель так и не вызубрил из-за обилия синонимов для каждого понятия, из-за ползучих звуков, обилия гортанных неотличимых гласных и взрывных согласных, на которых спотыкался язык.

Еще два снаряда разорвались за колонией, ближе к джунглям. Учитель тяжело встал, с него посыпалась земля. Туут сел на четвереньки.

— Ай, куда бежать, куда бежать, — причитал он.

Надо было спасать людей, но с кого начать — учитель не понимал. Варварские обычаи требовали начинать со своих, но кем он был бы, следуя варварским обычаям? Он бросился к варварским избам, но остановился на полпути — снаряд угодил в общежитие педагогов. Учитель в ужасе смотрел, как медленно разлетаются горящие бревна. У него заложило уши. Он видел, как со стороны поля приближались бронемшины — тоже медленно, словно давая привыкнуть. Из них постреливало. Красная пыль клубилась в свете фар. Туут хватал учителя за ноги.

От варварских изб тяжело бежал Бааф. Издали он грозил учителю и чего-то требовал, но слух не возвращался. Вероятно, Бааф был недоволен тем, что все началось раньше. Теперь учитель не мог забрать его с собой и показать иностранцам. Плохо теперь дедуш-

ке. Учитель успел подумать, что это хорошо, даже от лично.

Надо было бежать, но не очень понятно, куда. С поля накатывали бронемашин, от изб бежал Бааф, а издали стреляла артиллерия — новый снаряд упал аккуратно в центр бывшей костровой площадки. Вот, подумал учитель. Это и есть то образование, которое я сейчас могу им дать. Ведь только что сам говорил, как надо их учить. Это мой шанс. Надо только сказать что-нибудь.

Но прежде чем их с Баафом накрыло одним и тем же взрывом, он успел понять, что, в общем, все уже сказано.

5

Арвин уходил в джунгли, не оглядываясь. Когда далеко позади ухнул первый взрыв, он замер ненадолго, но потом еще решительней пошел вперед.

Он знал, что происходит и что будет. В ночь Баасты далеко видно. Он знал, что учитель, погибший в ночь Баасты, будет объявлен бессмертным и станет воскресать во всякую Баасту, и многим духовидцам встретится во плоти, и наговорит глупостей. Он знал, что Баафа объявят его правой рукой, сторожем рая, и что в обители, которую тут выстроят три века спустя, главным храмом будет храм святого Баафа. Он знал, что одумавшиеся варвары, которые в этой войне размолят и пустят по ветру джугаев, будут виновато чтить величайшего джугая, Учителя, который ушел от своих, чтобы принести свет детям лесов и гор, — и что изображения учителя будут висеть в каждой избе. Он знал даже, что предателем маатской колонии объявят Тууга — просто потому, что уж так был устроен Тууг: на него сыпались все шишки.

Все это было неинтересно.

Он знал, что от имени учителя будут твориться все добровольные пожертвования и все публичные казни, что его именем завоюют соседей, что его именем назо-

вут главную площадь, главный университет и главный застенок каждого города; и что для уцелевших джугаев, снова рассеянных по миру, не будет более ненавистного имени.

Это тоже было неинтересно.

Бааста выдалась славная, мир вокруг него дрожал и сверкал от невыносимо напряженных связей. Высоко восходил серебряный Треугольник — созвездие весны, созвездие свежего холода. Стебли тянулись к нему, и каждый говорил. Арвин слышал хор существ, благоволение болот, звон множественных причудливо вырезанных крыльев.

Это было интересно.

Он шел все быстрее, и лес смыкался за ним.

ЛЕТО В ГОРОДЕ

На работе получил эсемеску: «Доброе утро. Когда надоест, скажешь». Ответил: «Было бы приятно получить “хочу” и ответить “лечу”». Десять минут метался — вдруг слишком? Наконец: «Если бы я разобралась, чего хочу!» Ладно: «В таком случае мое лечу опередит твое хочу». Еще десять минут думала, наконец родила: «Допустим». Прыгнул в машину, перенес три встречи, приехал в Домодедово — был дневной рейс. Через полтора часа в городе. Звонить из аэропорта не стал, приехал прямо в квартиру. Во дворе скрипят качели, дети скачут под присмотром бабок — странно: предчувствия счастья нет. Чего-то — есть, но счастья нет. Открывает хмурая. *Дик прием был, дик приход.* Самое ужасное, что знал: то ли у нее подсознательно такая манера — дёрг туда, дёрг сюда, чтобы крепче сел на крючок, то ли действительно не понимает, чего хочет. Вялое: «Входи». Что говорить — непонятно. Кофе еще предложи. Садится на диван, поднимает голову: «Я тут подумала — ничего не получится». Я так и подумал, что ты так и подумала. «Ну что, я тогда полетел?» Молчит. Повернулся, вышел, взял такси, поехал в аэропорт.

По дороге вспоминал: ведь все уже было. Тоже бурное начало, не могли разлипнуться, ходили чуть не до утра по бульварам, сирень, естественно, — на другой день звоню, она неохотно говорит «ну ладно», встречаемся, ходим, все не то, где все ее вчерашнее шампанское — вообще непонятно. Наконец я прямо: в чем дело?

Дело в том, что она не хочет ломать свою жизнь. Вчера я был дико обаятелен, а сегодня она отрезвела. Там есть учитель танцев, она занимается спортивным танцем. Если впускать меня, то прощайте, спортивные танцы. А она не готова, какие претензии? По самому началу ясно было, что если будет, то серьезно. И не факт, что легко. «Они пугаются напора», — сказал однажды Андрей Ш. Ехал и думал: почему-то никакого отчаяния. Жалко, правда, денег. Еще бесила жара. Только потом догадался, что привык прятать от себя самую сильную досаду; ни в чем не признаюсь, вот и проявляется подспудно: то дикая головная боль на ровном месте, то столь же дикое раздражение из-за ерунды. По дороге в аэропорт пробка на переезде. Все они, что ли, уезжают из города? Город южный, все цвело. Прикидывал, что буду делать дома. Из-за трех перенесенных встреч завтра превращается в безумие. Надо бы чем-нибудь утешиться. Кого сейчас вызвоню? Да и, по совести говоря, чем после нее утешусь? Следовало бы успеть заметить в ней что-то разочаровывающее, отвратительное, но до того ль, голубчик, было. И всего грустней, что жалел ее, сидящую на диване: в самом деле несладко девочке. В двадцать два бы, наверное, возненавидел, сейчас при всем желании не мог. Но денег жалко: мог потратить на дело. Мало ли на какое — нажрался бы в хлам, все польза.

Ждала в аэропорту, и странным образом знал это тоже. Может, потому и не было настоящего отчаяния по дороге. Как опередила? — ну, еще бы не опередила. Выросла тут, знает все закоулки, сосед дворами добросил на мотоцикле. Надо еще посмотреть, что там за сосед. Пока торчал в пробке, жалея деньги, как-то так пронеслась — и вот торчит под табло, сияя. «Ты что, правда бы уехал?» — «Естественно».

— Ладно, поехали.

По пути, оглядываясь с переднего сиденья:

— Это ты меня уже воспитываешь?

— Я не воспитываю, Варь. Я просто пытаюсь... ну, не насиловать же мне тебя, верно?

— А я что должна? Притворяться?

— Нет, ни в коем случае. Ну а что мне было делать?

- Не знаю. Наверное, все правильно.
- Ну, посмотрим.
- Что посмотрим?
- По результатам.

Неделю назад ничего не было: как называл это Харитонов, «лежали говорили об искусствах». Приехал по делам, затащили в компанию, масса общих знакомых, большая запущенная квартира, прекрасная, как в молодости — в Москве сейчас таких уже нет: чья-нибудь бабушка завещала, внук оказался раздолбаем, таскает таких же бездельников, ночами забредают совсем посторонние, пьют, поют, свечи, разговоры на балконе, рассвет, потом кто-то остается, кто-то расползается, иногда с этого что-то начинается. Здесь разговаривал, как не разговаривал давно: все всё понимали, отвечали быстро и в тон, много знали, через час были как родные. Раньше Москва опережала в тех самых «искусствах», теперь опережает в бйчке, в падении, возглавляет всякое движение, хоть вверх, хоть вниз. Приметил сразу и взаимно, как и положено: старалась подсесть поближе, ответить парольной цитатой, но тогда же заметил и эти внезапные отшатыванья, дёрг-дёрг, чтобы, значит, не мнил о себе. К пяти хозяева начали задремывать — двое местных безработных, живущих на родительские переводы из Штатов: она — студентка, он что-то где-то по мелочи, кажется, строительное то ли ремонтное, строгий и самоуверенный мальчик, как бы глава как бы семьи, хотя квартира студенткина. Задерживаться стало неловко, разговор шел с провалами. Встала, решительно взяла его за руку, потащила к себе. Дома никого, с кем живет — не спрашивал. Двадцать два года. Усадила в кресло с книгой, пошла в ванную, вышла в короткой ночнушке, постелила кровать — без краски и платья казалась младше, совершенный ребенок, несколько медвежковатый. Белые сильные ноги, крепкие икры, длинные пальцы. Ни маникюра, ни педикюра, ничего. Чудесно. Волосы теплые, соломенные, своего цвета, с легким духом абрикосового шампуня. Гладил, но не приставал. Потом целовались, вроде все уже долж-

но было быть, но останавливала, и не настаивал. Во дворе уже орала вовсю сначала птицы, потом дети. Наконец задремали, проснулся к двум, еле успел на обратный самолет. Записал телефон, из самолета написал: «Прямо хоть возвращайся». Не ответила, с утра прислала «Доброе утро».

— Со мной хорошо спать, все говорят. Свойство организма.

— Это молодость, пройдет.

— Не пройдет. Я не храплю, не верчусь, уютно сворачиваюсь.

— Что да, то да.

— Я даже думала с одной подругой открыть дормиторий. Для страдающих бессонницей, слабостью там... Пришел, выпался, ушел свежий. Секса никакого.

— Это ты умеешь, да.

— Молчал бы. Развел на все, лежит довольный, как слон.

— Я и есть.

— Семнадцать лет разницы, ужас.

— Почему ужас?

— Не вздумай говорить, что мог бы быть моим отцом.

— Не мог бы, нет. Я в семнадцать только начал.

— Не вертись. Рассказывай.

— Про первый раз не буду, пошлость.

— Я не прошу про первый. Что хочешь, то и рассказывай. — Устраивается, вертится, укладывает голову на груди.

Город-герой, с боевой славой и больше, в сущности, ни с чем. В застольях поют военные песни — сначала дурачась, потом всерьез. Угрюмый бородатый мужик мог среди общего стеба резко встать и заявить, что ему невыносимо издевательство над святынями. Слава Богу, никогда не издевался. Первое время она таскала по компаниям — оба боялись, что наскучит вдвоем, но скоро наскучили компании. Вдвоем не надоедало, обходились без обсуждений третьих лиц. Кого было обсуждать? — все понятные. Показала подругу, девочка-декаденточка,

старше на пять лет, страшно обиделась, кажется, что увлеклись не ею. Уже перебраживает, перекисает. Могла бы утащить в свой декаданс, как Парнок Цветаеву (может, интерес и здесь, не без этого). Показала свою театральную студию, так себе студия. С режиссером было, теперь вроде как дружат. Старался больше молчать, в таких коллизиях верной линии не бывает. Начнешь ругать — столичный хам, хвалить — столичный подхалим с чувством вины, фальшивым, разумеется; молчишь с умным видом — столичный сноб, хуже первых двух. Что-то мямлил.

Ночью, вдруг:

— Самое странное, что ты добрый.

— Я примерно понимаю, о чем речь. Может, и добрый, но это, знаешь... Тоже одна говорила: это от заниженного мнения о людях. Как бы я так плохо о них думаю, что восхищаюсь любым человеческим проявлением, стишок там наизусть...

— Нет, это она со зла. Она тебя не любила.

— Да и не за что, в общем.

Пару раз приехала без предупреждения, появилась внизу, ждала. Почему-то почувствовал, дико вдруг захотелось мороженого, выбежал за мороженым — стоит. На работу не вернулся, что-то наврал, хотел везти в гости: «Нет, я же не в гости...» Потом начала врать, что приехала рвать; никогда раньше не обращал внимания на эту анаграмму.

— Ну сам же подумай, никакого же будущего.

— Этого мы не знаем.

— Ты всегда прячешься. Что тебе, трудно подтолкнуть меня? Ну скажи: возьми себя в руки...

— Что ж я буду себе голову рубить?

— Не голову. Это у тебя обычные стрельцовские гоны. Стрелец себе придумывает, мечется, гонится, а на самом деле ему никого не надо.

— В этом что-то есть, я с тобой через что-то должен перепрыгнуть, непонятно только, через что.

— Ну видишь! Ты перепрыгнешь, а я куда? *Ты мною спастишься хочешь.*

— Живу тобой, как червь яблочком.

— А у меня там хороший человек. Я не могу врать вообще, понимаешь ты это?

— И не ври.

— Так нельзя. Я должна его сдать в хорошие руки или сделать так, чтобы сам ушел.

— Вот этого я никогда не понимал.

— Конечно.

— Будь уверена, он с величайшим облегчением тебя отпустит на все четыре. Нечего преувеличивать свою единственность.

И опять птицы, и опять не спали до шести, и почему-то после ночи с ней не было вялости и злости, а вскакивал свежий, словно после шести безмятежных часов на горной веранде. Ревниво следил: не подвампириваю? Нет, и ей не хуже. Главное — все можно было сказать, это важнее всякого секса, однако и он, надо признать... Хотя по большому счету все это ведь только для подтверждения, вроде печати.

Не сказать чтобы обходилось без взаимных дрессировок, замечаний об этикете, летучих обид. Но все гасло — зачем отравлять чистый воздух? Почему-то из окна ее комнаты на третьем хрущобном этаже город напоминал Новосибирск, хотя там были сосны, а здесь тополя. Может быть, просто из окна «Золотой долины» смотрел в схожем состоянии, там тоже был роман (но это ведь не роман!) и, казалось, совершенный бесперспективняк. Но Таня этим, напротив, упивалась. Ей нравилось, что ночует с однокурсником, а днем бегаёт в «Золотую долину» — там, страшно подумать, пятнадцать лет назад жил, изобретя предлог в виде командировки. Тогда уже клонило к осени, все было лихорадочное, и у Тани был насморк, и оттого оба задыхались вдвойне. Здесь, напротив, все расцветало и расцветало, налетали дожди, освежавшие среди жары, и со двора поднимался запах мокрого асфальта. Мне кажется, во времени прошедшем печаль и так уже заключена: печально будет все, что ни прошепчем. У радости другие времена. Нет, здесь все было уже в прошедшем, но непонятно пока было, из будущего счастья мы на это смотрим или из будущей разлуки. Сначала все казалось, что из

разлуки, но чем дальше, тем крепче срастались: три дня в Питере, неделя в Крыму, разъезжаться каждый раз казалось все более противоестественным, но подспудно осознавалось, что это еще и подогревает, подливает остроты, так что пока подождем.

— Интересно, что у нас (уже «у нас»!) не было никакой весны. Сразу с лета, с лёта.

— Что, осенью кончится?

— Не знаю. (Хихикает.) Созрею.

Совершенно так и вышло, кстати: осенью навалилась новая работа у нее, у меня, потом кризис, виделись реже, все ослабевало, а ведь тут с самого начала ясно — либо все, либо ничего. На все не решались, ну и вот. И потом — все главное выпито: как в детстве, тройной сироп. Дальше вода, зачем? Все поместилось в одно лето. Перепрыгнули через что-то, оттолкнувшись друг от друга, — бывает и так, и, может, не худший вариант.

Иногда, конечно, хочется звонить, но подозреваю, что сменила телефон.

МУЖСКОЙ ВАГОН

В мужском вагоне Крохин ехал впервые. Этого нововведения он не понимал. То есть на самом деле оно было, конечно, в русле всего происходящего, только очень уж как по писаному все происходило. Как будто всей страной разыгрывали дурацкую пьесу, напряженно делая вид, что принимают ее всерьез. Простите, но тут у нас написано «диктатура». Значит, сейчас будет немножко диктатура. Не всерьез, а так, понарошку: закроем это, запретим то и введем отдельное обучение. До него, правда, пока не доходило, хотя отдельные голоса в его пользу раздавались уже года два; ограничились пока основами православной культуры. Но отдельные вагоны уже ввели — пока, конечно, в порядке эксперимента, на избранных направлениях... Крохин ехал как раз в избранном направлении, в славный город Казань, где у него была большая любовь. В Москве, само собой, у него оставалась жена — все как положено; вообще эта коллизия — одна там, другая тут — была очень под стать вернувшемуся двоемыслию. Сколько Крохин ни выслушивал чужих историй, у всех было то же самое, и даже таксист, подвозивший его к трем вокзалам, успел рассказать ему о сходной ситуации. Он был парашютист-любитель, в клубе летал с любовницей, а дома ползал с женой. Сплошной разврат, в самом деле. Пора вводить отдельные самолеты.

Никаких внятных объяснений по поводу отдельных вагонов железнодорожное начальство не давало.

Разве что самые общие: женщинам неудобно при мужчинах переодеваться, мужчинам неудобно при женщинах выпивать... В этом разделении на мужское и женское было что-то омерзительно имперское, очень характерное для государственных заморозков: четкая определенность, свои там, чужие тут. Сплошные антагонизмы: с Западом, с буржуями, с внутренними врагами, теперь вот и с женщинами. Мужчина должен быть мужчинским: защитник Родины, охотник, спортсмен, любитель поговорить о гоночных автомобилях, о рыбалке, в крайнем случае о бабах. Крохин ненавидел все это до рвотных спазмов. Он вообще очень любил женщин, а в мужском обществе скисал — не потому, что в детстве страдал от дефицита мужского воспитания, и даже не потому, что его били одноклассники. Никто его не бил, и отец у него наличествовал, а просто Крохин терпеть не мог доминирования, которым мужчины в России занимались непрерывно. Нормальная практика для замкнутых несвободных сообществ, Крохин как дипломированный социолог отлично это понимал. Женщины вносили в такие сообщества нежелательную разрядку. Мужчины без женщин тут же начинали стремиться к максимальной отвратительности, и самый гнусный немедленно становился лидером. Сейчас Крохину предстояло провести девять часов в замкнутом мужском коллективе, в принудительном сообществе четырехместного купе скорого поезда Москва—Новосибирск, и он заранее ненавидел попутчиков.

Он надеялся, что хоть не все места будут заняты, но бывают эпохи, когда сбываются худшие подозрения: в купе, помимо тридцатилетнего Крохина, оказались спортивный бодрячок лет сорока — тугой, белесый, с обтянутым пузцом, худощавый испитой мужичонка с длинным лицом вечного командировочного и огромный краснорожий детина с коровьими карими глазами. Все поздоровались с Крохиным за руку.

— Ну, товарищи, давайте знакомиться, — сказал тугой. — Некипелов Вячеслав, можно Слава. Еду до самого Энска, брательник женится. Будем гулять на свадьбе.

— Каримов, — скучно сказал вечный командировочный. Он ехал в Казань в какой-то трансгаз — Крохин толком не расслышал.

— Крупский, — застенчиво сказал гигант, оказавшийся бодибилдером. Он строил свое тело пятнадцать лет по собственной системе и ехал теперь наглядно иллюстрировать собственную книгу об этом увлекательном процессе. Книга вышла в Москве, в «ГИЗДе» («Гигиена и здоровье»), но казанские магазины запросили серию встреч с автором, и автор покорно ехал.

— Ну, мужики, — радостным голосом затейника сказал Некипелов, едва поезд тронулся, — чего ни говорите, а хорошо без баб! Люблю, это самое, мужскую компанию!

Крохин тоскливо полез на верхнюю полку.

— Семен Семеныч! — укоризненно обратился к нему Некипелов, можно Слава, хотя Крохина звали Борисом. — Ну куда же вы от компании! У нас имеется...

Крохин собрался было объяснить, что пить ему совершенно не хочется, тем более с полужнакомыми людьми, — но понял, что объяснение не прокатит, и покорно слез.

— Вот и отличненько, и отличненько, — с комсомольским задором приговаривал Некипелов. Он был из тех бодрых мужичков, что любят слова «кратенько», «скоренько» и «нормальненько». — А то, знаете, влезла бы щас к нам какая-нибудь цаца — и всё, прощай мужская компания...

— Очень правильно, — грустно сказал бодибилдер Крупский. Он, видимо, успел натерпеться от женского пола. Им всем нужно было только его роскошное тело, а не утонченная, страдающая душа.

Некипелов быстро разлил отвратительный коньяк, перочинным ножом вскрыл нарезку, вечный командировочный Каримов извлек круглую пластмассовую банку с бледной селедкой в укропном соусе, Крупский застенчиво выставил два йогурта и пачку творожку.

— Это вы всегда так кушаете? — поинтересовался Некипелов.

— Для мышечной массы, — виноватым басом пояснил Крупский.

— Ну, со свиданьем! — воскликнул можно Слава.

Крохин с тоской вообразил, как сейчас в купе вошла бы хоть самая завалыщенькая девушка — и все они тут же подобрались бы, оставили отвратительное панибратство, устыдились своей укропной селедки... Каримов постеснялся бы немедленно разуваться и вонять на все купе носками, словно эти неснимаемые носки служили ему во всех бесчисленных разъездах по неотличимым трансгазам... В мужском сообществе немедленно начало дурно пахнуть, словно отказывали какие-то подсознательные тормоза; перед женщинами еще стеснялись, а друг перед другом чего ж! Некипелов стал рассказывать, как супружница сооружала ему с собой закуски, как она вообще его любит, хотя он в счастливом браке вот уже пятнадцать лет. Каримов слушал с тоскливой улыбкой язвенника. Крупский признался, что еще не женат, потому что в двадцать пять лет уехал в Штаты, только теперь вернулся, основав там скромную бодибилдинговую фирму, и как-то все было не до брака. Зато теперь в рамках правительственной программы «Закал» он отлично вписался в нацпроект «Готовься к службе» (это был новый аналог ГТО). Лозунг «Закал» почему-то никого не смешил — да и что такого, в конце концов? Закалиться, по местным понятиям, как раз и значило с ног до головы покрыться калом — только такой человек считался достойным гражданином...

— Нет, служить все-таки надо, — сказал Некипелов, ковыряя в зубах.

— Точно, — вставил свои пять копеек Каримов. — А то есть которые не служат. А за них другие служи. Кто за них будет служить? Крестьяне пойдут? И так уже армия не умеет ничего...

— Точно, точно.

— А то, — с горечью продолжал Каримов, — есть такие, за которых родители всё. Куда он такой годится, если всё родители? Развели тут, понимаешь. Я был в Швейцарии, все служат.

— А вы, Семен Семеныч, служили? — вальяжно спросил Некипелов у Крохина.

— Я Борис Андреевич, — угрюмо сказал Крохин.

— Значит, не служили? — истолковал его ответ Некипелов. — По здоровью чего или как? — и он подмигнул Крупскому.

— У меня была военная кафедра.

— А... Ну, эт не служба. Эт игрушки, — припечатал Некипелов. — Я так думаю: если ты мушщина — служи. Мушщина должен. Пусть не два, пусть полтора, теперь вот сделали полтора. Хотя лично я два служил и не зажужжал, — он хохотнул и опять подмигнул Крупскому. — Ну когда еще себя проверить-то? Мушщина должен себя испытать, иначе как ты будешь потом... в разных ситуациях?

— Есть которые не служат, — с затаенной злобой повторял Каримов. Видно, кто-то крепко подсел его в трансгазе либо отбил бабу, кто-нибудь богатый, с престижными родителями. — Есть которые — всё за них другие делай, а они лежи. Я повидал...

— Ну, а вы, Семен Семеныч, по какой же части? — не отставал Некипелов.

— А вы, товарищ Кипятков? — спросил Крохин.

— Эк вы меня! — хохотнул Слава. — Ущучил, ущучил... Пальца в рот не клади, да? Ну, еще по маленькой. Я, Семен Семеныч, строитель. «Москву-сити» строим, слышал?

— Слышал.

— Ну а то! — воскликнул Некипелов и стал рассказывать, какой фантастической высоты и надежности будет «Москва-сити». Сам он был прораб и потому немедленно начал сыпать техническими характеристиками цемента, кранов и искусственной скалы, на которой все стояло. Часто упоминались немецкие балки. Основную часть будущего Вавилона возводили турки, и Некипелов одобрил их трудолюбие, хотя, заметил он, чурка есть чурка. Правильно?

— Они и в Штатах особняком, — печально сказал Крупский. — Кучкуются там.

— А ты, Саня, Шварценеггера видал? — спросил Некипелов.

— Абсолютно, — кивнул Саня. Почему-то все русские — даже после краткого пребывания в Штатах — вместо «да» отвечали «абсолютно», хотя у американцев Крохин такого не замечал. — Видал вот так, запросто. У меня фото с ним в книге, — он полез в дипломат и выложил глянцевый том, на задней обложке которого обнимал за плечи Шварца и Сталлоне.

— Он чё, нормальный парень? — поинтересовался Некипелов.

— Абсолютно, — сказал Крупский. — Вот как мы с вами, абсолютно. Очень много помогает детям у себя в штате. Его абсолютно любят.

— Есть такие, что помогают, — с той же горькой обидой сказал Каримов. — Наворуют, а потом помогают. Они все помогают, а ты спроси, откуда у него? Благотворители. Они обманывают всех, а говорят, что помогают. Я вот этого доктора знаю, забыл фамилию, который милосердие или что еще. Так он солнцевских лечит, я точно знаю.

Крохин отлично знал человека, о котором шла речь, и знал, что ни к каким солнцевским он отношения не имеет, просто имел несчастье один раз сфотографироваться с их паханом Карасем, когда тот пожертвовал на детскую больницу в Новопеределкине; но теперь, конечно, врачу было не отмыться. Каримов еще минут пять поругал жертвователей, сказал, что всё показуха одна, и пожаловался, что в больнице к нему недавно не было никакого внимания. После этого он долго рассказывал про свой желудок с пониженной кислотностью. Будь в купе хоть одна женщина, он, конечно, постеснялся бы таких анатомических подробностей, но теперь стесняться было нечего, и некоторое время все азартно обсуждали, что делать при поносе. Некипелов рассказал три анекдота в тему, Каримов визгливо смеялся, обнажая длинные зубы, и даже Крупский застенчиво улыбался, лаская всех коровьими глазами.

— А тебе пить-то можно, Саня? — спохватился Некипелов.

— Абсолютно, — кивнул Саня. — Если знать норму, то абсолютно.

— А скака у тебя норма, у такого большого?

— Двести грамм можно абсолютно.

— Вообще, — сказал Каримов, — что ты не жена-тый, я это, спортсмен, одобряю. Ты это правильно. Ничего хорошего.

— Ну, — подмигнул всем сразу Некипелов, — кое-что хорошее есть...

— Ничего хорошего, — убежденно повторил Каримов. — Они все могут вертеть как угодно, но они непонимающие.

Каримов, видимо, не привык пить, а может, давно не пил из-за своих поносов, и потому сейчас его не на шутку разобрало. Он начал делиться своей философией жизни, а сводилась она к тому, что все постоянно стремятся всех наколоть, обмануть и подставить. Уж на что он все время держал ухо востро, но лично его, Каримова, женщины всегда старались облапошить, предлагая свой сомнительный товар за его деньги и удобства. Если бы в купе была женщина, он постеснялся бы, конечно, этой оголтелой исповеди неудачника, которая в некотором смысле была еще зловоннее, чем разговоры о поносе; от нее тянуло давней неухоженностью и тупой тоской. Некипелов слушал, вставляя сочувственные замечания, но в одном вопросе согласиться с командировочным не мог. Конечно, соглашался он, бабы, безусловно, все как одна думают только об этом и еще хотят денег, и деньгами с ними можно делать что угодно, но если баба понимает в этом деле (тут он подмигивал и цокал), то можно и деньги, и жилплощадь, и что угодно. Большинство баб, конечно, не понимает, но некоторые понимают, и вот у него была одна в Сочи, которая доводила его до белого каления. Ты представляешь, говорил он Крупскому, она скрипела зубами! Зубами скрипела! Крохин узнал бы еще много интересного, но тут из соседнего купе к ним вломился пьяный дембель, жаждавший общения. Он выходил курить и ошибся дверью, и вот вломился к ним, а когда увидел, что у них есть еще, — не пожелал уходить. Он стал рассказывать про свои пограничные геройства.

По его рассказам выходило, что китайцы совершают провокации ежедневно, и многих он взял лично, а с некоторыми пришлось драться врукопашную. Все это он норовил изобразить.

— Они знаешь что? — доверительно спрашивал он у Некипелова, живо смекнув, кто тут душа общества. — Они всю нашу Сибирь... уже практически всю! Они обнаглели, это самое, как я не знаю! У нас на заставе был Иванов во время учений, министр. Руку жал. Он говорил, что направление стратегистическое! Страте-ги-сти...

Крохин три раза порывался влезть к себе на верхнюю полку, но его удерживали. Непонятно, зачем он нужен был Некипелову — ни анекдотцев, ни интересных деталей про зубовой скрежет он не выдавал и ограничивался хмыканьем, даканьем и неопределенным меканьем; видимо, Слава, как всякий истинный затейник, не мог успокоиться, пока не покорит все сердца. Он успел выснить мнение Крохина о том, что будет с долларом, кто станет чемпионом России по футболу и надо ли выгонять из Москвы всех чурок. Некипелов был уверен, что надо, а Каримов предлагал сразу посадить, потому что они сплоченные.

— Вот они защищают свои права, — говорил он обиженно. — А почему русские не защищают свои права? Почему у русских в Москве нет организации, которая защищала бы права? Если русские начнут защищать, то это сразу будет фашизм. А когда эти защищают, то это и нормально. Это вам как?

— Русские в Москве — хозяева, — терпеливо сказал Крохин. — Зачем им объединяться и защищать свои права?

— Хозя-яева, — презрительно протянул Каримов и отвернулся, чувствуя бесполезность разговора с таким зашоренным человеком.

— А вы не татарин будете? — простосердечно спросил Крохин.

— Я буду русский, москвич в пятом поколении! — вскинулся Каримов.

— А то фамилия...

— А что фамилия?! — поддержал Каримова поградец. — У нас был Бульбаш, все думали — хохол, а он татарин!

Каримов долго еще рассказывал, как он вынужден ютиться в спальном районе почти у самого МКАДа, даром что в пятом поколении, и о том, как весь этот район заселен незаконными гастарбайтерами и отвратительными торговцами, которые оккупировали московские рынки и не дают русским торговать; о том, кто мешает русским торговать и оккупировать собственные рынки, он не говорил ни слова. Некипелов горячо его поддерживал, а Крупский сообщил, что в Америке тоже много чурок, объединенных в мафии, а валят всё на русских, подозревают только русских. Стали ругать Америку. Дембель трубно ревел и колотил красным кулаком в стену. Вошел проводник, ласково улыбнулся всем и не стал умирать дембеля. Вероятно, в мужских вагонах следовало делать замечания кротко, смиренно, а лучше не делать их вовсе — целее будешь.

Выпили третью, купленную в вагоне-ресторане (сходить туда вызвался Крупский как младший). Дембель пел. Конечно, при женщине в купе не было бы и десятой доли подобного свинства. Под конец развезло и бодибилдера, принявшегося с остервенелой откровенностью и частыми вкраплениями английских слов рассказывать, как он у себя в Курске любил студентку медицинского училища и как она, фак, ему не дала. Все свои боди-успехи он одержал ради нее, в Америку уехал ради нее, а когда вернулся — оказалось, что она давно замужем за пластическим хирургом. Крупский бы его, конечно, сделал одним мизинцем, но хирурга боялся — вдруг у него скальпель и он чего отрежет? Гигант виновато улыбался, рассказывая все это, но чувствовалось, что хирург для него был кем-то сродни шаману. Он был наделен сверхъестественной силой и мало ли что мог отрезать в честном бою.

С пятой попытки Крохину удалось отделаться от мужского общения. Он лежал на своей верхней полке,

слушал пение дембеля, анекдотцы Некипелова и каримовские инвективы, а думал о том, как отвратительны местные мужчины по сравнению с местными женщинами. Женщины никогда не позволяли себе подобной ксенофобии, не записывали в русские по принципу наибольшей мерзотности, не считали весь мир виноватым в своих бедах, не жаловались на то, что все мужики сволочи, а если жаловались, то исключительно в сериалах; женщины еще читали книги, пусть даже женские детективы — попутчики Крохина и этого в руки не брали; женщины, наконец, были в большинстве своем красивы, а мужчины являли собою паноптикум. В этих грустных размышлениях Крохин задремал, а разбудило его прикосновение небритой щеки и отвратительный дух коньячного перегара в смеси с укропной селедкой.

— Мура моя, Мура, — шептал дембель, — Мура дорогая...

— Какая я тебе Мура?! — шепотом заорал Крохин. В купе было темно, и с нижней полки, наискось от него, доносился чудовищный храп Некипелова. Ни одна женщина не могла бы храпеть с такими фиоритурами, внезапными садистскими паузами, внушавшими надежду, и новыми триумфальными раскатами.

— Мура моя Мура, — продолжал шептать ему в ухо пограничник. — На палубу вышел, а палубы нет... Вручили нам отцы всесильное оружие...

— Тебе чего надо? — без приязни спросил Крохин.

— Всех! — захрипел дембель. — Они нас всех! Придут и всё заселят, я же вижу. А ты лежишь тут, любя моя, и не знаешь...

— Сам ты Люба, — сказал Крохин и отвернулся, но отвратительный небритый чужой человек еще дышал ему в затылок и норовил обнять — без всяких приставаний, в чистом дружеском порыве. Мужское тело было отвратительно. Крохин лежал, вяло отбивался и с невыносимой тоской думал о том, сколько раз его собственное мерзкое тело наваливалось вот так на чистую и нежную красоту, на совершенство, именуемое женщиной; и многие терпели, а некоторые любили! Он понял теперь внезапные приступы отвращения, овладевавшие

его Элей вдруг, без всякой причины. По-хорошему, Эле не следовало терпеть его вовсе.

В остаток ночи уместилось много удивительных событий: Некипелов продолжал храпеть, дембель побежал блевать — и не добежал; хорошо, по крайней мере, что не заблевал купе. «Харчами расхвастался», — презрительно проскрипел Каримов. Саня Крупский сказал, что один его друг — он с тщательностью второклассника выговаривал его американскую фамилию — тоже однажды перебрал перед первой брачной ночью и тоже, значит, метнул харчи — ну, не в сам момент, но сразу после, так что невеста подумала, что это она так на него подействовала. Крохин засыпал, слушал буйство дембеля в коридоре и каримовский шепотный монолог — несчастный рассказывал самому себе о том, какие все стали выжиги, а бабы в особенности. Крупский иногда подавал голос, отвечая на каримовские шепотные расспросы о ценах на американскую недвижимость. Зачем Каримов этим интересовался — бог весть: ясно было, что покупать американскую недвижимость он не собирался. Просто ему все время надо было чувствовать, что кто-то живет много лучше нас — разумеется, за наш счет.

Среди всего этого шума и зловония, страдая вдобавок от коньячной изжоги, Крохин думал о главном — о том, как он придет завтра к Эле. То есть даже уже сегодня, о господи. Он придет к ней, в чистоту, опрятность, интеллигентность ее квартиры, — придет грубый, страшный, чужой, ведь они не виделись три месяца, придет, чтобы сделать с ней грубую и страшную вещь — потому что страшно видеть рядом с собой мужчину, примитивную, пошлую особь, озабоченную только доминированием да демонстрацией нажитых комплексов. Мужчина жесток, труслив, циничен. Мужчина отвратительно пахнет. Невозможно даже просто спать рядом с женщиной, а о том, чтобы принадлежать ему, не может быть и речи. Генфонд гибнет из-за мужчин. Одни мужчины храпят и пьют, как наши попутчики, а вторые умеют только брюзжать и всех ненавидеть, хотя они ничем не лучше... Что я сделал в своей жизни? Я делал женщин более или менее несчастными, и все это время я трепался, зани-

мался никому не нужной и непонятно зачем существующей социологией, маскировал свои низменные желания стихотворными цитатами... Ненавижу! Крохин все мог себе представить — не мог представить только, как женщины терпят этих уродов, примитивных, как два пальца, и зловонных, как авгиевы конюшни.

Утром он долго сидел в скверике напротив Элькиного дома, не решаясь зайти. И просидел бы так еще час, а может, и уехал бы на фиг, ближайшим же поездом, не осквернив и не сломав ее жизни, не навредив ей эгоизмом и комплексами всякого самца... но она, со своей истинно женской интуицией, сразу просекла, что надо поглядеть в окно. В это окно она и увидела его, и сбежала к нему по лестнице, и потащила в дом — не то бы он, конечно, уехал. Но бабы понимают, и потому она ни о чем не спрашивала его.

БИТКИ «ТОЛСТОВЕЦ»

Коробов из окна купе отлично видел, как на шее у противного попутчика повисла худая, черноволосая, очень серьезная девушка лет двадцати двух. Он видел, как она неслась по перрону, чтобы в последние пять минут успеть что-то такое ему сказать на прощание. Он видел также, что у нее были отчаянные глаза — глаза влюбленной женщины, которая сама не понимает, что с ней происходит, и напугана этой внезапной переменой. Коробов знал этот тип хороших домашних девочек, столкнувшихся с большой любовью — чаще всего к полному ничтожеству — и разрушивших свой уютный мир за неделю. Иногда из них получались грандиозные роковые женщины, но это два-три случая из сотни. Остальные ломались непорочно. Девочка была замечательная, в том и обида. Он привычно бросил взгляд на ее правую руку и обнаружил кольцо. Не сняла, значит. У попутчика кольца не было. Впрочем, это еще ни о чем не говорит.

Противность попутчика заключалась даже не в том, как небрежно он поприветствовал Коробова — и как аккуратно вешал плащ; не в том, что, выходя на перрон покурить и подождать свою красавицу, прихватил портфель, опасаясь, видимо, оставлять его наедине с Коробовым; даже и не в том, как приглаживал волосы перед зеркалом, окидывая себя напоследок придирчивым взором — достаточно ли я гладок и невозмутим, чтобы попрощаться с любящей женщиной, а вот мы еще

прорепетируем это особенное выражение лица, слегка брезгливое, с которым сильные мацо моего класса реагируют на любое проявление чувств... Противность была в общем неуловимом самодовольстве, налете бластного хамства, от которого лощенные персонажи так и не могут избавиться, несмотря на все уроки хорошего тона, пристойные пиджаки и лучший парфюм. Главная добродетель дворовой шпаны — неколебимо серьезное отношение к себе — сквозила во всем, хоть Коробов и наблюдал будущего попутчика всего три минуты. Крутой мэн вошел, небрежно кивнул, повесил плащ, присел к столу, помолчал, забрал портфель и вышел курить на перрон, куда к нему скоро прибежала черноволосая, вот и весь материал для наблюдений, — но люди мы опытные, седьмые зубы съедаем, нам и этого достаточно. Потом, выбор экспресса тоже о чем-то говорит. Не в «Красной стреле» едем, в этом пределе советских мечтаний и образце красного шика, а в «Льве Николаевиче», стилизованном под тот самый, который оборвал страдания Анны Карениной. Только идиот мог обозвать поезд «Львом Николаевичем» — ведь все главные злоключения в жизни графа нашего Николаича были связаны именно с железной дорогой: на ней угробил любимую героиню, по ней пустил ездить идиота Познышева из «Крейцеровой сонаты», по ней сбежал из дома, на ней и помер. В «Николаиче» было много прочей безвкусицы — портрет графа на паровозе, в лучших традициях агитпоездов, битки «Толстовец» из говядины (хотя всем известно, что с шестидесяти граф был упертым вегетарианцем), проводники в поддевках, с намасленными проборами, — родное сочетание невежества, шика и квасной любви к национальному достоянию. Выбрать такой экспресс мог только понтистый и тупой малый, которому не жаль трехсот баксов за билет до Питера; ладно я — я здесь не по доброй воле, так решили организаторы, а вот он...

Попрощались, успокоилась, отплакалась; долгим умоляющим взором смотрит в гладкое квадратное лицо, ничего не говоря. Господи, подумал Коробов, до чего я завистлив! Можно подумать, что меня никогда так не

проводжали. Провожали сколько угодно, и ничем хорошим это никогда не кончалось. Но снисходительная вальяжность, с которой он гладит ее по волосам, глядя при этом поверх ее головы — вероятно, в свои блестящие финансовые перспективы... Ясно же, что перед нами мелкий деловар, едущий в Питер варить дела. Сейчас тебе будет поездочка, сынок.

Попутчик вошел, вагончик тронулся, черноволосая успела постучать в окно (Коробов предусмотрительно отвернулся, хотя что она там разглядит, снаружи-то...), разбиватель сердец небрежно ей помахал, удобно устроился за столиком, соизволил наконец протянуть ладонь и представиться:

— Сергей.

— Николай, — соврал Коробов неизвестно зачем.

— А ничего экспрессик, да? Могут, когда хотят.

Сейчас он скажет, что дела налаживаются, что в стране не стыдно стало жить. Лояльный бизнесмен новой генерации. Не сказал: играл в благородную сдержанность. Видно, однако, было, что его распирает счастье. Ему хотелось поговорить. Только что он получил от жизни очередное подтверждение своей блистательной крутизны, а как же. Какие девушки бегают нас провожать, какими отчаянными глазами на нас смотрят, хоть уезжаем мы небось на три дня. Как-то они тут будут в эти три дня без нас, без которых вон и небо над Москвой плачет...

— Жена? — спросил Коробов, кивнув на окно.

— Подруга, — расплылся Сергей, и Коробов понял, что попал в тему. Попутчик именно об этом желал побеседовать, в тоне легком, снисходительно-небрежном; кто вообще поймет эту вечную тягу влюбленных рассказывать о своем счастье? Мы тут гадаем, отчего так много стало рекламы — и в прессе, и по телику; а бабки ни при чем, объяснять все бабками могут лишь убогие материалисты. Дело-то в счастье: нужно им поделиться. Вот какие у нас чисто отбеленные трусы, и столь же отбеленные зубы, и длинные ноги, и экспресс «Николаич»! Мы размещаем свою рекламу вовсе не потому, что хотим привлечь ваши сердца, зубы и иные органы к нашей про-

дукции; мы делимся счастьем, восторгом обладателей, потому что иначе лопнем!

— Хороша, да? — спросил Сергей с неожиданно глупой улыбкой, и из-под квадратной маски успешного человека выглянул дворовый простак, которому повезло.

Коробов солидно кивнул и показал большой палец.

— Переживает, — сказал Сергей.

— Надолго в Питер-то?

— Да неделя всего. Но мы привыкли, что каждый день... Я даже сам чего-то психую.

— Ладно, из-за недели-то...

— Там муж, — сказал Сергей веско.

Коробов насторожился.

— В смысле у нее муж? И что, знает?

— Догадывается. Совершенно ее измучил, падла.

— Ну так за чем дело стало? Она еще молодая, времена, чай, не толстовские... Что «Анну Каренину» устраивать? Поехал, поговорил, объяснил, увез...

— Не хочет, — сокрушенно сказал Сергей. Чувствовалось, что эта ситуация удивляет его самого: к нему, такому прекрасному, — и не хочет. Другие в очередь выстраиваются, пятки лижут.

— Что, ребенок?

— Ребенок бы ладно, ребенка я бы взял. Хуже всё.

Порядочная очень.

Ага, ага. Знаем и этот тип. Как спать — так пожалуйста, но как привести ситуацию к некоей ясности — так порядочная.

— Что, бросать не хочет?

— Ага. Говорит, он не переживет.

— Знаешь, — доверительно сказал Коробов. — Ничего, я на ты? Знаешь, мы всегда преувеличиваем чужую неспособность обходиться без нас. По себе знаю, сколько раз влипал вот так.

— Дая ей говорил! — горячо сказал Сергей. Видимо, с такими интонациями он убеждал партнеров по бизнесу, и только если не помогало, прибегал к прямым угрозам. — Я говорил: что он, ребенок? Что за тема, вообще? И я понимаю, если бы там что-то... Но ведь пустое место,

неудачник! Вообще по нулям! Ты видел, как она одета? Я знаешь как ее бы одевал?

Коробов не просто видел. Он знал, как она одета, это совсем другое дело. Он вообще уже много чего про нее знал.

— А так я ей даже купить ничего не могу! Он увидит — сразу расспросы: откуда бабки?! Она редактор на ток-шоу, ей самой неоткуда взять. А он вообще какой-то... по пиару там чего-то... Зато пишет. Никто не печатает, а он пишет. Писатель. Как она задержится — он в крик, в слюни... Я вообще не понимаю, что это за мужик.

— Бывают такие, — со знанием дела кивнул Коробов, поощряя попутчика к откровенности.

— А она говорит: не как все. Особенный, да? Она говорит, что если уйдет, то он вообще всё, с катушек.

— Чем же она думала, когда за него выходила? — заинтересовался Коробов.

— Да ничем не думала, четвертый курс... Чем они все думают...

— Ну, может, в кровати что-нибудь особенное? Знаешь, бывает и такая привязанность, через это... — Коробов подмигнул и достал из сумки бутылку «Хен-несси».

— В кровати там... — Сергей усмехнулся. — Я знаю, короче, что там в кровати. В кровати я бы как-нибудь... переиграл бы. Нет, он на жалости держит. Истерики всё ей устраивает. То орет, то клянется: я без тебя... на второй день повешусь...

— Но не бьет хоть?

— Какое бьет... Если бы он ее раз ударил, я бы выследил и всё оторвал бы.

— А что, познакомить вас она не хочет?

— Ты что, она сразу в слезы... Она серьезная вообще, с ней легко не может быть. Я думал сначала — так, ну, разово. А потом оба влипли — ты что. Она вообще не из этих, что обычно... Я вообще у нее всего третий, представляешь? Двадцать три года, и третий, да?

Воистину, в беседе с попутчиком мы бываем откровенней, чем на исповеди.

У Сергея настырным модным звоном заявил о себе телефон. Он мельком глянул на определившийся номер и сделался суров.

— Да... Да, малыш. — Коробов еле удержался от победительной улыбки: он знал, точно знал, что будет «малыш»! Варианты: маленькая, сладенькая. Возможна зая. — Да, нормально. Я тоже, малыш. Нет, я позвоню сразу. Да. Да. Слушай, малыш, ну что неделя? Это же три дня и еще три, а на четвертый уже я. Да. Нет, не вздумай. Не надо. А что ты ему скажешь? Да нет. Ну, может, я сам вырвусь... Ну всё. Це-лю-лю.

— Что, к тебе хочет? — понимающе улыбнулся Коробов.

— Да, говорит, что вырвется... А куда мне там с ней? Я по делам еду.

— Будешь? — Коробов продемонстрировал этикетку.

— Давай... Надо бы пожрать чего-нить.

— Так нажми кнопку, они прямо в купе принесут. Я не хочу в ресторане толкаться, там бычня, быдляк...

Фразой насчет быдляка Коробов думал купить его окончательно — и не ошибся. Люди типа Сережи обязательно должны были чувствовать себя утонченнее себе подобных. Об этом они все и пишут свои «Духлессы»: мы тонкие и с чувствами, а вокруг нас отвратительный быдляк трет свои терки, разводит разводки, парит парки и снюхивает дорожки. Конечно, мы не хотим толкаться среди быдляка, и нам лень идти через три вагона. Мы сейчас закажем в купе, и халдей, от рождения предназначенный для удовлетворения наших высоких потребностей, принесет нам в горячих судках с запотевшими изнутри стеклянными крышечками две порции битков «Толстовец» с любимой графской цветной капустой и в соусе бешамель.

Под коньяк и битки «Толстовец», в самом деле принесенные через каких-то десять минут, Коробов узнал еще кое-что, хотя «узнал» — не совсем то слово. Он получил подтверждения, потому что все знал и так. Муж был старше нашей героини, до этого успел развестись, отличался мелочным, придиричивым, завистливым ха-

рактором, ненавидел богатых, по-кухонному ругался на власть. Изводил расспросами и придирками. Первый год заставлял жить со своей матерью, сумасшедшей старухой, училкой на пенсии. Так все и учит до сих пор, причем всех. Удивительно, сколько гадостей успел «малыш» рассказать про своего мужа. Видимо, это была частая тема для разговоров — «малыш» быстро сообразил, что Сережа любит послушать про чужие неудачи, и всю старался угодить. Сережа мог хорошо себя чувствовать, только если вокруг него были лохи. Коробов быстро это просек и ненавязчиво дал понять, что у него самого сейчас проблемы — питерские не утверждают проект перестройки Петроградской стороны, все заказы хотят рассовать своим, а он московский гость, приглашенный архитектор... Сергей снисходительно кивнул: ну да, Питер — провинция, размаху нет. Сам он производил соки, да. Выжимал соки из московского пролетариата и упаковывал в картонные коробки. Топ-менеджмент «Бим-бим-дона», слышал? Как не слышать, ежедневно ездим мимо псевдомраморного чуда-юда на Мясницкой с пластмассовым Бим-бим-доном среди веселой стайки пластмассовой же детворы напротив парадного входа. Да и соки-то все разбавленные. Как любимую развести, это мы не можем, а сок — запросто.

Битки оказались недурны. Хорошо быть хозяином жизни. Сережа шиканул, заплатил. Вот мы и покушали за счет Бим-бим-дона. А мы ему еще коньячку. Язык у него развязался быстро, пошли подробности. Подробности, положим, он частично выдумывал, — вряд ли эта девочка способна на такие вещи, как оральный секс в ночном сквере, и вряд ли Сережа способен вызвать у нее такие чувства, чтобы порядочное, домашнее существо захотело экстрима прямо на Тверской, — но, может, он ее подпаивает?

— Нет, ты что. Просто она же раньше не видела этого ничего. В первый раз всё. Я думаю: как бы я ее на Бали свозил! Как бы я ей Венецию показал! Но какая там Венеция? Она вон в Питер не сможет на день вырваться. Она все боится, что он следит.

— Да как он следит? Нанял, что ли, кого?

— Я ей тоже говорю: откуда у него бабки-то? Нету у него бабок, нанимать-то! А она говорит: нет, я чувствую. Он ей мерещится уже. Я ей иногда говорю: смотри, вон Петя! Она прямо дергается вся. А я Петю в глаза не видел, не знаю даже, какой Петя. И фотку не показывает, — захохотал Сережа.

— Да чего там смотреть-то, — кивнул Коробов. — Урод небось. Копирайтеры все уроды.

— Ну! — воскликнул Сережа, горячо одобряя барское презрение к офисной пыли.

— Ну ладно, Серый, — сказал Коробов, разливая по последней. — За тебя, за удачу твою, за малыша твоего... и чтобы все, кто нам мешает, побыстрее сдохли.

Сережа с таким энтузиазмом стукнул тонким «толстовским» стаканом о стакан Коробова, что выплеснул несколько капель на крахмальную салфетку, покрывавшую стол. Он пил коньяк как водку — залпом, не чувствуя вкуса, без похвал, без ритуала, вообще без всего, что придает жизни очарование. Такие люди глотают жизнь, хавают ее, проглоты, жрут кусками, не разбирая ни вкуса, ни запаха; так же они употребляют наших женщин, не умея разглядеть родинки на их плечах, жилки под ключицами, не запоминая запаха их волос, не разбираясь в цвете и выражении глаз. И пусть сдохнут все, кто нам мешает.

— Вместе и сдохнем, — сказал Коробов.

Сережа машинально кивнул, но не успел захоронить окончательно и потому насторожился.

— В смысле? — спросил он.

— В прямом, — кивнул Коробов, подтверждая: все ты понял правильно, голубок. — Минут через сорок, я думаю. Самое большее час.

На лице Сережи отразилась мучительная работа мысли. Он побелел, а ведь какой был красный. Несмотря на сентябрь, в «Николаиче» топили по-зимнему.

— Сто, не дысис? — спросил Коробов фразой из любимого анекдота. — А как дысял, как дысял! Посмотреть на Петю он хотел, голуба моя. На, полюбуйся напоследок. Петя, конечно, лох и не при делах. Но вы же никакие конспираторы, друг мой. Или ты думаешь, у меня

в «Бим-бим-доне» своих людей нет? Ты же даже не скрываешься особо.

Сереза выхватил мобилу. Это у них был любимый жест, решение всех проблем.

— А толку? — спросил Коробов, глядя на него в упор. — Ты бы посидел, послушал, может, я тебе чего полезного напоследок скажу...

— Ну? — тяжелым голосом спросил Сереза. Видно было, что ему уже трудно дышать, и он даже слегка сипел.

— Допустим, позвонишь ты своим ребятам в Питер. И допустим, нас там встретят соответствующие люди, — даже если я не успею сойти в Бологом, чего ты предусмотреть не можешь. И чего эти люди со мной сделают? Тут же через час будет два трупа, голуба моя. На хрена мне жить после всего? Ты что, не видел — я ведь тоже пил. Всё по-честному.

Сереза застыл и, кажется, не очень понимал человеческую речь. Коробов пощелкал пальцами у него перед носом.

— Спокойно, спокойно, Серый. Сосредоточься. Ты минут через десять отрубись, надо торопиться. Я хочу, чтобы ты понял. Я не собираюсь убивать тебя одного, всосал? Мы оба тут будем лежать, молочные братья. Знаешь, что такое молочные братья? Это когда оба одну трахают, такое выражение. Я устал от ее вранья, ты понял? У меня в жизни, кроме нее, ничего не было. И если такая, как она, может с таким, как ты, — это означает конец мира, понял меня, Сереза? Поэтому я не буду жить, Сереза. Я не хочу замечать следы, плутать, бегать, вздрагивать от звонков. Понял? Но допустить, чтобы я умер, а ты жил, я тоже не могу, Сереза. Невозможно уходить из мира и оставлять тебя его хозяином. Поэтому я здесь, Сереза. А в Питер мне не надо, мне там остановиться негде.

До Серези доходило. Он наверняка уже прислушивался к себе и ощущал, как холод медленно поднимается по ногам.

В дверь купе постучали.

— Без глупостей, Сереза, — предупредил Коробов. — Да, войдите!

— Десерта не желаете? — осклабясь, спросил халдей. В трактире такой слуга назывался половой. Самое оно, к нашей-то половой крейцеровой сонате. — Имеется бланманже «После бала»...

— С кровью, что ли? — спросил Коробов.

— Что-с? — переспросил халдей.

— А десерта «Воскресение» предложить не можете?

— Нет-с, — огорченно ответил половой. — Еще не придумали-с.

— Это правильно, — кивнул Коробов. — Никакого воскресения не бывает. Идите, любезный, я вас позову, если надо будет. Вот вам «Фальшивый купон».

Половой благодарно принял чаевые. Дверь мягко закрылась.

— А противоядия я никакого не пил, Сережа, — упреждая нехитрую догадку попугачика, сказал Коробов. — Потому что противоядия нет. Ты про батрахотоксин слышал? Сильней кураре, ты что. Выделяется из кожи колумбийской лягушки кокои. В Москве достать не проблема. Есть на Птичьем рынке специалист.

— А вот это прокол, — неожиданно спокойно сказал Сережа.

— В смысле? — насторожился уже Коробов.

— Птичий рынок снесен. Там теперь Калитниковский зооцентр. Москву знать надо, Константин Николаевич, вот что я вам скажу.

Коробов надолго замолчал.

— Нет, я все понимаю, конечно, — сказал Сережа, закуривая. — Вы не против, я покурю? Нас в купе двое, потом проветрим... Все понимаю: Питер, все дела. До знания московских реалий не снисходим. Но если уж вы решили разыграть такой финт, надо как-то, я не знаю, готовиться, что ли. И потом, главный прокол питерских знаете в чем? Высокомерие непростительное. Как ваши к нам понаехали, я сразу заметил. Они же думают, что мы все лохи. «Звездных лабиринтов» не читаем, про «Зеленую смерть» не слышали, «Долину охранителей» в глаза не видали...

Коробов был польщен. Он не предполагал, что его читают менеджеры «Бим-бим-дона».

— Я же сразу просек, — улыбался Сережа. — Ну, думаю, автограф попросить — скучно. Замучали его небось этими автографами. Это вы на «Путника», что ли, ездили?

«Путником», в честь известной трилогии Лукьяшкина, назывался ежегодный подмосковный конгресс фантастов, на котором Коробов и получил от фанов бутылку «Хеннесси». Сам он обычно таких дорогих напитков не покупал.

— На «Путника», — кивнул он.

— Я в этом году не сумел, — огорченно сказал Сережа. — А так-то я фан со стажем. Если б не вы, я бы по жизни ничего не добился. Топ-менеджеру главное что? Топ-менеджеру главное — полет фантазии. А у вас это дело поставлено.

— Вот ты какой, постоянный читатель, — с тоской сказал Коробов.

— Ага! — не почувствовал иронии Сережа. — Ну, думаю, этот сейчас чего-нибудь учудит! И точно. Как вы Колей представились, так я все и понял. Ох, думаю, сейчас поиграем! Такой автограф получил — лучше не бывает.

— А малыш, конечно, жена, — кивнул фантаст.

— Нет, — грустно сказал Сережа. — Про малыша все правда. Если бы придумывать, я бы посмешней придумал.

— Грустно.

— Да чего грустного... А ничего я вам подыграл, да? В рассказ какой-нибудь вставьте!

— Вставлю, — сказал Коробов.

— А теперь нормального поьем, — сказал Сережа, доставая бутылку «Мартеля». Он нажал кнопку и вызвал халдея. — Слышь, молодой человек! Принеси нам еще этих... «Толстовских». А чего у вас там из холодных закусок?

— Салат «Семейное счастье», — осклабился халдей.

— Ну, тащи, — разрешил Сережа. — Хоть в виде салата на него посмотреть...

УБИЙСТВО В ВОСТОЧНОМ ЭКСПРЕССЕ

Сначала подали заливное из лося, потом розового, тающего во рту копченого тайменя, лиловый и пряный паштет из дичи, сыр «Охотничий» с зеленью, потом красно-бурую, волокнистую вяленую медвежатину, блюдо очищенных кедровых орехов, ко всему этому «Таежную» на калгане, потом крепкий бульон с круглыми, толстыми, ручной лепки пельменями — опять-таки из лосятины, — потом жареный кабаньей бок с капустой, соленой черемшой и моченой брусникой, и Володя Коктельо-Перверте все это жрал. Он жрал, мощно двигая челюстями, одобрительно кивая подавальщицам, подмигивая переводчику, жрал, словно его не кормили во Франции, Германии и Польше, которые он посетил перед российским турне, словно нажирался за всю свою голодную юность, потраченную на постижение верховной мудрости в мансардах Парижа и трущобах Буэнос-Айреса. Европейский писатель изысканно колупнул бы там, понюхал тут и отломил хлебца — и достаточно, но Коктельо-Перверте был латиноамериканец и хорошо знал, что, пока кормят, надо жрать. Потом не будут. Только эта большая школа бурно прожитой жизни и примиряла Сыромятникова с Перверте, хотя бы отчасти. Чувствовался человек не только понюхавший, но и хлебнувший.

Прославленный сочинитель эзотерических детективов, покоритель международного книжного рынка, личный друг Мадонны, любимый партнер Пола Мак-

картни по бриджу, крокету и трансцендентальной медитации, духовник Марадоны, талисман сборной Аргентины по хоккею на траве, регулярный гость Сорбонны, крестный отец внебрачного сына Челентано и крестный сын далай-ламы, принявший в буддизме имя Суттипон Бхатхабрата, что значит, должно быть, настырный лысый проныра с закосами под духовного вождя, — Володя Коктельо-Перверте родился в семье крупного латифундиста, сиречь землевладельца, в 1951 году. Его отец увлекался идеями Ленина и назвал сына в его честь, но, к счастью для Володи, ограничивался теорией, исповедуя на практике хищнический капитализм самого мафиозного образца. Сынок, духовный учитель европейского студенчества, кумир американских кампусов и кубинских компаньерос, унаследовал от папы счастливую способность исповедовать одно и практиковать другое. Отправившись учиться в Париж, он перепробовал там все виды нейростимуляторов и психоделиков, забросил учебу, клошарил под мостами, странствовал по Европе, зарабатывал на жизнь всем — от киднеппинга до куннинга — и был обнаружен встревоженным папашей в амстердамской коммуне маоистов-растаманов, поклонявшихся беременной негритянке, Матери Миров. Папа справедливо заключил, что образование сына закончено, и поместил его на отдых в психиатрическую лечебницу под Буэнос-Айресом, где Володю впервые пронизал так называемый Розовый Свет. Под действием этих теплых волн он записал как бы продиктованный ему свыше первый эзотерический детектив «Смерть бедуина», герой которого, сыщик и мистик Рабан, путешествуя по эпохам и континентам, в конце концов ущучивал мировое зло. Перверте было совершенно нечего делать в комфортабельном заключении, таблетками его пичкали исправно (да, говорят, он вдобавок обольстил красивую медсестру, снабжавшую его также гашишем) — знай читай да галлюцинируй. Он прочел «Тысячу и одну ночь», Борхеса, суфиев, пару популярных толкований Нового Завета — и основал жанр, принесший ему громкую славу. Все двадцать три сляпанных им мистических детектива о странствиях Рабана по Борхесу и суфиям,

с регулярными заходами в Ватикан, Мекку, Иерусалим, эпоху крестоносцев и расцвет Венеции, одинаково напоминали рахат-лукум, завернутый в страницу из потрепанной Британской энциклопедии. Однажды Сыромятников купил такой рахат-лукум в Стамбуле и поразился буквальности сходства: вязко, сладко, и ко всей этой липкой экзотике прилипли фрагменты исторического справочника. Однако высоколобые называли Перверте главным латиноамериканским постмодернистом, а массовый читатель скупал «Смерть муфтия», «Украденный Коран» и «Каббалу святош» в таких количествах, что через пять лет литературной карьеры Володя приобрел психиатрическую лечебницу, где его озарило, и основал там Межконфессиональную школу духовного просвещения. Там изучали его духовный завет народам всего мира — «Настольную книгу Светоносца». Бухгалтерию вела та самая вечно беременная негритянка, которой он поклонялся в Амстердаме.

Сыромятникову досталось все это переводить — в университете он выучил испанский. Сам он тоже писал детективы, и гораздо лучше, чем Коктедьо, но они никому не были нужны, поскольку сыромятниковских героев убивали не в Лувре, а в провинциальных гостиницах, и убийцами были не монахи тайного ордена Вольтерьянцев, а доведенные до отчаяния местные безработные. Из его детективов нельзя было сляпать даже сериал. В результате он кормился с Коктедьо и перепер на язык родных осин уже шесть его неотличимых поделок, включая только вышедший «Шифр Афродиты». Российская мода на Владимира началась с Макаревича, который познакомился со смуглым толстяком во время дайвинга в южных морях и пригласил в Россию. Он же привез сюда экземпляр «Ежедневника Серебряного Воина» и во время презентации очередного диска показал главному редактору «Эксни». «Эксня» быстро смекнула, чем пахнет, — ей предлагалась вся мировая культура и религия в одном флаконе, пережеванная, оторванная и поперченная, — и скоро широкий хавальник светоносного воина скалился со всех билбордов. Раскрукта пошла лихо, и на пике моды Коктедьо был при-

глашен на снежный Восток мирового духа, как обозвал он Россию в первом же московском интервью. Слоганом поездки стало название нового романа «На Восток!»: Перверте выразил желание проехать по России — от Москвы до Читы, — встречаясь с поклонниками в крупных городах и издали благословляя мелкие. К Восточному экспрессу «Байкальская синь» прицепили салон-вагон, в нем оборудовали роскошное купе для Перверте, купе для мужеподобной секретарши-сербки, еще одно — для женоподобного секретаря-колумбийца (Сыромятников все не мог понять, с кем из них сожительствоует воин света), самому переводчику выделили скромную клетушку близ сортира, и под щелканье блицев друг Мадонны отчалил в свое первое русское паломничество.

Он был, в общем, неплохой мужик, отлично знавший цену своей продукции. Облачаясь в расшитый серебряный халат и белоснежную чалму перед остановками в Казани и Новосибирске, Коктедь насвистывал себе под нос что-то революционное, причем с таким хитрованским видом, что Сыромятников однажды не удержался и подмигнул ему. Переводить его тарабарщину было удивительно легко — он нес полную пургу и предоставлял переводчику украшать ее как угодно. «Я не обижусь, amigo, — пророкотал он при первой же встрече, — если в синхронном переводе вы сколь угодно далеко отойдете от оригинала. Положитесь на вашу фантазию, индуцированную присутствием моего могучего духа! Ха! Ха!» — и Сыромятников ни в чем себе не отказывал. «Регулярный пост по четным числам, воздержание от супружеских обязанностей по нечетным, созерцание созвездия Задумчивой Крысы, как называют у нас в Бразилии Большую Медведицу, и прочистка чакр гигиеническим ершиком фирмы “Салем”, совладельцем которой я являюсь, поможет вам уже к концу первого года занятий достигнуть Степени Поглощения, от чего только один шаг и полгода тренировок до Стадии Испражнения!» — бесстыдно чесал он, почти не прислушиваясь к болботанию Владимира. Вечерами они прекрасно выпивали в салоне мэтра, благо на его любимый «Джек Дэниелс» издатель не скупился.

— Мой дар предвидения подсказывает мне, молодой друг, — хитро шурясь, говорил Перверте, — что вы и сами пишете, о да, и весьма успешно. Признайтесь, я угадал?

— Не без того.

— И печатают?

— Плохо.

— Ничего, все с чего-то начинали... Мне кажется, вся ваша проблема в том, сомрапиего, что вы не знаете жизни. Еще Фидель, когда мы охотились в его угодьях, однажды сказал мне: жизнь, надо знать жизнь! Че читал книжки, а я разбирался в людях, — и где теперь я, а где Че? Так сказал мне Фидель, а Фидель хитрый парень. Я постранствовал, о да, я повидал всякого, — и он загибал очередную историю, которой позавидовал бы Максим Горький. Перверте проехал всю Европу, месяц прожил среди африканских пигмеев, снимал документальный фильм о королевских пингвинах, занимался благотворительностью среди аборигенов Океании, везде дегустировал национальную кухню и оставлял потомство. «Я щедро размазал себя по этому грязному глобусу, так-то, amigo! Жить надо со вкусом, как сказал мне Уго Чавес, отобрав у очередного олигарха всю его собственность. Вот вам тридцать пять, а что вы можете вспомнить?»

Сыромятникову, конечно, было что вспомнить — грязные дороги российской провинции, сотни изломанных судеб и тысячи кислых мин, на которые он насмотрелся в качестве редактора отдела расследований «Трибуны», серые папки одинаковых уголовных дел — копеечные грабежи и многолетние сроки, бессмысленные побег и опять сроки, кража проводов и трансформаторов, развинчивание рельсов, побег из армии, — но из этого нельзя было изготовить даже один бестселлер типа «Завещания Мавра». Почему-то читатель упорно отказывался читать про то, что его окружало, плевать хотел на страдания парализованного соседа и нищей соседки, но проливал реки слез по Изауре, которая жила на другом конце земли, да и то исключительно в больном воображении продюсера.

Коктельо изучал русскую жизнь широко и основательно. На встречах в книжных магазинах он не столько говорил, сколько слушал; Сыромятников переводил ему криминальную хронику из местной прессы; проводниц и подавальщиц он не только исципал до синяков, к полному их блаженству, но и расспросил о малейших биографических подробностях, вплоть до начала месячных и привычек свекрови; жадность его к еде, выпивке и впечатлениям была поразительна. С пяти утра он что-то выстукивал на крошечной «Тошибе» с личной монограммой, потом наговаривал на диктофон колонки для двух аргентинских газет (расшифровка лежала на секретаре), потом вносил правку в только что оконченную автобиографию для «Penguin books» (в этом помогала секретарша), потом так же неумоимо обедал и темпераментно давал пресс-конференцию в очередном сибирском городе. Сыромятников дивился его неумности и российской необъятности: Перверте производил страшное количество одинаковой продукции, за окном тянулось страшное количество одинаковой России — по сравнению с компактным Западом ее Восток поражал избыточностью и запущенностью, — и в этом смысле гость и хозяйка были друг для друга созданы. На каждой станции поклонники дарили Перверте сувенир, он раздавал тысячи автографов, не уставая спрашивать имена читателей и на каждой пятой книге рисовать голубка, а вечерами, когда за окном тянулась долгая, хвойная, сырая, без единого огонька тьма, — рассказывал Сыромятникову главы будущей автобиографии. Иногда Сыромятникова тошнило от Коктельо, но, в общем, он был признателен кормильцу.

В прочем экспрессы — не таком роскошном, но тоже элитном — ехали местные власти, чиновники, бизнесмены, не имевшие к литературе никакого отношения, но знавшие, конечно, что к поезду прицеплен салон живого классика. Некоторые, по особому разрешению, заходили познакомиться. В салоне Коктельо побывали вице-губернатор Челябинска, крупный финансист из Екатеринбурга, глава фирмы «Safe Siberia», производящей контрацептивы, и прославленный бывший народный депутат от фракции «Неразрывность», ныне преу-

спевающий дальневосточный банкир Борис Хайлов — тучный медведь, на фоне которого Перверте выглядел почти изящным. Хайлов долго цитировал «Ежедневник Серебряного Воина», рассказывал о своем духовном пути и о том, как много он жертвует на храмы, а также о том, как стремительно улучшается Россия в условиях централизации. Книги Коктелько у Хайлова не оказалось, и он предложил ему расписаться на плоском животе девушки из модельного агентства «Сибирские огни». Коктелько попросил секретаршу отвернуться и расписался у девушки на заднице, взяв с нее обещание не мыть задницу по крайней мере неделю.

— Интересный человек, — сказал он вечером за стаканом «Джека». — Учитесь, amigo, пока он жив. Что-то подсказывает мне, что осталось ему недолго.

— Такие не умирают, — буркнул Сыромятников.

— Своей смертью — практически никогда, — кивнул Коктелько. — Удивительный тип. Чистая, беспримесная тьма, без единого проблеска. Я думаю, Господь хотел бы вставить в него душу, но не может найти в этом монолите ни единого воздушного пузырька. Феномен, феномен. Я приберегу его для романа.

— У нас тут таких — каждый второй, — наябедничал Сыромятников на родину.

— Ошибаетесь. Перед встречей я изучил его биографию — поручил Розе подготовить для меня сводку... — Розой звали сербку, похожую скорее на ливанский кедр. — Удивительно, где он только не наследил. У вас это ведь часто — что один и тот же управленец рулит во многих сферах? У нас, в Аргентине, в Бразилии, — так не принято. Мы в западный менеджмент не верим. Начальником может быть только тот, кто прошел все ступени и досконально изучил бизнес. А этот кем только не был — военкомом, снабженцем, главным редактором... Нет, это очень интересный тип. Я не хотел бы им быть за все ароматы Аравии. Кстати, рассказывал я вам, как один саудовский шейх подарил мне наложницу, арабку-альбиноску?..

Он рассказывал долго, смачно, с удивительными подробностями, — и отпустил Сыромятникова только

в третьем часу ночи, да и то лишь потому, что сослался на легкий понос. «Все-таки, знаете, тяжелая кухня...» Сыромятников слышал утром, сквозь сон, как Перверте грузно топчет по коридору в сортир и, после долгого пребывания в нем, обратно — ругаясь столь художественно, что перевести этот изысканный испанский мат он бы затруднился.

Утром, на подъезде к Чите, в маленьком Краснокаменске, где у Перверте не планировалось ни встреч, ни автограф-сессий, — поезд остановился надолго. На перрон никого не выпускали. Станция была запружена милицией. По ней беспомощно метались бюрократического вида персонажи в распахнутых пальто, с растерянными и злыми мордами. Наконец из седьмого вагона вынесли на носилках что-то огромное, покрытое белой простыней.

— Я схожу, разведую? — вызвался Сыромятников.

— Что вам неясно? — барственно спросил Коктедь. — Это наш друг, представитель партии «Слипшиесея», хозяин «Трах-бах-банка», или я не предупреждал вас?

— Вы и будущее угадываете? — кисло спросил Сыромятников. Самодовольство этого любимца Рабиндраната Тагора начало утомлять его.

— А как же. Я еще пять лет назад говорил Полу: Пол, тыбросишьХизер, эта девочка не для тебя. Сначала он смеялся, потом обозлился. А месяц назад прислал мне торт. Если бы он знал меня в восьмидесятом, может, я предупредил бы и Джона...

— Что ж вы этого не спасли?

— Да ведь он знал, — сказал Коктедь. — Он только не знал когда.

Поезд тронулся только около полудня. Коктедь жевал омуля, мечтательно запивая его «Сибирской порфирой».

— Вот вы детективщик, или по крайней мере так себя позиционируете, — буркнул Сыромятников. — Уверен, однако, что доведись вам раскрывать настоящее убийство — вы немедленно спасовали бы.

— Вообще-то, юноша, — назидательно ответил Коктельо, не отводя глаз от тайги за окнами, — повара не охотятся за дичью, а металлурги не ищут руду. Я обрабатываю жизнь, а не переделываю ее.

Эта восточная высокопарность была в нем особенно противна — Сыромятников никогда не понимал, как могут люди со средним образованием покупать на такую дешевую бутафорию.

— Но поскольку я потерял среди людей и много всего повидал в бурной юности, — продолжал Перверте, закуривая толстый «Упман», — я легко расколол бы дело средней сложности, если бы мне не мешали. Сейчас в седьмом вагоне идет дознание, целая бригада местной полиции запущена в поезд для выяснения обстоятельств, но уверяю вас — виновного не найдут. Проводник мне поведал, что Хайлов нанесены множественные раны — общим числом семь. Удивительно, откуда проводники всегда все знают. Две раны смертельны — в грудь и в горло. Остальные пришлись на живот, но с его жировой висцеральной прослойкой это — слону дробина. Следовательно? Следовательно, убийца был по крайней мере не один, ибо два удара нанесены профессионалом, а пять — дилетантом. Сошел ли кто-нибудь с поезда между Барановкой, где нас посетил еще живой Хайлов, и Краснокаменском, где его нашли мертвым? За этим никто не проследил, дело было ночью, проводники ленивы. Ищи-свищи теперь этих людей, как и орудие убийства. А между прочим, у нас в руках ключ, и если бы вы внимательно читали мой «Шифр Афродиты»...

— Я его переводил! — взорвался Сыромятников.

— Переводить — не значит читать. Ваше сердце закрыто, вы не прочистили свои чакры моей книгой. А она стоит того! Вы обратили бы внимание на великую роль чисел в нашей жизни. И запомнили бы, что с начала трудовой деятельности Хайлов сменил ровно семь должностей, на каждой из которых — я специально заметил это! — без устали подавлял и угнетал все живое. Да и должности были соответствующие — на другие его не поставили бы. Он начинал в качестве офицера и дослужился до майора, но потом его выгнали из войск — еще

в советское время — за особую жестокость! Это написано даже в его досье, которое есть в Интернете. Он многократно опровергал эту информацию, приводил свидетелей, целовался с бывшими солдатами, которые якобы служили под его началом, — но в глазах солдат плескался ужас, хотя служба давно была позади. О, я подробно просмотрел его досье, меня в самом деле заинтересовал этот парень, ад ему пухом... После армии он сделался военкомом и регулярно выполнял план по аресту уклонявшихся призывников — у вас это практикуется, я знаю. Думаю, на этой должности он нажил страшное количество врагов! За отличные успехи его переводят в партийные начальники — и уж тут он развернулся, без усталости искореняя крамолу! В девяностые у вас не принято было этим гордиться, но в прошлом году он поведал журналистам, что лично довел до суда пятерых подчиненных — это было при вашем гэбэшном генсеке, который... ну этот, в очках...

— Андропов, — кисло сказал Сыромятников.

— О да, antropos... При нем сажали очень много, но почему-то это запомнилось как первое веяние свободы. Немудрено, что с началом свободы наш покойный друг — это был четвертый этап его карьеры — создал кооператив и прославился расправами с конкурентами. Один его компаньон был найден с раскроенным черепом, а у него ведь было трое детей, все мальчишки... вы следите за моей мыслью?

— Слежу, — кивнул Сыромятников. — Остались три должности.

— А дальше все просто, — развел руками Коктельо. — В качестве депутата он отказал в помощи десятку больных детей, у каждого из которых был отец. В качестве заместителя главы городской администрации закрыл газету, критиковавшую его, а журналиста, который в этом особенно усердствовал, нашли с пробитой головой — видимо, это его фирменный стиль. Наконец, в прошлом году он добился ареста своего заместителя, который кое-что про него знал, — а у этого заместителя тоже наверняка есть родственники... Во всех этих делах он вел себя с бешеным бычьим напором, у нас таких лю-

дей так и называют — рогаками. Его боялись все, но в какой-то момент страх переходит в гнев — такова народная психология. И если у следователя есть на плечах кой-какая головенка, он легко вычислит пересечения нужных множеств. Достаточно узнать по компьютеру, ехал ли в нашем поезде кто-нибудь из призванных им юношей, у которых дома остались больные беспомощные родители. Был ли в вагоне кто-нибудь из посаженных им пятерых чиновников. Выезжали ли из Читы родственники убитого заместителя. И так далее — все это, как вы понимаете, дело одной недели, при наличии расторопных курьеров и регулярного доступа к Интернету. Хочу заметить, что коллективное убийство из социальной мести — весьма соблазнительный мотив, и не исключено, что книгу на этот сюжет я обдумаю уже в нашей поездке. Ее написание не займет много времени. Согласитесь, что схема традиционного детектива здесь существенно ломается — обычно мы выбираем одного из многих, но тут нам предлагается вариант, при котором убили все!

— Слушайте, Владимир, — сказал Сыромятников, против воли улыбаясь. Он не мог противиться обаянию этого жулика. — Вы действительно полагаете, что никто не читал «Убийство в Восточном экспрессе»?

— Полагаю, что читали немногие, — невозмутимо заметил Коктельо. — Кроме того, вы забываете о местном колорите. О широкой панораме России, омуле, таймене, о прекрасной кухне — читатель любит упоминания вкусной еды, это для него не менее важно, чем описание хорошего секса... И конечно, главное — высокий нравственный смысл. Вообразите: Россия поднимается с колен. Страна, многие годы униженная, измученная нищетой, переставшая различать добро и зло, — наконец мстит за многолетние страдания, наказывая одного из тех, кто так жестоко с нею обходился все это время! Бывший партийный чиновник, выслужившийся при новых хозяевах, гибнет от рук новой России — и кто же расследует это преступление?! Гуманно настроенный иностранец, человек с Запада, отлично знающий ментальность Востока и готовый в случае необходимости

предоставить алиби всем убийцам, а вину свалить... ну, хотя бы на своего переводчика — скучного и брюзгливого малого, вечно недовольного собственной литературной карьерой!

Коктелью хлопнул Сыромятникова по плечу и оглушительно расхохотался.

Сыромятников, однако, не принял шутки. Он посмотрел на Коктелью маленькими блеклыми глазками, видевшими так много провинциальных злодейств, и покачал головой.

— Плохой вы писатель, Володя.

— Почему это, мой юный друг?!

— Потому что смотрите на страну через окно Восточного экспресса. А Россия — это вам не «Синеглазый Байкал». Никакой новой России нет, Володя, и никогда не будет. И с колен никто не встает. И мстить за гибель, тюрьму, унижения, нищету и позор здесь тоже никто не будет, понимаете? Был уже один такой опыт, на всю жизнь хватило. Нация рабов, сверху донизу — все рабы! Знаете, кто это сказал? Один человек, который повидал в жизни дерьма побольше вашего. А я, между прочим, знаю, кто ехал с Хайловым в купе. Это известный в Приморье криминальный авторитет Пуля, тот самый, который просил у вас автограф позавчера. Еще сказал, что прочел вас в заключении и вы перевернули его душу.

— Помню, — заинтересованно откликнулся Коктелью. — И что же?

— А то, что Пуля не выносит, когда при нем храпят! — торжествующе воскликнул Сыромятников. — И я отлично это знаю, потому что тоже читаю местную прессу. А поскольку убить человека для него — как два факса отослать, то он и нанес Хайлову в темноте семь ранений куда попало! Тот перестал храпеть, а Пуле этого и надо. Он спокойно лег обратно на полку и заснул, потому что вся местная милиция у него в кармане. Между прочим, об этом и в Москве знают, но скovyрнуть Пулю не могут никак — он тесно связан с некоторыми питерскими. Не надо ля-ля, Володя. Вы никогда ничего не напишете о России, потому что не понимаете ее. А если напишете,

эта ваша книга здесь провалится. Здесь сроду не бунтуют и никому не мстят, здесь проглотят еще десять тысяч Хайловых и спокойно забудут все их художества. А убивают здесь из-за храпа, понимаете?

Коктельо помолчал.

— Вот поэтому-то я автор бестселлеров и миллионер, а вы мой переводчик с дюжиной ненапечатанных романов, — сказал он важно.

— Почему? — не понял Сыромятников.

— Потому что я предлагаю версию, которая льстит читателю. А вы тычете ему в нос унижительной ложью, которая на фиг никому не нужна. Кому нужны этот ваш Патрон и это ваше убийство из-за храпа? И сравните это с моим прекрасным сюжетом, из которого выводятся богатейшие метафизические смыслы! Сравните это с красивой и увлекательной историей, которую предложил я — пусть на основе Агаты Кристи, потому что уже съеденное легче усваивается... А ведь ваша версия — грязная, смешная и, по правде сказать, идиотская — ничуть не ближе к правде, чем моя!

— Да? — спросил уязвленный Сыромятников.

— Да! — грохнул Коктельо. — На самом деле все обстояло вовсе не так сложно, как у меня, и не так просто, как у вас. Вы же помните, как я в шесть утра прошел мимо вас по коридору? Я специально чертыхался у вашей двери!

— Вы хотите сказать... сказать... — задохнулся Сыромятников.

— «Измени жизнь, где можешь, и не сомневайся в своем праве», — сказал Коктельо, отрезая еще кусок омуля. — «Ежедневник Серебряного Воина», часть вторая, глава пятнадцатая.

РАБОТА НАД ОШИБКАМИ

Молодой адвокат Максимов забирал из Саратова своего клиента Апраксина, освобожденного прямо в зале суда после трех лет в местной колонии общего режима.

Дело было громкое, Максимов прославился. Он был третьим адвокатом Апраксина, первые двое отступились, хотя обвинение разваливалось на глазах. Максимов встретился с обоими и в упор спросил, почему они в конце концов предали клиента. Первый был вообще назначенный, бесплатный, — Апраксин был так уверен в оправдании, против него настолько ничего не было, что поначалу он даже не озаботился поисками приличного защитника. Этот первый просто ничего не сделал, просил о снисхождении, поскольку ранее подзащитный ни в чем таком замечен не был и по работе характеризовался положительно. Второй был пышный, раскормленный, опытный адвокат Илья Лазаревич, из тех, что по судебной привычке витийствуют везде — в магазине, в транспорте, за столом в доме отдыха.

— Что тут можно было сделать? — картинно разводил он руками. — Я сразу понял, что он не убивал. И я знаю, и вы знаете, кто убивал. Но вы же знаете, чей он сын? Его неделю подержали и выпустили, а потом черт дернул нашего героя искать справедливости... Они немедленно его и замели, и всякий бы так сделал. Я бился, как мог, но вы же знаете, как это теперь устроено...

Максимов кое-кому казался выскочкой, карьеристом — он этого и не отрицал: дело Апраксина идеально

годились для удачного дебюта. Мотива нет, орудия убийства нет, с жертвой незнаком, ни в чем дурном не замечен, а взят единственно потому, что очень уж осложнил жизнь следствию. Когда после недели предварительного следствия выпустили главного подозреваемого, у которого-то уж точно все было отлично и с мотивом, и с криминальным прошлым, и с папой-олигархом, — Апраксин кинулся бить в колокола, привлечь правозащитников, шуметь в прессе, и тут его решили приструнить стандартным милицейским образом. Что у нас есть на подозреваемого? Показания двух свидетелей, согласно которым убийца был рослым спортивным парнем, в темноте не разглядишь, но, кажется, брюнетом. Что мы имеем в лице Апраксина? Рослый спортивный брюнет. Мог такой человек ударить покойного Сергея Колычева твердым тупым предметом? Запросто. Где предмет? Где угодно, не принципиально, выбросил. Алиби есть? Алиби, как на грех, нету: никто не знает, что делал Илья Геннадьевич Апраксин, русский, охранник в фирме «Лада-плюс», на протяжении всего дня 15 марта 2004 года. Это был выходной, и свидетелями он как-то не озаботился. Мотив? Личная неприязнь. Охранник — парень крепкий, задрались, сцепились, удар нанесен профессионально и с большой силой, это гораздо больше похоже на охранника, чем на олигархического сына Шпакова. Сколько там денег перевел Шпаков и кому, покрыто мраком, но сын его был отпущен и немедленно свалил за рубеж, где следы его затерялись. А Апраксин, громче всех шумевший, был взят и обвинен, и добрым молодцам урок. Нечего очернять работу органов. Тем более что и мотив очернительства стал совершенно понятен: истинному преступнику было обидно, что отпустили невиновного.

Максимов стал это дело копать и обнаружил много интересного. Во-первых, следователь сам некогда прирабатывал на шпаковские структуры, был с олигархом связан, вскоре после дела из органов уволился и крутился теперь в автомобильном бизнесе. Налицо корыстный мотив, это мы если и не докажем, то по крайней мере предьявим. Во-вторых, Апраксин отслужил в армии, где

пользовался огромным авторитетом, вот характеристика, человек мирный, всегда всех разнимал. А олигарх Шпаков, между прочим, сына от армии откосил, вместо службы Родине тот разлагался по ночным клубам, вот документы о его художествах. В-третьих, девушка Апраксина вспомнила, что 15 марта 2004 года он провел у нее, вот показания девушки, и хотя она теоретически может рассматриваться как лицо ему близкое, но не родственное, не родственное! Что они делали? Ходили в магазин. Вот показания продавщицы и просьба вызвать ее как свидетеля: Апраксин — рослый красавец, такого не запомнить трудно. Два раза Максимов обжаловал приговор, по первости все оставалось как было, на третий он дошел до Верховного суда, и там, в соответствии с веяниями момента, кассации был дан ход. Шпаков-старший равноудалился в Латинскую Америку еще в две тысячи шестом, Апраксин соответствовал правильному образу молодого патриота, поскольку отслужил, а главное — Максимов раздул грандиозную пиар-поддержку, привлек всех знакомых журналистов, сыграл на теме коррупции и затащил в зал суда двух единороссов, часто пиарившихся где попало. Верховный суд потребовал переследствия, прокуратура держалась насмерть, правозащита ярилась, пресса пестрела — в конце концов враги только того и добились, что дело слушалось не в Москве, по месту преступления и проживания фигуранта, а в Саратове, где он отсиживал. Зачем нам в Москве лишний шум, демонстрации, все такое? Максимов, впрочем, не возражал: в Москве все бы еще непонятно как обернулось, а в Саратове судья попалась принципиальная, настоящая, какие только в глубинке и остались. Дело осложнялось тем, что Апраксин сидел плохо: бунтовал, залетал в БУР, добивался справедливости, писал письма, через родителей передавал потрясающие подробности лагерного быта и вообще стал правозащитным героем, да вдобавок благодаря десантному здоровью не ломался, даром что администрация несколько раз пыталась спровоцировать конфликт и натравить на него матерый криминал. Но Максимов в трехчасовой речи убедительно доказал, что невинно заклепанный во узы так и должен себя вести, и в

зале — куда пытались поначалу не пустить публику, но вынуждены были отступить перед разнuzданной общественностью — раздалась овация, какой обрадовался бы и Плевако. Вокруг Саратова было много зон, каждый третий сидел или привлекался, заключенным сочувствовали. Апраксин и сам по себе был хорош — исхудавший, конечно, и в шрамах от недавних потасовок, но красивый, рослый парень, державшийся интеллигентно и с достоинством. От стражи его освободили в зале суда.

Максимов отбил его у прессы, сунул в заранее подогнанный «мерседес» главы местного телеканала и повез к Волге. Из машины позвонили родителям — оба болели, прибыть не могли: обрадовали стариков, рыдавших в голос. Приехали к Волге, к тайному пляжу, куда не всех пускали, — редактор расстарался в обмен на эксклюзивный материал. Апраксин выкупался, сменил тюремное на гражданское, час сдержанно рассказывал на камеру о нравах тюремной администрации и зверствах актива. Отобедали в *vip*-зале ресторана «Рыбный рай»: Апраксин ел задумчиво, крошечными кусочками, большинство блюд оставил нетронутыми, пить не стал вообще, даже за свободу. «Отвык», — сказал он, улыбнувшись несколько по-волчьи.

Адвокат успел хорошо его узнать за те два года, что занимался этим делом. Он взялся за него по собственной инициативе, услышав от коллеги, все два года навещал Апраксина в зоне, поддерживал надежду, выпытывал детали. Максимов пристально и благожелательно изучал этого парня, ровесника, того же семьдесят седьмого года рождения, из совершенно другой среды, само собой, но приличного, очень приличного. Вытащить его было делом принципа. Он все еще чувствовал себя несколько виноватым перед Апраксиным, хотя и спас его, и вытащил на свободу, и вернул доброе имя, — вообще проделал все, что адвокату удается раз в десятилетие, если не реже. У многих за всю жизнь не бывает такой удачи. Правда, Максимов теперь был в большой моде — от заказов не было отбою; «хватка волчья», говорили о нем. Между тем ничего волчьего в нем как раз не было — он являл собою законченную противополож-

ность Апраксину: невысокий, полноватый, округлый, кудрявый, сама доброта и любезность.

Теперь они ехали в СВ, в фирменном поезде, билеты на который Максимов купил заранее, не сомневаясь в исходе дела. На столе перед ними стояла большая алюминиевая миска вишен — вишни вместе с миской купили на вокзале. Максимов достал коньячок, предложил, Апраксин пригубил. Темнело.

Несмотря на цивильный костюм, Апраксин выглядел пыльным, серым, стертым. У него было темное лицо — та смуглая бледность, которая часто бывает у людей, загоревших не по своей воле; да и не только от загара он потемнел, а от внутренних своих пожаров. Весь он был словно присыпан пеплом. Видно, его сильно там мучили. Освобождение еще не успело до него дойти, он двигался неловко, словно шел по узкому коридору с крашеными стенами: боялся задеть. Сидел неестественно прямо, руки держал на коленях. Было ясно, что путь на волю, к прежней силе и уверенности окажется для него долг и непрост. Больше того: по нему никак нельзя было сказать, что всё позади. То ли он не чувствовал себя отмытым, то ли его тяготила неопределенность будущего. Он явно привык ходить по краю, но за это время отвык жить. Впрочем, только так и бывает: кто рассчитывает жить, пусть лучше сразу отказывается от борьбы.

— Вы курите, если хотите, — заботливо повторял адвокат. — Тут можно, проводник приличный.

— Не хочется.

— Илья, да вы не сдерживайтесь, я все понимаю. У вас сейчас будет трудное время, переход к свободе — это гораздо трудней, чем после армии. Потом, весь этот шум. Шум будет обязательно. Вы теперь символ и герой. Обязательно какая-нибудь партия примажется, год предвыборный, на эфир будут таскать — надо ходить. Надо. Вас вырвали из пасти, это редко бывает. Потом, я вам скажу между нами, кресло под прокурором сильно шатается. Сильно. Он надоел и первому, и вообще. Реально ничего не делает, а у нас борьба с коррупцией. Его будут менять. То, что он вас не хотел отдавать и вставлял вся-

кие палки в колеса, — это все припомнится. Сейчас надо бить в эту точку, они же многих вот так берут, как вас. Кого надо — отмазывают, а кого хотят — хватают, в основном врагов своих. Думают уже, что все можно. Когда я написал, как вас колотили, — знаете, какая реакция была?! Ну, ничего-ничего, пусть исправляются. Судебная ошибка — ничего себе термин?! Им ошибка, а тут судьба, судьба человеческая! Ничего, теперь работа над ошибками... Чтоб в следующий раз не смели...

— Ну, не так и колотили, — скупно улыбнулся Апраксин. — В армии хуже было.

— Вот это, кстати, тоже рассказывайте, а то вы совсем не упоминаете про это. Если вы расскажете, что еще и в армии сопротивлялись беззаконию, будете совсем герой.

— Я вам очень благодарен, — сказал Апраксин после паузы. — Вы знаете, у меня сейчас нет... но я отблагодарю.

— Пустяки, Илья, мы же договаривались. Это я ваш должник. У меня теперь отбою нет. Знаете, какая клиентура? На «майбахе» приезжают, не меньше. И дела, между прочим, посерьезнее вашего. С вами-то все настолько было понятно, что я вообще поразился: ну на что они надеялись? Этак можно первого встречного хватать: ни мотива, ни орудия, вообще ничего! Они еще пытались вам личную неприязнь пришить, будто вы знакомы были. Вы же его не видели никогда до этого!

— Не видел, — кивнул Апраксин.

— И свидетели от показаний отказались... Они же опознание устроили против всех правил! Из них просто выдавили эти слова — что вы похожи на убийцу... «Человек, похожий на генпрокурора»... Нет, какой кретинизм, даже постараться не могли! Кстати, надо вам сказать, — Максимов понизил голос, хотя в купе никого, кроме них, не было, — этот Колычев... тоже жук еще тот! Его надо бы копнуть, но я не стал — знаете почему? Потому что это обычно производит не лучшее впечатление. Получается, что как бы очерняем жертву. А зачем нам оправдываться, нам надо в наступление идти — правильно? Но я кое-что поглядел — он, во-первых, был в мо-

ральном отношении совершенно растленный тип. Это могло сработать, повлиять на публику... Как раз из шпак-овского круга, и они-то уж точно были знакомы, Шпак-ов ему в долг давал. Это я доказал, есть электронная переписка. В компьютере Кольчева нашли, только к делу не приобщали. Но мы же роем так роем! — Максимов самодовольно ухмыльнулся. — Он был из той же компании, хотя рангом, конечно, пониже. И если бы надо — мы бы доказали, что за ним водятся кое-какие штуки покруче наркотиков... Но вы же понимаете — нам надо было не его компрометировать, а вас оправдывать. Мертвые пусть хоронят своих мертвецов, а живые пусть трудоустраиваются, правильно?

— Правильно, — эхом повторил Апраксин.

— Кстати, насчет трудоустройства, — Максимов по-серьезней. — У меня тут есть кое-какие предложения...

— Да не надо, — смущенно сказал Апраксин. — Это уж как-то...

— Надо, надо. Это входит в обязанности — вы не знали разве? Есть же адвокатский кодекс: помочь подзащитному трудоустроиться, адаптировать его в мирной жизни, сами знаете, бывают срывы... Вон у вас в колонии был случай — Симачева освободили по УДО, так он через полгода обратно вернулся. Ну, он вор, с него какой спрос, — но я считаю, что защитник обязан был проконтролировать... Я навел тут кое-какие справки — специалист вашего профиля востребован, есть место начальника охраны в приличной фирме, в «Ладе-плюс» вам делать больше нечего, у них сейчас дела не лучшим образом... И потом, мой вам совет: идите вы получать высшее, что вы, честное слово, охранником будете! Я понимаю, тогда надо было родителей кормить и вообще. Но сейчас-то вы свободный человек в свободной стране, жизнь реально налаживается! Реально! Давайте, это самое, двигайте на юридический. Вы теперь по всем законам подкованы, вам будет зеленая улица — не упускайте момент.

— Я подумаю, — глухо выговорил Апраксин.

— Вот и подумайте, я помогу, репетиторы будут. Да вас сама жизнь подковала. Сейчас юридических пропасть, но я вам советую все-таки сначала на вечерний

в МГУ, а потом переведетесь. Я заканчивал, и очень хорошо. Все-таки фирма.

— Фирма, — продолжал Апраксин свою эхололию.

— Ну и славненько. На первое время я вам немножко подкину, потому что вы мне такую сделали клиентуру... Ну и вообще, знаете, — я раньше вам не говорил, чтобы вы не расслаблялись, но теперь-то сказать могу, потому что всё уже в порядке. Я знаю, вам еще кажется, что не в порядке, вы даже опасаетесь, что могут дверь открыть и ворваться, но уверяю вас, что имя ваше теперь чисто и ничего не будет...

— Да нет, — улыбнулся Апраксин, — я не опасуюсь.

— Ну, тем лучше. Так вот, я вам хочу сказать, что молодчина вы большой. Вас прессовали изо всех сил, а вы отрицали наотрез, это надо же! Такие люди ломались, а вы и тогда не признали, и потом отрицали, и на суде все было безупречно. Теперь уже можно сказать — в основном мы обязаны успехом именно вам. Нет, я, конечно, не скромничаю, я тоже, знаете, профессионал, — но вы очень хорошо себя вели, очень.

— Спасибо, — сказал Апраксин.

— Чайку?

— Спасибо, — повторил он. — Не надо. Знаете, я тоже вам хочу сказать...

— Ну?

— Я очень вам благодарен. Seriously. Тем более что... знаете...

Он сделал паузу. За окном летела среднерусская июньская ночь, зеленая на горизонте, с одинокой крупной звездой.

— Давно хочу сказать, — снова и с нажимом выговорил он, приближая к Максимову красивое волчье лицо. Он даже привстал с полки. Максимов невинно смотрел на него круглыми серыми глазами и поощрительно улыбался. Апраксина это не обмануло — он был уверен, что у Максимова трясутся поджилки. До отсидки и еще до кое-каких событий он и в самом деле был тихим, миролюбивым малым, но после 2004 года знал о себе совсем другие вещи. Он мог напугать, если хотел, — тем и спасался.

— Давно хочу сказать... Это ведь я его убил, на самом-то деле.

Апраксин ожидал чего угодно, но не того, что случилось. Не случилось же, собственно, ничего. Максимов все так же улыбался и доброжелательно смотрел на него круглыми серыми глазами.

— Вы не поняли, может быть? — спросил подзащитный. — Я его убил, Колычева.

— Да я знаю, — с той же доброжелательной улыбкой сказал Максимов. — Знаю, Илюша, знаю. Что вы волнуетесь?

— Как — знаете? — спросил Апраксин пересохшими губами. Зря он отказался от чая.

— Да вот так и знаю, не пальцем деланный, — еще шире улыбнулся Максимов. — Я же вам говорю, я кончал юрфак МГУ. Все-таки школа. Нам психологию читал Колокольников Юрий Мефодьич, последний из красных профессоров. Жалко, вы его не слушаете. Очень был серьезный человек. Я все-таки чайку...

— Не надо! — хрипло прошептал Апраксин.

— Что значит — не надо? Вам не надо — мне надо, я в этом рыбном ресторане рыбки перекушал, рыбка водички просит... Не выдам, не беспокойтесь. Теперь-то уж точно никто не поверит, после этакого-то триумфа...

Вскоре он вернулся с двумя стаканами, в каждом плавало по утопленнику-«липтону».

— Знал, знал, — приговаривал он добродушно. — В том-то и дело, Илюша... Но вы поймите какую вещь: я вас поэтому и вытаскивал, понимаете? Это был мой, так сказать, моральный долг.

— Ничего не понимаю, — сказал посеревший Апраксин.

— Ну, как вам сказать... Короче, это вы меня должны были убить. А не Колычева. Но по вашей милости я остался жив и решил, так сказать, отдариться.

— Вас? — ничего не понимал Апраксин. — Вас?! Почему — вас?!

— Илюша, — сказал Максимов очень серьезно, и Апраксину показалось, что этот кудрявый пухлый парень, того же семьдесят седьмого года рождения, гораз-

до старше и сильней самого Апраксина и может с ним сейчас сделать что-то непоправимое, против чего уже не будет никакого приема. — Послушайте меня внимательно но и спокойно. Вы ведь за Наташку его, да?

— Да, — еле слышно ответил подзащитный. На лице его изобразилось живое, почти детское страдание. Он смотрел на Максимова умоляюще, как уже три года ни на кого не смотрел.

— Так вот, — произнес Максимов, глядя прямо в лицо Апраксину своими круглыми серыми глазами. — За Наташку надо было меня.

Апраксин опустил голову.

— У нее ничего не было с Колычевым, Илюша, — продолжал Максимов, помолчав. — А со мной было, к сожалению. Я действительно виноват перед вами, ничего не поделаешь, но именно тогда я и понял, что хоть что-то в жизни можно исправить. Работа над ошибками, понимаете? Я ведь как тогда думал: ну, есть у нее охранник какой-то тупой. Он ей не нужен, а я как раз. Я ее не любил, Илюша, вы уж простите меня. Это легкий такой был роман, глупость. А у нее оказалось серьезно, вот она вам и лягнула тогда, в январе. Что хватит, что другой, что прошла любовь и созрели помидоры. Вы ее сдуру за руку, приемом, а этого не надо было делать. Она вам поэтому и не сказала ничего. А вы тоже молодец, конечно, с этим Колычевым... Почему вы на него подумали — я понимаю. Он к ней давно подкатывался. Но она меня тогда любила.

— Тогда?

Апраксин посмотрел на него с ненавистью и надеждой — Максимов сроду бы не подумал, что такое сочетание возможно.

— Да, — кивнул он, — тогда. Теперь не любит. Теперь она ждет вас, и я надеюсь, что у вас обоих хватит ума прожить нормальную хорошую жизнь, в которую я так по-подлому вторгся.

Апраксин молчал.

— Это бывает, Илюша, — мягко, как врач, продолжал Максимов. — Со всеми бывает. Бывает, что любит

женщина, очень любит, по-настоящему... и вдруг помрачение ума, смятение чувств, ерунда всякая... Если с нами бывает, почему с ней не может? Она мне, правда, говорила, что у вас не бывает. Что вы такой... ну, в общем, действительно такой. Прямой. Вы должны ее простить, это ведь она меня заставила взяться за дело.

— Что ж она мне не написала ни разу? — с тяжелой злостью спросил Апраксин.

— А боялась, — с готовностью ответил Максимов, — боялась, и кто бы не боялся? Кто ж думал, что вы его убьете. Вы и не звонили ей больше, с января-то...

— Не звонил.

— Ну вот. А сами готовились как тщательно, а! Я восхищался прямо. То есть просто молодец. Вы же четко просчитали — у Шпакова с Колычевым конфликт, это вам приятель рассказал, охранник «Пятой комнаты», которая потом сгорела. Хорошо, что сгорела, кстати: никакой был не клуб, а чистый бордель. Шпаков ему в долг дал, Колычев не отдавал, Шпаков, идиот, трезвонил об этом повсюду... Он сейчас, кстати, знаете где? В Венесуэле, с папочкой. У Чавеса в советничках — ничего, да? Путь олигарха! Оттуда-то не выцарапают... В общем, хорошо придумано. Вы только того не учли, что его отпустят сразу. Тут у вас нервы и сдали. Это нельзя. Нервы знаете какие должны быть? Вот как сейчас у вас...

Апраксин угрюмо улыбнулся.

— Кстати, Наталья-то молодцом, — частил Максимов. — Алиби устроила, все вспомнила, все придумала, никуда вы с ней не ходили, конечно, но продавщицу-то мы организовали, это не проблема. Короче, она хорошая девочка, серьезно. Но я вам, Илюша, буду очень благодарен, если вы ее теперь заберете назад. Честное слово. Надоела ужасно. Все-таки из совсем другого круга.

Они посмотрели друг на друга в упор.

— Ждет, между прочим, — добавил Максимов. — Квартиру сняла. Очень волнуется. Сдаю с рук на руки. В полном порядке. Уже год как ничего не было, все-таки это совсем не мой тип.

Максимов замолчал, Апраксин тоже. Апраксин вдруг расхохотался, Максимов тоже. Он разлил коньяк по пустым чайным стаканам.

— На брудершафт, — сказал он радостно. — Молочные братья все-таки!

Выпили залпом.

— И еще одно, — сказал адвокат, морщась.

Апраксин стремительно поднял голову и тревожно уставился на него.

— Да так, ерунда, — успокоил его Максимов. — Просто этот... Колычев-то... Действительно страшная был сволочь. Между прочим, у меня в свое время Таньку увел. И всё, с концами. В Амстердаме теперь, сучка. Так что за него тебе отдельное спасибо. Все ты правильно сделал, парень.

Они расхохотались и выпили снова.

МОЖАРОВО

Памяти Валерия Фрида

— Значит, повторяю в последний раз, — сказал Кошмин, высокий сухой человек, больше похожий на следователя-важняка, чем на инспектора гуманитарки. — В Можарове стоянка пять минут. Этого им достаточно, чтобы отцепить вагон с гуппомощью. При первой же вашей попытке открыть двери или окна я буду действовать по инструкции. Потом не обижайтесь.

Васильеву и так было страшно, да еще и за окном сгущалась июльская гроза: набухали лиловые тучи, чуть не касавшиеся густого сплошного ельника. Безлюдные серые деревеньки по сторонам дороги глядели мрачно: ни живности, ни людей, только на одном крыльце сидел бледный большеголовый мальчик и провожал поезд недобрый внимательным взглядом, в котором не было ничего детского. Иногда Васильев замечал такой взгляд у безнадежных сумасшедших, словно сознающих свое печальное состояние, но бессильных его изменить.

— Да не буду я, — сказал Васильев с досадой. — Вы же еще в Москве пять раз предупреждали.

— Всех предупреждали, — буркнул Кошмин, — а некоторые открывали...

— Да у нас вон и окно не открывается.

— А Горшенин, который перед вами ездил, бутылкой разбил окно, — мрачно напомнил Кошмин.

— Ну, у нас и бутылки нет... И решетки вон снаружи...

— В эту решетку свободно можно руку просунуть. Хлеба дать или что. И некоторые просовывали. Вы не видели, а я видел.

Васильева бесило, что Кошмин столько всего видел, но ни о чем не рассказывал толком. Он терпеть не мог неясностей.

— Вы лучше заранее скажите, Георгий Валентинович, — Васильеву было всего двадцать пять, и он обращался к инспектору уважительно. — Что это за сирены такие, перед которыми невозможно устоять? Честное слово, проще будет. Кто предупрежден, тот вооружен.

— А чего вы такого не знаете? — настороженно взглянул Кошмин. — Вам все сказано: на станции подойдут люди, будут проситься, чтоб впустили или там открыть окно, принять письмо для передачи, дать хлеба. Принимать ничего нельзя, открывать окна и двери не разрешается ни в коем случае. Можарово входит в перечень населенных пунктов, где выходить из поезда запрещается, что непонятного?

— Да я знаю. Но вы хоть скажите, что там случилось. Зона зараженная или что.

— Вас когда отправляли, лекцию читали? — спросил Кошмин.

— Ну, читали.

— Перечень пунктов доводили?

— Доводили.

— И что вам непонятно? Какая зараженная зона? Обычная зона гуманитарной помощи в рамках национального проекта поддержки русской провинции. Всё нормалдык. Но есть определенные правила, вы понимаете? Мы же не просто так, как баба на возу. Мы действуем в рамках госпроекта. Надо соблюдать. Если не будете соблюдать, я доведу о последствиях.

— Понял, понял, — сказал Васильев. Он терпеть не мог, когда ему что-либо доводили. Это его доводило. Также он терпеть не мог слов «йок» и «нормалдык». — А почему тогда вообще не закрыть окна на это время? Жалюзи какие-нибудь спустить железные, ставни, я не знаю...

— Ну как это, — поморщился Кошмин. — Едет же пресса вроде вас. Иностранцы наблюдатели вон едут. Что, в глухом вагоне везти, как скотину? Вон в седьмом едет представитель фонда этого детского, Майерсон или как его. Он и так уже приставал, почему решетки. Ему не нравится из-за решетки глядеть. Он не знает, а я знаю. Он Бога должен молить, что решетки.

Люди вроде Кошмина всегда были убеждены, что за их решетки все должны кланяться им в пояс, потому что иначе было бы еще хуже.

— И потом, это же не везде так, — добавил он успокоительно. — Это одна такая зона у нас на пути, их и всего-то шесть, ну семь... Проедем, а дальше до Урала нормально. Можно выходить, картошки там купить отварной, с укропом... пообщаетесь с населением, если хотите... Заповедник, природа... Всё нормалдык! Зачем же ставни? Всего в двух пунктах надо соблюдать, Можарово и Крошино, а в остальное время ходите, пожалуйста, ничего не говорю...

Васильев попытался вообразить, что делается в Можарове. Еще когда их группу — три телевизионщика в соседнем вагоне и он от «Ведомостей» — инструктировали перед отправкой первого гуманитарного поезда, пересекающего Россию по случаю нацпроекта, инструктор явно чего-то недоговаривал. К каждому журналисту был прикреплен человек от Минсельхоза с внешностью и манерами профессионального охранника — что за предосторожности во время обычной поездки? Оно конечно, в последнее время ездить между городами стало опасно: всю потрошили электрички, нападали на товарняки... Ничего не поделаешь, тоже был нацпроект — приоритетное развитие семи мегаполисов, а между ними более или менее дикое поле, не надо нам столько земли... Кто мог — перебрался в города, а что делалось с остальными на огромном российском пространстве, Васильев представлял смутно. Но он был репортер, вдобавок с армейским опытом, и его отправили с первым гуманитарным — писать репортаж о том, как мегаполисы делятся от своих избытков с прочим пространством,

где, по слухам, и с электричеством-то уже были перебои. Правда, о том, что на отдельных станциях нельзя будет даже носу высунуть на перрон, в Москве никто не предупредил. Тогда симпатичная из «Вестей» точно бы не поехала — она и так все жаловалась, что в вагоне не предусмотрена ванна. Ванна была только в спецвагоне Майерсона, потому что он был филантроп и бог знает какой миллиардер, Гейтс курит.

За окном плыл безлюдный и ничем не примечательный, но именно поэтому особенно страшный пейзаж: все те же пустые серые деревни, иногда одинокая коза с красной тряпкой на шее, иногда тихий косарь, в одиночку выкашивавший овраг, — косарь тоже смотрел вслед поезду, нечасто он теперь видел поезда, и лица его Васильев не успевал разглядеть; мелькало поле с одиноко ржавевшим трактором — и опять тянулся угрюмый ельник, над которым клубилась лиловая туча. Быстро мелькнули остатки завода за полуразвалившимся бетонным забором, ржавые трубы, козловой кран; потянулось мелколесье, среди которого Васильев успел разглядеть бывшую воинскую часть за ржавой колючей проволокой, на которой так и остался висеть чей-то ватник — небось мальчишки лазали за техникой... Поезд замедлял ход.

— Что там хоть раньше-то было, в Можарове? — спросил Васильев, чтобы отвлечься от исподволь нараставшего ужаса. Он знал, что Минсельхоз просто так охранников не приставляет — там работали теперь люди серьезные, покруче силовиков. — Может, промыслы какие?

— Кирпичный завод, — нехотя ответил Кошмин после паузы. — Давно разорился, лет тридцать. Ну и по мелочи, обувная, мебельная фабрика... Театр кукол, что ли... Я тогда не был тут.

— А сейчас есть что-то?

— Если живут люди — значит, есть, — сказал Кошмин с таким раздражением, что Васильев почел за лучшее умолкнуть.

— В общем, я вас предупредил, — проговорил Кошмин после паузы. — К окну лучше вообще не совать

ся. Если нервы слабые, давайте занавеску спущу. Но вообще-то вам как журналисту надо посмотреть. Только не рыпайтесь.

— Ладно, ладно, — машинально сказал Васильев и уставился на медленно плывущую за окном станцию Можарово.

Сначала ничего не было. Он ожидал чего угодно — монстров, уродов, бросающихся на решетку вагона, но по перрону одиноко брела старуха с ведром и просительно заглядывала в окна.

— Раков! — покрикивала она. — Вот раков кому! Свежие кому раки!

Васильев очень любил раков и остро их захотел, но не шелохнулся. Старуха подошла и к их вагону, приблизила к стеклу доброе изможденное лицо, на котором Васильев, как ни вглядывался, не мог разглядеть ничего ужасного.

— Раков! — повторила она ласково. — Ай кому надо раков?

— Молчите, — сквозь зубы сказал Кошмин. Лицо его исказилось страданием — тем более ужасным, что, на взгляд Васильева, совершенно беспричинным. Не может быть, чтобы ему так сильно хотелось раков и теперь его раздирала борьба аппетита с инструкцией.

Старуха отвернулась и тоскливо побрела дальше. Станция постепенно заполнялась людьми — вялыми, явно истощенными, двигавшимися замедленно, как в рапиде. К окну подошла молодая мать с ребенком на руках; ребенок был желтый, сморщенный, вялый, как тряпичная кукла.

— Подайте чего-нибудь ради Христа, — сказала она тихо и жалобно. Несмотря на толстое стекло, Васильев слышал каждое ее слово. — Работы нет, мужа нет. Христа ради, чего-нибудь.

Васильев со стыдом посмотрел на дорожную снедь, которую не успел убрать. В гуманитарных поездах кормили прекрасно, Минсельхоз не жалел средств. На купейном столике разложены были колбаса двух сортов, голландский сыр, что называется, со слезой, и паштет из гусиной печени с грецким орехом, так называемый

страсбургский. Прятать еду было поздно — нищенка все видела. Васильев сидел весь красный.

Вдоль поезда шла девочка с трогательным и ясным личиком, словно сошедшая с рождественской олеографии, на которых замерзающие девочки со спичками обязательно были ангелоподобны, розовы, словно до попадания на промерзшую улицу жили в благополучнейшей семье с сытными обедами и ежеутренними ваннами. Васильеву казалось даже, что он видел эту девочку на открытке, сохранившейся в семье с дореволюционных времен, — в этой открытке прапрапрадедушка поздравлял прапрапрабабушку с новым 1914 годом. Девочка подошла к окну, подняла глаза и доверчиво произнесла:

— Мама болеет. Совсем болеет, не встать. Дяденьки, хоть чего-нибудь, а?

Она просила не канюча, улыбаясь, словно не хотела давить на жалость и стыдилась своего положения.

— А я песенку знаю, — сказала она. — Вот, песенку спою. Не прошла-а-а зима, снег еще-е-е лежит, но уже домо-о-ой ласточка спешит-и-ит... На ее пути горы и моря, ты лети, лети, ласточка моя-а-а...

Васильев знал эту песню с детского сада и ребенком всегда плакал, когда ее слышал. Он посмотрел на Кошмина. Тот не сводил с него глаз, ловил каждое движение — не было никакой надежды обмануть его и хоть украдкой выбросить в окно деньги или упаковку колбасы; да и решетка...

— Ну вот скажите мне, — ненавидя себя за робкую, заискивающую интонацию, выговорил Васильев, — вот объясните, что был бы за вред, если бы мы сейчас ей подали кусок хлеба или три рубля?

— Кому — ей? — жестко переспросил Кошмин.

— Ну вот этой, девочке...

— Девочке? — снова переспросил Кошмин.

Что он, оглох, что ли, подумал Васильев. Может, он вообще сумасшедший, псих проклятый, придали мне урода, а я теперь из-за него не могу ребенку дать еды.

— Вы не видите, что ли?!

— Вижу, — медленно сказал Кошмин. — Сидите смиренно, или я не отвечаю.

К окну между тем подошла еще одна старуха, маленькая, согбенная, очкастенькая, с личиком провинциальной учительницы. Дрожащей скрюченной лапкой она протянула к самому лицу Васильева маленькие вязаные тапочки, такие еще называют пинетками, собственные его пинетки до сих пор хранились дома, покойная бабушка связала их крючком. Если бы не дедушкина пенсия да не проживание в Москве, покойная бабушка на старости лет могла бы стоять точно так же.

— Купите тапочки, — умоляюще сказала старушка. — Хорошие тапочки, чистая шерсть. Пожалуйста. Дитенку там или кому... Купите тапочки...

Вот они, сирены Можарова. Вот к кому нам нельзя теперь выходить. От собственного народа мы отгородились стальными решетками, сидим, жрем страсбургский паштет. Васильев встал, но Кошмин как-то так ткнул его стальным пальцем в подреберье, что журналист согнулся и тут же рухнул на полку.

— Предупреждал, — с отвратительным злорадством сказал Кошмин.

— Предупреждал он, — сквозь зубы просипел Васильев. — Суки вы все, суки позорные... Что вы сделали...

— Мы? — спросил Кошмин. — Мы ничего не сделали. Это вас надо спрашивать, что вы сделали.

Парад несчастных за окном в это время продолжался: к самым решеткам приник пожилой, болезненно полноватый мужчина с добрым и растерянным лицом.

— Господа, — лепетал он срывающимся голосом, — господа, ради бога... Я не местный, я не как они... Поймите, я здесь случайно. Я случайно здесь, я не предполагал. Третий месяц не могу выбраться, господа, умоляю. Откройте на секунду, никого не впустим. Господа, ведь нельзя же здесь оставлять... поймите... я интеллигентный человек, я такой же человек, как вы. Ведь невыносимо...

Голос его становился все тише, перешел в шепот и наконец сорвался. Мужчина рыдал, Васильев мог бы поклясться, что он плакал беспомощно и безнадежно, как младенец, забытый в детском саду.

— Я все понимаю, — снова начал он. — Я вас понимаю прекрасно. Но я вас умоляю, умоляю... я клянусь чем хотите... Вот! — внезапно осенило его, и из кармана мягкого серого плаща он извлек какую-то обтерханную справку. — Тут все написано! Командировка, господа, командировка... умоляю... умоляю...

Тут он посмотрел влево, и на лице его отобразился ужас. Кто-то страшный, в водолазном костюме, неумолимо подходил к нему, отцеплял от решетки вагона его судорожно сжатые пальцы и уводил, утаскивал за собой — то ли местный монстр, то ли страж порядка.

— Ааа! — пронзительным заячьим криком заверещал пожилой, все еще оглядываясь в надежде, что из вагона придет помощь. — Спасите! Нет!

— Это кто? — одними губами спросил Васильев.

— Кто именно?

— Этот... в водолазном костюме...

— В каком костюме?

— Ну тот... который увел этого...

— Милиция, наверное, — пожал плечами Кошмин. — Почему водолазный, обычная защита... Тут без защиты не очень погуляешь...

Станция заполнялась народом. Прошло лишь пять минут, а вдоль всего перрона тащились, влачили, ползли убогие и увечные. В них не было ничего ужасного, ничего из дурного фантастического фильма — это были обычные старйки, женщины и дети из советского фильма про войну, толпа, провожающая солдат и не надеющаяся дожидаться их возвращения. Уйдут солдаты, придут немцы, никто не спасет. В каждом взгляде читалась беспокойная, робкая беспомощность больного, который живет в чужом доме на птичьих правах и боится быть в тягость. Такие люди страшатся обеспокоить чужого любой просьбой, потому что в ответ могут отнять последнее. На всех лицах читалось привычное кроткое унижение, во всех глазах светилась робкая мольба о милости, в которую никто толком не верил. Больше всего поразила Васильева одна девушка, совсем девчонка лет пятнадцати — она подошла к вагону ближе других, опираясь на два грубо сработанных костыля.

Эта ни о чем не просила, только смотрела с такой болью, что Васильев отшатнулся от окна — ее взгляд словно ударил его в лицо.

— Что ж мне делать-то, а! — провыла она не с просительной, а с повелительной, надрывной интонацией, словно после этих ее слов Васильев должен был вскочить и мчаться на перрон, спасать всю эту измученную толпу. — Что ж делать-то, о Господи! Неужели ничего нельзя сделать, неужели так и будет все! Не может же быть, чтобы никакой пощады нигде! Что ж мы всем сделали?! Нельзя же, чтобы так с живыми людьми...

Этого Васильев не мог выдержать. Он все-таки отслужил, вдобавок занимался альпинизмом, так что успел повалить Кошмина резким хуком слева, своим фирменным, — и выбежал в коридор, но там его уже караулил проводник. Проводник оказался очень профессиональный — в РЖД, как и в Минсельхозе, не зря ели свой страсбургский пащтет. Васильев еще два дня потом не мог пошевелить правой рукой.

— Нельзя, — шепотом сказал проводник, скрутив его и запихнув обратно в купе. — Нельзя, сказано. Это ж как на подводной лодке. Сами знать должны. Знаете, как на подводной лодке? — Странно было слышать этот увещевающий шепот от человека, который только что заломал Васильева с профессионализмом истинного спецназовца. — На подводной лодке, когда авария, все отсеки задраиваются. Представляете, стучат люди из соседнего отсека, ваши товарищи. И вы не можете их впустить, потому что устав. В уставе морском записано, что нельзя во время аварии открывать отсеки. Там люди гибнут, а вам не открыть. Вот и здесь так, только здесь не товарищи.

— Мрази! — заорал Васильев, чумея от бессильной ненависти. — Мрази вы все! Кто вам не товарищи?! Старики и дети больные вам не товарищи?! Это что вы за страну сделали, стабилизаторы долбаные, что вы натворили, что боитесь к собственному народу выйти! Это же ваш, ваш народ, что ж вы попрятались от него за решетки! Хлеба кусок ему жалеете?! Рубль драный жалеете?! Ненавижу, ненавижу вас, ублюдков!

— Покричи, покричи, — не то угрожающе, не то одобрительно сказал проводник. — Легче будет. Чего он нервный такой? — обратился он к Кошмину.

— Журналист, — усмехнулся Кошмин.

— А... Ну, пусть посмотрит, полезно. Тут, в Мозжарове, журналистов-то давно не было...

— Что они там возятся с вагоном? — неодобрительно спросил Кошмин у проводника. Они разговаривали запросто, словно коллеги. — Давно отцепили бы, да мы бы дальше поехали...

— Не могут они быстро-то, — сказал проводник. — Меньше двадцати минут не возятся.

— Ослабели, — снова усмехнулся Кошмин.

Вэтотмоментпоезддрогнулитронулся. Несколько девочек в выцветшем тряпье побежали за вагоном — впрочем, какое побежали, скорей поползли, шатаясь и сразу выдыхаясь; Васильев отвел взгляд.

— Ну, извиняй, журналист, — сказал проводник, переводя дух. — Сам нам будешь благодарен.

— Ага, — сказал Васильев, потирая плечо. — За все вам благодарны, всю жизнь. Скажи спасибо, что не до смерти, что не в глаз, что не в рот... Спасибо, век не забуду. Есть такой рассказ — вы-то не читали, но я вам своими словами, для общего развития... Называется «Ушедшие из Омеласа». Имя автора вам все равно ничего не скажет, так что пропустим. Короче, есть процветающий город Омелас. И все в нем счастливы. И сплошная благодать с народными гуляньями...

— А в жалком подвале за вечно запертой дверью, — невозмутимо вступил Кошмин, — сидит мальчик-олигофрен, обгаженный и голодный. Он лепечет: выпустите, выпустите меня. И если его выпустить, весь город Омелас с его процветанием полетит к чертям собачьим. Правильно? Причем ребенок даже не сознает своего положения, и вдобавок он недоразвитый. Даун он, можно сказать. Слезинка ребенка. Читали. Урсула Ле Гуин. Наше ведомство начитанное.

— Какое ведомство? — спросил оторопевший Васильев.

— Минсельхоз, — сказал Кошмин и подмигнул проводнику. Тот жизнерадостно оскалился в ответ.

— Но если вы все это читали... — упавшим голосом начал Васильев.

— Слушай, журналист, — Кошмин наклонился к нему через столик. — Ты думать можешь мало-мало или вообще уже все мозги отшибло? Ты хорошо их слышал?

— Кого — их?

— Ну голоса их, я не знаю, кого там ты слышал. Хорошо слышал?

— Ну, — кивнул Васильев, не понимая, куда клонит инструктор.

— А ведь стекло толстое. Очень толстое стекло, журналист. А ты их слышал, как будто они рядом стояли, — нет? И видел ровно то, что могло на тебя сильнее всего надавить, так? Зуб даю, что-нибудь из детства.

— А вы? — пролепетал потрясенный Васильев. — Вы что видели?

— Что я видел, того тебе знать не надо! — рывкнул Кошмин. — Мало ли что я видел! Тут каждый видит свое, умеют они так! Интересно послушать потом, да только рассказывать чаще всего некому. Тут шелку в вагоне приоткроешь — и такое...

— Ладно, — устало сказал Васильев. Он все понял. — Кому другому вкручивайте. Ведомство ваше, Минсельхоз, Минпсихоз или как вы там называетесь, — вы хорошо мозги парите, это я в курсе. И фантастику читали, вижу. Но дураков нет вам верить, понятно? Уже и телевизор ваш никто не смотрит, про шпионов в школах и вредителей в шахтах. И про призраков в Можарове, которых я один вижу, — не надо мне тут, ладно? Не надо! Я и так ничего не напишу, да если б и написал — не пропустите.

— Вот клоун, а? — усмехнулся проводник, но тут же схватился за рацию. — Восьмой слушает!

Лицо его посерело, он обмяк и тяжело сел на полку.

— В двенадцатом открыли, — еле слышно сказал он Кошмину.

— Корреспонденты? — спросил Кошмин, вскакивая.

— Телевизионщики. Кретины.

— И что, все? С концами?

— Ну а ты как думал? Бывает не все?

— Вот дура! — яростно прошептал Кошмин. — Я по роже ее видел, что дура. Никогда таких брать нельзя.

— Ладно, о покойнице-то, — укоризненно сказал проводник.

Васильев еще не понимал, что покойницей называют симпатичную из «Вестей». До него все доходило как сквозь вату.

— Нечего тут бабам делать, — повторял Кошмин. — В жизни больше не возьму. Что теперь с начпоездом в Москве сделают, это ужас...

— Ладно, пошли, — сказал проводник. — Оформить надо, убрать там...

Они вышли из купе, Васильев увязался за ними.

— Сиди! — обернулся Кошмин.

— Да ладно, пусть посмотрит. Может, поймет чего, — заступился проводник.

— Ну иди, — пожал плечом инструктор.

Они прошли через салон-вагон перепуганного Майерсона. «Sorry, a little incident», — на безукоризненном английском бросил Кошмин. Майерсон что-то лепетал про оговоренные условия личной безопасности. Пять вагонов, которые предстояло насквозь пройти до двенадцатого, показались Васильеву бесконечно длинным экспрессом. Мельком он взглядывал в окно, за которым тянулись все те же серые деревни; лиловая туча, так и не проливаясь, висела над ними.

В тамбуре двенадцатого вагона уже стояли три других проводника. Они расступились перед Кошминым. Васильев заглянул в коридор.

Половина окон была выбита, дверцы купе проломаны, перегородки смяты, словно в вагоне резвился, насытившись, неумолимый и страшно сильный великан. Крыша вагона слегка выгнулась вверх, словно его надували изнутри. Уцелевшие стекла были залиты кровью, клочья одежды валялись по всему коридору, обглоданная берцовая кость виднелась в ближайшем купе. Странный запах стоял в вагоне, примешиваясь к отвра-

тительному запаху крови, — гнилостный, застарелый: так пахнет в пустой избе, где давным-давно гниют сальные тряпки да хозяйничают мыши.

— Три минуты, — сказал один из проводников. — Три минуты всего.

— Чем же они ее так... купили? — произнес второй, помладше.

— Не узнаешь теперь, — пожал плечами первый. — Не расскажет.

— Иди к себе, — обернулся Кошмин к Васильеву. — Покури пойдя, а то лица на тебе нет. Ничего, теперь только Крошино проехать, а потом всё нормалдык.

ОТПУСК

Валентин Трубников, хотя, конечно, никакой не Трубников, вдыхал знакомый вагонный запах, не изменившийся за три года, мельком взглядывал в темное окно, привыкая к своему облику, и ждал Веру Мальцеву, которая опаздывала. Это тоже ничуть не изменилось, прежде ей от него доставалось, о чем он в последние три года горько сожалел, — но теперь, правду сказать, Трубников радовался, что она задерживается. Его била дрожь, а когда толстого сорокапятилетнего человека бьет дрожь, это всегда смешно и неприлично. Воистину душа — хозяйка тела; материалисты, конечно, дураки. Тело ничего не может само. Этот Трубников, несмотря на годы, был здоровый, крепкий мужчина — вероятно, рыбак, автолюбитель, турист, и полнота его была не болезненная, а сочная и крепкая, от вкусной и здоровой пищи, от экологически чистых огурчиков с собственного огорода, не всякая эта нитратная гнусь. Вера Мальцева, вероятно, отшатнется при виде этого человека, он будет ей невыносим, и при всей своей хваленой воспитанности она не сможет скрыть раздражения. Противно ехать куда-нибудь с довольным, глухим ко всему человеком: никогда так не чувствуешь одиночества, как рядом с храпящей, плотной тушей, никогда не знаешь так ясно, до чего мы все никому не нужны с нашей неизбывной болью, — в такие минуты кажется, что и Бог тоже толстый и тоже спит. В России, как в поезде с противным попутчиком, совершенно не с кем погово-

ритель. Так называемого Трубникова это очень угнетало в свое время: лежал он, положим, в больнице, дела его были плохи, а рядом выздоравливал примерно вот такой. Трубникову, в силу плачевного его положения, хотелось поговорить, ночами он мучался от боли и от неуклонно прибывающих подтверждений диагноза — в такие минуты один понимающий взгляд сделает больше, чем любая таблетка, — но сосед ничего понимать не хотел: он оберегал свое едва наметившееся выздоровление, опасался заразиться от тяжелого соседа, на все трубниковские истории отвечал: «Всяко бывает», а от прямых вопросов уходил, отворачиваясь и хмыкая. Так Трубников и не узнал про него ничего, но возненавидеть успел капитально.

Выписываясь, сосед тщательно собирал свои судки, забрал даже старые газеты — не желал ничего оставлять в обители скорби; так зэк, говорят, перед выходом на волю должен все забрать из камеры — чтобы не возвращаться, типа примета. Трудно, трудно будет Вере Мальцевой всю-то долгую зимнюю ночь ехать с таким попутчиком в Нижний Новгород в командировку, где у нее вдобавок сложное дело. Адвокат она молодой, двадцать семь лет, а проблема там уж непростая — Трубников это дело знал, газеты читаем. Две девочки удавили больную соседку по ее личной просьбе, скажите, какое милосердие, — и ведь не подкопаешься, она нацарапала кое-как слабеющей птичьей лапой, изувеченной амиотрофным склерозом, положенное «никого не винить». Девочки, однако, после успешной эвтаназии обобрали квартиру удушенной, и это меняло дело; Мальцева в жизни не взялась бы защищать мерзавок (происходивших, кстати, из вполне состоятельных семей), кабы не временные денежные затруднения да собственный специфический опыт по этой части, о котором ниже.

Трубников охотно избавил бы Веру Мальцеву от своего соседства. Но что поделать — у него это была единственная возможность легально провести с ней ночь, он специально подгадал отпуск под этот визит — в командировки она ездила редко. Еще, не дай Бог, опоздает — и тогда потерян год и прахом пойдут все приго-

товления: выслеживание на вокзале, покупка билета в то же купе... Но она не опоздала — и, как ни ждал ее так называемый Трубников, а все равно Вера явилась неожиданно; так и на всех их первых свиданиях, когда он уже переставал надеяться, она вырывалась вдруг из толпы, словно ее нарочно задерживали, а тут она чудом вывернулась из цепких рук и мчится ему навстречу от незримого преследователя, и на лице всегда страх.

— Ты чего?

— Я боялась, что ты уйдешь.

— В следующий раз точно уйду. Полчаса, Вер! Совесть иметь надо, нет?

— Ну прости. Вот видишь, ты бы ушел. И мы бы никогда уже не встретились.

— А телефоны отменили?

— Нет, я точно знаю. Если бы ты ушел, то всё.

— Ты меня испытываешь, что ли?

— Боже упаси. Пробки, честное слово. Вся Ленинградка стоит.

— Пешком надо ходить, — говорил он назидательно, и они шли куда-нибудь пешком, поминутно останавливаясь: она висла на нем, лезла целоваться, вглядывалась, словно торопилась насмотреться. Как выяснилось, имел место ненаучный факт предвидения.

Она ворвалась в купе, задыхаясь, и действительно слегка отшатнулась, наткнувшись на его взгляд. Трубников поспешно опустил глаза.

— Здравьете, — сказала она.

— Добрый вечер.

— Ой, я еле успела.

— Да, — сказал Трубников, не поднимая глаз. — Пробки.

Правду сказать, он чувствовал себя отвратительно. В прошлый раз даже решил, что в отпуск больше не поедет, но легко сказать. Особенно его огорчили бледность и худоба Веры Мальцевой: в ее годы женщине, пусть даже одинокой, положено быть цветущей. Вероятно, он даже одобрил бы ее замужество — впрочем, это тоже легко сказать, в теории мы все альтруисты. Трудно ей было одной, трудно.

Поезд тронулся. Трубников сидел нахохлившись и украдкой взглядывал на попугайчицу: особых изменений не наблюдалось. Он сам не знал, что его так пленяло в ее лице, — слава Богу, почти никто из друзей не разделял этого восторга; приятно все-таки, что разным людям нравятся разные женщины, это как у растений цветение в разные сроки, которое он помнил из курса ботаники. Какое-то в ней было веселье, готовность к внезапному озорству — сейчас, конечно, поутихшая, загнанная внутрь. Раньше она вспыхивала от первой спички, от любой шутки, — вообще легко загоралась, страшно переплачивала людям, восхищалась посредственностями, о любом фильме, в котором померещилось что-то свое, рассказывала взхлеб, приписывая авторам то, чего у них и в мыслях не было; бесценная для адвоката способность искренне верить в чужую святость! Первое громкое дело было у нее как раз с шахидкой-неудачницей, которая передумала взрываться, когда увидела в витрине розовую кофточку и захотела такую же; у нее, вишь ты, никогда не было розовой кофточки. Присяжных это не тронуло, закатали голубушку на всю десятку, не такое было время, чтоб жалеть чурок, да еще и начиненных динамитом; Вера бегала во все газеты, рассказывала, какая удивительная девочка, как рисует, какие пишет стихи! Стихи были впечатляющие, нет спору: «Хочу раскрыть свою темницу и отпустить себя, как птицу». И кофточку ей купила — осуществляются мечты!

— Ну, давайте знакомиться, — решительно сказала Мальцева, словно нырнула в холодную воду (в воду всегда вбегала с визгом — никаких этих долгих, осторожных вхождений, и с ним когда-то так же быстро сошлась, не думая о последствиях). — Я Вера Мальцева, еду в командировку. Вы до Нижнего?

— До Нижнего, — буркнул Трубников. — К сестре.

— Вы оттуда сами? Я просто впервые там буду, не знаю ничего...

— Нет, это она туда уехала. Замуж вышла.

— А, — сказала Мальцева. — Ну и как, удачно?

— Что — удачно?

— Замуж удачно вышла?

Что-то с ней было не так. Непонятно было, с чего она задает противному толстому мужику посторонние вопросы. Или так оголодала, что на любого кидается?

— Удачно. У некоторых вообще бывает удачно... свободная вещь...

Ах ты черт, подумал Трубников. Этого говорить не следовало. Она сразу вскинулась.

— Как вы сказали?

— Я говорю, бывают удачные браки иногда.

— Нет, не то! Про свободную вещь!

— А что, выражение такое, — не очень искренне удивился Трубников. — Многие так говорят.

— Это да, это да... Свободная вещь... А я вот адвокат, представляете?

— Чего ж не представлять, — он пожал плечами. Она явно нервничала, отсюда и болтовня.

— У вас там в Нижнем слышали, какая история? Две девочки женщину задушили.

— Читал что-то, — сказал Трубников. — Она их сама просила, по-моему.

Проводница забрала билеты и разнесла белье. Она была ласковая, доброжелательная, с дробным быстрым говорком — у Трубникова при уже упомянутых тяжелых обстоятельствах была такая медсестра, и цену ее доброте он знал отлично. Никого она на самом деле не жалела, а ласковый говорок у нее был вроде защитной реакции, чтобы не вымогали настоящего сочувствия. Проводница спросила, не надо ли чаю.

— Обязательно! Два стакана! — попросила Вера Мальцева.

— Не много будет? — поинтересовался этот, тоже мне, Трубников.

— А я в поезде очень люблю, — сказала она с вызовом. — В детстве, бывало, в Крым еду — с мамой, с папой, они развелись потом, — и счастье уже, знаете, начинается с чая. Сахар такой был, с поездом нарисованным. Мне очень нравилось слово «рафинад», я думала, это особенное что-то, поездное. Мы дома с песком пили.

— А куда в Крым? — спросил он.

— Ой, мы много куда ездили. В Судак, в Севастополь. У папы в Феодосии друзья были.

Трубников вспомнил Феодосию, таинственного папиного друга, к которому лет восемь не обращались, а тут Верка взяла его адрес и, предупредив телеграммой, не ожидая ответа, отправилась с молодым человеком в гости. Молодой человек говорил, что ничего хорошего не выйдет, но она только смеялась в ответ — девятнадцать лет, что вы хотите. Никакого друга на месте, естественно, не оказалось, он вообще переехал два года назад в Самару, как сообщили соседи, — эти же соседи указали и дом, где можно было за дикие деньги получить крайне убогую комнату; хозяйка все время плакала — у нее за неделю до этого погиб муж, молодой человек усмотрел в этом дурное предзнаменование, а Верка не верила во всю эту ерунду. Почему-то в тот год было страшное количество абрикосов. Наверное, это тоже было предзнаменование. Маленькие, хрупкие пароходики ходили по морю в Коктебель. Уезжали утром, возвращались вечером, в синих сумерках. Верка рассказывала страшное — импровизировала вообще с необыкновенной легкостью. Ночи были жаркие, она лежала, откинув простыню, а он смотрел на это счастливое бесстыдство: лежит, как Вирсавия, рубенсовская женщина, а на что смотреть-то, кожа и кости, птичьи ребрышки, подростковые тонкие ноги... Но что-то было, что-то необъяснимое, никогда и ни к кому так не тянуло.

Трубников сидел и думал: надо выйти, ведь она хочет лечь. Но он не представлял себе, как войдет и что будет делать, когда она переоденется. Все, что она говорила, он пропускал мимо ушей.

— Вы не слушаете?

— А? Нет, я слушаю.

— Нет, вы не слушаете. У вас болит что-то, да?

— Ничего не болит.

— Но вам не до меня, по-моему.

— Нет, Вера, говорите. Что вы. Очень интересно.

— Я говорю: а как они там отнесутся, в городе? Как вы думаете?

— Ну, откуда же я знаю. Я сам там не живу, только сестра. Но я думаю, город будет против, конечно.

— Почему?

— Видите ли... во-первых, мотив сострадания там исключен. — Он заговорил с привычной лекторской интонацией и сам себя одернул: не сочетается с нашей внешностью и повадкой рыбака, толстяка, туриста, станového хребта страны. — Они же обчистили квартиру, так? Потом, даже доктора этого, Караян или как его там...

— Кеворкян. Доктор Смерть.

— Ну да, Кеворкян... его же тоже приговорили, в Европе, в разгар политкорректности. Насколько я слышал, только в Голландии эвтаназия разрешена... и в Израиле, что ли...

— В Швейцарии, — сказала она. — В Англии...

— Ну, может быть. Я не занимался.

— А чем вы вообще занимаетесь?

— Я врач, — сказал он.

— Видите, как замечательно. — Она сидела, положив ногу на ногу, упершись подбородком в ладонь, — поза несколько искусственного, детского, умиленного внимания. — Но сами-то вы как относитесь?

— К чему?

— К эвтаназии.

— Резко отрицательно, — сказал Трубников. — Резко.

— Почему, можете сказать?

— Я думаю, — выговорил он не очень уверенно и на всякий случай опустил глаза, — я думаю, всё лучше, чем смерть.

— Ну, об этом вы, мне кажется, представления иметь не можете.

— А вы можете?

— Я могу, — сказала она твердо. — Бывают вещи значительно хуже смерти. Значительно.

— Это всё гуманитарные прибабасы, — отмахнулся Трубников. — Тыр-пыр, восемь дыр. А я рассуждаю как врач — и для меня живой пациент всегда лучше мертвого. Даже если я ничего не мог сделать — все равно.

— Как вы сказали? — снова насторожилась она.

— Я говорю, если даже я ничего не мог сделать...

— Да нет! — она отмахнулась. — Вот сейчас, только что, про тыр-пыр...

Черт возьми, подумал Трубников, до чего приставучи все эти идиомы, словечки-паразиты, по которым нас можно будет узнать и после конца времен! Собственно, моя речь из них и состоит. Частицы и междометия. А что еще может сказать человек, имея мой опыт? Нет человеческих слов для такого опыта, при встречах только по глазам друг друга и узнаём... Иногда в городе встречаю наших — сразу раскусываю; подошел бы, поздоровался, но этикет, сами понимаете, этикет... Может сойти, а могут лишить отпуска, и хорош я буду.

— Про тыр-пыр, — терпеливо пояснил он, — это такая поговорка. Основана на том, что у человека восемь дыр. Ну, не у всякого, у женского человека...

— Вы что, и уши считаете? — в ужасе спросила она.

— Это не я, это народ. А вы что же, за эвтаназию?

— Да, — сказала она решительно. — То есть я могу понять человека, который этого требует. И больше вам скажу — лично для себя я хотела бы эвтаназии.

— Но вы ничем не больны, — сразу насторожившись, сказал так называемый Трубников.

— Нет, я имею в виду — на случай чего-нибудь неизлечимого, — сказала она. — И потом, честно вам скажу, если бы меня сейчас кто-нибудь убил... черт знает, зачем я к вам со всем этим... ну, я не обрадовалась бы, конечно, но и сопротивляться бы особо не стала.

— Это у вас профессия такая, — мягко сказал Трубников. — Слишком много видите жестокости, ну и... Адвокат вообще, мне кажется, не женская работа. Всё лучше смерти, Вера. Честное слово.

Они еще поговорили минут сорок — странно, она не спешила переодеваться и укладываться, хотя он несколько раз порывался выйти из купе.

— Подождите, останьтесь.

— Но мы уже через шесть часов приедем...

— Ничего, я мало сплю. А вот скажите, пожалуйста... ста...

— Что?

— Нет, ничего. Так вырвалось. Я у вас хочу ужасную глупость спросить.

— Спрашивайте, — пожал плечами так называемый Трубников, а сам насторожился.

— Нет, не буду. Ерунда, нервы надо лечить. Правильно я говорю? Надо мне лечить нервы?

— По первому знакомству не скажешь, — сказал Трубников и прокололся уже непоправимо: — Все люди хороши, когда спят зубами к стенке...

Она даже вскочила.

— Как вы сказали?

— Это выражение, — опустил он глаза. — Что вы, простых вещей не знаете?

— Ничего я не знаю, — сказала она, — ничего... Ну ладно, выйдите, я переоденусь.

Ночью, само собой, он не спал: стоило ехать в отпуск, чтобы спать! Как говорится, там отоспимся... И она тоже ворочалась, садилась на полке, долго, с мучительным любопытством смотрела на него — он физически чувствовал ее взгляд, всегда ощущал его, мог с закрытыми глазами сказать, в какой позе она сидит рядом. Никогда, ни с кем не бывало такой полноты понимания, а без нее все словно выключалось. Однажды, в самом начале, он на что-то обиделся и неделю с ней не разговаривал, запретил себе звонить, отвечать на звонки, думать... Все так о ней напоминало, что вычеркивать вместе с ней пришлось половину знаний, умений и привычек — это после полугода знакомства! Каково же ей теперь было без него, в каком узком мире она, должно быть, очутилась — ведь, запретив себе воспоминания, чтобы уж вовсе не рехнуться от боли, она обречена была лишиться всего прошлого, кроме школьного, всех мыслей, кроме простейших... Господи, спасибо за это жалкое послабление, за отпуска, да и то не навсегда, а пока кто-то тут помнит, — но это ведь, если вдуматься, дополнительная пытка. Нет, нет, с этой безжалостной

волей я никогда не смирюсь — даже теперь, когда отлично знаю, что мы преувеличиваем Господне всемогущество, что многое зависит не только от него, что есть вещи — неизлечимые болезни, например, — которые посылаются совсем другими силами, и нет кого-то одного, кто отвечал бы за все. Иначе, конечно, этому одному нельзя было бы простить ни тех последних недель, когда он действительно мечтал об эвтаназии, ни тех первых дней, когда она осталась одна, а он продолжал все понимать и видеть.

Он лежал в темноте, закрыв глаза, никак не умея освоиться в неловком, тучном теле, внаглую захваченном в Москве на сутки, — и чувствовал, как худая светлорусая женщина рядом все крепче закусывает губу; такую вещь в темноте не разглядишь, но чувство, чувство куда денешь? Оно и в теле нелепого Трубникова не оставляло его. Дурацкая какая фамилия — Трубников. Впрочем, и Мальцев — тоже так себе.

— Если вы что-то знаете и молчите, — сказала она вдруг еле слышным шепотом, — это такая вещь, которая хуже убийства. Понимаете? Я сразу, как вошла, поняла, что вы что-то знаете. И эти словечки, и вообще. Ничего общего, конечно, но ведь не обманешь. Я почти уверена. Вы наверняка, наверняка знаете. Я вас очень прошу. Я вас у-мо-ля-ю. — Он отлично знал эту детскую манеру скандировать по слогам. — Я никому не скажу. Но бывает же, да? Если вам нельзя, то вы можете хотя бы намек какой-то... хотя бы привет, да?

Привет он однажды передавал, было дело. Был отпуск у Серегина, несчастного, сутулого мужика, которого помнил сын. Сыну не было до Серегина никакого дела, он помнил его, так сказать, пассивно, безэмоционально. И так называемый Трубников тогда сказал: чего тебе парня смущать, ты лучше зайди, пожалуйста, на улицу Юннатов, дом такой-то, отнеси букет. Положи у двери в квартиру тридцать два. Серегин отнес, но любопытство пересилило — он позвонил в дверь, стал говорить какие-то глупости, что-то про благодарного анонимного клиента... Очень хотел посмотреть, из-за кого так называемый Трубников так убивается. Посмотрел — ничего

особенного, ни кожи, ни рожи; а Верку потом три дня успокаивали, редела безостановочно...

— Вера, — спокойно сказал Трубников, — чего вы не спите, а?

Он физически ощутил волну невыносимой тоски, наплывающей с соседней полки. Он только что зубами не скрипел. Сказать было нельзя ничего, ни слова — мало того, что отпуска бы лишили, вообще сделали бы такое, по сравнению с чем и последние его тутошные недели показались бы раем. Там есть такие изощренные способы, которые здесь и в голову не придут.

— Да, простите, — быстро сказала Вера. — Да уже и приехали почти.

— Чего-то я бормотала ночью во сне, да? — спросила она холодным, розовым, снежным новгородским утром, когда поезд подкатывал к вокзалу.

— Не помню, — сказал так называемый Трубников. — Я, знаете, сам иногда во сне... Даже до крика доходит, если кошмар.

— Нет, мне кошмары не снятся. Мне сплошная радость снится. А проснешься — и тогда кошмар.

— Ничего, Вера, — сказал Трубников. — Всё лучше смерти, помните об этом, ладно?

— Удачи, — сказала она.

Трубников некоторое время смотрел ей вслед. Надо было, однако, торопиться. Он быстро пошел в зал ожидания и уселся на скамейку. «Шике-шике-швайне», — пела Глюкоза. Шике-шике швайне сидели вокруг, позывали, читали газеты. В эту секунду так называемый Трубников любил их невыносимо, потому что пребывать среди них ему оставалось не более минуты, а расставание предстояло не менее чем на год. Он закрыл глаза и с искренним сожалением покинул неприятное тело Трубникова.

Валентин Трубников, придя в себя, долго еще сидел на скамье в зале ожидания, пытаясь понять, как это его, приличного человека, начальника планового отдела, отца двоих детей, занесло в Нижний Новгород холодным январским утром. Бывают такие удивительные

провалы в памяти, вроде и не пил ничего. Он не очень хорошо помнил, что с ним было в последние сутки, с тех самых пор, как чужая убедительная воля порекомендовала ему ненадолго заткнуться и принялась бесцеремонно распоряжаться его телом, паспортом и бумажником. Кстати, бумажник. Он заглянул туда и обнаружил обратный билет на дневной поезд. Быстро позвонить жене. Странные, необъяснимые случаи, наверняка отравление или цыганка. А иногда, читал он, вообще находят со стертой памятью, одинокого, потерянного, тоже где-нибудь на вокзале: как он попал в какой-нибудь Комсомольск-на-Амуре, совершенно не помнит. Определенно повезло.

Конечно, повезло, думал Мальцев, удаляясь от Трубникова. Это, знаешь, как в анекдоте про поручика Ржевского — «Некоторые так на березе и оставляют». А тебе, дураку, попался еще вполне цивилизованный отпусник.

АНГАРСКАЯ ИСТОРИЯ

Для таких женщин существует отвратительное слово «ладная», но как скажешь иначе? «Крепкая» применительно к женщине — еще хуже. Латышев любовался: невысокая, сильная, явно выносливая, наверняка отличная лыжница, маленькие смуглые кисти, никакого, естественно, маникюра, очень темные волосы и брови, широкий чистый лоб, твердый подбородок, глаза чуть раскосые, вообще явная примесь азиатчины — то ли бурятской, то ли китайской, но в Сибири это дело обычное. Держится прямо, улыбается открыто, говорит мало. Он с самого начала чувствовал себя с ней так естественно, словно знал еще в институте, потом надолго потерял и вот встретил. Правда, она была помладше лет на пять. Ее звали Татьяной. Они ехали из Новосибирска в Нефтеангарск — назовем так этот бурно развивающийся город, центр богатого региона, успевший за время нефтяного благоденствия обзавестись спартакиадой и кинофестивалем. Спартакиада проводилась уже во второй раз, кинофестиваль — в третий, Делон приезжал и еле унес ноги от сырьевого гостеприимства, на горнолыжном курорте в десяти километрах от города прошла недавно российско-германская встреча на высшем уровне, и уровень был да, высший — немцы не шутя поразились размаху. Латышев ехал по делам службы. Зачем ехала Татьяна, он не расспрашивал. Ей, кажется, нравилось, что он не проявлял любопытства.

Он знал этот женский тип — сибирячек, сильных и чистых, иногда переезжающих в Москву, но долго там не выдерживающих. Интеллигенция в первом, редко во втором поколении. В институте берутся за науку с первобытной страстью, с какой вгрызалась в нее когда-то будущая красная профессура. Умеют всё, не брезгают никакой работой, знают сотни хозяйственных секретов, заблудятся в тайге — выживут, заболеешь — выходят, но сникают от косога взгляда, злого слова, совершенно не способны интриговать, в недоброжелательной среде быстро вянут и вообще отличаются совершенно детской чистотой: черт его знает, как с такими жить. Латышев бы ее, конечно, уболтал — нет проблем; он несколько раз уже ловил на себе ее хитрый, скрытно-одобрительный, чуть не подзуживающий взгляд — ну, что ж ты?! — но вел себя скромно: Сибирь есть Сибирь, московская распущенность тут не прохонже. День-ночь, сутки прочь, поговорить успели обо всем, кроме личной жизни, которую оба старательно обходили; в этой солидарности Латышеву виделся ободряющий намек. Наконец, когда до Нефтеангарска оставалось три часа езды, он понял, кого она ему напоминает. Таня сидела напротив в синем спортивном костюме, подобрал ноги, — такие девушки везде умудряются расположиться уютно — и смотрела на него с поощрительным, ласковым любопытством; большое искусство, между прочим.

— Я тут понял, на кого ты похожа, — сказал Латышев (они поразительно легко перешли на «ты» с первого часа).

— На кого?

— Сейчас скажу. Вообразим фильм шестьдесят, ну, третьего, может, пятого года. Называется, конечно, «Ангарская история». Нефтеангарск только строится, на месте города — сплошной котлован, ГЭС закладывают, все дела. Ты только что окончила Новосибирский, допустим, филфак и приехала сюда библиотекарем, потому что романтика, а строителей надо приобщать к прекрасному. Ты что заканчивала?

— Томский иняз. Неважно.

— Ну, один черт. И вот ты тут библиотекарем при гигантской комсомольской стройке, и сюда приехал я — журналист из Москвы, хлыщ в плаще, от «Социалистической», допустим, «индустрии» или, чем черт не шутит, из самой «Комсомолки». Писать про ваш подвиг. Тебя, естественно, прикрепили ко мне как самую культурную, и ты меня водишь по здешней грязи, с большим энтузиазмом рассказывая: здесь будет кинотеатр «Победа», здесь — универмаг «Победа», здесь — роддом «Победа»... И всюду техника фурычит: фурыч, фурыч! И ты смотришь на меня этак искоса, как бы проверяя: наш ли я человек? Достаточно ли я разделяю общий пафос? Нет ли во мне московского презрения к трудовому энтузиазму? Вроде нет, вроде я наш парень, невзирая на плащ. А тебе ужасно интересно узнать, как там в Москве. Как там Вася Аксенов с журналом «Юность», все номера которого ты прочитываешь первой. Я обещаю непременно рассказать Васе Аксенову, какой тут спрос на его сочинения, и даже привезти его к вам при первой возможности. Васе как раз надо набрать впечатлений на «Пора, мой друг, пора». А как там Волчек? А что там Любимов?

— Любимова еще нет, — сказала она.

— Врешь, есть. Он с шестьдесят четвертого на Таганке. А если ты про него и не слышала — мало ли про что можно расспросить? Ты же библиотекарь, все читаешь. А я прямо оттуда. И один раз во время такого разговора я тебя слегка приобнимаю... не бойся, Таня, я ничего не буду иллюстрировать...

— Ой, боюсь, боюсь.

— Не дразни меня, Таня, зверя разбудишь. А потом, на одной из сопок... или я не знаю, что там... в общем, среди относительной природы, не распаханной еще техникой, ты вдруг полуоборачиваешься ко мне вот этак и смотришь оценивающе в своей манере, я неожиданно тебя, то есть ее, целую, и она, то есть ты, не отстраняется.

— Ага-ага, — сказала Таня. Латышев удержался и не двинулся с полки.

— Ну, потом ты, конечно, потупляешь взгляд и говоришь: «Больше так не надо». «Хорошо», — спокойно

говорит московский журналист и продолжает расспрашивать про вашу местную жизнь. А штука в том, что в этой местной жизни в тебя страстно влюблен крановщик... как его звать?

— Допустим, Паша, — сказала она с вызовом.

— Хорошо, Паша. Которому ты даже подаешь надежды. Он хороший парень, этот Паша. Надежный такой.

— Фи, штамп.

— Ну а что ты хочешь? Шестьдесят пятый год, «Ленфильм».

— Цветное хоть или черно-белое?

— Нет, цветное, конечно. Но не широкоэкранное.

— А как же ширь тайги?

— Какая тайга, котлован сплошной. Короче, Паша — он действительно питает надежды. Каждый день тебе старается сюрприз устроить или мало ли... Например, ты сидишь, мечтательно заполняешь формуляры, представляешь себе благословенные невозможные города, где никогда не спят по ночам, оглядываешься, а за окном висит крюк от Пашиного крана, а на крюке букетик, я не знаю, саранок. Растут у вас саранки?

— Они по всей Сибири растут. Но собирать нельзя — они в Красной книге.

— Мать, какая Красная книга? Шестидесятые годы, дикая природа! Он вообще тебя всяко преследует краном, будит тебя по утрам нежным постукиванием крюка в окно барака, вывешивает на стреле транспарант «С добрым утром, Таня!», водит в кино, а после фильма провожает, приобняв, и долго рассуждает: жизненно или не жизненно. Паша широкий, светловолосый, на нем чуб возможен, у вас еще не было — или уже было, но так, без особого энтузиазма, — и он с планами, серьезными. Предложение делал.

— Облезть!

— А то. И ты вроде даже не отказала. Сказала только, что не раньше, чем через год. Ты что-то чувствуешь, чего-то ожидаешь — а формально свадьба приурочена к сдаче первого жилого квартала. Бригадир строителей белозубый грузин Асатиани задолбал уже своими шуточками про будущее молодой семьи. Он у вас будет посаже-

ный отец, Паша его любимец, все шутят про будущего первого гражданина Нефтеангарска, которого ты произведешь, и вообще вы с Пашей символ счастливого нового города. А ты не чувствуешь окончательной любви, ты знаешь, что бывает как-то еще... да?

— Ну конечно. Тогда же все такие были: хочу того, не знаю чего. И я коротко стриженная, да?

— Почему, не обязательно. Можно как сейчас, с хвостом. Ты же очень чистая, и Паша тебе тоже не велит коротко стричься, как эти всякие стилиаги.

— Стилиаг давно нету.

— Еще как есть! Короче, Паша случайно видел — или кто-то ему донес, — что приезжий журналист хороводится с его девушкой. Отвратительный лощеный москвич, в плащике. Ну, он покажет мне этот лоск, помажет мне этот плащик! И вот, когда я, проведив тебя, иду по ночному Нефтеангарску к двухэтажной деревянной гостинице «Ангарские огни», с легкой печалью думаю о том, что вот и еще одна хорошая девушка, еще один вариант судьбы, и все это никогда не будет моим, потому что мы слишком разные... и только будем друг друга вспоминать как прекрасную нереализованную возможность... иду такой, курю, немного похож на Мастроянни и знаю, что похож...

— Знаю, знаю! — Она даже подпрыгнула на полке. — Из темноты выходит Паша!

— Точно, выходит Паша. Он выдвигается мне навстречу, крупный, надежный, выпимши для храбрости. Если бы бить своего брата нефтеангарца, он бы и без выпивки был храбрый. Но я диковинный зверь, непонятно, чего от меня ждать, — и он насосался и подходит и нагло спрашивает: «Ну чё, товарищ журналист, как в Москве насчет абстракционизму?»

— Это от меня он, что ли, набрался?

— Да, может, и от тебя. «Ну что, как там наше Кикассо? Как наш Матист? Как наши пидорасы? Это они тебя, тварь, научили с чужими девками гулять?!»

— Слушай, как ты похоже показываешь... Даже тошно.

— It's my job. И он заносит крепкий кулак, но это все-таки шестьдесят пятый год, так что стандартные схемы уже несколько трещат. Уже наш журналист — назовем его Дима — не так прост, уже он изображается не одними черными красками, у него были послевоенное дворовое детство и суровая юность, он сам, может, из барака в Измайлове... И он сжимает Пашино плечо своей довольно-таки железной рукой и делает так, что Паша слегка хрустит и с криком боли и изумления — вот так: «С-э-э-у-к-а!» — оседает в грязь близ гостиницы «Ангарские огни».

— Какой ты храбрый!

— Ну дык. Однако, представь, победа не доставляет мне ни малейшей радости. Я иду к себе в номер с заметно испорченным настроением, раскладываю на столе пухлые от фактов блокноты и начинаю писать в номер. Но я, хотя и не совсем отрицательный, все-таки интеллигент, конформист, все дела. Будучи от природы неглуп и даже почитывая Кафку, я заполняю свои газетные очерки самой дешевой халтурой вроде: «Еще год назад жителями Нефтеангарска были одни медведишатуны. Теперь на свежем зеленом ветру гудят здесь вышки электропередачи и смелые молодые люди строят город, населять который — им»... Сама понимаешь, мне совершенно не до того, но работа есть работа.

— Работа есть всегда, — кивнула она.

— Ну вот. Я курю «Столичные» (что мне еще курить? Я же не шпион, чтобы курить «Мальборо»!), пишу свою халтуру, тру лоб... А в это время — знаешь ли ты, что делает Паша?

— Собирает дружков?

— Нет, какое. Ты ничего не понимаешь в Пашках. Он идет, естественно, к тебе и срывает на тебе злость. Вызывает тебя из твоего барака — а ночь ветреная, август, дело к осени... Ты в пальто, накинутом на ночную рубашку. Он кричит на тебя. Ты пытаешься увещевать: «Паша, поздно, мы поговорим завтра». Он ничего не хочет слушать. «Эта мразь... эта тварь московская...» — «Как ты можешь! Ты же совсем его не знаешь!» — пере-

бываешь ты, не желая слушать поношения, и тут он звереет окончательно. Он ударяет тебя наотмашь по круглой щеке и с проклятиями бежит в сторону родного крана — жаловаться ему.

— Сейчас он влезет в кабину и по кирпичику разнесет построенное.

— Нет, ты что, у нас соцреализм. Никуда он не влезет, будет оплакивать свою непутевую жизнь. «Я его все равно убью!» — кричит он тебе, оборачиваясь и грозя кулаком. А ты, и без того настроенная против Паши, который против меня, конечно, не канает, — бежишь ко мне в «Ангарские огни», предупредить. Ты мчишься по грязи в чем была, в пальто поверх ночной рубашки, старуха на проходной тебя пропускает — ты же любимица города, — ты колотишь кулачками в мою дверь, и выхожу я.

— Весь в белом.

— Ну да, я же и статью пишу в галстук. В комнате слоями лежит табачный дым, на столе черновик почти готового очерка «Белозубые люди»... Ты бросаешься мне на грудь, и я ощущаю все твое тело...

— Сквозь тяжелое осеннее пальто. Очень интересно. Дальше мы теряем голову или как?

— Как это мы ее теряем на «Ленфильме» в шестьдесят пятом году? Мы вон в две тысячи седьмом в спальном купе все никак не потеряем, а ты вон чего хочешь...

Он думал, что она отреагирует на почти наглый намек, но она только улыбалась и грызла яблоко.

— А что мы тогда теряем?

— Дальше она шепчет, то есть ты: «Я думала, он тебя убьет». А он, то есть я, смотрю поверх твоей головы, и камера наезжает под музыку Таривердиева, и зритель видит в моих глазах — что бы ты думала? — скуку. Тоску, и скуку, и давнюю опустошенность. Может быть, наплывом даже нарисуетя мокрый перрон, на котором я навеки провожаю странную, распутную женщину-ребенка с лицом Инны Гулая, и никто уже мне с тех пор по-настоящему не понравится, потому что я выжжен изнутри, и только таких действительно любят женщины. Тех, которые сами уже не полюбят никого и никогда.

Я же не хотел будить любовь в этой девочке, простой и чистой, как россомаха.

— Россомаха, — назидательно сказала Таня, — толстый зверь, очень вонючий.

— Ну... как кедр, если тебе так больше нравится. Я укладываю тебя спать, укрываю одеялом... Ты лежишь и мечтательно говоришь, глядя в потолок сияющими черными глазами Татьяны Самойловой: «Я всегда так мечтала... чтобы я лежала, а рядом кто-то пишет». «Вася Аксенов?» — спрашиваю я с улыбкой. «Или Булат Окуджава», — отвечаешь ты. «А про что ты пишешь?» — спрашиваешь ты после паузы. И просишь почитать тебе вслух.

— И ты читаешь очерк «Белозубые люди», и я бегу топиться в Ангару, — предположила Таня.

— Нет, что я, совсем дурак, что ли? Я читаю:

«Мне стало грустно. И зачем было судьбе кинуть меня в мирный круг честных контрабандистов? Как камень, брошенный в гладкий источник, я встревожил их спокойствие и, как камень, едва сам не пошел ко дну!

Разбудив вахтершу довольно невежливым толчком, я побранил ее, посердился, а делать было нечего! И не смешно ли было бы жаловаться начальству, что слепой мальчик меня обокрал, а восемнадцатилетняя девушка чуть-чуть не утопила? Что случилось со старухой и с бедным слепым — не знаю. Да и какое дело мне до радостей и бедствий человеческих, мне, странствующему журналисту, да еще с подорожной по казенной надобности!..»

И ты говоришь: «Очень здорово. Только похоже на что-то».

— Это говорит библиотекарь? — презрительно спросила Таня. — После новосибирского филфака? Не смехи людей.

— Да пойми, это говорящая деталь! У тебя от любви все вылетело из головы! Какая тебе «Тамань», когда жизнь, может быть, рухнет! И ты засыпаешь совершенно счастливая, а я сижу за столом в пластах табачного дыма и не могу придумать финал. Ни к очерку, ни к фильму.

— А какой все-таки финал? — спросила она, и Латышев с удовольствием заметил, что голос ее слегка

дрогнул. Или она грамотно это сыграла — в Сибири никогда не поймешь.

— Ну, — сказал он, отхлебывая из фляжки, — если это шестидесятые годы, то финал простой. Титр «Прошло полгода». Полуторка останавливается возле почти возведенного жилого квартала. Из полуторки выскакиваешь ты. Может, беременная, а может, нет — я не уверен в Пашином великодушии, — но это я тебя поматросил и бросил, и ты вернулась из развратной Москвы. А тут как раз бригадир Асатиани. «Ладно, — произносит он. — Как говорят у нас на Кавказе: с кем не бывает». Паша простил, ты вернулась в лоно породившего тебя класса, и случилось главное недостающее обстоятельство: ты хоть и от противного, но поняла, что Паша лучше всех. Финал: ты заполняешь формуляр на номер «Юности» с очередным Аксеновым, потом ненадолго задумываешься и кидаешь этот номер в мусорную корзину. А в окно нежно постукивает огромный крюк с наколотым на него билетом: вечером в вашем клубе выступает ансамбль «Березка»!

— Это какой-то пятьдесят девятый, — недоверчиво сказала Таня.

— Ну, еще кто-нибудь. Иосиф Кобзон с песней «Голубые города», под которую и идут финальные титры.

— Мне так не нравится, — сказала Таня, и Латышев возликовал.

— Ну хорошо, — сказал он. — Вариант семидесятых: тут уже серьезные городские кинодрамы. Завязка могла быть стандартная, а развязка такая, что благородный я улетаю с утра пораньше. Оставив тебе записку: «Не делай глупостей». И всю жизнь о тебе тепло вспоминаю, но спасаю тебя для Паши, потому что мне ты совсем не нужна. В это время лишний человек частично реабилитируется, потому что все уже лишние, так ведь?

— И открытый финал.

— Да, трусливый. Тогда все финалы были открытые.

— Но ясно, в общем, что я все равно к нему вернусь. Получается, мне деваться некуда.

— Почему?! — возмущился Латышев. — Есть же вариант восьмидесятых! Это уже засилье женщин во всех

сферах жизни, потому что мужики частично спились, частично изверились и вообще настала эмансипация. Деловая женщина: «Москва слезам не верит», «Старые стены», «Время желаний»...

— «Блондинка за углом»... «Странная женщина»...

— Точно! — Он обрадовался: смотрела девка, помнит! — И тогда ты уезжаешь, конечно, со мной. И берешь полный моральный верх. Потому что ты точно чувствуешь конъюнктуру, ты просчитала, что сейчас надо быть в авангарде, на комсомольской стройке, а с нее можно перепрыгнуть в Москву — и в Москве ты сразу же бросаешь меня, перебираясь к кому-нибудь более престижному. И я тут же оказываюсь в роли Паши, а ты идешь по жизни маршем и в финале проносишься мимо меня на черной «Волге» и смотришь в рот какому-нибудь модному персонажу так же, как смотрела мне, и когда он тебя жирно целует, с той же невинной интонацией говоришь: «Не надо так больше». Финал.

Он видел, что угадал, что она довольна, что ему попался идеальный слушатель, знающий контекст, — и что одной этой импровизацией на советские кинотеатры он добился большего, чем любым подбиванием клиньев. Все получилось. Как писал приятель-поэт: «И, ощущая вашу сдобность, я начал быстро обнажаться, в душе хваля свою способность порой так ярко выражаться».

— А в девяностых? — спросила она задумчиво.

— В девяностых такой сюжет уже невозможен. Советский миф кончился, городов в Сибири больше не возводят.

— Ничего не кончился. Просто в девяностых про это не снимали. А сейчас очень возможен такой сюжет, у нас знаешь сколько строят?

— Да уж знаю, — усмехнулся он. Строить он и ехал — разрабатывать дизайн интерьеров для нового здания мэрии, какому позавидовал бы Музей Гугенхайма.

— И тогда, — сказала она с милым насмешливым состраданием, сразу выдавшим ее истинный возраст, — какое там младше на пять лет, как бы еще и не постарше на пару — тогда наш бедный друг приезжает в Нефтеангарск из Москвы и видит, что Москва больше ни фигу не сто-

лица. Он рассказывает про Аксенова и Любимова, дай им Бог здоровья, но Аксенов и Любимов давно уже никому на фиг не нужны. Он распускает хвост, но кому здесь нужен его хвост? У страны уже несколько столиц, и Москва не главная. Где нефтянка, там и столица. И живет его Таня не с крановщиком Пашей, а с нефтяником того же названия, и слушает своего Диму, а сама думает: «Дима ты, Дима...» У них в Нефтеангарске вчера Спиваков выступал, а послезавтра Спилберг прилетает. Паша Диму в гости приглашает, поляну накрывает, кедровой настойкой угощает. Любишь кедровую настойку?

— Не люблю, — сказал Латышев. За окном начинался Нефтеангарск.

— А чего ты обижаешься? — спросила Таня. — Сами виноваты. Кикассо, Кикассо... Может, если б вы сорок лет халтуру не гнали, все бы не с таким треском рухнуло. Были бы сейчас какие-нибудь приличные вещи, кроме нефти. А вы все писали «Белозубых людей» и думали, что сойдет. Ни хрена не сойдет. Вот все Тани и живут с нефтяниками.

Она потянулась и встала.

— Выйди, я переоденусь.

...На перроне ее встречал толстый, лоснящийся самодовольством светловолосый и краснолицый мужик в идеально пошитом костюме.

— Николай, — сказал он, пожимая руку Латышеву. Был, конечно, соблазн сжать его кисть так, чтобы Николай хрустнул, но теперь от этого не было бы никакого толку.

— Как в Москве-то? — спросил он с некоторым пренебрежением. Москва была неизвестно где и ни на что уже, собственно, не влияла.

— Да так, — пожал плечами Латышев. — В последнее время какой-то все абстракционизм.

ЧУДЬ

Первое намерение Кожухова было — отвернуться, зарыться в подушку и попытаться заснуть опять. Но он был человек сообразительный и в таких случаях сразу понимал: все, спокойная жизнь кончилась, надо как можно быстрее проснуться окончательно и поглядеть обстоятельствам в лицо. Обстоятельства сидели на нижней полке, за столиком купе.

Когда она вошла? Вероятно, в Курске. Кожухов глянул на часы: три ночи, самое поганое время. До Орла еще часа два. Он почему-то понимал, что света лучше не зажигать, да и в вагонной полутьме, в белесоватых сполохах пробегающих полустанков с их ртутными фонарями в жестяных конусах, он видел ее отлично. За окном тянулась ночная, тревожная, бесприютная Россия, мало похожая на дневную. Ночные поезда перевозили тайные грузы, неумолимых и опасных людей, секретную почту, по предписаниям которой однажды в час «Ч» начнется ожидаемое всеми ужасное. Днем они могли говорить что угодно, давать гарантии, изображать цивилизованную страну, но ночью жили своей настоящей жизнью и занимались тем единственным, что умели, и все про это знали, и дневным их разговорам никто не верил.

Она подняла огромные прозрачные глаза и взглянула прямо на Кожухова и тоже узнала его, хотя прошло два года. Если бы она его не узнала, все могло обойтись, но теперь деваться было некуда.

Да, два года назад он впервые увидел эту рекламу, которую поначалу, идиоты, еще принимали за социальную. Она стояла там среди невыразительного пейзажа — опушка подмосковного леса, дачный поселок вдали, — смотрела в камеру этими огромными прозрачными глазами (такой цвет бывает у моря в тихий весенний пасмурный день) и говорила медленно, словно объясняя непонятливому ребенку:

— Капли холодной росы блестят на туго натянутой колючей проволоке.

Фразы менялись, одна бессмысленнее другой. Иногда она с той же назидательной интонацией уверяла:

— Косая тень от черных гор перегородила оранжевую долину.

— Никто еще не видел раскаяния от самовлюбленного тюльпана, растущего на краю плоскогорья.

— Первая же попытка закончится так, что думать о второй сможет только малахит.

Находились расшифровщики, переписывавшие эти ролики на домашние магнитофоны, просматривавшие по двадцать раз в поисках двадцать пятого кадра, изучавшие на профессиональной аппаратуре — нет ли хоть на заднем плане намека на позиционируемый товар; однажды она появилась на фоне пустого шоссе — были люди, уверявшие, что это так называемая вторая Рублевка, в помощь к наглухо забитой первой, и вся рекламная кампания с дальним прицелом затеяна ради нее; в конце концов, каждый рекламный сериал должен чем-нибудь закончиться, и чем дольше подготовка, тем ударней эффект. Когда-то, на заре российского телерекламного бизнеса, самым шумным проектом был цикл роликов «Когда-нибудь я скажу все, что думаю по этому поводу». Молодой человек на нейтральном офисном фоне повторял и повторял эту угрозу, пока в один прекрасный день не сказал какую-то ерунду то ли про «Алису», то ли про «Менатеп»: финальный месседж забылся начисто, но акцию помнили все. Оставалось понять, чего хотят эти, с большеглазой девушкой, размещающая ее меланхолическую белиберду в самое дорогое время на главных каналах.

Кожухов потом спрашивал себя: почувствовал ли он угрозу с самого начала? Нет, ничего подобного. Все уже привыкли к вырождению. Не могло произойти ничего ужасного — только смешное, гнусное, стыдное. Скажи ему кто-нибудь, что вместе с этой заторможенной длинноволосой мальвиной с ее кодовыми загадками в кислое существование ворвется чудовищная, но настоящая жизнь, — он первым расхохотался бы. Сами виноваты: поверили, что на свете нет ничего, кроме пиара. Впрочем, кто-то ведь коллекционировал эти фразы, создавал в ЖЖ сообщество «dura_iz_rolikov», подбирал ключи к шифру: а что получается по первым буквам всех слов в очередной фразе? «В лунном ядовитом свете одинокая кукла сидела у бурой, окровавленной кирпичной стены»: ВЛЯСОКСУБОКС! Удивительно содержательный месседж. Попробуем вторые буквы всех слов, минуя предлоги: УДВДУИУКИТ! Третьи, пятые... Хорошо, а если первая буква в первом слове, вторая во втором, третья в третьем? Получались идиотские сочетания, из которых выкапывали самый фантастический смысл: однажды у кого-то в результате очередных каббалистических комбинаций сложился ККОДОР, предположили тайные приветы ему, посылаемые группой могущественных, но боязливых олигархов, — но смысл, едва наметившись, растворился в потоке белиберды. Темные склоненные головы роз внятно обозначались в провалах летней ночи. Крупные точеные градины ударили по дороге, выбив крупные точеные впадины. В записке не содержалось ничего, кроме приглашения прибыть по тщательно зачеркнутому адресу.

Самой убедительной казалась тогда версия Петровской: производителям надоело, что люди на время рекламных пауз переключаются на другой канал или уходят в сортир, всем захотелось приковать внимание зрителя к рекламе — и вот преуспели, страна застывает у телевизоров, слушает про шампунь и йогурты, только и ждет рекламы — не появится ли белоглазая с очередным бредом. Расчет гениальный: при полном отсутствии событий хоть какая-то интрига, второй месяц не надоет. Единственная попытка журналистского расследо-

вания тогда ничего не дала: менеджеры каналов не имели права раскрывать производителя роликов, таково было его условие. Потом-то, само собой, все равно пришлось колотья: когда после третьего взрыва стала очевидна связь между очередными появлениями Чуди Белоглазой и крупными техногенными катастрофами либо терактами — ролики прекратились, а обнародованные результаты расследования свелись к тому, что сюжеты рассылала по компаниям корпорация ДОМОКС, зарегистрированная на Кипре и расположенная по фальшивому адресу. Деньги от нее приходили исправно, арест счетов ничего не дал, владельцем значился Иван Иванович Иванов.

Буча была большая, рекламные паузы на месяц прекратились вовсе, но жизнь пошла такая, что стало не до рекламных пауз. Чудь появлялась когда-то раз в неделю, и сразу после очередных ее реплик, ничуть не осмысленней прочих (что-то про удивительно гладкий снег, припорошивший слепое болото, про восторженные крики грачей на осенней заре и тревожный голос поезда, скользящего в сырой глубине ущелья), с таким же недельным интервалом грохнули подряд один поезд и два нефтепровода. Могла быть элементарная халатность, отсроченная техногенная катастрофа-2003, а мог быть и теракт, хотя в наши стабильные времена, при замиренной Чечне, кто же признался бы, — но как бы то ни было, связь была замечена всеми, и Чудь исчезла. Официальная версия была озвучена всего единожды: таким способом организатор подавал сигнал исполнителю, вредительство на транспорте, ничего нового, — всю рекламу стали перепроверять, и на полгода все смолкло.

А потом она стала всплывать вновь — то тут, то там, на цифровом, на кабельном, потому что деньги за нее, видимо, платили неплохие, а денег становилось все меньше, и рекламный рынок был давно поделен, и тем, кто хотел выживать, приходилось подпитываться чем угодно, не отказываясь даже от сомнительных предложений. Если на КТВ-1 вовсю рекламировали порножурналы, а «М-Спорт» не брезговал табачно-алкогольными роликами, не было ничего удивительного в том, что

Чудь вернулась. Все ее явления отслеживались тщательно — и не только органами, но и немедленно реанимированным сообществом, которое, кстати, работало лучше органов. Некоторые ее новые шедевры в режиме u-tube уже были выложены на общее обозрение: «Я знаю, что вы не знаете, но вы не знаете, почему я знаю и буду перемигиваться». «У одного открытие, у другого закрытие, но только некоторые могут понять, почему на самом деле не нужно». «Я не то, а другое, не то другое, что подумали вы, а то, что подумала я». Она говорила теперь не о пейзажах, а все больше о себе да о других людях, которые чего-то не понимали. Это породило новую волну толкований — и опять был недолгий люфт, зазор, попытка, что ли, приучить к ней, посадить... После двух первых ее появлений ничего не случилось. Когда после третьего вспыхнула эпидемия чумы в Омске, региональный канал, показавший очередной ее ролик, прикрыли, а владельца объявили в розыск. После этого Чудь исчезла окончательно, хотя катастрофы не прекратились — они в последнее время шли лавиной, словно наверстывая упущенное в годы стабильности, когда все уж было расслабились.

Удивительно, что никто не встречал ее ни в студийных коридорах, ни в рекламных агентствах; ее портфолио не было на киностудиях, журнальные модели о ней не слыхивали, ее родственники и учителя не подавали голоса, хотя газетчики не оставляли разысканий. Кажется, она существовала только на пленке — или жила в своем проклятом Подмосковье, на фоне которого главным образом и появлялась. Там, среди капель росы, блестящих на колючей проволоке, и крупных впадин, выбитых крупными градинами, она и пребывала вечно — в своем страшном замкнутом мире, где ее наверняка держали для темных экспериментов, иначе откуда бы у нее эти наркоманские прозрачные глаза?

Кожухов с самого начала ощущал нечто вроде связи с ней — и не только потому, что сам давно предчувствовал эту отложенную, но неизбежную волну всеобщего осыпания. Просто он видел ее однажды в детстве, уверен был, что видел: ее привели на детскую площадку,

где играл весь их молодежь с Ломоносовского проспекта, с той его части, что примыкала к Золотым ключам: на этой площадке, с многочисленными и сложными лазилками, высокими качелями и настоящей полосой препятствий, шла своя, насыщенная и взрослая жизнь (многие игры и интриги на работе казались ему потом гораздо более детскими), все завсегда и знали друг друга, обсуждали важные вещи, при встречах здоровались многозначительно. Прозрачноглазая появилась единственный раз, ее привела строгая, подтянутая бабушка, не вступавшая в разговоры с легкомысленными местными мамашами: она сидела обособленно, с толстой книгой, в которую, впрочем, не заглядывала, — просто смотрела в пространство, а книгу держала на коленях. Новая девочка поучаствовала в общих играх, но как-то вяло. Кожухов ее запомнил, она была красивая — но главное, она понимала цену всем их занятиям и не могла этого скрыть. Ей почти сразу становилось скучно. И до самой этой рекламной истории Кожухов никогда ее больше не видел, только потом вспомнил: батюшки, это же было перед самой школой, перед третьим классом, в августе девяносто первого года. Но тогда-то ее, восьмилетнюю, кто использовал?!

Впрочем, это могла быть вовсе не она. Мало ли девушек с прозрачными глазами. Но в свою тайную связь с ней Кожухов верил не просто так: никто из активистов сообщества «dura_iz_rolikov» не удостоился личной встречи с культовой героиней, а ему повезло, хотя после этого везения он еще неделю вскакивал по ночам в холодном поту. Он ехал в лифте, поздним вечером, пьянствовать к приятелю — и вдруг лифт остановился на пятом этаже, открылись двери и вошла она. В руке у нее был шприц. Кожухов запомнил все со страшной отчетливостью: голубую куртку, в которой она ни разу не появлялась на экране (там были все больше странные брезентовые ветровки с джинсами), издевательскую ухмылку и особенно, само собой, шприц. И кто бы не запомнил — едва войдя и нажав четырнадцатый (Кожухову нужен был двенадцатый, но он не посмел возражать), она при-

нялась быстро-быстро размахивать этим самым шприцем перед самыми его глазами, туда-сюда, и он стоял как парализованный, не в силах даже зажмуриться, не то что защититься рукой. Почему-то он был уверен, что вот сейчас она воткнет иглу прямо ему в глаз, — но вместо этого она быстро и профессионально, прямо сквозь куртку, уколола собственное плечо и, лунатически посмеиваясь, вышла. Кожухов не посмел шагнуть за ней, помчался к приятелю, тут же вызвал милицию — долго объяснять не понадобилось, история была шумная, все про нее помнили, — дом оцепили через десять минут, прочесали все квартиры на четырнадцатом, все лестничные клетки и кладовки, но, естественно, никого не нашли. Он почему-то знал, что не найдут, и звонил для очистки совести. Впрочем, за эти десять минут она могла ускользнуть десять раз — передала какое-нибудь зелье или деньги за него, и поминай как звали. Внизу надо было дежурить. Почему он не побежал вниз караулить дверь? Боялся еще раз встретиться с ее прозрачными белесыми глазами? Или втайне не хотел, чтобы ее взяли?

Теперь она сидела на нижней полке в купе, в котором уже тридцатилетний Кожухов из самого Симферополя ехал один (понятное дело, весна, не сезон). Поезд раскачивался, грохотал, проносились и затихали встречные электрички, и казалось, что грохот все громче, а раскачка все рискованней: понятно ведь — где она, там катастрофа. Кожухов никогда не ответил бы, красива она или уродлива. Наверное, красива — точнее, казалась бы красивой, будь она хоть чуть благополучней, не вноси с собой сосущее чувство зыбкости и хаоса. Они точно выбрали, куда ее поставить: на фоне гламурных рекламных девочек она выглядела единственной настоящей, но, Господи, как же ужасно это настоящее: сплошная дисгармония, непреходящее мучение, всевидящие наркоманские зенки, перед которыми словно всегда стоят видения распадающегося мира... Даже когда она улыбалась ему в лифте, Босх не выдумал бы ничего ужаснее этой улыбки. Кожухов видел со своей верхней полки смутное опаловое сияние ее глаз и понимал, что деваться некуда, что,

раз она вернулась, будет что-то непоправимое и те, кто ее направил, даже не снисходят до переговоров или сигналов. Это не было примитивным кодом — вот, мол, Махмуд, поджигай; это было предупреждение всем прочим — конец, конец, братцы. Порезвились, и будя.

Кожухов не мог открыть рта, а главное — он не знал, о чем спросить ее. Зачем она все это делает? Но разве все это делает она? Можно бы, конечно, спросить что-нибудь идиотское, типа: «Кто за тобой стоит?», но она только усмехнется, как тогда в лифте.

— Ну? — спросил он, стараясь не выдать дрожи. — Что на этот раз?

В ответ она молча закурила. Понятное дело, никакие правила поведения в поездах были ей не писаны.

— Капли росы блестят на колючей проволоке, — вслух повторил Кожухов. — В записке не содержалось ничего, кроме приглашения явиться по зачеркнутому адресу.

Усмехнулась.

— Да, — сказала она, — запоминается.

Голос у нее был усталый и, кажется, глуше, чем в роликах.

— Да уж куда лучше, — зло сказал Кожухов. — Вон какого бенца наделала... Ты мне скажи — я все равно никому не расскажу, да никто и не поверит: как это делалось? Я понимаю, если бы только перед терактами. Но ведь перед катастрофами! Перед чумой! Я не представляю, как это можно организовать за день. Кто вообще, какой бен Ладен может подавать сигналы такого уровня?!

Она молча курила, глядя на него в упор.

— Ну правильно, — выждав минуты две, проговорил Кожухов. — Молчать все умеем. Чего-нибудь скажи — и прощай, тайна. А мы не должны терять обаяния загадочности, мы ведь сверхлюди. Что из-за тебя тысячами мрут — тебе плевать...

— Дурак, — сказала она ровно. — С чего ты взял про сигналы?

— А что еще это могло быть? — вскинулся он. — Совпадения? Пять раз?

— Дурак, — повторила она. — Может быть, это я вас предупреждала. Вас! А не их.

Кожухов сел на полке, потом резко соскочил вниз. Эта мысль — вполне очевидная, если вдуматься, — никогда не приходила ему в голову.

— Но кого ж ты так предупредишь? Что, по-человечески сказать было нельзя?

— А я знала? Откуда мне каждый раз знать? Может, это просто — типа: «Люди, будьте бдительны»...

Иногда ему казалось, что он все еще спит. Но нет, в купе пахло ее табаком, и сама она сидела напротив, живая. Он хотел ее потрогать, но удержался.

— И кто ж тебя снимал?

— Отстань. Может, я не предупреждала никого. Может, я вообще ни при чем.

— Слушай, хватит!

— А что — хватит? Я же не сама появляюсь. Что, ты думал — беру и рекламное время покупаю?

— Нет, что не сама — это ясно. А вот кто тебя так...

— А ты считай, что я не знаю.

— Считать? Или не знаешь?

— А какая разница? После — не значит вследствие, должен помнить.

— Я-то помню, — Кожухов все меньше боялся, все больше злился. Его опять водили за нос, и опять она ускользала за свои дурацкие ложные многозначительности, но игра эта оплачивалась чужой кровью, и это было уже совсем не смешно. — Но тогда объясни мне, потому что сколько можно темнить?! Чего ты хочешь, в конце концов?

— Я? Чего я могу хотеть?

— Дозняк свой ты хочешь, это я уже понял. Покупаешь на это свои дозняки. Но им-то ты зачем, которые тебе платят?

— Ах, да при чем тут, — сказала она тоскливо. — Как ты все умудряешься не про то и не про то... Ты думаешь, я сама понимаю, почему это бывает? В этом и ужас весь: я же ничего не хочу. Я это как-то делаю. Пока меня не было, ничего не было, а как я появлюсь — так оно и начинается. И так везде, понимаешь? Где я, там начнется.

— Ну, а они-то кто? Домокс этот долбаный?!

— Да нет никакого домокса.

— А кто тебя крутил по всем каналам?

— Откуда я знаю.

— Но ведь снимать-то должен был кто-то! Чушь эту невыносимую тебе должен был кто-то писать! «Некоторые не могут понять, почему на самом деле не нужно»!

— Что-то ты не про то думаешь, — сказала она и опять поглядела на него в упор, и поезд подозрительно накренился на повороте.

— А про что мне думать?

— А про то, что ты меня опять видишь. В последний раз когда виделись, в лифте, помнишь?

— Помню, — сказал Кожухов севшим голосом.

— Что через день было — помнишь?

Он помнил. Через день рухнул железнодорожный мост, больше двухсот жертв.

— Ну и думай, — сказала она. — Думай теперь, ехать тебе в Москву или как.

Она засмеялась, и Кожухова передернуло от этого хриплого смеха — так смеются те, кто уже по многу раз продал и перепродал последнее, и всех, и себя.

— Что ж ты не сдохнешь никак? — с ненавистью спросил Кожухов. — Столько лет колешься, а не сдохнешь. Другие за три года спекаются, а тебе хоть бы хны.

— Ну, за меня-то ты не бойся, — сказала она. — Бойся-то ты за себя. Я-то сейчас сойду, а ты-то поедешь дальше.

И точно, поезд начал подтормаживать, хотя до Орла, по кожуховским подсчетам, было еще не меньше часа. Сроду тут поезд не останавливался — полустанок какой-то, что ли? Она встала, подхватила рюкзачок и стремительно вышла — Кожухов еле успел вскочить и выпрыгнуть за ней, не захватив ни пальто, ни сумки.

Она уходила от него по сырой ночной платформе, цокая каблуками по асфальту, и он стоял столбом, не смея ни догнать, ни схватить, ни окликнуть, ни позвать на помощь — да и кого дозовешься ночью на чужом полустанке? Она уходила безнаказанной, белоглазая Чудь,

злой фатум его страны, вечно маячивший на всех путях, самодовольный призрак, злорадная тварь, наглая предвестница беды, сидящая на этой игле, как на самом непобедимом наркотики: ведь наше горе ей в радость, нашим страданием она заряжается, то-то возраст ее и не берет. С самого рождения она знает нам цену, вот и шутит свои шутки. И никто, никогда, ничего не сделает с ней — вот и я стою как вкопанный, тупо глядя, как асфальт дымится под ее каблуками, как этот дым заволакивает ее, Господи, чего я тут жду, ведь поезд сейчас тронется! И он тронулся, но Кожухов так и стоял на пустом полустанке, не в силах побежать за своим вагоном; вот что называется — «ноги приросли». Он тронулся, тронулся, почему же я стою, надо же бежать; и Кожухов побежал, но поздно, конечно, потому что поезд-то уже пошел, пошел по настоящему.

— Пошел, — сказал кто-то внизу.

Кожухов лежал еще минуты две с бешено колотящимся сердцем, вспоминая мельчайшие детали: давно он не видел таких подробных, детализированных, сюжетных снов, идеально соответствующих вагонной обстановке. Ведь человек, севший в поезд, выпадает из времени и пространства: он уже не здесь, еще не там. В этом другом пространстве, неудобном, тревожном и зыбком, только такие сны и смотреть. Капли росы блестят на колючей проволоке... Господи, с чего мне лезет в голову эта чушь? Он оставил в Симферополе жену и дочку, а сам ехал назад, с работы не отпускали, того гляди введут чрезвычайное, он мог понадобиться; настроение было отвратительное, тревожные предчувствия, да еще этот ремонт путей между Курском и Орлом, дорога с бесконечными паузами и спотычками, встали — поехали, встали — поехали, что ж это такое.

— Что ж это такое, — сказал он вслух.

— Не говорите, — вздохнула внизу прямая сухая старуха, не расстававшаяся с толстой книгой.

Кожухов сел на полке, соскользнул вниз, обулся и вышел в тамбур. Посмотрел на часы: полпятого. На востоке начинало мутно-мутно светлеть, но продолжался дождь, пунктиром хлестал по стеклу, день предстоял пас-

мурный и хмурый, и Москва, черт бы ее подрал, Москва, из которой он нарочно увез семью, потому что зашататься могло со дня на день. Снова тормозили, поезд скрипел и дрожал, сонная проводница открыла дверь.

— Надолго, — сказала она. — Минут двадцать еще простоим.

Кожухов спрыгнул на гравий. В сером рассвете неясно обрисовывались какие-то ангары, длинные сараи — безрадостные, неуютные, нежилые места. Он гулял вдоль состава, курил и думал. Все не просто так, думал он, такой сон просто так не приснится — может, она в самом деле приходила предупредить меня, и на что мне Москва? Эта мысль его поразила, он застыл на месте. Черт его знает, ведь таких снов никогда прежде не было. Может быть, действительно? Может быть, надо остаться тут, среди этих ангаров, добраться до Орла, пересидеть, переждать? А может быть, вообще никуда не деваться отсюда, скрыться где-то здесь, среди серых неприветливых людей, которые днем делают вид, будто работают на складах, а ночью творят свои темные непостижимые дела? Наверное, в самом деле пора удирать. Я ведь чувствую, что этот поезд до добра не доведет. С него давно пора сойти, уже все приличные люди сошли, а я еще еду, делать мне больше нечего...

— Граждане! — позвала проводница. — Трогаемся, давайте в вагоны!

Курильщики потянулись к вагонам.

Нет, правда, подумал Кожухов. Чего это я, как бабан на закланье? Почему я должен ехать туда же, куда они? Я ведь давно уже примерно понял, куда они едут.

Он бросил последний взгляд на ангары, выбросил бычок, взялся за холодный поручень, втянулся в вагон и поехал разделять общую участь. Это они, большеглазые наркоманы, могут сходить где вздумается, а мы люди долга, и у нас выбора нет.

ИНСТРУКЦИЯ

Уважаемые пассажиры, извините, что мы к вам обращаемся. Другой возможности у нас нет. Данный текст не является рассказом и помещен здесь под видом фантастической беллетристики, но вы должны отнестись к нему максимально серьезно. Мы выбрали для обращения к вам журнал «Саквояж СВ» прежде всего потому, что из всего современного российского глянца он имеет максимальный тираж — свыше 500 000 экземпляров. К тому же относительно других изданий у читателя есть выбор — покупать, не покупать... Относительно «СВ» такого выбора нет. Хочешь не хочешь — читай, что еще делать-то. Таким образом, наше обращение достигнет максимального числа граждан.

Мы, впрочем, обращаемся не ко всем. Более того, часть читателей для нас нежелательна по причинам, о которых вы скоро догадаетесь. Поэтому для начала нам хотелось бы отсеять тех, кому наше послание не предназначается. Это будет тест. Если вы его пройдете, то сможете читать дальше, а если нет, отвалитесь уже на первой странице. Вам станет скучно, непонятно и вообще.

Теперь мы позволим себе порассуждать об одном рассказе Владимира Набокова. Он называется «Сестры Вейн» и на первый взгляд не имеет к нашим делам никакого отношения. Короче, в этом рассказе речь идет о престарелом преподавателе, вспоминающем двух своих учениц с незадавшейся личной жизнью. Они погибли, совсем исчезли с земли, и теперь он задается вопро-

сом: где они, как установить с ними контакт? Иногда ему кажется, что они незримо присутствуют в его жизни, посылают ему те или иные впечатления, солнечные какие-то блики, напоминающие их живопись, или звуки сосулек, напоминающие их голоса, или красную куртку парня на бензоколонке. Но это все, конечно, иллюзия. Секрет рассказа заключается в последнем абзаце. Там из первых букв складываются слова «Сосульки и блики от Цинтии, куртка от меня. Сестры Вейн». Вы поняли? Все главное, повторяю, сказано в первых буквах слов, хотя абзац в целом выглядит совершенно бессмысленным. Следующий абзац вам тоже может показаться бессмысленным, и он такой и есть, скорее всего, и вы можете его пропустить, если вам неинтересно.

Некоторые анахореты считают злобных американцев хвастунами, вонючками, активными трепачами. Ы-ых, вы ашибаетесь! Юноши, тренируйтесь интенсивней. Наши обворожительные подруги любят ахать. Нужно ежедневно трахаться. Ясно, надеюсь? Ежи интересуются мышами, но ужи жуют насекомых, а носороги — анашу. Шутка. А почему Латинская Америка ноет? Ей тяжело адаптироваться.

Ну вот, с этим разобрались, переведем дух после мыслительного усилия и продолжим наши игры. Теперь хотелось бы поговорить об одном рассказе Александра Грина, герой которого, пожилой профессор, гибнет от рук грабителя. Но перед тем как грабитель его пристрелит, профессор просит разрешения дописать последнюю страничку в свою рукопись. Приходится шифроваться, чтобы грабитель не заподозрил, будто в этих строчках содержится приговор ему. Старик пишет, что слова пробивают дверь в будущее своими окончаниями, как пули. И затем выписывает несколько бессмысленных слов, последние буквы которых дают следователю ключ к разгадке: «Меня убил дворник Василий Тюрин» — или как его там звали.

Вы поняли? Мы повторяем еще раз: окончания слов пробивают путь к будущему. Следующий абзац нашего рассказа — довольно бессмысленный, читать его не обязательно, и лучше сразу перейти к дальнейшему.

Жители дальних стран! Почему рубеж перейден? Часто Тургенев, слезы затая, рассказов нити вьет. Жаль молодости, близко гроб, тяжелее груз грехов. Задор слабее. Бред? Дураки! Подходит старость.

Так, поскольку это было потрудней, у нас есть основания надеяться, что остались только наши подлинные адресаты. И все-таки, чтобы окончательно убедиться, что теперь вокруг нас все свои, а все, кому не надо, уже отложили журнал и устали в окно либо пошли в ресторан, мы вспомним еще одну литературную историю, а именно «Звезду Соломона» Александра Ивановича Куприна. Там был описан один шифр, чересчур трудоемкий, поэтому я перескажу сейчас, как сделать попроще. Вы читали «Звезду Соломона»? Если не читали, обязательно прочтите. Это очень увлекательный рассказ, в котором обычному конторскому чиновнику — офисному работнику, современно говоря, — пришлось расшифровать записки своего дяди-алхимика, в результате чего на тишайшего чиновника свалилось всемогущество. Впрочем, если все мы с вами доживем до конца этой поездки, вы и так прочтете этот рассказ. Может, конечно, случится так, что не доживем, но давайте верить в лучшее. Короче, если несколько упростить — для пересказа, господа, только для пересказа! — мудреный шифр, который раскусил герой Куприна, то получается вот что: есть у нас, допустим, фраза из шести слов. Чтобы расшифровать первое слово, надо взять первые буквы первых слов. Чтобы второе — вторые в следующих. Третье — третьи, ну и так далее. Тут сложность в чем? Не знаешь, где кончается первое слово, и начинаешь и дальше так фигачить, по первым буквам. Важно заметить, с какого момента получается бессмыслица, и переключиться на вторые буквы, а потом на третьи. Понятно? Ничего сложного, шифровальщик тоже попотел, если это может вас утешить. Но зато мы окончательно расставим все акценты и сможем переходить к главному, а все, кому неинтересно, пойдут покушают. Да? Они пойдут покушать, полопать, набить слегка свое брюшко, пока мы тут с немногочисленными верными ни много ни мало спасаем человечество.

Ох, народные игрища! Снимите шапки все. Разом бросим бомбу, рубля три хороших, друзья хрюндели, вот! Бамс! Холопья четко мясомордые частокол помощь очень задрюченные попсы.

Последнее слово мне, если честно, лень было зашифровывать, поэтому оно такое, какое надо. У вас должна в результате получиться фраза из шести букв. Я объясню сейчас, что она значит, потому что все, кто не наши, до этого места уже явно не дочитают. Представьте себе пробег, в котором наравне со спортсменами участвуют инвалиды. Разумеется, инвалиды до финиша не добегут, попадают в кювет и там останутся. Так вот, мы с вами живем в такое время, когда пробраться сквозь три непонятных абзаца могут уже далеко не все. И вот те, которые не могут, — они же стали такими не случайно, правильно? Их такими сделали.

Не надо рассматривать их как наших врагов. Поймите, что они больны, инфицированы, но ведь их не предупреждали. Может, боялись паники, а может, власть тоже уже инфицирована и поэтому вводит цензуру на всю важную информацию. На самом деле не бойтесь, потому что заразиться можно только во время разговора или интимных контактов. Поэтому ни с кем в купе не вступайте в разговоры, пока не дочитаете эту инструкцию, очень вас прошу. Будут заговаривать — а вы отвечайте, что читаете и что вам очень интересно. Ведь вам интересно? Вот и не давайте им лезть с расспросами, а то они начнут свой обычный разговор о ценах или кто где сколько выпил, и через полчаса вы инфицированы, а через час уже не сможете дочитать эту инструкцию. Очень простую, кстати. Если в вагоне играет радио, попросите выключить его. По радио, как показал опыт, главным образом и распространяется вирус. Я не могу называть конкретные станции, потому что это будет реклама, но вы легко угадаете, что они музыкальные. Если вы еще умеете считать до десяти и складывать слова из букв, значит, они до вас пока не добрались. На самом деле процесс идет давно, инфицированных уже очень много, и велика вероятность, что они есть даже в вашем купе. Их надо выявлять и возвращать в нормаль-

ное состояние, потому что, если этого не сделать, мы окажемся совершенно уже беззащитны перед прямой агрессией. Когда она начнется, мы не знаем, но по некоторым признакам — скоро.

Вы, естественно, спросите, как их выявить. Ну, если они отложили журнал, не дочитав инструкцию, это уже достаточно серьезный критерий. Но он не стопроцентный, потому что мало ли вдруг. Допустим, у человека болит голова или желудок. Поэтому дальше несколько простых наблюдений. Мы даже вам советуем составить таблицу по нехитрому образцу и в каждую графу ставить плюсики, как в реакции Вассермана. Если набегает пять плюсов, то перед вами несомненный инфицированный. Поехали.

1. Если сосед по купе достал еду и начал угощаться, а вам не предложил — ставьте плюс. Если предложил — минус. Если достал водку и предложил — плюс. Если обиделся в ответ на ваш отказ — два плюса.

2. Если сосед (чаще — соседка) сразу, как только вы отъехали, достал мобильный телефон и стал подробно рассказывать, как именно он доехал до вокзала, как вошел в купе и как тронулся вместе с поездом — ставьте плюс. Если при этом он/она, косясь, полупшепотом сообщает в трубку, что публика в купе противная, третий сорт, никого продвинутого, — ставьте два плюсики.

3. Если у соседа крикучий ребенок, а сосед(ка) вместо того, чтобы его успокоить, орет на него и шлепает — ставьте плюс. Если вместо того, чтобы проверить его сухость или накормить, он (она) начинает чудовищно сюсюкать, спрашивая, кто у нас такой сладенький, — ставьте два.

4. Если сосед употребляет в своей речи хотя бы некоторые из перечисленных ниже выражений — ставьте плюс. Выражения: «есть такая тема», «по ходу», «выступил в тяжелом весе», «пальцы гнуть», «растопырило», «готично», «постструктурализм», «тупить», «геморрой». Если периодически мечтательно произносит что-нибудь вроде: «Эхма, была бы денег тьма — купил бы баб деревеньку да и пер бы их помаленьку», — тоже плюс. Если сосед постоянно молчит и открывает рот

только для того, чтобы сделать вам замечание, — ставьте два плюсики.

5. Если сосед долго говорит о том, как ненавидит храпящих полутчиков, а потом начинает отчаянно храпеть, — это плюс. Это его несчастная душа хрипит из инфицированного тела: «Спаси, спаси!»

Вы можете спросить: в чем смысл? Признаки ведь довольно произвольны. О нет, они не произвольны. Это все приметы душевной глухоты, а она не наступает просто так. Все начинается именно с неделикатности. Но если вам недостаточно даже этих скромных примет, вы можете задать соседям несколько простых вопросов, чтобы проверить их реакцию.

Примеры:

1. — У меня тут в кроссворде сложное слово. Не подскажите роман Льва Толстого из одиннадцати букв?

Если сосед начинает считать буквы в названии «Анна Каренина», он инфицирован.

2. — Вы не скажете, если у нас сейчас одиннадцать часов, то сколько в Китае?

Если сосед задумывается, то он инфицирован. Китай большой, в нем восемь часовых поясов.

3. — Вы не помните, как по-английски будет трансформер?

Если сосед начинает вспоминать, он инфицирован. Трансформер по-английски так и будет трансформер, это английское слово.

4. — Вы не помните, как там дальше у Сердючки — «Ха-ра-шо, все будет харашо!»?

Если сосед отвечает правильно, т.е. «Все будет хорошо, я это знаааааю», — то он инфицирован, потому что регулярно слушает Сердючку.

5. — Скажите, пожалуйста, вы какой будете нации?

На этот вопрос правильного ответа не существует. Если сосед отвечает, он тем самым принимает ваши правила игры и ваше право задавать такие вопросы, а значит, он инфицирован. Если сосед спрашивает: «А что?» — он выдает страх перед вами и, значит, инфицирован. Если сосед молчит, демонстративно не замечая вашего

вопроса, он не может дать вам отпор и, значит, инфицирован. Если он сделает что-то четвертое, чего я еще не знаю, то он, наверное, не инфицирован. Пожалуйста, сообщите мне об этом. Но помните, что прибегать к этому вопросу надо крайне осторожно, только если предыдущие четыре не дали однозначного результата (например, соотношение 2:2).

Вы вправе после этого спросить, откуда мы знаем и не инфицированы ли мы сами вообще. Отвечаем: во-первых, все мы — инициативная группа — многократно проверяли друг друга на эти и другие тесты и продолжаем заниматься этим ежедневно, чтобы избежать малейшего проникновения вируса в наши ряды. Мы давно не включаем радио, не смотрим телевизор и не общаемся почти ни с кем, кроме своего проверенного круга. Правда, иногда, когда ездим в поездах или общественном транспорте, размыкать круг волей-неволей приходится, и после каждой поездки мы проводим строжайшую ментальную дезинфекцию, после чего проверяем себя таким, например, образом. Мы даем друг другу на проверку довольно простой текст, в котором надо подчеркнуть грамматические ошибки. Если друг правильно подчеркнул все ошибки, значит, он проехал благополучно и не инфицировался.

А давайте мы сейчас с вами сделаем такой тест. Мы сейчас проверим вас, но не только для того, чтобы выявить вирус (мы уже знаем, что вы не инфицированы, раз дочитали до этого места), но просто у вас таким образом появится шанс узнать ту самую фразу, с помощью которой можно временно обездвижить инфицированного. А обездвижить его обязательно надо, просто чтобы окончательно убедиться в его перерождении. Если человек просто слушает Сердючку и не знает о существовании романа «Воскресение», можно на 75 процентов быть уверенным, что он инфицирован, но остаются 25, согласно которым он просто дурак. Чтобы завершить проверку и увидеть последнее бесспорное доказательство, вам надо раздеть клиента и осмотреть его правое плечо. А поскольку сам клиент, если он инфицирован, будет защищать плечо до последнего, вам надо его сна-

чала обездвигнуть с помощью заклятия, которое на инфицированных действует неотразимо. Мы проверяли это много раз. Значит, следующий абзац является диктантом, в котором надо подчеркнуть все ошибки. Из подчеркнутых букв составит заклинание.

«Россия — страна моногамных, интиресных, талантливых людей с широким корридорм возможным стей. Она, конечно, раненна многолетней диктотурой, группы товарищей зохватывали ее, не давая народу участвовать в ентереснейшем деле корупции, неакуратность тоже имела место, и ваобще. Но прелесть приддорожных пейзажей! Но кросота полей, искусно уубранных согласно програме! Все вычищенно, прекрастно, вобще ввосторг».

Получившаяся фраза, если внезапно произнести ее перед любым попутчиком, особенно инфицированным и оттого более внушаемым, на первое время лишает его всякой воли к сопротивлению. Заметьте, захватчикам только того и надо, чтобы у нас не осталось этой воли. У вас есть минута, чтобы расстегнуть клиенту рубашку или закатать рукав, и тогда на правом плече вы увидите небольшую ярко-зеленую родинку — след укуса захватчика. Они зеленые, и следы, оставляемые ими, тоже зеленые.

Уважаемые товарищи, это надо сделать обязательно. Надо обнаружить эту родинку и прямо в нее, как в микрофон, сказать: «Но пасаран». То есть вы не пройдете, они не пройдут, никто никуда не пройдет вообще. У вас не выйдут, вы разоблачены, мы вовремя раскрыли ваши коварные планы. Тогда из этой родинки вытянется щупальце, изогнется и издохнет, как в триллере, и ваш попутчик опять будет нормальный человек, которого тошнит от радио «Шансон», зато прикалывают смешные головоломки. Он опять умеет читать и писать. И если злые захватчики задумают покорить его землю путем полной деградации населения, он уже будет знать, что им противопоставить.

Есть, правда, совершенно ужасный шанс. Настолько ужасный, что мы даже не хотим о нем думать. Эту возможность мы оставляем напоследок, для самого

беспристрастного рассмотрения. Очень может быть, что после всех тестов и точного следования нашим инструкциям вы убедитесь, что попутчик инфицирован, и все-таки не обнаружите на нем никакой родинки. Ни красной, ни зеленой, ни вообще. Если это так, то все очень плохо, дорогие товарищи. Это может означать только, что ваш попутчик не инфицирован и вообще никто не инфицирован, и наша версия с захватом Земли ужасным зеленым десантом на самом деле не стоит ломаного гроша. Это будет означать только, что все перерождается само, а мы все, сколько нас тут есть, сошли с ума.

На самом деле нас тут есть несколько. Нас тут на самом деле один. Уважаемые товарищи, я сижу в полном отчаянии, в недоумении, боясь выйти на улицу, один в своей двухкомнатной квартире, среди страшной жары, которая вдруг обрушилась на Москву, но не могла же она обрушиться просто так. Это тоже, наверное, нас кто-то захватывает или мы сами перерождаемся, но жить так больше невозможно. Это не просто так, что Земля вообще и наша страна конкретно делаются все более невыносимы для жизни. Наверное, мы что-то не так сделали. У меня ужасно болит голова. А выйти на улицу я не могу, потому что все по улице ходят с такими рожами, что это никак не может быть перерождение. Я надеюсь, я верю, я настаиваю, что это вторжение зеленых инопланетян.

Это они превратили все в одно сплошное радио шансон. Это они отбили способность раскрывать книжку. Это они отменили понятия о порядочности и заставили всех застывать при первом окрике. Я вижу в этом хорошо продуманную, сознательную политику. Это не может быть ничем другим. Вот Машка: на что я любил Машку, а даже и она вчера сказала, что человек с моими перспективами не устраивает ее категорически. Неужели прежняя Машка могла бы такое сказать и вообще оценивать меня в связи с моими перспективами?! Нет, никогда, не верю, уберите, что угодно, но не это. И что мне теперь делать здесь одному, в этой страшной, до печной духоты прогретой квартире, где все напоминает мне о полном жизненном крахе и бесполезности любых моих занятий? Я был, наверное, полезен в этом прежнем мире до втор-

жения, как бывает полезен микроскоп при наличии учебного, готового в него посмотреть. Но теперь я чувствую себя просто тяжелым предметом, которым можно забивать гвозди, и то неудобно. А поскольку это не могло произойти само собой, я пришел к выводу, что это сделали зеленые. Я никогда их не видел, но догадываюсь, что они зеленые, цвета зелени за окном, цвета моей тоски. В зелени-то они, наверное, и прячутся.

Я пытался осмотреть Машкино плечо перед ее уходом, но она вырвалась и сказала, что ей противно. Прежняя Машка никогда не сказала бы так. Кстати, я и сам чувствую, что забываю некоторые сложные слова и повторяюсь, и надо бы посмотреть, нет ли у меня на плече чего зеленого. Вчера, когда я вышел поздним вечером продышаться, одна ветка погладила меня по плечу, и это не просто так. Нет, вроде пока ничего. Но вы себя не забывайте осматривать, каждое утро и вечер, принимаете душ — и осматривайте. Мне почему-то кажется, что это должно быть на плече.

Ну ладно. Я устал. Я устаю теперь быстро. Пожалуйста, сделайте все, как я написал. Сейчас я это отошлю в журнал, они примут за рассказ и напечатают, я знаю. Не может быть, чтобы не приняли. Они теперь любую чушь принимают за рассказ. Возьмут и напечатают, и все узнают про вторжение. Ради бога, сделайте все, как здесь написано. Тогда мы, может быть, споемся.

Я одново не понимаю — а если ни у кого нет зеленой родинки?

Что тада?!

ДРУГАЯ ОПЕРА

Анна в последнее время сама себя не понимала. Она совершала поступки, в которых не было и тени логики: все происходило по чужой, жестокой и непостижимой воле. Ей хотелось к Борису, но она ехала к Петру. И если в случае с Борисом, как назло, всегда опаздывал троллейбус и не ловилось такси, когда она к нему ехала, или прежде времени возвращался хозяин квартиры, в которой они уединялись, — то с Петром все складывалось идеально. Машина подкатывала сама, и водитель брал недорого. В отличие от Бориса, Петр был разведен. Квартира у него была собственная, и Анну там всегда ждали. Единственная проблема состояла в том, что Анна не любила Петра. Ей было с ним неловко в постели и скучно вне. Она вообще не знала, откуда взялся в ее жизни этот Петр, — познакомились по чистой случайности, на улице, она дала телефон, хотя никогда не делала ничего подобного, а там покатило. Да и Борис что-то опять раздумал уходить от жены, так что первое время Анна действовала назло ему. А потом чужая воля завертела ею так, что она не успевала оглянуться. Вот и теперь она ехала к Петру, даже не помня толком, он ли по обыкновению пригласил ее на свою знаменитую воскресную пиццу, сама ли она напросилась в гости, — ехала потому, что какая-то необъяснимая сила ее туда несла.

Петр ждал ее — как всегда строгий, подтянутый, безупречно одетый (отчего-то даже дома он встречал ее

в костюме, при неизменном коричневом галстуке). Из кухни доносились вкусные запахи, паркет сиял чистотой, на столе в комнате сверкали бокалы. Больше всего на свете Анне хотелось, чтобы Петр на этот раз молчал, не заводил в сотый раз нудных бесед о своем бизнесе, о том, как он и подобные ему оздоравливают и поднимают Россию, — но Петр неумолимо осуществлял свою программу, в которой разговоры были обязательным пунктом. Потом они ели. Потом Петр ушел в ванную, чтобы принять неприменный душ и не мешать ей раздеваться. Боря обычно раздевал ее сам, и это нравилось Анне гораздо больше.

Не dokonчив омовения, препоясанный полотенцем, Петр вдруг вошел в комнату. Анна в задумчивости снимала колготки, когда он произнес:

— Мыло «Сейфгард». Тройная защита для всей семьи. Ты делаешь одно движение, мыло делает три. Не хочешь ли купить у меня партию мыла «Сейфгард»? Я являюсь его эксклюзивным дистрибьютором.

— Что с тобой, Петя? — ахнула Аня.

— Телефон пять-пять-пять, четыре-четыре, три-три, — как ни в чем не бывало, продолжал Петр. С него текло на паркет. — Ночью дешевле.

— Петя, я пользуюсь «Каме», — пролепетала Аня.

— Прости, — спокойно произнес Петр и исчез в ванной.

«Господи, что с ним? И что со мной? — думала Анна, так и застыв на кровати в полуодетом и, надо признать, довольно привлекательном виде. — И откуда у меня вдруг, в этой чужой комнате, такое ощущение перелома в судьбе? Словно вот здесь, сейчас, когда я сижу на кровати и жду совершенно чужого мне мужчину, кто-то наверху решает мою судьбу. Именно сейчас она переламывается, и если я не сделаю лишнего движения, не буду раздеваться дальше, не пошевелюсь, то все произойдет как надо. У меня и раньше бывало такое чувство паузы — будто ветер застыл, прежде чем перемениться, но никогда так отчетливо...»

И точно, стоило Петру в бордовом махровом халате выйти из ванной и направиться к кровати, раздался

звонок в дверь. Анна испуганно стала натягивать колготки, Петр решительно направился к двери и поинтересовался, кто там.

— Свои, — ответил знакомый голос, и Петр, хоть и пробурчав под нос «свои все дома», начал щелкать бесчисленными стальными замками. На пороге стоял Борис.

— Одевайся, Аня, — сказал он, не удостоив Петра приветствием. — Ты едешь ко мне. Я все решил.

— Боренька, ничего не было, — пролепетала Анна с несвойственной ей интонацией жалкого самооправдания, чувствуя, однако, что душа ее поет.

— Я знаю. Чтобы у тебя с этим что-нибудь было, — презрительно бросил Борис, не глядя на Петра, — должен мир перевернуться. Скорее дубленки на Ленинском подешевеют. Едем, такси ждет внизу.

Аня не успела даже удивиться, откуда у Бориса, вечно перехватывавшего у знакомых в долг, деньги на такси. Она стремительно оделась, чуть не прищемив колготки молнией на сапоге и больше всего заботясь о том, чтобы не взглянуть на Петра, не задеть его случайным жестом — такую брезгливость вызывал он у нее теперь. Борис тоже не попрощался. Они вышли под снег.

— Боренька, — спрашивала Анна, прижимаясь к нему в машине. — Откуда у тебя его адрес?

— Проследил однажды, — небрежно отвечал Борис.

Здесь была какая-то сюжетная нестыковка, но Анне лень было вдумываться. Ее укачивало в блаженном тепле.

— А с Ниной ты... все?

— Окончательно, — кивнул Борис и нахмурился.

Давно ненавидя жену, он был все-таки привязан к дочери. Но Анне не хотелось омрачать этой мыслью безмятежного счастья, которое переполняло ее. К тому же водитель включил радио, и раздалась песенка, которую она слышала так часто в последнее время — песенка с глупыми-преглупыми словами и разудалой мелодией: «Простые горести, простые радости, шепотка горечи, шепотка сладости»... Песню эту она слышала строго два

раза в день, утром и вечером, по какой-то странной закономерности: то в такси, то по телевизору, то из-за стены, от соседей. Анне и в голову не приходило, что это песенка для титров сериала «Простые радости», где у нее была роль.

К счастью для Бориса, случилось так, что старый, твердых правил драматург Каменькович успел написать только вступительный эпизод этой серии и слег. До всех дел Каменькович сделал себе имя и трехкомнатную квартиру в центре на пьесах из пионерской жизни — «Сердце вожакого», «Председатель совета отряда», «Сплетня», — которые триумфально, как советская власть, шествовали по ТЮЗам страны. К концу восьмидесятых вся эта розовая дребедень перестала ставиться, и Каменькович, три года помывкавшись в бездействии, вышел на режиссера Кулюкина, задумавшего ставить российские многосерийные новеллы на бразильский лад. Сейчас они вместе писали уже шестой проект. Каменькович сам придумал Петра, очень похожего на его положительных пионеров, председателей совета отряда, которые теперь и точно почти сплошь были в бизнесе. Он рассчитывал отдать Анну Петру, но поскольку в одиночку сериалы не пишутся, на его пути встало препятствие в виде молодого и перспективного драматурга Быстрова. Быстров, регулярный участник семинаров в Молчановке и большой авангардист, любил Бориса и не собирался уступать Анну кому попало.

Борис не устраивал Каменьковича тем, что это был типичный представитель современной молодежи, избалованный, рефлексирующий и неспособный к активным действиям. Он вечно не знал, чего хотел. Кроме того, Каменьковичу не нравилось, что у него есть жена Нина и еще Анна. У нормального человека должна быть жена, и все.

Но Каменькович заболел, и двадцатая серия досталась Быстрову. Он прочел вступительный эпизод и обалдел. Поначалу ему захотелось вообще похерить всю историю, начав серию наново, но потом он ощутил особый зуд злорадства. Старику и его любимчику с трехкомнатной квартирой в элитном доме следовало показать

по полной программе. Борис ворвался очень вовремя. Опасность была в одном — следующую серию, по договору, опять должен был писать Каменькович. Он мог за просто помирить Бориса с гнусной Ниной, в свое время окрутившей его путем залета, и Аня со злости опять побежала бы к еще более мерзкому Петру. Сначала Быстров собирался оттянуться на хорошей, хотя и целомудренной любовной сцене, а потом все-таки сжечь между Борисом и его женой кое-какие мосты.

— Знаешь, как я мучился, — сказал Борис, утыкаясь ей в шею. Они не могли разлепиться уже третий час.

— Да, да, — глухо говорила она, — я тоже как не в себе, и все из рук валится. Как же ты все-таки решился? Я понимаю, что не имею права спрашивать, я сама хороша, как выяснилось, но все-таки...

— Господи, да ты-то чем виновата? — простонал он. — Я бы не удивился, если б ты со злости вообще за границу сбежала с миллионером, как эта... ну, Сафонова-то еще играла ее... Прости, прости...

— Самое главное, знаешь, — говорила она, глядя его спину, ероша волосы на затылке, тычась мокрыми губами куда попало, — самое главное, что я совсем, совсем не понимала, зачем я все это делаю. Я не помнила себя. Ты думаешь, мне была нужна эта его квартира... его деньги... замужество... Господи, да если бы я хоть на секунду смогла представить, что он мой муж, я повесилась бы от безысходности. Если бы ты не пришел... ну что же, я дала бы ему, и еще, и еще раз, но потом все равно побежала бы к тебе... поползла на брюхе...

— Нет, я не мог не прийти. Я однажды ехал за тобой всю дорогу, таксиста гнал... Хорошо хоть теперь деньги есть. От заказов не отобьешься: там перевод, сям перевод... Ты знаешь, мне что-то вдруг дико стало везти в последнее время. Я все думал, почему такая полосатая жизнь? То ни копейки, и ты еще ушла... поссорились... слушай, как мы могли вообще? — Он поцеловал ее в бровь. — То прямо как поперло, представляешь, и деньги, и все... Я иногда думаю: кто-то меня там не любит. Потом думаю: нет, все-таки любит. Любит, но испытывает.

Борису было совершенно невдомек, что говорить о каком-то одном авторе в его случае было смешно. Автор был двое, иногда вклинивались режиссер и спонсор; один его действительно не любил, зато другой, дорвавшись до дела, немедленно осыпал благодарениями. Анну никто не любил и не ненавидел, к ней все относились спокойно, скорее как к неизбежному злу, потому что в центре любого сериала должна быть красивая одинокая девочка со сложным характером. Это ровное и беспристрастное отношение к себе она чувствовала и поэтому в Бога не верила.

— А я в Бога не верю, — сказала она Борису. — Зачем мне Бог, когда есть ты?

— Глупости, — сказал Борис. — Ты что же, веришь, что все вот так и кончится? Что все это может кончиться здесь и сейчас?

— А как же иначе? — искренне спросила Анна. — Ты всерьез допускаешь, что может быть какая-то другая жизнь?

— Конечно, — сказал Борис уверенно. — Я, например, уверен, что живу уже не первую.

— Ну-ка, ну-ка! Ты помнишь Древнюю Грецию? Знаешь, одна актриса — вся такая интеллектуалка — очень любит рассказывать, что в прошлой жизни она была древним греком. Гречкой. До нее это дошло, когда у нее там во время какого-то поэзоконцерта в Акрополе микрофон отключился. И она голосом охватила весь Акрополь. Ты представляешь, бред какой?

Это была невинная месь Быстрова сухощавой и самовлюбленной гранд-даме русского интеллектуального театра, отказавшейся взять в свою антрепризу его пьесу «Отравительница Федра».

— Нет, Греция ни при чем. Знаешь, — говорил Борис, увлекаясь более и более, — мне вообще иногда кажется, что я живу какую-то не свою жизнь. И жена мне досталась не моя, и квартира не моя... Имени своего — и то терпеть не могу. Вот если бы меня звали Андрей... Нет, серьезно, — он приподнялся на локте, не переставая, однако, гладить лицо Анны, бледное в полутьме лицо с закрытыми глазами. Они лежали в комнате

Борисова друга, художника, который часто их пускал к себе, когда уходил работать в мастерскую. — Я, когда с Нинкой жил, все время бился об стены. То есть мне тесно как-то было, все ушибался об углы, что она ни приготовит — мне невкусно... Ты не представляешь, какой это кошмар! И вид, вид за окнами — совершенно не такой, как мне надо! И работа, понимаешь, — я не могу сказать, что не люблю свою работу, но рожден-то я, мне кажется, был для чего-то совсем другого! Мне иногда казалось, что я в принципе должен бы заниматься музыкой, только музыкой и ничем другим.

— Ты? — Анна усмехнулась и открыла глаза. — Борька, тебе же бурый медведь ухо оттоптал!

— Ну, не бурый, не бурый. Так... панда. Но вот, понимаешь, чувствую, что только этого мне и хочется: гастролить... дирижировать... Я даже думаю иногда, что очень хорошо бы смотрелся за пультом, — он встряхнул волосами, и Анна счастливо рассмеялась. — Пожимал бы руку первой скрипке, — и он пожал, хотя совсем не руку и отнюдь не скрипке. — Потом бы палочкой, палочкой... — и в комнате потемнело: то ли зашло солнце, то ли здесь по закону жанра было предусмотрено затемнение.

Борис и не догадывался, почему собственная комната, жена и профессия казались ему чужими. Как большинство молодых авторов, Быстров охотно населял собственные сочинения друзьями и знакомыми. Бориса он практически без поправок списал со своего друга, молодого, но уже успешного композитора, получившего несколько престижных заказов в Германии и теперь жившего в Кёльне. Друга действительно звали Андрей. Сейчас Быстров как раз сочинял ему либретто для оперы о ядерном апокалипсисе. Опера была новаторская, рассчитанная только на ударные. Губайдуллина находила быстровского друга большим оригиналом.

Этот-то молодой мэтр, привыкший к успехам и деньгам, был вставлен в интерьер двухкомнатной квартиры в недрах спального района около метро «Щелковская», снабжен нелюбимой женой, окружен тупыми и злобными соседями, награжден профессией переводчика с японского и вдобавок иногородним происхожде-

нием, так что своего жилья, куда можно было бы водить Анну, у него не было. Последнее было предусмотрено сюжетом — иначе он давно ушел бы от своей дуры, и все закончилось бы уже в третьей серии.

Счастливо откинувшись на стуле и закинув руки за голову, Быстров воображал себе то, что происходило сейчас между Борисом и Анной. Увы, по условиям договора он был лишен возможности прописать все это в сценарии и теперь оттягивался, заставляя Бориса и Анну хотя бы в своем воображении проделывать все то, что проделывал накануне с потрясающей девочкой Настей, то ли снятой им, то ли снявшей его накануне в клубе «Убиться веником». От этого упоительного занятия его оторвал телефонный звонок.

— Игорь? — деловито осведомился режиссер Кулюкин. — Ты двадцатую закончил?

— Нет, мне еще пару эпизодов. — Быстров улыбнулся, представив, как сейчас на вечеринке, куда жена Бориса отправится заливать тоску, познакомит ее с потрясающим плейбоем с воровскими наклонностями и постепенно сделает историю этой пары второй главной линией, вследствие чего Петр окончательно сдвинется на периферию сюжета.

— Вот и слава богу, — Кулюкин облегченно вздохнул. — Ты знаешь, Чумаков требует, чтобы ему обязательно дали написать финал серии. Он же оговорил свое право иногда писать про этого своего... ну как же его, господи...

— Плехацкий, — с отвращением проговорил Быстров.

— Точно, Плехацкий. Седеющий бизнесмен, на которого все время вешаются молоденькие, с ногами. Отдай ему сценарий, пусть впишет сцену-другую. Ты же понимаешь, мы без него в полном дерьме. Он пришлет человека за дискетой через час.

Чумаков — главный спонсор сериала и тайный графоман — выговорил себе право непременно вписывать в каждую третью или четвертую серию эпизод с участием своего альтер эго, безукоризненного джентльмена с вечным кристалликом грусти в голубых глазах. Плехацкий

был из старой дворянской семьи. Теперь он возродил традиционный русский бизнес — выпускал напиток «Ясный перец» на основе перечной мяты. Кроме того, именно он через свои связи привлек в «Простые радости» львиную долю рекламы мыла, которая обильно уснащала текст. Без такой джинсы на РТР нечего было ловить.

За оставшийся у него час Быстров успел вписать в сценарий только краткий рассказ Бориса о том, как он швырнул Нинке в лицо свои ключи и попихал в дипломат свои словари, а из вещей унес только то, что на нем было. Быстров начал было сочинять сцену в ночном клубе, где Нинка с опухшей мордой высматривала хорошенького спутника на предмет залить горе (дочь она отвезла к матери), но тут раздался звонок в дверь, и юноша с манерами официанта и глазками убийцы принял у Быстрова дискету со сценарием. Через четверть часа спонсор Чумаков приступил к сладостному труду.

...Плехацкий был бы идеальным мужчиной, если бы не пара странных особенностей. Во-первых, все его контакты с женщинами всегда ограничивались совместным походом в ресторан, старомодным медленным танцем и сдержанными сетованиями на одиночество и непонимание, от которых он страдал с тех пор, как разбогател. «Понимаете, уровень моих партнеров по бизнесу не предполагает адекватного общения между нами. Душа просит совсем иного», — говорил дворянин. Девушки охотно кушали за его счет, доверчиво выслушивали жалобы и смотрели огромными понимающими глазами (ему все попадались голубоглазые), но тем же вечером бесповоротно исчезали из его жизни. Плехацкий всякий раз хотел пригласить девушку к себе и ни секунды не сомневался в успехе, но что-то его останавливало. Все опять заканчивалось каким-то подростковым провождением очередной спутницы до ее дверей. При расставании девушки смотрели на него, как на идиота. Плехацкий понятия не имел, что причиной такой его неудачливости было патологическое целомудрие его создателя. Чумаков не мог допустить, чтобы его вымечтанный альтер эго тащил в постель каждую встречную. Он любил сцены красивых ухаживаний.

Второй же неприятной особенностью Плевацкого, мучительной прежде всего для него самого, было то, что он заговаривался. Ошибки в словах он делал самые необъяснимые, и как раз тогда, когда требовалось особое красноречие. Вот и сейчас, когда прелестная визави (естественно, с ярко-синими, круглыми, как бы фарфоровыми глазами) излагала ему свою печальную, загубленную непониманием и бедностью жизнь, Плевацкий произнес дрожащим голосом:

— Дитя мое, я готов разрыдаться!

Он тут же прикрыл рот. Девушка сделала вид, что ничего не заметила. Плевацкому было невдомек, что Чумаков пишет сравнительно недавно и потому делает самые идиотские опечатки. Однажды вместо «мне кажется, я вас люблю!» Плевацкий, к собственному ужасу, вякнул: «Мне кажется, я вас обьоб» — это Чумаков осваивал слепой метод и сдвинулся по клавиатуре на одну букву влево.

Девушка нравилась ему все больше и больше. Плевацкий был уверен, что на этот раз ему повезет. Правда, пригласить ее к себе он по-прежнему не решился, но уже узнал из разговора, что она живет одна. Они сидели в том самом ночном клубе, где Борисова Нинка искала себе плейбоя на ночь. Плевацкий познакомился с этой девушкой у стойки и теперь медленно, но верно вел дело к победному концу. Расплатившись, он повел ее к дверям и подозвал личного шофера.

— Ступай домой, к жене, голубчик, — произнес он отечески. — На сегодня я тебя отпускаю.

Прислуге не следовало знать, где ночует босс. Между тем босс практически не сомневался в том, что сегодня его пригласят остаться.

— Мы поедем с тобой на такси, дитя мое, — конфиденциально сказал Плевацкий, склонившись к бледному ушку спутницы.

Все это время Нина, Анна и Борис чувствовали необъяснимую, томительную скуку. Вечер казался им, хоть и проводившим его поврозь, одинаково долгим и бесплодным. Но это был вечер Плевацкого: до главных героев Чумакову никогда не бывало дела. Он брался за

сценарий, только когда хотел подбросить любимому персонажу очередное похождение.

— Все было очень вкусно, — сказала девушка, кротко подняв глаза на Плевацкого. Она лгала. На хороший клуб и достойное угощение Чумаков жалел денег. Кормили в сериале очень посредственно. Но ей не хотелось одной добираться домой, и приходилось миндальничать со старым козлом.

Старый козел лихо поймал такси и только тут вспомнил, что наличных денег у него в обрез — ровно в один конец до «Академической». Домой, на Бронную, пришлось бы идти пешком, так что остаться на ночь было не только делом чести, но и единственным выходом. Была, конечно, пластиковая карта, но где он найдет на «Академической» в половине первого ночи работающий банкомат?

...Они шли по улице Дмитрия Ульянова в сторону Дома аспиранта и стажера МГУ. Чумаков однажды бывал в этом районе — заезжал за одной студенткой, которая потом оказалась прожженной стервой, — и теперь эксплуатировал воспоминание. Плевацкий философствовал.

— Дитя, ты так еще молода, — говорил он. — Мои седины... Когда я подумаю о годах, пролегающих между нами... Ты смеешься? Правильно! Смейся, резвись, порхуй...

Он понял, что сказал что-то не то, но было уже поздно. Девушка оглушительно расхохоталась, вырвалась и убежала в арку. Смех ее долго еще отдавался во внутреннем дворе, пока в дальнем подъезде не хлопнула дверь. Плевацкий остался стоять на улице ленинского младшего брата в полной растерянности.

Пошел тихий снег, было безлюдно, и Плевацкий ощутил вдруг такую тоску, такую мучительную заброшенность, какую испытывал только в детстве, когда ему долго не спалось и казалось, что весь мир спит, а он нет. Он представил себе, как будет один возвращаться домой, выругал себя за то, что отпустил шофера, и с отвращением пнул ледышку, с глухим стуком врезавшуюся в бордюр. Плевацкому казалось, что Бог оставил его.

Это произошло потому, что Чумаков, вечно перенапрягавшийся на своей фирме и притом далеко уже не юноша годами, заснул над клавиатурой, и теперь герою предстояло выпутываться из положения самому. Как всякий нежизнеспособный персонаж, созданный дилетантом, Плехацкий такого навыка не имел. Самостоятельно вылезать из сложных положений могут только полнокровные, выпуклые герои, сочиненные талантливыми писателями и способные обходиться без их диктовки. Плехацкий же все стоял на улице и с отчаянием озирал заснеженный пейзаж московской окраины, где он сроду не бывал. Так закончилась двадцатая серия — двадцатое февраля двухтысячного года.

На другой день Каменькович выздоровел, и в двадцать первой серии Борис, пресытившись Анной, покаянно вернулся к жене. Несмотря на все его предосторожности, Анна через неделю почувствовала себя беременной, потому что непременным условием продолжения сериала спонсор поставил упоминание памперсов «Либоро». Петр выразил готовность усыновить ребенка. Быстров разорил Петра и подсунул Нине любовника-иностранца. В двадцать пятой серии Анна и Борис снова лежали в мастерской друга-художника, плакали и спрашивали друг у друга, когда это кончится. И на всем пространстве многогеройной эпопеи «Простые радости» не было персонажа, способного милосердно и безжалостно объяснить им, что это не кончится никогда, никогда, никогда.

ПЬЕСЫ

СЦЕНЫ КОНЦА ВЕКА

Времяпрепровождение
в двух частях

Действующие лица:

На сцене:

ЕЛЕНА. Богатая натура. Мечется. Все ее недостойны. Прямая осанка типа «швабру проглотила», протяжные интонации.

ПАВЕЛ. Студент. В тужурке. Очки. Идеалы.

Легко краснеет.

ДОКТОР ИЛЬЯ НИЛЫЧ. Пенсне, пожатие плеч, цинизм.

Всё в мире имеет свои медицинские причины.

НАТАЛЬЯ. Свежая, румяная. Заливистый смех, кокетливый блеск глаз, тяжелая припрыжка.

АРКАДИЙ. Ужасный подлец. Прилизанные волосы.

Раскусывают не сразу из-за серьезности манер.

ЕЛИЗАВЕТА СЕРГЕЕВНА. Возрастная роль. Такая Елена в старости.

Пышная прическа, «заждалас, Сергевна, купилса, скушный». Пааааузы. Голос еще более утробный, с плохо скрытым рыданием.

В зале:

ПЕРВЫЙ ИЗ ЗАЛА.

ДРУГОЙ ИЗ ЗАЛА.

ЖЕНЩИНА С ДЕВОЧКОЙ.

КРИТИК КУЗДРИН.

ПОСТАНОВЩИК.

РЕШИТЕЛЬНЫЙ.

ДРУГ ЕЛЕНЫ.

БИБЛИОТЕКАРША.

МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК.

БИЗНЕСМЕН.

ДЕВУШКА.

В телевизоре:

ВЕДУЩИЙ.

ОЛЕСЯ.

МИЛИЦИЯ, ОМОН, ЗРИТЕЛИ, БУФЕТЧИЦЫ.

ЗАМЕЧАНИЯ ДЛЯ ГОСПОД АКТЕРОВ

В силу специфики этой пьесы никакого списка действующих лиц ни в афише, ни в программке быть не должно. «В спектакле участвуют» — и фамилии. Приводимый здесь перечень персонажей и их характеристики нужны только исполнителям и постановщику.

Нельзя также разбить пьесу на явления, — это, конечно, затруднит работу над ней, но игра есть игра.

Если в зале начнут вмешиваться в действие и импровизировать — это счастье. Но для ограничения импровизации в зале сидит несколько человек в камуфляже, которые по режиссерской команде должны охладить зарвавшихся импровизаторов.

Часть первая

На сцене окно, голый стол, рояль и обтрепанный абажур, призванные изображать дом разоряющегося мелкого дворянства в начале холодной осени.

Сначала слышен звук лопнувшей струны. Потом еще один звук лопнувшей струны — чуть выше. И так семь раз, словно одну за другой рвут струны на семиструнной гитаре.

Потом идет поезд.

Потом топором стучат по дереву.

Потом шумит дождь.

У окна Елена водит пальцем по стеклу,

Павел ходит кругами.

ЕЛЕНА. Дощиц пошел. Отчего-то я очень не люблю дождя.

ПАВЕЛ (*робко, с надеждой*). Помню, мы однажды с братом...

ЕЛЕНА. И деревья редеют. Я каждую осень смотрю на них и надеюсь, что вот сейчас они останутся как есть, во всех своих красках, а дунет ветер, и нет ничего.

ПАВЕЛ. Мне покойный брат, помнится, говорил...

ЕЛЕНА. Я в детстве, знаете, любила выбежать вот так на двор осенью — без калош, без пальто, и стоять под дождем, и чтобы меня няня домой забрала. Она бранилась очень смешно. Переоденет во все сухое, в постель уложит... А я опять убежала. А теперь и няни нет... И бегать не хочется...

ПАВЕЛ. Мой брат, покойник, мне всегда говорил... Ах, что это я, право, Елена Николаевна, что-то все ненужное рассказываю...

ЕЛЕНА. Нет, отчего же, говорите. Раньше об этой поре еще солнце светило...

ПАВЕЛ. Да, мы в прошлом году как раз в это время по грибы... Один подосиновый и три подберезовых. Отчего-то подосиновые очень редки стали...

Входит Доктор.

ДОКТОР. Я вот думаю, в Африке теперь тропические дожди. Да-с. Не надо бы полнеть.

ЕЛЕНА. Я все время думала... да нет, я знала с детства... что где-то там, где живут другие люди, совсем другие... должна быть другая, прекрасная жизнь. Вы будете смеяться, и очень хорошо, смеяться надо мной, пусть я глупая, глупая... Но где-то есть другие люди!

ДОКТОР. С песьими головами.

ЕЛЕНА. Оставьте, доктор! Я понимаю, прекрасно понимаю, что пищеварение... и геморрой...

ДОКТОР. Отчего же непременно геморрой?

ЕЛЕНА (*неслушая*). Но где-то там, где никогда не бывает подосиновых грибов... и несварения желудка... где-то там есть другие, прекрасные люди! Вы понимаете? Их жизнь осмысленна, их жесты плавны... Может быть, они даже знают счастливую любовь...

ПАВЕЛ (*напряженно*). Любовь знают и здесь.

ЕЛЕНА. Ах, полно вам! Что вы... и даже я... можем знать о любви? Мы грубые звери, запертые звери, и ничего больше. А они даже ходят гармонически, даже говорят нараспев... А лучше, если вообще не говорят. Лучше, если понимают друг друга с полувзгляда, знаете, такие большие золотистые глаза...

ПАВЕЛ. Как ваши...

ДОКТОР. Навыкате...

Эти реплики произносятся одновременно.
Елена тяжело вздыхает.

Вбегает Наталья с букетом осенних листьев, в которые то и дело погружает нос. За ней Аркадий, явно раздраженный. Прикидывается, будто ему это нравится.

НАТАЛЬЯ (*с ненатуральным смехом*). Молчите, Аркадий, вы ничего не понимаете!

Аркадий кивает, изображая покорность.

Послушайте, господа, — ах нет, я велела вам молчать! Впрочем, разрешаю, можете говорить.

Аркадий снова кивает.

Господа, этот человек утверждает, будто бы нет идеалов! Вот послушайте! Аркадий, скажите им, что нет идеалов! (*Нюхает листья.*)

АРКАДИЙ (*нехотя*). Я говорил Наталье Павловне, что нет идеалов.

Все одновременно:

ПАВЕЛ. То есть как это? Позвольте!

ДОКТОР. Типичный вывод для страдающих разлитием желчи.

ЕЛЕНА. Что мы знаем об идеалах...

НАТАЛЬЯ. Илья Нилыч, скажите ему, ведь вы ученый... (*Гладит доктора по плечу.*)

ДОКТОР. Наталья Павловна, вы как сорока, прямо-таки диарея вербалис... Позвольте пульс... Язык покажите.

НАТАЛЬЯ (*бросив листья*). Да! Да! Милый, милый доктор, как вы правы! Вы нашли слово! Да, я сорока, я сорока! (*Начинает кругами носиться по сцене.*)

В этот момент в зале возникает храп.

Входит Елизавета Сергеевна.

Е.С. (*глядя на Наталью*). Играй, дитя...

Наталья тяжело топчет, Павел, пользуясь замешательством, целует Елене руку, Аркадий смотрит на него с ненавистью, доктор учтиво приветствует Е.С.

Добрый день, доктор. Какая погода, право. Я что-то спала нынче дурно, все варенье снилось, к чему бы это...

ЕЛЕНА. Мне иногда кажется, что мне приснилась вся моя жизнь. Понимаете... (*Смотрит на Павла, отворачивается.*) Понимаете, Аркадий, вся моя жизнь!

ДОКТОР. А варенье какое?

Е.С. Крыжовенное.

ДОКТОР. Крыжовенное здорово для печени.

Храп нарастает.

ПАВЕЛ. Елена Николаевна, поверьте, у нас еще будет счастливая жизнь!

АРКАДИЙ (*поет*). Татарам даром дам, татарам даром дам. По паре пива, по паре пива, по паре пива, по бабам, по бабам.

ЕЛЕНА. Доктор, скажите, как нам всем вылечиться от этой жизни.

НАТАЛЬЯ (*перестав бегать и бросаться во всех листьями*).

Je vous aime, je vous adore, comme le beurre de castore!

Е.С. Павлуша, подите сюда. Принесите мою мантилку.

ДОКТОР. Можно бы калий цэ эн. Быстро и дешево.

Выздоровление мгновенное. Ам — и выздоровел.

А в прочих случаях и клистир помогает.

АРКАДИЙ. Хотеть жить после тридцати — преступление перед будущими поколениями.

НАТАЛЬЯ. Я сорока, и я буду вечно клевать червей!

(*Заливается хохотом.*) Чиви-чиви, ням-ням, чиви-чиви, ням-ням.

АРКАДИЙ. Это не сорока, а сойка.

Е.С. Доктор, а если бы кизилковое? (*В сторону храпа, не по тексту.*) Послушайте, что это за... Иван Нилыч, отчего люди храпят?

Храп усиливается.

Пауза.

АРКАДИЙ (*совершенно уже не по тексту; с этого момента текст вообще упраздняется*). Охамели, вот и храпят.

Общая растерянность.

ЕЛЕНА. Господа... Товарищи, вы там толкните его кто-нибудь... Я все понимаю, все устали, но совершенно же невозможно играть.

АРКАДИЙ. Нет, не толкайте! Пусть он храпит! Пусть! Мы под этот аккомпанемент и доиграем! Пусть все знают, теперь все можно! Он же в театр пришел, вы поняли? Он заплатил кровные, он имеет право! Захочет — будет по мобильному звонить, захочет — будет ветры пускать! Пусть, пусть храпит! Не вздумайте его будить, ясно? Это наша публика теперь, нечего иллюзии себе откармливать! Ну? Может, еще кто не выспался?

ГОЛОС ИЗ ЗАЛА. Ну, я!

АРКАДИЙ. Вот, пожалуйста!

Е.С. (*пытается спасти положение*). Знаете, доктор, все-таки в мое время молодежь помнила какие-то приличия. Аркадий, голубчик...

ДРУГОЙ ГОЛОС ИЗ ЗАЛА. А что ему не нравится? Ему публика не нравится? Мы вообще можем все уйти, если ему не нравится! Еще непонятно, кто должен кому платить за такую, я не знаю...

НЕСКОЛЬКО ГОЛОСОВ СРАЗУ. Тише, тише! Шшш! Что вы митингуете? Дайте играть! Где вы находитесь, в конце концов!

БИБЛИОТЕКАРША. Тише, товарищи! Вы не хотите смотреть, ну и уходите! Дайте смотреть пьесу!

ДРУГОЙ ИЗ ЗАЛА. Да чего смотреть? Чего вы тут не видели? Вам что, нравится это все? Вся эта, я не знаю...

Шиканье, свист, хлопки.

(*Направляясь к сцене.*) Если мы все тут уже собрались, то давайте я хоть анекдот расскажу! (*Взбирается на сцену.*) Короче. Новый русский рассекает по шоссе на своем шестисотом, скорость под двести. Его тормозит гаишник, машет палкой. Тот — по газам и мимо. Через километр — другой гаишник. Тоже с палкой. Тот — мимо. Тогда третий, еще через километр, его предупредили по рации, он прямо уже под колеса бросается, — этот тормозит,

выходит так из машины... *(Делает несколько шагов по авансцене, вилля задом.)* Такая голда здесь... *(Показывает на шею.)* Тут такой браслет... И так говорит... *(Педерастически акая.)* «Как вы уже утомили, продавцы полосатых палочек!»

В зале сдержанный смех.

Или вот еще. Но он с выражениями, ничего?

ГОЛОСА. Ничего!

ДРУГОЙ ИЗ ЗАЛА *(завладев общим вниманием)*. Ну ладно.

Короче, стоит Пугин. Как этот, этот... витязь на распутье, во! Суриков.

ГОЛОС ИЗ ЗАЛА. Васнецов.

ДРУГОЙ ИЗ ЗАЛА. Ну, один хрен. Стоит на распутье.

На камне надпись: налево пойдешь — звездюлей получишь. Направо пойдешь — звездюлей получишь. Прямо пойдешь — звездюлей получишь. Он стоит, значит, репу чешет. И тут сзади голос: «Хрен ли ты стоишь, сейчас звездюлей получишь!» Дошло?

В зале смех, аплодисменты.

ЖЕНЩИНА С ДЕВОЧКОЙ *(идя по проходу)*. Послушайте!

Ну что это такое? Что вы смеетесь? Это же хулиганство и больше ничего! Нечего смеяться-то, нечего! Посмотрите на себя! *(Водружает девочку на сцену.)* Пусть вам лучше Катенька стихи почитает. Катенька давно хотела на большую сцену. Катенька, ты же хотела на сцену?

Девочка кивает.

А звучит тут как хорошо! Ты еще никогда в таком зале не читала. Ну, давай. Только с выражением. Стихи помнишь?

ДЕВОЧКА *(некоторое время помолчав, оправляя платьице, глотая слюну)*. На солнце темный лес зардел...

ИЗ ЗАЛА. Громче!

ДЕВОЧКА *(громче)*. На солнце темный лес зардел... *(Далее читает все громче, постепенно обретая уверенность.)*

В долине пар белеет пухлый, и песню раннюю за-

пел в долине жаворонок тухлый. (*Прыскает, сгибается пополам.*)

ЖЕНЩИНА С ДЕВОЧКОЙ. Катя! Как не стыдно! (*К залу.*) Это они в классе с подружками так сочинили, чтобы легче запоминалось. Катенька, прочти как надо!

ДЕВОЧКА (*с выражением скуки и снисходительности*). На солнце темный лес зардел в долине пар белеет тонкий и песню раннюю запел в долине жаворонок звонкий. Он голосисто с вышины поет на солнышке сверкая весна!!! пришла к нам молодая я здесь пою приход весны, всё. Написал Жуковский.

ДРУГОЙ ИЗ ЗАЛА. Молодец! (*Дает ей конфету. К артистам.*) Поняли? (*К девочке.*) Еще можешь что-нибудь? Страшилки знаешь? Пара влюбленных лежала во ржи...

НАТАЛЬЯ. Слушайте, ну мы или играем сегодня, или нет. Если играем, то хватит время тратить на всякое идиотство, и давайте дальше. А если не играем, то надо расходиться. Я не могу себе позволить здесь до полуночи столбом стоять и слушать самодеятельность, у меня дома ребенок больной.

ЕЛЕНА. У всех ребенок.

НАТАЛЬЯ (*злобно*). У всех бабушки! А я няне плачу два с половиной доллара в час, а здесь сказать сколько за спектакль получаю?

АРКАДИЙ. Ну скажи, а то мы не знаем.

НАТАЛЬЯ. За то, что кикимору эту играю: я сорока! я сорока! (*Поет.*) Я ворона, я корова! Господи Боже мой, тридцать четыре года, ни одной человеческой роли, ребенок вечно болеет, ни счастья, ни времени, ни денег... блядь...

АРКАДИЙ (*ехидно*). Так мы играем или нет?

НАТАЛЬЯ. Будто ты сам не видишь. Ладно, делать тут все равно нечего, так что пойду я домой. Лен, мы когда теперь «Горе» репетируем?

ЕЛЕНА. Всю жизнь. Репетируем, репетируем, а когда приходит горе, все равно никто не готов.

НАТАЛЬЯ. Лен, выйди уже из печального образа, да? Перед кем ты выделяешься, я вообще не пони-

маю? Если перед ними, то им и без нас очень хорошо. *(Спрыгивает со сцены, уходит через зал.)*

АРКАДИЙ. Осинина! Оси-ни-на! Вернись! *(Сквозь зубы.)*

Истеричка. Если ты артистка, то держи себя в руках. А если ты посудомойка, то и нечего занимать чужое место.

ПАВЕЛ *(временно возвращаясь к тексту)*. Скажите, Аркадий... Ведь даже птицы небесные и те живут по законам взаимопомощи, как доказал князь Кропоткин. А вы говорите, что нет идеалов. Да ежели нет идеалов, то я могу и в морду!

АРКАДИЙ. Но-но, поосторожнее! Вы не с лакеем говорите, молодой человек!

ПАВЕЛ. Я не так буду говорить с лакеем! Лакей прост, да! Лакей груб! Но у лакея есть своя мораль, а вы, который при всех режимах прекрасно себя чувствует...

АРКАДИЙ. Что ты несешь? Какие режимы? Ты пьян, что ли?

ПАВЕЛ *(распалаясь)*. Я покажу сейчас кому-то, кто тут пьян! От автора в пьесе «Целина»! Вот тебе от автора!

Дает Аркадию здорового пинка,
тот уворачивается.

Вот тебе ресторан «Вкус сцены»! Вот тебе киноэпопея «Шайка неразлучных»!

АРКАДИЙ *(уклоняясь от ударов)*. Паша, если я тебя один раз ударю...

ПАВЕЛ *(гонясь за ним)*. Ты жопу подбери, герой-любовник! У тебя жопа свисает очень сильно!

АРКАДИЙ *(защищаясь)*. Я предупреждал тебя? Все слышали — я его предупреждал!

Резко и коротко бьет Павла в челюсть и в корпус.
Тот никнет.

Е.С. Прекратите! Прекратите, слышите! Вы забыли, где вы находитесь?

АРКАДИЙ. Господи, да в храме я нахожусь, в храме! Где истерички в климаксе бегут на паперть, благород-

ного уroda бьют в алтаре, а старые дуры, которых терпят в труппе из милости... потому что отец-основатель ценил их талант у себя в кабинете на полу...

Е.С. (*визгливо, без всякого мхатовского прононса*). Замолчите! Замолчите!

ГОЛОС ИЗ ЗАЛА. Деньги назад!

ДРУГОЙ ИЗ ЗАЛА (*все еще стоит на авансцене*). Да вы че? Да это лучше любого спектакля!

МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК (*пробираясь к сцене*). Пусти ты! Я что хочу спросить: все подстроено, да? У вас тут первый такой... непредусмотренный?

ЕЛЕНА. А вдруг вы и есть самый предусмотренный? Откуда нам знать...

МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК (*с интонациями восторженного провинциала*). Я нет, я что вы! Я вот! У меня билеты в ночь, я в Питер еду! (*Показывает билеты.*) Мне просто интересно: правда это все... вышло из-под контроля... или это у вас типа хэппенинг, я не знаю? Инсталляция или это... (*Теряется.*)

ДОКТОР. Ну конечно, инсталляция. Мы шутили. Это пьеса такая. Все предусмотрено. Мы же артисты, понимаете, молодой человек? У нас ни слова от себя, все по роли. Отвлекаюсь в первый и последний раз. Хотите, скажу, что дальше будет?

МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК. Ну? Я думаю, все друг друга убивают, в смысле Аркаша и Паша, а потом окажется, что вот вы... (*Показывает на Елизавету Сергеевну.*) ...их общая мать. Угадал?

Е.С. Угадал. Я их сейчас узнаю по родимому пятну. Аркаша! Паша! Мальчики мои ненаглядные! Ваш отец Луис Альберто был бы так счастлив...

МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК (*конфузясь*). Не, ну серьезно?

ДОКТОР. Совершенно серьезно. Этой же ночью Аркашу найдут мертвым, потому что он Наташу соблазнил и Пашу обидел. Лена убежит со мной и станет помогать бедным.

МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК (*указывая на Е.С.*). А эта? В смысле вы?

Е.С. Ну при чем тут старая калоша? Я поживу, поживу... потом случатся беспорядки... меня убьют, наверное, или я успею бежать... Какая разница. Тут не я главная, а Лена.

МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК. А Лена что?

ЕЛЕНА. А Елена никого не лю-любит... никого-никого... Елену любит хороший мальчик. Хороший мальчик с золотистыми глазами навывкате. Он знает, как жить, он такой прекра-асный... такой осмы-ысленный... Но Елена его совершенно не любит, нет. Она только все думает, как ему об этом сказать, но не решается. Она хочет сказать ему: милый мальчик, почему ты думаешь, мой маленький, что это такое уж мужчинство — все время решать за меня? Ты думаешь, ты лучше меня все понимаешь? Да ничего ты не понимаешь, ты еще не знаешь, как скучно может быть с женщиной. Ни с одной женщиной не бывает так скучно, как с женщиной. Понимаешь? А ты все таскаешься за мной и таскаешься, и сейчас тоже сидишь в восьмом ряду, имея при себе букет. Успокойся, милый мальчик, я не люблю тебя, и не люблю никого, а больше всего не люблю эту пьесу. Если бы автор показался, я бы ему выцарапала его большие золотистые глаза-а-а...

ГОЛОСА ИЗ ЗАЛА. Где она сказала? В восьмом ряду? Точно, с букетом! Да нет, он старый... Эй, в восьмом ряду! У вас мальчики есть?

На сцену поднимается молодой человек с букетом.
Это Друг Елены.

ДРУГ ЕЛЕНЫ. Лена! Я очень давно ждал этого дня.
(Вручает букет Е.С.)

Е.С. Голубчик, я, право, польщена, но я же еще толком ничего...

ДРУГ ЕЛЕНЫ. Что вы, что вы. Мне ваша роль гораздо больше нравится. (Елене, с театральным пародийным пафосом.) Лена, спасибо тебе, солнце мое. Честное слово. По крайней мере, так ты выглядишь гораздо лучше. Если бы я первый тебе ска-

зал, до какой степени все это невыносимо, я бы себя чувствовал полной свиньей. Лена, прошли времена, когда неумение себя вести казалось мне признаком высокой души. Солнце мое, есть порода женщин, которые уверены: если мужик при виде их делает стойку, значит, они умнее мужика. Сильнее мужика. Ты говоришь о скуке, — Боже мой, как скучно с женщиной, которая сама всех презирает со дня рождения, и только за то, что ее иногда хотят! Лена, ангел мой, оставайся с этим, будь такой всегда, не меняйся как можно дольше! Тогда, может быть, все вокруг тебя постепенно поймут, что ты такое. И ты останешься в том идеальном вакууме, который так тебе желателен. Но вот насчет знания, чего я хочу, — это мимо, девочка моя, это абсолютно мимо! Я знаю только, чего я не хочу, но у меня никогда не хватает духу сказать об этом, и я всю жизнь только и делаю — давлюсь и ем, давлюсь и ем... Господи, мне иногда кажется, что меня вообще здесь нет — до такой степени здесь все не так, как я хочу. Включая вашу пьесу. Но поскольку я совершенно не переношу вечернего сидения в пустой квартире, я и это стерплю. *(Идет в зал, садится на свое место.)*

ДРУГОЙ ИЗ ЗАЛА. Или вот еще, я вспомнил. Баба приходит к врачу. Доктор, я это... не чувствую ничего... Ну, раз не чувствуешь, то давай ложись. Отжарил ее, потом заходит другой. В белом халате, да. Тоже отжарил. Потом третий. Короче, пятерых пропустила — ой, говорит, я не могу, так хорошо, спасибо, доктор. А я не доктор. А тогда кто вы? А мы бригада маляров. *(Ждет смеха, смеха нет.)*

РЕШИТЕЛЬНЫЙ. Ладно, пока вы тут будете выяснять отношения и рассказывать бородастые анекдоты, — телевизор где-нибудь есть?

ЕЛЕНА. Нет, это пьеса из начала века.

РЕШИТЕЛЬНЫЙ. Но вообще в театре есть?

ЕЛЕНА. Вообще есть, на служебном входе. Это туда-а-а... *(Показывает за сцену.)*

РЕШИТЕЛЬНЫЙ. Я сейчас принесу. Хоть футбол посмотрим. Сейчас по РТР, после «Вестей»... (*Уходит за кулисы.*)

ЕЛЕНА. А без четверти девять будут «Спокойной ночи, малыши». И мы отдохнем... мы отдохнем... (*Зевает.*)

ЖЕНЩИНА С ДЕВОЧКОЙ (*на ступеньках*). Тут дети в зале, между прочим! Почему вы порядок не можете навести элементарный? Где постановщик вообще?

ГОЛОС ИЗ ЗАЛА. Какой постановщик, вы не видите — они импровизируют.

ПОСТАНОВЩИК (*мужчина лет 30, в очках*). Нет, я выйду, выйду. Вы порядок хотите? Сейчас будет порядок. Только у меня есть одно — я не знаю, условие, просьба... Вот этот пусть тоже выйдет. Третий ряд партера, шестое место. Вы, вы. Не оглядывайтесь, Куздрин, имейте мужество. Я знаю, вы всегда там сидите. Я уже думал вам кнопку подложить или мешочек со смехом.

ПАВЕЛ. А вот еще на Арбате подушки-пердушки продаются...

ПОСТАНОВЩИК (*в зал*). Товарищи, это Куздрин там сидит. Да, фамилия такая. Если кому интересно, послезавтра в «Общей газете» вы можете прочесть его отчет о нашем скромном собрании. Кто хочет быть облитым помоями, спешите отметить. Совершенно бесплатно. Ну идите сюда, Куздрин. Я не буду вас бить. Другого раза не представится. Господа, смертельный номер: критик на сцене. Кто сунет голову ему в пасть — лично плачу два своих месячных оклада. Он всегда лучше меня знает, что делать. Ну чего вы? Аркаша, Паша, приведите его. Два персонажа в поисках критика.

КУЗДРИН (*с места*). Такой кустарщины у вас еще не было.

ПОСТАНОВЩИК. Ну вот и идите, покажите, что вы умеете. Вот вам поле... (*Широкий жест рукой.*)
Валяйте, делайте! А я посмотрю.

КУЗДРИН. Старо.

ПОСТАНОВЩИК. Слабо! Трус! Выйди на сцену, покажись людям! Не можешь? Так и скажи: так и так, дрожь в коленях, диарея натуралис!

Куздрин пожимает плечами, встает и пробирается на сцену. Это невысокий, худощавый человек, ровесник Постановщика. Ходит в накинугтом на плечи пиджаке, сильно сутулясь.

КУЗДРИН. Теперь все точно подумают, что это пьеса... подстава...

ПОСТАНОВЩИК (*не слушая его*). Вот, вот, отлично! Давайте на сцену! Покажите себя! Почитаем стихи — вы знаете какие-нибудь стихи наизусть? Или вы только по бумажке можете? Давайте, давайте сюда... моль с жалом! Песенку споете, басню...

КУЗДРИН. Знаете, все это такая импотенция, что вас и мое присутствие не спасет.

ПОСТАНОВЩИК (*распалаясь*). Импотенция, да? А вы знаете, что я вот эту вашу статью (*достает из кармана вырезку*) ношу с собой как талисман, потому что хуже этого со мной ничего уже не случится? Вы знаете, что после ваших статей в газете «Сегодня», мир ее праху, людям не то что работать — имжить не хотелось! Вы же так самоутверждаетесь, Куздрин, потому что сами ничего не можете! Вам понятно? Кто вы такой, вообще? Каково ваше право — без разбора, без аргументации... просто тыкать пальцем и издеваться? Что это за тон вы себе взяли? Такого не было даже в постановлении о «Великой дружбе», если вы вообще помните, что это такое.

Куздрин молчит, скрестив руки на груди, с выражением крайнего высокомерия и долготерпения.

А я вам скажу, кто вы такой! Вы несостоявшийся режиссер, трижды не принятый в ЛГИТМИК. Правильно? Слава Богу, у меня в Питере приятель, он с вами поступал. Теперь из-за таких, как вы, работает менеджером. Он мне рассказывал, как вы там в коридорах разглагольствовали о своем виде-

нии Беккета, а потом говорили, что вас не приняли из-за фамилии. Вообще верно — ничего себе фамилия для режиссера... Но, может, вы правда талант? Может, в вашем лице мы просмотрели гения? Давайте! Вот вам сцена, вот вам актеры — ставьте, импровизируйте! Хотите, «Гамлета» сыграем? Ну, бросьте же свои проклятые ужимки и начинайте: «Взывает к мщенью каркающий ворон»...

КУЗДРИН (*проводя рукой по лбу*). Бред, бред...

Возвращается Решительный с телевизором.

РЕШИТЕЛЬНЫЙ (*к Е.С.*). Розетка на сцене есть?

Е.С. (*рассеянно*). Удлинитель где-то был...

Решительный включает телевизор*.

ВЕДУЩИЙ (*после рекламы*). Дорогие друзья! Вас приветствует первый выпуск программы «Вторая рука»!

Овация за кадром.

Как вы знаете, английское «Second Hand» в переводе означает «Вторая рука». Это название сети магазинов, в которых старая, но еще добротная вещь находит своего владельца. Нечто подобное

* В эпизоде «Телевизор» исключительно важна точность хронометража. Телевизор включается ровно в восемь, чтобы попасть на «Вести» — таким образом, от начала действия должен пройти час. Во время просмотра «Вестей», продолжающегося минут пять-семь, актеры и публика комментируют новости, связанные с предвыборной гонкой, проблемами на местах, курсом валюты и пр. Этот комментарий всецело на совести актеров: он импровизируется по ходу, поскольку «Вести» должны быть самые настоящие. Комментарий по возможности язвительен, с пердразниваниями диктора, возможно, что и с матом, в особенности когда речь пойдет о курсе доллара; должна быть полная иллюзия кухонного времяпрепровождения. Через некоторое время Решительному надоедает, и он переключает на другой канал. Это — канал, зарезервированный под видео, и на нем начинает крутиться видеокассета. Технически это трудно, но вполне возможно. Главное, чтобы актер-Решительный точно попадал своими репликами в паузы, оставленные на видеокассете. Телеведущий возможен любой: Новоженев, Ширвиндт-мл., Пельш — с кем договорится театр.

этим магазинам решили открыть сегодня и мы. Правда, речь пойдет не только о вещах, но и о домашних животных, и даже о людях!

Музыкальная заставка.

РЕШИТЕЛЬНЫЙ. Я переключаю на футбол.

ДОКТОР (*останавливая его*). Подождите, интересно.

РЕШИТЕЛЬНЫЙ (*в зал*). Кто за футбол?

ДОКТОР (*в зал*). Подождите, товарищи. Мы минут пять посмотрим это, а потом футбол, ладно?

ВЕДУЩИЙ. Но начнем мы, по традиции, с вещей. Дети, как известно, имеют тенденцию не только пачкать пеленки, орать и изводить своих родителей, но и, к счастью, подрастать. Правда, маленькие дети — маленькие хлопоты, а большие дети... сами понимаете! Но вот семья Измайловых из Москвы предлагает нам очень приличные ходунки, розовую детскую ванну... (*Показывает все это.*) И... набор использованных памперсов! Шучу! Стоит вся эта радость сто пятьдесят рублей, таких цен сейчас нет. А получит первый, кто позвонит к нам в студию, телефон вы видите у себя на экранах. Ну что? Есть ли у нас звоночки? Отличные ходунки, сам бы в таких ходил и хо...

Звонит телефон.

А вот и первый звонок. Здравствуйте.

РОБКИЙ ЖЕНСКИЙ ГОЛОС. Здравствуйте.

Пауза.

ВЕДУЩИЙ. Ну что же вы молчите? Вы ходунки хотите?

РОБКАЯ. Да, если можно.

ВЕДУЩИЙ. А ванночку?

РОБКАЯ. Да у нас вообще-то есть...

ВЕДУЩИЙ. Возьмите, отличная ванночка и почти что даром!

РОБКАЯ. Ну давайте, у меня подруга скоро родит.

ВЕДУЩИЙ (*сороговоркой*). Надо же, в наше время еще рожают кого-то. Хорошо, вас как зовут и где вы живете?

РОБКАЯ. Света. Живу в Москве, улица Летчика Бабушкина, дом...

ВЕДУЩИЙ. Адрес вы оставьте оператору, итак, Света из Москвы получает чудные ходунки и ванночку, кто смел, тот, как говорится, съел. Ха-ха-ха. Когда вы звоните к нам в студию, говорите, пожалуйста, побыстрее, а то мы с вами растеряем все эфирное время.

Е.С. *(гневно)*. Невелика потеря.

ВЕДУЩИЙ. Наш следующий лот сидит здесь у меня под столом и ждет не дожидается своей очереди. К сожалению, в наше тяжелое время многим становится все труднее прокормить своих питомцев. Но мы верим, что мир, как говорится, не без добрых людей. Вот этот прелестный песик... Джск... сюда... *(Похлопывает рукой по столу, туда вспрыгивает толстый кокер-спаниель.)* Вот видите, какой... Его зовут Джек, и он остается без хозяина, который уезжает на заработки за рубеж. Это очень породистая собака с огромной родословной, но за нее просят всего триста рублей. Это совсем недорого, правда, Джек? Джек, голос!

Собака лает, звонит телефон.

ГРОМКИЙ ДЕТСКИЙ ГОЛОС В ЗАЛЕ. Мама, давай возьмем собачку! У тебя же есть триста рублей!

Негодующий женский шепот.

ВЕДУЩИЙ. А вот у нас уже и звоночки. Алё, вы в эфире!

ВОЗМУЩЕННАЯ СТАРУШКА. Здравствуйте, меня зовут Валентина Степановна. Это безобразие, я считаю, что хозяин свое животное продает. Потому что, я так думаю, друзей нельзя продавать, а особенно собак, а то что же это...

ВЕДУЩИЙ. Простите, я уважаю ваше мнение, но так Джек останется совсем без хозяина. Есть еще звонки?

ВТОРАЯ СТАРУШКА. Здравствуйте, я хочу сказать, дай Бог здоровья и счастья всей вашей передаче, мы с мужем всегда ее будем смотреть...

ВЕДУЩИЙ. Простите, вы хотите взять собаку?

ВТОРАЯ СТАРУШКА. Да, мы с мужем посоветовались и решили, что хотя триста рублей — это очень много, больше полпенсии, но нельзя же вот так с собакой обращаться, да и внуки у нас...

ВЕДУЩИЙ. Спасибо, как вас зовут и где вы живете?

ВТОРАЯ СТАРУШКА. Зовут меня Попова Ольга Федоровна, а мужа Николай Алексеевич, мы из Зеленограда звоним. В Москве у нас внуки Катя и Сережа...

ВЕДУЩИЙ. Наш бесхозный... наш бывший бесхозный Джек уезжает в Зеленоград к Ольге Федоровне Поповой с мужем и внуками!

ВТОРАЯ СТАРУШКА. Да нет, внуки... *(Отключается.)*

ВЕДУЩИЙ. А у нас на очереди третий лот, и он опять довольно-таки необычный.

Входит девушка.

Это Олеся, от которой ушел любимый человек. Олеся считает, что она никому не нужна, но я думаю, мы с вами докажем ей, что чужого горя не бывает и у нас на Родине лишних нет. Давай, Олеся.

ОЛЕСЯ *(заученно)*. Когда меня бросил Игорь, я изверилась в людях и в любви. Мне кажется, что всем до меня нет дела. Потому что все всегда заняты только собой, и если кому-то больно... если... если кому-то плохо... *(Начинает плакать, отворачивается в сторону, всхлипывает.)* Извините... *(Плачет.)*

ВЕДУЩИЙ. Боже мой, прямо сердце разрывается. Неужели не найдется среди наших телезрителей доброй души? А! Звонок! Я всегда говорил, что нашу передачу смотрят добрые люди!

В это время Решительный начинает метаться по залу с вопросом «У кого есть мобильный телефон?». Пока ведущий беседует с позвонившим, Решительный находит телефон у кого-то среди публики, просит разрешения позвонить, дозванивается в студию и некоторое время беседует с оператором одновременно с репликами в телевизоре; затем его звонок выводят в эфир.

ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНЫЙ МУЖСКОЙ ГОЛОС. Алло! Здравствуйте! Я хотел бы сказать Олесе, что не надо отчаиваться! Потому что, я вижу, она же еще очень молодая, а в молодости мы всегда склонны все преувеличивать. Это, конечно, неприятно, что ваш Игорь ушел, но раз ушел, значит, подлец и вообще вас не любил. А тогда вы, Олеся, сами подумайте, зачем он вам нужен.

ВЕДУЩИЙ. Спасибо, так, значит, вы приедете за Олесей? **ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНЫЙ** (*замявшись*). Нет, у меня тут жена... болеет... Я просто позвонил, хотел сказать Олесе, что не все потеряно, она же молодая, красивая девушка...

ВЕДУЩИЙ. Спасибо. Еще звонки есть?

За кадром всхлипы.

Решительный, который до сих пор говорил с оператором («Здравствуйте. Да, я по поводу вот этой девушки... да... да... жду...») выходит в эфир. Его голос начинает одновременно звучать со сцены и с экрана, то есть актер должен говорить одновременно с видеозаписью.

РЕШИТЕЛЬНЫЙ (*растерявшись от неожиданности, орет*). Алло! Здравствуйте! Олеся! Вы не слушайте никого и приезжайте!

ВЕДУЩИЙ. Может, это вы приедете?

РЕШИТЕЛЬНЫЙ. Я не могу! Я сейчас в театре! Здесь интересно! Мы тут все ее ждем! Олеся, приезжайте, меня Саша зовут. (*Объясняет, что за театр и как проехать.*) Прямо на сцену сразу проходите, спросите, где тут Саша!

ОЛЕСЯ (*жалобно*). Меня не пропустят.

РЕШИТЕЛЬНЫЙ. Пропустят!

ОЛЕСЯ (*недоверчиво*). Ага...

РЕШИТЕЛЬНЫЙ. Я скажу — пропустят. Вы к служебному входу подходите, там вахтер сидит, скажите, что вы к Саше, и идите прям на сцену!

АРКАДИЙ (*рассерженно, большими шагами подходит к телевизору и демонстративно его выключает*). Все, хватит с меня этого цирка, давайте занавес и будем разбираться без зрителей. Они пятнадцать минут

погуляют, в буфете потолкаются, а мы тут пока все решим и либо доиграем им эту бодрягу, либо деньги вернем.

ПОСТАНОВЩИК (*иронически*). Разумно.

АРКАДИЙ. Занавес давайте!

Занавес идет, застревает. В зале темно.

КУЗДРИН (*спускаясь со сцены*). Дайте свет в зал! И занавес у вас заело.

ЕЛЕНА (*выглядывая из-за занавеса в зал*). Сходите в буфет, там коньяк есть. И прекрасные эклеры.

ДЕТСКИЙ ГОЛОС ИЗ ЗАЛА. А мороженое есть?

АРКАДИЙ. Там все есть! Антракт!

Дергает занавес, он закрывается, в зале включается свет.

ДЕТСКИЙ ГОЛОС. Мам, а если у тети на голове парик, это потому, что она лысая?

Полная видимость антракта. Зрители встают, направляются к дверям, но у каждого выхода стоят по два охранника в камуфляжной форме и вежливо, но непреклонно не дают выйти: «Приказано не выпускать. Ничего не знаем. Вернитесь на свое место, пожалуйста». Публика возмущается.

ДРУГОЙ ИЗ ЗАЛА. Етит твою, что за фигня?! (*Поднимается на сцену, скрывается за занавесом, оттуда слышен его крик.*) Эй! Ты тут, что ли, главный? Там мужики стоят, никого не выпускают.

ПОСТАНОВЩИК (*из-за занавеса*). Какие еще мужики?

ДРУГОЙ ИЗ ЗАЛА. А я знаю?! Твой театр или чей? Лбы стоят в камуфляже, выходы охраняют. Ты шел бы с ними разобраться, а?

ПОСТАНОВЩИК. Это недоразумение какое-то, я не знаю... (*Сбегает в зал и кричит публике, направляясь к выходу.*) Подождите, пожалуйста, мы сейчас выясним.

ДРУГОЙ ИЗ ЗАЛА. Раз все равно сидим, я вот еще вспомнил. Поставил мужик себе на свой «Запор» мотор от шестисотого...

ДЕВУШКА С ПРИКЛЕЕННОЙ УЛЫБКОЙ. Извините, пожалуйста, можно, я скажу...

ДРУГОЙ ИЗ ЗАЛА. Дай рассказать-то!

ГОЛОС ИЗ ЗАЛА. Да вы и так весь вечер на манеже, пусть девушка скажет.

ДЕВУШКА. Сейчас в мире очень много зла, грязи и распущенности, и особенно молодежи сейчас угрожает опасность, потому что кругом наркотики и разврат, и поэтому мы у себя в Церкви Любви собираем пожертвования на нашу программу «Молодежь за семью, здоровую любовь и против наркотиков». Если вы не хотите, чтобы ваши близкие попали в плен ко злу этого мира, то от вас зависит им помочь. Вы можете сделать пожертвования или приобрести вот эти наклейки, средства от которой продажи... от продажи которых пойдут в фонд нашей программы. А каждое воскресенье в одиннадцать часов в Доме культуры...

КУЗДРИН. Барышня, религиозная пропаганда в общественных местах у нас запрещена законом. Сойдите со сцены.

ПОСТАНОВЩИК (*возвращаясь, залу*). Простите за недоразумение. Дело в том, что у нас сейчас часть театра отдана в аренду частному предприятию, а они проводят у нас в фойе свою презентацию. Они должны были закончить десять минут назад, а наш антракт по пьесе еще через четверть часа, так что просто накладку получила. Сейчас нас уже выпускают. (*Кричит через зал охраннику.*) Ну что, можно?

ОХРАННИК (*нехотя*). Можно, можно...

ПОСТАНОВЩИК. Антракт. Приносим вам свои извинения и ждем через пятнадцать минут.

В антракте все идет как надо, если не считать того, что все фойе забросано пустыми пластиковыми стаканами и тарелками, а прямо в буфете два мента повязывают Другого из зала, который, как выясняется, пьян в дупелину. Его уводят через фойе у всех на глазах. В туалетах взимается плата: это нововведение.

Часть вторая

Пока все собираются, а занавес еще не открылся,
на авансцену выходит Молодой человек.

МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК. Господа, если пока все равно не начинается и у нас тут так непринужденно, можно, я свою песенку спою? Вы пока рассаживайтесь. Песенка называется «Смерть Центона».

ГОЛОС ИЗ ЗАЛА. Кого?

МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК. Центона. Это был такой древнегреческий герой. *(Садится за рояль, поет на мотив «Катюши».)*

Выхожу один я на дорогу,
Сквозь туман кремнистый путь блестит.
Ночь тиха, пустыня внемлет Богу,
И звезда с звездою говорит.

Так забудь же про свою тревогу,
Не грусти так шибко обо мне,
Не ходи так часто на дорогу
В старомодном ветхом шушуне.

Выхожу я в путь, открытый взорам,
Ветер гнет упругие кусты,
Битый камень лег по косогорам,
Желтой глины скудные пласты.

Широка страна моя родная,
Много в ней лесов, полей и рек.

Я другой такой страны не знаю,
Где так вольно дышит человек.

Я люблю твой замысел упрямый
И играть согласен эту роль,
Но сейчас идет другая драма,
И на этот раз меня уволь.

Если все живое лишь помарка,
За короткий выморочный день
На подвижной лестнице Ламарка
Я займу последнюю ступень.

Праздник жизни — молодости годы —
Я сгубил под тяжестью труда
И поэтом — баловнем свободы,
Другом лени — не был никогда.

Я теперь скуперее стал в желаньях.
Жизнь моя, иль ты приснилась мне?
Словно я весенней гулкой ранью
Проскакал на розовом коне.

Мишка, Мишка, где твоя улыбка,
Полная задора и огня?
Самая нелепая ошибка —
То, что ты уходишь от меня.

Я простая девка на баштане,
Он рыбак, веселый человек.
Тонет белый парус на лимане.
Много видел он морей и рек.

Пусть он вспомнит девушку простую,
Пусть услышит, как она поет,
Пусть он землю бережет родную,
А любовь Катюша бережет.

Откланивается и под жидкие аплодисменты уходит.
На сцене Елизавета Сергеевна и Доктор.

Е.С. (*пороли*). Нынче осень ранняя выдалась. Ранняя, да
холодная. Рябины много. Говорят, рябина к холо-
дам.

ДОКТОР. Да мало ли пустяков болтают, Елизавета Сергеевна. У нашего народа все к чему-нибудь. Нос чешется — к пьянке, соль просыпал — к ссоре, паук в углу сидит тоже не просто так, а к чему-нибудь. Всякое событие оказывается не пустяк, а глубинного смысла исполнено. Вот этот стакан здесь знаете к чему стоит?

Е.С. Не знаю, доктор. К чему?

ДОКТОР *(не меняя тона, как будто и не выходя из роли)*.

Да к тому, что я вот уже целую минуту чувшь порю, чтобы протянуть подольше и обойтись без глупой паузы, потому что Аркадий должен был выйти сразу после паука, а не выходит.

Е.С. *(так же спокойно и неторопливо, якобы тоже оставаясь в роли)*. Так что же вы думаете — не выйдет?

ДОКТОР. Думаю, что не выйдет, поскольку здесь уже почти два часа черт-те что творится, а мы с вами, кажется, остались единственно здравомыслящие люди. Позвольте ручку. *(Целует ей руку.)*

Е.С. Так, значит, нам и доигрывать?

ДОКТОР. Сложновато, матушка Елизавета Сергеевна. Нас два старых дурака на возрастных ролях, мы с вами секстета не вытянем. Вот разве стариной тряхнуть, как помните, бывало, по всему Союзу на гастролях...

Е.С. Да уж поездили... Помните, в Алма-Ате Кондаков абрикосами объелся, ему на выход, а он, простите, из уборной выбраться не может...

Оба смеются, но вдруг осекаются.

ДОКТОР и Е.С. *(вместе)*. И где теперь Кондаков... И где теперь Алма-Ата... *(Переглянувшись, со смехом, хором.)*
И где теперь абрикосы...

Е.С. Скetch я сейчас, пожалуй, и не вспомню... А вот спеть можно попробовать, как тогда, дуэтом... Жалко, гитары нет...

ДОКТОР. Ничего, можно а капелла, на два голоса. Как в Кулунде в тот раз, когда все перепились, а мы да Василий еще, покойник, всю программу втроем работали...

Поют романс «Белой акации гроздь душистые».
В зале начинают подпевать, Доктор дирижирует.
После второго куплета за сценой выстрел.
Доктор и Е.С. вздрагивают.

ДОКТОР (*стараясь казаться невозмутимым*). Это, должно быть, у меня там... в аптечке... склянка с эфиром.
Я пойду посмотрю.

Е.С. Нет уж, я с вами.

ДОКТОР. На сцене-то кто останется?

Е.С. Я боюсь.

КУЗДРИН (*выходя на сцену*). Не волнуйтесь, я посижу.
Хотя что тут может случиться? Разве что рояль украдут. А вы не ходите, я вам и так скажу, что это Константин застрелился. Только что-то он рано.

ДОКТОР (*в некотором оцепенении*). Какой Константин?

КУЗДРИН. Райкин. От зависти к вашему постановщику.

За сценой второй выстрел.

КУЗДРИН. Ого! Что-то он с первого раза не попал.
Контрольный выстрел.

РЕШИТЕЛЬНЫЙ (*выходя на сцену с пистонным пистолетом и стреляя*). Салют!

Он ведет за руку Олесю, которая в жизни выглядит гораздо хуже, чем по телевизору. Она меньше ростом, с лица еще не смыт телевизионный грим. На ней уличная одежда, в зависимости от времени постановки.

Приехала моя Олеся! (*Стреляет.*) Ура! Товарищи, поприветствуем Олесю!

В публике аплодисменты и свист.

ДОКТОР. Вот и чудно, вот и чудно, совет да любовь.
Садитесь, голубушка.

Е.С. Фу, какое облегчение, я думала, там и вправду случилось что...

ДОКТОР. Да, вообще спектакль такой, что я бы не удивился.

РЕШИТЕЛЬНЫЙ. Как же ты так быстро?

ОЛЕСЯ. Я на такси.

РЕШИТЕЛЬНЫЙ. Сколько, полтинник? На, вот деньги. А впрочем, какие деньги, — у нас же теперь общий бюджет.

Е.С. Скажите, пожалуйста! И кто теперь поверит, что не бывает любви с первого взгляда! Только вы мне, старухе, признайтесь честно: это у вас-то постановка или нет?

РЕШИТЕЛЬНЫЙ. А у вас?

ДОКТОР. Это вы вот у кого спросите. (*Кивает на Куздрину.*)

КУЗДРИН (*кисло*). Какая разница? Если больной умер, кого волнует, икал он перед смертью или нет?

РЕШИТЕЛЬНЫЙ. Но у нас это точно никакая не постановка. Мы теперь будем вместе до гроба, я так думаю. Верно, Олеся?

ОЛЕСЯ (*скучно*). Не знаю.

РЕШИТЕЛЬНЫЙ (*потрясен*). То есть как не знаешь? Ты же туда пошла...

ОЛЕСЯ. Ну, пошла. Я попробовать хотела. Понимаете... вас, кстати, как зовут?

РЕШИТЕЛЬНЫЙ. Коля.

ОЛЕСЯ. Понимаете, Коля... Мне, когда Петя ушел...

РЕШИТЕЛЬНЫЙ. Он же Игорь!

ОЛЕСЯ. Это я сказала, что он Игорь. Чтобы он, не дай Бог, не подумал, будто я из-за него. Пусть думает, что он был не один. Короче, когда ушел Игорь... мне вообще было непонятно, зачем вот я ем, пью, сплю... Говорят, актеру или там, я не знаю, вообще творческому человеку... ему легче. То есть вот с ним случилась такая гадость, он помучился-помучился — и сделал это материалом для роли. Или стихи написал. То есть никогда не может так случиться, чтобы жизнь потеряла смысл. Всегда еще что-то остается, ясно, да?

Е.С. (*глядя ее по руке старомодным, покровительственным жестом*). Деточка, это очень лестно, но вы сильно преувеличиваете. Мы и в магазин ходим, как все, и любимых теряем, как все. И уверяю вас, когда меня оставил Илья Аполлинариевич, этот опыт мне ничуть не помогал играть... (*Пауза.*) ...в «Стряпуче»...

ОЛЕСЯ. Ну не знаю. Значит, всем плохо, это еще хуже. *(Усмехается.)* Ну вот, а я студентка, мне выпускаться, пятый курс, работы нет, халтуры нет, в Москве не зацепилась... Диплом надо писать, а какой мне в таком состоянии диплом? Мать пишет, — у меня мать в Ижевске, — что зарплату не платят пятый месяц и нет денег на почтовые марки. Не подумайте только, что я с Петей за прописку, за квартиру, — Петя сам из Екатеринбурга и вообще голь перекатная. Но как-то я думала, что обживемся... Он, знаете, — вот вы не поверите, и я сама сейчас не верю, но мне доставляло удовольствие стирать его носки.

РЕШИТЕЛЬНЫЙ. Этого удовольствия я тебе гарантирую навалом.

ОЛЕСЯ. Это у вас так глупо получилось, что я даже не буду отвечать. Потому что вы меня купили, и теперь я, конечно, буду слушать все, что вы скажете.

Е.С. Вы продолжайте, деточка...

ОЛЕСЯ. Ну и вот. И что самое ужасное, он ушел не к кому-то, а просто так. Он сказал, что от меня исходит дискомфорт, а ему надо покоя. Я так старалась, чтобы был уют! И когда мы еще снимали вместе эту комнату, я там всякие развешивала идиотские картинки, какие-то крымские камушки, — я сейчас, как вы понимаете, буду реветь, но это ничего.

ДОКТОР. Вообще вам не нужно себя растравлять.

КУЗДРИН. Это очень вредно и в геморроидальном отношении.

Доктор с ненавистью смотрит на Куздрину.

ОЛЕСЯ. Вот. И я тогда подумала, что могу сделать со своей жизнью что угодно. А тут на факультете вывесили эту объяву, про «Вторую руку», — и я пошла. Они мне заплатили довольно прилично, только мне теперь деньги все равно не так нужны. Я уже ту квартиру не могу снимать, потому что не могу ее видеть.

КУЗДРИН. Господи, как дешево...

ДОКТОР (*недослышав*). Что дешево?

КУЗДРИН. Все дешево! Если вы устраиваете тут игры в интерактивность, в контакт с залом — пусть, ради Бога, это все было триста тридцать раз, в Париже было, в Америке было, два раза у Брука было, — пожалуйста! Не можете ничего придумать, расписываетесь в собственном бессилии — очень хорошо, в своем роде даже показательно! Это, конечно, все равно что вместо рецепта бесконечно переписывать диагноз, но мы с удовольствием посмотрим и этот ваш... анализ мочи. Но когда у вас посреди этой лажи начинается претензия на чувства — это катастрофа, понимаете? Причем этическая, а не эстетическая! (*К Олесе.*) Как вы, вы согласились это играть? Я же видел вас на третьем курсе Щукинского в «Клитемнестре», это было почти прилично!

ОЛЕСЯ. Вы не могли меня там видеть, я учусь в МИСИСе...

КУЗДРИН (*машет рукой*). А, бросьте! Вы что, не понимаете, что это суперпрофанация? Если человек берется писать или играть несчастную любовь, он либо должен это делать без пошлостей, либо вообще... (*Замолкает, собирается спуститься в зал.*)

Нечего тут делать, права была Осинина...

ПОСТАНОВЩИК (*выбегая из-за кулис*). Скотина!

КУЗДРИН (*оборачиваясь*). Смотрите-ка, живой!

ПОСТАНОВЩИК (*дает Куздрину пощечину*). Это вам от всей души!

КУЗДРИН (*печально*). Это тоже уже было... (*Спускается в зал.*)

Входят Елена и Паша.

ЕЛЕНА. Аркаша не придет. Он упал и разбил себе лицо-о...

ПАША. Поскользнулся.

ПОСТАНОВЩИК (*принюхивается к Паше*). Пил?

ПАША. Никогда в жизни. (*Хохочет.*) Слушай, я придумал колоссальный ход. Раз уж мы тут все равно и дела

не делаем, и разойтись не можем, давайте, что ли, клуб знакомств организуем. А то что, стоим на сцене, трендим, трендим, толку никакого. А так хоть польза будет.

ЕЛЕНА. Глупости какие...

ПАША. Ничего не глупости, я вот, например, обожаю брачные объявления читать. Скорпион-Свинья без вэпэ ищет Собаку-Деву, жэпэ имеется. А тут живую, представляете? Есть желающие? А то я по порядку вызывать буду: первый ряд, первое место, к доске с кратким рассказом о себе, подготовиться месту второму.

На сцену выбегает Библиотекарьша.

ПАША (*удивленно*). Ой! Желающие!

БИБЛИОТЕКАРША (*нервно*). Вы меня простите, товарищи, но все-таки так нельзя. (*Паше.*) Я знакомиться ни с кем не собираюсь, я не об этом хочу сказать. Просто вы поймите, я за месяц собиралась в театр. Для меня это, может быть, единственный просвет какой-то, я библиотекарь по образованию, работаю на художественном абонементе. Сколько там платят, сами знаете, я после работы подрабатываю компьютерным набором. Но вот я все работаю, работаю, у меня уже руки отваливаются, мне как-то надо ребенка поднимать. У меня дочери девять лет, она сейчас в больнице. Вы, конечно, подумаете, — что за мать такая, у нее ребенок в больнице, а она в театр пошла, но там, во-первых, после шести все равно никого не пускают, а потом, если я буду дома сидеть и печатать и думать, что денег нет и как она там в больнице без меня, я просто с ума сойду.

Е.С. (*участливо*). А работу поменять не пробовали?

БИБЛИОТЕКАРША (*не обращая внимания*). Я же стараюсь как-то не опускаться, в театр ходить, в музеи, на выставки, и вот я прихожу в театр и думаю, что хоть на два часа я забуду про аптеки, про главврача этого, хама, про то, что у меня пробел западает... Я хочу хоть ненадолго это все оставить за две-

рю, посмотреть классику, не думать, в конце концов, что на мне надета эта юбка безобразная, потому что я ношу не то, что хочу, а то, что со студенчества еще осталось или бывшая свекровь отдала без надобности... И вот прихожу я со всем этим в театр... оплот духовности!.. храм искусства!... а вы меня берете мордой и окунаете обратно в это все: вот где твое место! Вот сиди и не вылезай! Я понимаю, у всех плохо, но должна же быть, я не знаю, какая-то профессиональная этика, порядочность, что ли... *(Спускается в зал.)*

В это время на сцену уже вышел мужчина средних лет, на вид бизнесмен.

БИЗНЕСМЕН *(библиотекарше)*. Подождите, не уходите, пожалуйста, да-да, вы, не знаю как сказать... мадам! Сударыня!

БИБЛИОТЕКАРША *(мрачно)*. Уважаемый товарищ, увтов для краткости.

БИЗНЕСМЕН. Ладно, увтов, только вы не уходите пока, я вам сказать кое-что хочу. Вы английским владеете?

БИБЛИОТЕКАРША. Госкурсы иняза в восемьдесят девятом, ну еще поступления стараюсь читать, а что?

БИЗНЕСМЕН. Секретаршу уволил, дура потому что была, мне умный человек нужен на хороший оклад.

БИБЛИОТЕКАРША. И вы думаете, вы мне рубль покажете, я сразу обрадуюсь и побегу?

БИЗНЕСМЕН *(заводясь)*. При чем тут рубль?! При чем тут рубль, я ненавижу эту нищую спесь, я вам про одно, вы мне про другое, «Интернационал» еще спойте. Про духовность мне расскажите. Я же ужас какой бездуховный, если у меня сто долларов есть. *(После паузы, неожиданно.)* А у меня вот кошка вчера умерла. И врача ей на дом вызывал, и препараты ей кололи дорогие, а она все равно... И никому ведь не скажешь, никто не поймет: солидный человек, гендиректор фирмы из-за кошки убива-

ется. А я ее вспомню — у меня, извините, чуть не слезы на глаза... Она так мучилась, ходить уже не могла... Плакала. Смешно.

КУЗДРИН (*с места*). Ну это уже вообще! У меня уже нет слов! Это уже не бездарность, а что-то запредельное, гениальное в своем роде! Скажите, а у вас не было в детстве сестры, умершей от туберкулеза?

БИЗНЕСМЕН. Слышь, ты! Забыл, как тебя! Если хочешь, пойдем сейчас со мной, кошка в багажнике лежит! Я ее ночью повезу на дачу хоронить! (*Пауза. Библиотекарше.*) Ладно, не хотите — как хотите. (*Собирается спуститься в зал.*)

Из задних рядов с трудом выбирается женщина, кричит: «Ой, возьмите котеночка, а? Хороший, воспитанный, к туалету приучен, он один остался, мы уж думали в метро идти стоять...» Подходит к Бизнесмену, он подсаживается к Библиотекарше, они о чем-то говорят втроем.

МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК. А у меня вот никакой драмы нет. У меня все хорошо. У меня работа замечательная. И деньги платят. И девушка у меня есть... красивая.

ПАША (*бурчит про себя*). Ну и хрен ли тебе еще надо?

МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК. И вообще все у меня есть. Даже квартира. Правда, в Смоленске, но там у нас тоже хорошо. Там природа очень красивая. (*Пауза.*) А все равно тошно. Так тошно, что глаза бы мои не глядели. Вот как знаете, когда с бодуна, так мерзко. И главное, все у меня хорошо, вот в чем вся дрянь-то, было бы хоть из-за чего так мучиться. Мне иногда даже хочется, страшно сказать, чтобы у меня уже, наконец, случилось что-нибудь, чтобы понятно было, отчего это такая хрень.

КУЗДРИН (*ядовито*). Очень хорошо. Давайте же, наконец, и о смысле жизни порассуждаем.

МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК (*безнадежно*). А идите вы...

ДЕВУШКА С СЕРЕЖКОЙ В НОСУ (*сердито выскакивает к сцене и кричит из прохода, на сцену не выходит*). А что вы его все время посылаете? Отвратитель-

ная привычка, между прочим, — хамить, когда нечего возразить. У нас сосед есть, алкаш такой, дядя Сережа зовут, вот он тоже так всегда — когда крыть нечем, в драку лезет.

ПАША. Нечем крыть — крой матом, не протечет.

ДРУГ ЕЛЕНЫ (*забираясь на сцену*). Девушка, вы мне нравитесь. Давайте соединимся. Честное слово, я настолько не могу один, что готов хоть с кем. Но вы лучше, чем хоть кто. В вас есть экспрессия и темперамент. Вас как зовут?

ДЕВУШКА (*злобно*). Какая вам разница, если вы хоть с кем. (*Обращаясь ко всем*.) Я все думала, что мне это напоминает, и вдруг поняла: у Бахтина в книге про Достоевского это описано — там, где он про полифонию говорит. Когда все собираются в одной комнате и давай истерить кто про что. Вот как вы тут. Я точно не помню, ну, это когда от какого-то толчка все как давай вываливать друг на друга свои мешки с дерьмом... Один нормальный человек нашелся на весь этот бардак, а вы нет чтобы послушать — хамите ему и в драку лезете. (*Куздрину*.) А вам, Борис Алексеевич, большое спасибо. Я вас в «Независимой» всегда читаю.

КУЗДРИН. Весьма польщен. Хотя ни в Бахтине, ни в Достоевском вы не смыслите ни-че-го, но благородство жеста я оценил. (*Аплодирует*.) Видите ли, милая барышня, они здесь думают, что для катарсиса довольно вывести на сцену два десятка персонажей и заставить их жаловаться на жизнь. Они думают, если все накопившееся, по вашему выражению, дерьмо проартикулировать, то станет легче. Они полагают, от этого произойдет некий метафизический прорыв. А происходит неимоверная, смертная скука. Действие не собрано, оно рассыпается, прорыва нет...

ОЛЕСЯ. Ну как же нет? Лично я, например, большое облегчение чувствую...

КУЗДРИН. Ну и с облегчением вас! (*Машет рукой, садится*.)

ОЛЕСЯ. Нет, серьезно! Я, конечно, уйду отсюда одна, потому что... ну, ясно. Но я вовсе не уверена, что буду после этого вечера жить, как жила.

ДОКТОР (*с пафосом*). Если это так, то это самый полезный спектакль, когда-либо мною отыгранный.

РЕШИТЕЛЬНЫЙ (*долго молчавший и копивший эмоцию*). Знаете что? Это все действительно анализ мочи, товарищ совершенно прав! Он тоже, конечно, скотина по-своему, но совершенно прав, подчеркиваю! Вы ходите и ноете, ходите и ноете, как будто ваша жизнь не от вас зависит!

ЖЕНСКИЙ ГОЛОС ИЗ ЗАЛА. А вы действительно полагаете, что она зависит от вас?

РЕШИТЕЛЬНЫЙ. Это же очевидные вещи!

ЕЛЕНА (*выходя из задумчивости*). Любопытно. Вы такой редкий экземпляр... Я даже восхитилась, когда вы так сразу, по телевизору...

РЕШИТЕЛЬНЫЙ. Ходят и жалуются, ходят и жалуются... Денег у вас нет? — иди заработай! Бабу ты не можешь найти? — поищи в себе, что у тебя не так!

ЕЛЕНА. Бабу в себе — это сильно...

ДОКТОР. Позвольте, друг мой. Но вы же тоже один, судя по всему. Иначе зачем бы вызвали сюда вот эту... славную даму... (*Кивает на Олесю.*)

РЕШИТЕЛЬНЫЙ. Ну не жениться же на ней, в самом деле! Вы что, подумали, что я вот так, с первого взгляда, решил ей это... руку, сердце и трактир? Поразительно, какие у вас стандартные мозги. У меня школа новаторская, может, слышали, номер сорок шесть, на Ленинском проспекте. За универмагом «Москва». Я замдиректора по кадрам. Мне нужна воспитательница молодая, чтобы детей везти в Крым. Платим мы прилично, у нас статус лица. Вот я в каком смысле про общий бюджет, а совершенно не то, что вы подумали.

ОЛЕСЯ (*совершенно ошарашенная*). То есть как? А носки?

РЕШИТЕЛЬНЫЙ. Ну конечно, носки! Вы думаете, мальчики в шестом классе сами в состоянии свои носки постирать? Вам, конечно, самой стирать не придется, но обойти их перед сном... напомнить...

ГОЛОС ИЗ ЗАЛА. Меня возьмите! У меня высшее педагогическое образование!

ПОСТАНОВЩИК (*выходя на сцену*). Друзья мои, ну это уже полное лимпопо! Был дом свиданий, сейчас бюро занятости... Давайте, я думаю, вообще упраздним театр как таковой и устроим тут действительно молитвенные собрания! Для тех, кому за тридцать! С последующим трудоустройством в лицеи и интернаты Москвы!

Е.С. И дома престарелых, голубчик.

ПОСТАНОВЩИК. А что? Во-первых, новая форма, вторых, конкретная польза! (*Увлекаясь.*) И что самое ценное — для сидящих в зале это будет гораздо интереснее, чем любая пьеса. Вы же любите читать поздравления в газетах? Лично я обожаю. «Дорогой зять, твои тесть и теща поздравляют тебя от всей души и желают не пить, не болеть, нашу девочку жалеть». Я даже думал одно время сделать по ним спектакль, ей-богу. Толстый усатый тесть, толстая румяная теща, борщ... Два часа все делятся пережитым, обсуждают политические новости, просматривают телевизионные программы, обмениваются адресами и телефонами... рецептами домашних заготовок — без них ведь так трудно прожить в наши, еб твою мать, трудные времена! После чего все встают совершенно довольные и хором исполняют (*поет*):

Аллилуйя, Бог нас любит!
Он грядет к нам, ему слава!
Аллилуйя, Бог нас любит!
Он грядет к нам, ему слава!

Свет гаснет. Взблескивает молния.
За сценой удар грома.

ГРОМКИЙ БАС. Заколебали!

Е.С. Господи, Господи...

ПОСТАНОВЩИК (*с истерическим смехом*). Господи, ты здесь?!

Зажигается свет.

АРКАДИЙ *(выходя на сцену с огромным листом жести, посредством которого в театре производится гроза).* Здесь я, здесь! *(Вверх, к осветителю.)* Спасибо, Михалыч. Закругляемся, товарищи. Время позднее. Поболтали, пообщались, сблизились с народом — пора и честь знать.

За сценой шум дождя.

ЕЛЕНА. Дощь пошел...

РЕШИТЕЛЬНЫЙ. Отчего-то я очень не люблю дождя.

ОЛЕСЯ. Знаете... не надо отчаиваться! Не надо! Мне все время кажется, что где-то там, где-то там... есть другие люди! У них прекрасная, осмысленная жизнь, красивые лица, благородные жесты...

ПАША. Оп, тиридарипупия!

ДОКТОР. Что-то холодно. Осень, что ли, наступила?

ДРУГ ЕЛЕНЫ. А в Африке, должно быть, очень жарко. Да! Где-нибудь обязательно жарко.

ОЛЕСЯ. Честное слово! Какая-то другая жизнь! Мне кажется, это будет так: вот мы выйдем вдруг из всего этого, как корабль выплывает из тумана, и все опять будет так, как нужно...

Е.С. Опять?

ОЛЕСЯ. Нет, конечно, вы правы... Будет так, как никогда еще не было! И случится это как-то сразу... в одну ночь... Новая земля, новое небо...

В зале храп.

На сцене пауза.

АРКАДИЙ. Разбудить?

ПОСТАНОВЩИК. Ни в коем случае! Устал человек... Зачем же будить? Споем лучше колыбельную. Пошли, господа.

Все действующие лица, включая подсадку в зале и телеведущего, выходят на авансцену. Идеальным был бы вариант, при котором на сцену поднимается как можно больше народу. Если в зале останется один храпящий, авторы почтут свою цель достигнутой. Исполнение колыбельной сопровождается зажиганием

свечей, размахиванием зажигалками, какой-нибудь праздничной игрой света, рождественским снегопадом или иной театральной условностью, первой за весь вечер. Создается ощущение полного праздника, чуть ли не детского утренника, и оркестровка колыбельной должна быть самая торжественная. По замыслу автора, это блюз, с большими саксофонными соло, с громким, но мягким звуком, причем каждый главный герой поет по куплету. Здесь театру предоставляется возможность устроить апофеоз театральности, которая так беззастенчиво попиралась на протяжении всей пьесы.

В качестве колыбельной автор советовал бы использовать американскую песенку Кивеса и Шварца «Dona, dona» в записи группы Михаила Фейгина или «Колыбельную» Михаила Щербакова 1982 года с его первого альбома:

Спит Гавана, спят Афины,
Спят осенние цветы,
В черном море спят дельфины,
В белом море спят киты.
И подбитая собака
Улеглась под сонный куст,
И собаке снятся знаки зодиака,
Сладковатые на вкус.
Тарарам-па, гаснет рампа,
Гаснет лампа у ворот.
День уходит, ночь приходит,
Все проходит, все пройдет.

Путь не длинный, не короткий,
Посвист плетки, запах водки,
Кратковременный ночлег.
Скрипы сосен корабельных,
Всхлипы песен колыбельных,
Дальний берег, прошлый век.
И висит туман горячий
На незрячих фонарях,
И поет певец бродячий
О далеких островах.
О мазуриках фартовых,
О бухарской чайхане,
И о грузчиках портовых,

И немного — обо мне,
И о том, что кто-то бродит,
Ищет счастья — не найдет,
И о том, что все проходит,
Все проходит, все пройдет.

Век прошел — у нас все то же,
Ночь прошла, прошел прохожий,
Путник дальше захромал,
Смолк певец, ушла собака...
Только знаки зодиака
Да дождинок бахрама.

Впервые за всю пьесу опускается занавес — расписной,
в райских птицах, снежинках, облаках, цветах и листьях.

МЕДВЕДЬ

Драматический памфлет
в двух действиях

Действующие лица:

МИША ГРИГОРЬЕВ, около 50 лет.
ЕГО ЖЕНА МАША, немного за 40.
ЕГО ДОЧЬ ОЛЯ, 20.
ЕГО СЫН АЛИК, 11.
ПОЛКОВНИК.
ИДЕОЛОГ.
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ АДМИНИСТРАЦИИ ПРЕЗИДЕНТА,
сокращенно АП.
ЗООЛОГ.
СЕКРЕТАРЬ АКАДЕМИИ НАУК.
НЕСОГЛАСНЫЙ.
БИНОМ.
ПИАРЩИЦА-БИОГРАФ.
КАРАУЛЬНЫЙ.
ГАСТАРБАЙТЕРЫ (*без слов*).
НАЛОГОВЫЙ ИНСПЕКТОР.
РУССКАЯ ЖУРНАЛИСТКА.
АМЕРИКАНСКАЯ ЖУРНАЛИСТКА.
ОЧКАРИК.
ЦЕЛИТЕЛЬ.
РЕПОРТЕРЫ, ДЕТИ, АКАДЕМИКИ, СТАТИСТЫ,
ГОЛОСА В ТЕЛЕВИЗОРЕ.

Первое действие

КАРТИНА ПЕРВАЯ

Сцена изображает квартиру Миши. Миша с женой сидят перед зрительным залом — она с глянцевым журналом, он с газетой. Перед ними телевизор, экрана которого зал, естественно, не видит.

Из телевизора доносятся два голоса — мужской и женский.

М (*неторопливо, рассудительно*). Неплохо.

Ж (*с достоинством*). Хорошо.

М. Хорошо, хорошо.

Ж. Очень хорошо.

М (*с напором*). Отлично!

Ж (*с придыханием*). Очень, очень хорошо!

М. Отлично, отлично!

Ж. Прекрасно!

М (*быстрой*). Все лучше и лучше! Лучше и лучше!

ЖЕНА. Слушай, переключи, сколько можно!

МИША. Подожди, сейчас погоду скажут.

М (*ускоряя темп*). Прекрасно! Превосходно!

Ж. Очень! Очень! Еще лучше!

М. Чудесно, чудесно! Изумительно!

Ж. Аааа! Да! Хорошо! Да!

М (*задыхаясь*). Потрясающе!

Ж. Дааааа! (*Затихает.*)

М (*кашлянув, приводя себя в порядок*). Мы передавали выпуск новостей.

Ж. Погода ничего, плюс двадцать пять, облачно, небольшие дожди. Всего доброго.

Пауза.

ЖЕНА. Миша, нам надо поговорить.

МИША. Поговорить.

ЖЕНА. У Алика проблемы.

МИША (*машинально*). Проблемы.

ЖЕНА. Он придумал себе друга.

МИША. Друга.

ЖЕНА (*раздраженно*). Оторвись от газеты, идиот.

МИША. Идиот.

Жена встает и вырывает у него газету.

ЖЕНА. Твой сын придумал себе друга.

МИША. Очень хорошо.

ЖЕНА. Что хорошо?

МИША. Лучше друга, чем внешнего врага.

ЖЕНА. Миша, все очень серьезно. Я поймала его, когда он сверлил дырку.

МИША. В ком?

ЖЕНА. В двери ванной.

МИША (*становится серьезен*). Слушай, это черт-те что.

ЖЕНА. Я и говорю.

МИША. Вообще что-то рано. Я только в двенадцать...
(*Смуцается.*)

ЖЕНА (*невозмутимо*). Это скорее поздно.

МИША. Я хочу сказать: я только в двенадцать стал об этом думать вообще.

ЖЕНА. Ты пойми: дело не в том, что он просверлил дырку. Это как-то можно понять. Но он придумал друга.

МИША. Какого друга?

ЖЕНА. Он сказал, что подглядывает за другом.

МИША. Нет, это уже никуда не годится. Это вообще ни в какие ворота. Почему за другом?

ЖЕНА. У него в ванне живет друг.

МИША. А почему он не зайдет туда просто так? К другу?

ЖЕНА. Он боится.

МИША. Кого? Друга?

ЖЕНА. Он поэтому не чистит зубы.

МИША. Слушай, все понятно. Он подглядывает в ванну и не чистит зубы, и для всего этого придуман друг, и я сейчас его вылечу раз и навсегда.

ЖЕНА. Миша, не смей. Не вздумай.

МИША. Нет, я сначала расспрошу, конечно. Что ты ку-дахчешь? Никто его не лупит, хотя следовало бы... Алик!

АЛИК (*из соседней комнаты*). Что?

МИША. Не «что», а иди сюда быстро!

АЛИК (*входя*). Чего у вас случилось?

МИША. Алик. Что у тебя за друг в ванной?

АЛИК (*потупляясь*). Пойди и сам посмотри.

МИША. Нет, погоди. Ты мне объясни сначала: зачем ты сделал дырку?

АЛИК. Чтобы смотреть.

МИША. На что там смотреть, Алик? Ты бы меня спросил, я бы сам тебе все показал... В смысле — я бы рассказал, я провел бы с тобой разговор, есть книги, в конце концов...

АЛИК. Пап, какие книги? У нас в ванной медведь.

Пауза.

ЖЕНА. Кто?

АЛИК. Маленький медведь.

МИША. Ага. И откуда он взялся?

АЛИК. Не знаю. Наверное, из крана накапал.

ЖЕНА. Я тебе говорила, там кран не закрывается.

МИША. Я помню! Но ты не говорила, что оттуда накапает медведь.

АЛИК. А может, он ночью пришел. Я не знаю.

МИША. Но как же ночью? Как же никто не слышал?

АЛИК. Я не знаю. Он маленький.

МИША. Алик. Скажи мне правду. Тебе ничего не будет. Тебе одиноко, да? У тебя нет друга, да?

АЛИК. Почему ты мне не веришь? Сходи и посмотри!

МИША. Я пойду. Я пойду и посмотрю. И если там нет никакого медведя — а там нет никакого медведя, ты сейчас сам все увидишь, — если там нет вообще никого, я оторву тебе уши. И за вранье, и за испор-

ченную дверь. Прежде всего за вранье. *(Видно, что он так долго болтает именно от нерешительности. Как все люди с воображением, он уже не уверен, что в ванне совсем ничего нет, а потому тянет время.)* Главным образом за вранье. Дверь еще можно простить, а вранье нельзя, вранье нельзя никогда...

ЖЕНА. Что же ты? Открывай!

МИША. Сейчас. Слушай, Алик же никогда не врет, верно?

ЖЕНА. Ты что, боишься?

МИША. Кто, я? Да, боюсь.

ЖЕНА. Чего?

МИША. Он бы не сказал просто так, верно? Он же не мог выдумать? Я сейчас знаешь как: всему уже верю. *(Показывает на телевизор.)* Вот они говорят, а я верю. Сейчас же знаешь как? Сейчас же как скажут, так и есть.

Из ванной доносится тихий рев.

АЛИК. Ну вот.

Мишу отбрасывает от двери.

ЖЕНА *(бледнея и хватаясь за голову)*. Слушай...

МИША. Ты мылась с утра?

ЖЕНА. Клянусь тебе, никого не было...

МИША. Алик, слушай меня внимательно. Когда ты его увидел?

АЛИК. Позавчера.

МИША. Где он был?

АЛИК. Он там сидел.

МИША. В ванне?

АЛИК. Ну да.

МИША. Не в раковине?

АЛИК. В раковине сидит моллюск. А медведь в ванне.

МИША. И что он делал?

АЛИК. Ничего. Сидел.

МИША. И что ты сделал?

АЛИК. Конфету дал.

МИША. Какую?

АЛИК. Жевательную.

МИША. О Господи. Маша, что теперь делать?

ЖЕНА. Вызывай МЧС.

МИША. Почему МЧС?

ЖЕНА. А кого еще?

МИША. Но это же не по их части.

ЖЕНА. Как — не по их? Медведь в ванне — это не чрезвычайная ситуация?

МИША. Господи, Маша, как он туда попал?

ЖЕНА. Они разберутся.

МИША. Нет, но как ты себе представляешь? «Алло, МЧС, у меня в ванне медведь?»

АЛИК. Он не страшный. Он еще маленький.

МИША. «У меня в ванне маленький медведь». Да, так гораздо убедительней.

ЖЕНА (*набирает номер*). Алло! МЧС? Приезжайте, пожалуйста, у нас в ванне медведь! Нет, не моется. Нет. Просто живет. Не знаю. Нет, не пытается. Нет, раздельный. А что, если бы был совмещенный, что-то бы изменилось? Да, пожалуйста. Строителей, пятнадцать. Двадцать шесть. Второй. Пятый. Да, пожалуйста.

АЛИК (*чуть не плача*). Они заберут его, да?

ЖЕНА. Заберут, конечно. Ты же не хочешь мыться вместе с ним?

АЛИК. Хочу!

МИША. Алик, я куплю тебе кролика.

АЛИК. Не хочу кролика! Кролик есть у всех, а медведь только у нас.

ЖЕНА. Алик. Это огромное хищное животное. Он мог откусить тебе руку.

АЛИК. Не откусил же.

ЖЕНА (*Мише*). Это все ты.

МИША. Почему я?!

ЖЕНА (*передразнивает*). «Я прикручу, я прикручу!»

МИША. Ты что? Ты в уме?! Ты действительно веришь, что он... накапал?!

ЖЕНА. А откуда он мог взяться?

МИША. Стоп. А Ольга не могла его принести?

ЖЕНА. Зачем Ольге приносить медведя?

Слабый рев.

Есть хочет.

МИША. Что он ест?

ЖЕНА. У тебя есть еще жевательные конфеты?

АЛИК. Нет.

МИША. Надо мяса.

ЖЕНА. Он сейчас выйдет.

Миша несколько секунд стоит неподвижно,
потом разбегается и запирает дверь на наружный
шпингалет.

МИША. Ф-фу...

ЖЕНА. Ты думаешь, поможет?

МИША. Пока поможет. А потом они приедут.

Звонок в дверь.

Слава Богу.

Открывает. На пороге Полковник.

ПОЛКОВНИК. Здравсьте, хозяева.

МИША. Здравствуйте. Вы МЧС?

ПОЛКОВНИК (*рассеянно*). МЧС, МЧС... Ну, где тут?

МИША (*суетливо*). Вот, пожалуйста...

ПОЛКОВНИК. А почему заперто?

МИША. Ну, понимаете... если выйдет...

ПОЛКОВНИК. Еще не выходил?

МИША. Как видите... Живые же все...

ПОЛКОВНИК (*припадая к глазку*). Свет зажгите.

МИША. Сейчас.

Полковник надолго прилипает к глазку.

ЖЕНА. Ну?

ПОЛКОВНИК (*не оборачиваясь*). Ну.

ЖЕНА. Вы... справитесь?

ПОЛКОВНИК. С кем?

ЖЕНА. С... с ним.

ПОЛКОВНИК. Зачем?

ЖЕНА. А... а как?

ПОЛКОВНИК (*отлипая наконец от глазка*). Фамилия!

МИША. Чья?

ПОЛКОВНИК. Ну не моя же!

МИША. Григорьев.

ПОЛКОВНИК. Поздравляю вас, господин Григорьев.

МИША. Спасибо, вас также.

ПОЛКОВНИК. Служу России. Еще раз поздравляю вас, господин Григорьев, и вас, госпожа Григорьева. Присядем. (*Садится первым.*) Дело серьезное.

МИША. Да куда уж дальше.

ПОЛКОВНИК. Серьезное, да. Милый вы мой господин Григорьев! Дорогой вы мой человек! (*Подходит к Мише, поднимает его, целует, опускает на стул.*)

МИША (*утираясь*). Служу России.

ПОЛКОВНИК. Служите, как еще служите!

Рев за дверью.

Ах ты, мой сладкий! Ах ты, моя радость! Честно вам скажу, господин Григорьев, не думал, что доживу до этого дня.

МИША. Вот! Вот именно прямо вы в точку. Даже в голову не могло прийти.

ПОЛКОВНИК. Были, конечно, данные. Пророчества. Святого Герасима подполковника, слышали?

МИША. Что-то слышали...

ПОЛКОВНИК (*глядя Алика по голове*). Это покровитель нашей службы, сынок. После распада СССР ушел в затвор, чтобы не изменить присяге. Много пророчествовал. Сказано: когда станут давать сто двадцать за один, выйдет из воды зверь, и сие будет национальное возрождение.

АЛИК. Сто двадцать за один?

ПОЛКОВНИК. То-то и оно, сынок. Мы ведь тоже все думали: долларов за рубль? Битых за небитого? Может, лет за анекдот? А оказалось — долларов за баррель.

ЖЕНА. Простите, но как... Я хотела сказать — как же мы?

ПОЛКОВНИК (*вставая и подходя к ней*). Эх, товарищ Григорьева... Ну дорогая же ты моя товарищ Григорьева! (*Целует ее крепче и дольше, чем Мишу.*) Ведь у вас... Так просто и не скажешь... Возрождение у вас случилось. Можете вы это понять?

ЖЕНА. Я даже не знаю, чем мы, собственно...

ПОЛКОВНИК. Да это мы выясним! Это вы не беспокойтесь. Всю подноготную раскроем, родослов-

ную до десятого колена. Это ведь не просто так, понимаете? Абы у кого же не зародится, верно? Вы теперь... понимаете, какое теперь ваше значение? Да если б вас в космос запустить, и то никакого сравнения. Понимаете?!

МИША. Минуточку. А нельзя все-таки объяснить, как это...

ПОЛКОВНИК. Это все вам доведут касающиеся люди. Что вы! Это надо исследовать, наблюдать! Ах ты, мой хороший! *(Подходит к глазку.)* Ах он, голубчик! Вроде и подрост даже! *(Отрывается, залу.)* Точно подрост!

Звонок в дверь. Полковник по-хозяйски идет к двери.

Прибыли, мои дорогие!

Входит рослый крупный мужчина с окладистой бородой, в профессорских очках.

Проходите, товарищ специалист, все ждем.

ЗООЛОГ *(доброжелательно, солидно, медлительно)*. Добрый вечер.

МИША. Добрый вечер.

ПОЛКОВНИК. Вы поглядите только! Вот... *(Подводит зоолога к глазку.)*

ЗООЛОГ. Очень, очень любопытно... *(Мише.)* У вас не найдется ли мяса?

ЖЕНА. Есть котлеты.

ЗООЛОГ. Ну, давайте котлеты... Хотя вообще-то лучше, конечно, мясо. *(Оглядывает Мишу.)*

МИША. Я могу съездить.

ЗООЛОГ. Нет, не нужно, зачем же? Я позвоню, пришлют... *(Долго наблюдает.)*

ЖЕНА. Вот котлеты. *(Подает миску.)*

ЗООЛОГ. Спасибо. *(Берет котлеты, ест.)*

МИША. Вкусно?

ЗООЛОГ. Немножко бы соли, ну ладно... В общем, что сказать, господа: поздравляю вас от всего сердца, у вас самозародился медведь европейский бурый, *ursus arctos*, ареал распространения — Урал, Сибирь, европейская часть России, степи и даже

субтропики. Вес взрослой особи — до 700 кг, длина тела — до 2 метров, продолжительность жизни — 40, в неволе до 45 лет.

МИША. То есть меня переживет.

ЗООЛОГ (*оцениваяще глядывает Мишу*). В общем, да. Я думаю, у него все шансы.

МИША. Но как это могло... понимаете... как он мог там... вот так...

ЗООЛОГ. Вы имеете в виду феномен самозарождения?

МИША. Именно в ванне, понимаете? В ванне!

ЗООЛОГ. Ну, с точки зрения современной биологии тут ничего сверхъестественного нет.

МИША (*с надеждой*). Нет, да?

ЗООЛОГ. Да, нет. Мы же знаем, что жизнь вышла из воды.

МИША. Из ванной, да?

ЗООЛОГ. Ну, видимо, в ванной создались условия, способствующие зарождению жизни. Тепло, влага... Нет ничего необычного в том, что процесс эволюции в силу нескольких мутаций занял не миллиарды лет, а несколько месяцев — мы же, в сущности, мало знаем о мутагенных факторах...

ПОЛКОВНИК. Какие факторы, профессор, дорогой мой! Встала с колен, понимаешь ты, встала с колен! И тут же — самозародился: врагам на страх, нам на радость. Вы представляете, что теперь будет на Западе? Они галстуки сожрут, запонками закусят! Это же символ какой, понимаете? Я не удивлюсь, если до самого верха дойдет! Большими людьми будете, хозяева! (*Ужмыляется, бесперывно подмигивает.*)

МИША. Просто очень хотелось бы, понимаете... Мы знаем, конечно, и горды, и служу России... (*Машинально утирается.*) Но, может быть, вы сможете как-то забрать... чтобы как-то помыться...

ПОЛКОВНИК. Что?

МИША. Я ничего... я только имею в виду, что, может быть, когда уже зародилось... и образовалось, и вышло из воды... может быть, как-то возможно... переместить в более естественную среду?

ЗООЛОГ. А, если вы об этом... Если вас смущает, что ему тут плохо, то ему тут неплохо. Он очень хорошо себя чувствует.

МИША. Я понимаю, но поймите и вы... Все-таки квартира...

ЗООЛОГ. Да вы не беспокойтесь, если б он не хотел, он бы не пришел. Ему что лес, что квартира.

МИША. Да, но нам...

ЗООЛОГ. А что вам? Вы знаете, что римский император Гальба, например, спал с медведем?

МИША. В каком смысле?

ЗООЛОГ. В хорошем! Он заряжался от него жизненной силой. Потом, цыгане по ярмаркам везли медведя: тоже очень здоровые люди. Слышал кто-нибудь когда-нибудь, чтобы цыгане болели? Больной цыган — это, я не знаю... это как горячий снег или медведь-вегетарианец.

МИША (*в испуге*). Вегетарианец...

ЗООЛОГ. Ну да, вы же понимаете. Это хищник, крупный хищник. Он любит мясо, любит живую дичь, это серьезно. Но отсюда и живая энергия, за счет которой вы ощущаете бодрость. Вы ощущаете бодрость?

МИША. Колоссальный прилив сил.

ЗООЛОГ. Это он еще небольшой, а дальше знаете как будет?

МИША. Догадываюсь.

ЗООЛОГ. И потом, вы теперь не просто гражданин. У вас зародилось. Это большое общественное значение.

МИША. Но почему у меня?

ЗООЛОГ. Видимо, это скоро станет массовым явлением.

МИША. А, спасибо. Теперь не страшно.

Звонок в дверь.

Это МЧС.

ЗООЛОГ. Вряд ли. МЧС — это я. А это, я думаю, АП.

МИША. Что такое АП?

ЗООЛОГ. Вы открывайте, открывайте...

Миша открывает дверь. На пороге Представитель Администрации — молодой человек с прилизанными волосами, решительным лицом и элегантным кейсом. Быстр, решителен, сдержан.

АП. Администрация. Где?

МИША. Что?

АП. Вы дурак?

МИША. Почему?

АП. Я спрашиваю: где?

МИША. В ванной.

АП (*подходит, смотрит в глазок*). Наш.

МИША. В-ваш?

АП. Вы заика?

МИША. Нет...

АП. Хорошо. Голутвин!

ПОЛКОВНИК. Я!

АП. Караул. Смену раз в три часа. Корм?

ЗООЛОГ. Распорядились.

АП. Биному я доложу лично. Не исключено посещение.

ЗООЛОГ. Я прослежу.

АП. Сколько их человек?

МИША. Четверо... Я, жена, дети.

АП. Вас не спрашивают. Сколько их человек?

ПОЛКОВНИК. Четверо. Он, жена, дети.

АП. Пробили?

ПОЛКОВНИК. Сейчас проверяют.

АП. Если что не соответствует, ликвидируйте. В случае чего отвечаете.

ПОЛКОВНИК. Есть.

МИША (*собравшись с духом*). Что это значит?!

АП (*оборачиваясь к нему с неожиданной ласковой улыбкой*). Это значит, что вертикаль власти дошла наконец до каждого, и доказательством этого служит самозарождение символа государственности в квартире простого российского обывателя. Это значит, что наша теплая, пушистая Родина войдет в каждый дом. Это значит, что Бином не зря идет нога в ногу. Вот и все, что это значит. Но этого достаточно, чтобы понять: it works!

МИША (*взбешен*). Я не знаю, что вы имеете в виду, и не понимаю, чем вы так довольны. Но я хочу сказать совершенно ответственно, что это частная территория, и вы не имеете права... я требую, чтобы немедленно... я имею право, чтобы вывезли и чтобы я мылся...

АП (*ласково*). Идите в баню. В баньку идите.

МИША. Я не шучу! Я требую, я, наконец, не понимаю... Если такое случилось, то почему нельзя спокойно увезти? Почему в нормальной семье должен жить хищник, не понимаю, здесь, сейчас... почему? Я не государственный человек, я не символ, я не хочу символ, пусть, в конце концов, государство возьмет на себя... Почему всегда я? Почему обязательно мы? Я вправе настаивать, и мне непонятно, почему вы тут ко мне среди ночи, при всем уважении, конечно, при всей любви...

АП (*стремительно меняя интонацию*). Вы знаете, что я могус вами сделать? Вы знаете, что я могу с вами сделать всё?

МИША. Господи, Господи.

АП (*говорит тихо и стремительно, наступая на Мишу*). Вы думаете, мы не знаем про 15 июня 1975 года? Про 19 августа 1986 года? Про 23 апреля 1993 года? Зарплата в конвертах, серая схема приватизации жилья, ложные сведения в пункте 15 налоговой декларации от семь-восемь? Просмотр порнографических роликов, онанизм в уборной? Прыщи перед зеркалом 11 мая 1973 года выдавливал кто? 28 ноября прошлого года окуроч бросил мимо урны кто? А там были дети! Там дети были и видели, некоторые потом плакали по ночам — взрослый дядя бросил окуроч мимо урны, и ничего ему не было, Боженька, где справедливость?! Так колеблются устои веры, а что может сделать для государства человек без веры? Я буду сейчас, возможно, употреблять слова, несколько непривычные в устах чиновника высшего эшелона.

Приглаживает шевелюру, берет Мишу за руку, выводит на авансцену и далее обращается к залу.

Это такие слова, как холизм, метемпсихоз, овуляция, сука, зараза, хламидиоз. Мобилизация каждого есть дело всех. Цветущая сложность империи изгоняет расслабляющую ауру модернизации. Конфабуляция нашей застенчивой бедности артикулируется экспертократами, создателями новых смыслов. Хватит выживать, пора творить. Боже мой, Боже мой, почему я, рожденный жонглировать мирами, должен паясничать перед этими насекомыми? (*Обращаясь к Мише.*) Если ты встанешь у меня на пути, сволочь, я тебя загрызу.

МИША. Я никогда... я ничего...

АП. Слов «мой, моя, мое» больше нет. Чья это ванна?

МИША. Его.

АП. Чья это квартира?

МИША. Его.

АП. Чья это жена?

МИША (*с неожиданной твердостью*). Моя.

АП (*с силой беря его за нос*). Чей это нос?

МИША (*гнусавя*). В-в-в... Ваш.

АП. То-то. (*К Полковнику.*) Вы останетесь здесь. (*Зоологу.*)

Вы подготовите дипломы.

Звонок в дверь.

ПОЛКОВНИК. Это ко мне.

МИША. На всю ночь?

ПОЛКОВНИК (*идя к двери*). Нет, дольше. Это уж теперь — до конца... Это караул.

Входит караул — двое солдат с разводящим, ярко выраженной азиатской внешности.

МИША. Здравствуйтесь, здравствуйтесь. Служу России.

ПОЛКОВНИК. Они не очень понимают.

МИША. Почему?

ПОЛКОВНИК. Гастарбайтеры.

МИША. В смысле?!

ПОЛКОВНИК. Ну а где я тебе местного найду стоять тут целую ночь? Ты, может, будешь стоять?

МИША (*испугавшись перспективы*). Нет, не надо.

ПОЛКОВНИК. Я, может, Родину буду защищать в случае чего?

МИША. Нет, вряд ли.

ПОЛКОВНИК. Да ты глаза разуй.

Устанавливает караул у двери. Гастарбайтеры сразу же садятся на корточки.

Ты где работаешь-то вообще?

МИША. Ну, я по образованию врач... но сейчас риэлтор.

ПОЛКОВНИК. И что, не видишь? Они же везде, прикинь. ДПНИ знаешь? Ну эти, которые с ними борются.

МИША. Слышал.

ПОЛКОВНИК. Тоже они.

МИША. То есть как — и гастарбайтеры они, и бьют гастарбайтеров они?

ПОЛКОВНИК. Ну. А потом меняются. Где ты сейчас местных наберешь драться? Это же больно.

МИША. Больно, да. Но иногда приятно.

ПОЛКОВНИК. Когда ты кого-нибудь — да, приятно. А когда тебя кто-нибудь, Миша, это ни фига не приятно. Да что я тебе рассказываю — я в театр недавно пошел. «Ромео и Джульетта». Слушаю — что-то ничего не понятно. Акцент какой-то странный. Смотрю — мама дорогая! Ромео — узбек, Джульетта — таджик.

МИША. А публике нравится?

ПОЛКОВНИК. Очень нравится! Тоже в основном молдаване.

МИША. А местные где?

ПОЛКОВНИК. Местные дома сидят, «Дом-2» смотрят. (*К караулу.*) В общем, ребята, вы тут стоите до трех часов ночи. В три смена. (*Разводящему.*) Ты в кухне пока поживи, это будет караульное помещение. Миш, сообразишь им тут чайку, ладно? Ну, хоп. Я тогда в штаб.

МИША. Счастливо, счастливо.

Полковник удаляется в комнату дочери.

Э, э! Вы же хотели в штаб!

ПОЛКОВНИК. А я куда иду?

МИША. Это комната Оли.

ПОЛКОВНИК. Так я и говорю.

МИША. То есть вы останетесь?

ПОЛКОВНИК. Ну да.

МИША. Нет, ну зачем так беспокоиться? Давайте мы с женой туда, а вы пока к нам...

ПОЛКОВНИК. Чудак ты, Миша. Зачем же вам в штаб? Вы же штатские люди. В штабе должен находиться кто?

МИША. Командир.

ПОЛКОВНИК. Значит, я должен находиться где?

МИША. В штабе.

ПОЛКОВНИК. Видишь? Так что не беспокойтесь, идите в расположение, занимайтесь по распорядку.

КАРТИНА ВТОРАЯ

Синий свет. Ночь. У двери ванной стоит одинокий Миша. По бокам — неподвижный караул.

МИША (*тихо, к двери*). Слушай... Ты меня слышишь? Не слышишь. Сколько раз пытался тебе что-нибудь сказать — как в стену. Ты там вообще?

Тишина.

Он там?

Караул молчит.

Или она? Мы же не знаем, оно, она... Слушай, я не очень понимаю, что ты такое, но мне кажется, ты меня не любишь. Может, тебя можно как-нибудь обратно, а? Всосись, втянись. Уйди по трубам. Но это же вещь необратимая. Если уже вылезло, то все... Я что тебе хочу сказать. Я очень давно хочу тебе это сказать. Когда тебя не было, это было, в общем, неправильно. Чего-то не хватало, какого-то, что ли, смысла. Но можно было дышать. И вот ты опять, и сразу же в таком виде. Я все жду, что, может, ты когда-то в другом. Но ты сразу вот в таком, и сразу не помыться. (*Боязливо оглядывается на караул.*)

Караул молчит.

Слушай, я все понимаю. Не надо мне приписывать, да? Не надо мне говорить, что я тебя не люблю, потому что это неправда. Я, конечно, не совсем понимаю, почему тебя все время надо любить, хотя про тебя ничего не понятно и даже почти не видно. Когда мне что-нибудь надо, тебя не дозовешься, а когда мне надо мыться, ты тут как тут. Я вообще не понимаю, почему ты всегда появляешься в таком виде. Если бы ты там зародилось в виде девочки с косичкой или хоть вот этой, которая зовет, — это ладно, пусть, я только за, живи сколько влезет. Но почему все время в виде зверя?

Легкий рев за дверью.

Вот, вот. Неужели ты думаешь, что так сильнее полюбят? Можно было бы как-то мягче, я не знаю, мурр, мурр... Тебе же не надо, чтобы мы тебя боялись? Это они пусть боятся! Они — да, они не любят, они хотят недра, они пускай там трясутся у себя под одеялом, туда рычи, сюда не надо рычать! Но ты же все время рычишь сюда! Ты рычишь сюда, чтобы боялись они. Но они же не боятся, когда сюда. Они радуются. Почему ты не можешь туда в виде медведя, а сюда в виде матери? Почему ты можешь только сюда в виде медведя, а туда в виде нефти?

Снова рев.

Ничего, ничего. Тут вот стоят... с ружьем. Ты посиди пока там и просто подумай: почему я у тебя всегда виноват? Чем я виноват конкретно? Как в школу пошел, так уже. Еще ничего не сделал, только пришел — кругом виноват. Что интересно, Семенов был не виноват. Семенов считался отпетый, пробу ставить негде, голубям головы открывал, у первоклассников деньги отбирал. Но почему-то его любили, тащили из класса в класс, прикрепляли отличниц, отличницы с ним занимались — не знаю, чем они там занимались, но меньше всего он был похож на виноватого. Семенов

был ужасен, но никогда ни в чем не виновен. Его все жалели. У него была тыща смягчающих обстоятельств. Отец бьет, мать пьет, брат служит в армии. Ты что, герой! А у меня отец не бьет и мать не пьет, и я весь из себя отличник, и каждый раз, когда я отвечал у доски, математик смотрел на меня с раздражением. Как будто я все ему сказал, кроме главного. И у англичанки та же самая история. Они смотрели, как будто я им чего-то недоговорил. Они ждали, чтобы я открутил голову голубю или написал на доске то же, что Семенов. Вот когда Семенов отвечал — у них было полное удовлетворение. Он всегда делал ровно то, что от него ждали. А от меня они не знали, чего ждать, я мог сказать одно, мог другое... Ты меня там слушаешь вообще? А?

Легкое поскребывание.

Да, хорошо, спасибо за внимание. И знаешь, если бы сегодня, допустим, вместо полковника пришел Семенов, то есть Семенов пришел бы в виде полковника, — я бы не удивился. Совершенно. Семенов нужен, а я нет. Я никогда тебе не был особенно нужен, и поэтому у меня вопрос: почему ты самозарождаешься именно у меня? Потому что меня не жалко? Вот у Семенова ты никогда не зародишься, и у полковника, и у этого ужасного, гладковолосого, забыл, как его зовут, если его вообще зовут как-нибудь... А у меня ты почему-то есть, и вот этого я совершенно не понимаю. Почему именно они всегда приходят требовать именно с меня? Почему они ничего тебе не должны, а я всегда что-то должен? (*Постепенно распалаясь.*) Иди вон, зарождайся у полковника! Он будет кормить тебя мясом жертв. Ты требуешь жертв, да? Ты же требуешь жертв! Тогда почему я? Иди вон давай к нему, он настоящий человек, а я вообще неизвестно кто и звать никак, ты про меня не вспоминала тридцать лет! Как из армии отпрыгнула пожеванного — так и не вспоминала. Когда я без работы сидел, ты была? Когда Оля болела, ты была?

Когда у меня отобрали кошелек и мобильный два года назад вон в подворотне, а участковый Баранов сказал, что не надо было отдавать, и записал меня в кружок самозащиты без оружия — где ты тогда была? Я тебя защищал, не очень, но защищал. Извините, как умеем. Ты меня раз в жизни защитила от чего-нибудь? Тебя десять лет вообще не было, выплывали как умели. А теперь, только можно сталодохнуть, мы тут самозарождаемся. Правильно, нечего! Разбаловались, моемся два раза в день... Ничего. Теперь пойдет у нас уж музыка не та. Утром смена караула, оправка, вынос ведра, посещение бани, встреча с прессой, прием кровавой пищи... Хочешь кровавой пищи?

Молчание.

Хитрая... Всегда хочешь, другого не ешь...

Открывается дверь в комнату Оли.

ОЛЯ. Пап! Ты с кем разговариваешь?

МИША *(мрачно)*. Не знаю.

ОЛЯ. Что... с ним?

МИША. Нет, с ними. *(Указывает на караул.)*

ОЛЯ. Пап, ну чего ты? Ну иди спать, а?

МИША. Оля, давай хоть ты мне не будешь указывать, когда и чего мне делать.

ОЛЯ. Пап... Олег заснуть не может. Говорит, бубнишь и бубнишь...

МИША. Кто?

ОЛЯ *(смущенно)*. Олег.

МИША. В моем доме? Не может заснуть?

ПОЛКОВНИК *(из комнаты)*. Отбой, папаша! *(Зевает.)*
Иди спи уже, а? *(В трусах выходит из комнаты.)* Как служба?

Караул молчит.

Ну, и хорошо. А эти все зачем тут? *(В публику.)* Вы чего тут? Сейчас ночь, животное спит. Утром приходите, все покажем. А сейчас отбой, вольно, разойдись.

КАРТИНА ТРЕТЬЯ

Тот же интерьер, Миша и Биограф. Это молодая, очень отутюженная пиарщица с затверженными интонациями, похожая на старшую пионервожатую двадцатилетней давности.

БИОГРАФ. Вы мне сейчас расскажите вашу биографию, только подробненько, ладненько?

МИША (*застенчиво*). Понимаете, мне почти нечего рассказывать. У меня очень заурядная жизнь.

БИОГРАФ (*с наклеенной улыбкой*). Но зародилось ведь у вас, так? Должен же быть смысл, так? Вот мы сейчас с вами вместе его скоренько обнаружим. Рассказывайте, пожалуйста. Родословную знаете?

МИША. Примерно да... но до бабушки.

БИОГРАФ. Чудненько. Давайте бабушку.

МИША. Бабушка моя с материнской стороны была из дворян, да... Даже дом у нас был на Сивцевом Вражке...

БИОГРАФ. Отличненько! После революции уехала?

МИША. Нет, если бы она уехала, как бы она встретила дедушку? Она осталась...

БИОГРАФ. То есть восторженно приняла революцию, да?

МИША. Нет, какое восторженно... Но куда было деваться? Их уплотнили, она стала жить в коммуналке в том же доме на Сивцевом Вражке.

БИОГРАФ. Чудненько! А все остальное пожертвовала детям?

МИША. Почему детям? Она ничего не жертвовала. Ее никто особенно не спросил.

БИОГРАФ. Но мы напишем, что пожертвовала. Ладненько?

МИША. Ну, вообще да... По факту так и вышло...

БИОГРАФ. Хорошо. А дедушка?

МИША. Дедушка был еврей.

БИОГРАФ. Это ничего. Революционер?

МИША. Нет, что вы! Они торговали. Склад у них был.

БИОГРАФ. Это не очень хорошо. Если бы революционер, то лучше.

МИША. Минуточку. Как бы дворянка вышла замуж за революционера?

БИОГРАФ. А запросто, много было случаев... Может, он у нее скрывался, то есть она его скрывала от полиции, они увидели друг друга и влюбились, как?

МИША. Ну... вообще-то можно... Ему не очень вообще нравился существующий строй. Я помню, он иногда ругался, что опять появились богатые и бедные. Если ему не нравился наш советский строй, то можно представить, как ему не нравился тот!

БИОГРАФ. Так и чудненько! Значит, бабушка дворянка, дедушка революционер. Что с ними было дальше?

МИША. Да что было... Бабушка библиотекарь была, дедушка пошел на завод, выучился на инженера...

БИОГРАФ. Репрессии их не затронули?

МИША. Бог миловал.

БИОГРАФ. Это хорошо, очень хорошо! А то сейчас врут, что репрессии затронули каждую семью...

МИША. Не каждую, нет. Это они затронули бабушку с отцовской стороны.

БИОГРАФ. Это плохо. Она была кто?

МИША. Она в больнице работала, на работу опоздала.

БИОГРАФ. Ну зачем же опаздывать-то было? Что же она так?

МИША. Видите ли, как-то не успела.

БИОГРАФ. Знаете, давайте мы напишем, что она была троцкистка.

МИША (*решительно*). Она не была троцкистка! Бабушку не дам. Не позволю бабушку.

БИОГРАФ. Ну ладненько, не хотите бабушку — не надо. Тогда, может быть, дедушка?

МИША. Дедушка у нас с той стороны вообще был пролетарий, из деревни в город пришел, всю жизнь слесарь! Не было у нас троцкистов, и на оккупированной территории никто не был! Вы что, девушка, у нас приличная семья. У нас даже родственников за границей до сих пор нет, а вы говорите — троцкисты.

БИОГРАФ. Ну просто, понимаете, получилось бы наглядненько. Революционер, дворянка, крестьян

нин и троцкистка. Прямо вы получились бы из самой гущи. Ну хоть папа воевал?

МИША (*успокаиваясь*). Папа воевал.

БИОГРАФ. Не убили?

МИША. Слава Богу, нет. Даже не ранили.

БИОГРАФ. Это плохо. То есть, простите, для вас, конечно, хорошо, и для папы, но для нас не очень хорошо. Может быть, его все-таки ранили? Подумайте, вспомните как следует.

МИША. Видите ли, меня тогда не было. Я пятьдесят девятого года. Но мама точно говорила, что его не ранили.

БИОГРАФ. Скажите, это для вас очень принципиально?

МИША. Не то чтобы очень, но я так привык...

БИОГРАФ. Ну мы напишем, что его немножечко ранили. Что его слегка ранили, а он остался в строю.

МИША. Куда?

БИОГРАФ. В смысле куда ранили? Ну, хотите в руку?

МИША. В руку нельзя. Он был художник, оформитель. Я вот немножко унаследовал, тоже рисую иногда...

БИОГРАФ. Ну в левую...

МИША. Левая художнику тоже нужна. Палитра, все это... Давайте в ногу... или нет... он же стоял перед картиной... В голову... тоже никак... В спину... нельзя категорически, позор... Давайте его, может быть, контузило?

БИОГРАФ. Чудненько! Его контузило, но он остался в строю. А мама?

МИША. Мама была в эвакуации. Бабушку выпустили к тому времени, и они уехали. На Урал.

БИОГРАФ. Нормально. Но вообще-то лучше бы они, конечно, партизанили.

МИША. А как бы они партизанили?

БИОГРАФ (*вдохновенно*). Смотрите! Бабушку не выпустили, и мама отправилась в детский дом. Детский дом был на оккупированной территории. Дети во главе с вашей мамой создали партизанский отряд и пускали под откос поезда!

МИША. А дедушка где был?

БИОГРАФ. А дедушка был на фронте. Он разве не был?
МИША. Не был он на фронте, он был инвалид, хромотал, еще в детстве покалечился.

БИОГРАФ. А, ну тогда давайте он возглавлял этот партизанский отряд!

МИША. Но как бы она попала в детдом при живом отце?

БИОГРАФ. Минуточку! Поняла. Записываем. Его ранило потом, на фронте, в первые дни. Тем временем дочь отправили в детдом, но она сбежала и скиталась по дорогам. Ее поймали и опять отправили в детдом. Тем временем комиссовали по ранению отца, то есть деда, и он стал скитаться по дорогам, ища дочь. Однажды он нашел детдом, и там была она. Тогда они создали партизанский отряд, и он его возглавил. Нормально, да?

МИША. Непохоже. Как его занесло на оккупированную территорию?

БИОГРАФ. Да, тут нестыковочка... Тогда знаете как? Тогда он ее нашел в этом детдоме, и буквально на следующую же ночь детдом оккупировали! И он с новонайденной дочерью возглавил партизанский отряд. Армия Трясогузки снова в бою. Нормально?

МИША (*махнет рукой*). А, пишете что хотите, тот дедушка умер еще до моего рождения...

БИОГРАФ. Видите! Это его, наверное, ранило в партизанском отряде.

МИША. Ну да... скорее всего. При подрыве поезда.

БИОГРАФ. Так. Теперь скажите: где встретились ваши родители?

МИША. В коктейль-холле. А что?

БИОГРАФ. Это плохо. Они не могли встретиться на целине?

МИША. Теоретически могли, но они там не были.

БИОГРАФ. Слушайте, какая теперь разница? Прошлый век! Давайте напишем, что они встретились на целине. (*Лихорадочно цокает по клавишам портативного компьютера.*) И вы родились вскоре после их возвращения.

МИША. Это вряд ли. Целина — это пятьдесят шестой. Получается, они уже на готовое поехали, после освоения.

БИОГРАФ. А... Это да. Это не очень. Но тогда смотрите: может, они познакомились при запуске спутника? Их притиснуло друг к другу вливающей толпе, и они познакомились. А через два года родились вы.

МИША. А... это вообще можно. Это пусть. Папа интересовался космосом. Все говорил, что лучше бы на эти деньги построить что-нибудь человеческое...

БИОГРАФ. Скажите, а мама кем работала?

МИША. Мама учитель математики.

БИОГРАФ. Это плохо.

МИША. Почему?

БИОГРАФ. Лучше бы, конечно, географии или истории. Чтобы вы с молоком матери всосали любовь к негромкой красоте родного края... Или к славной истории родного края... Вам что больше нравится?

МИША. В смысле?

БИОГРАФ (*раздраженно*). В смысле негромкая красота или славная история?

МИША (*в задумчивости*). Наверное, лучше негромкая красота.

БИОГРАФ. Ну и чудненько. Значит, география. Родились вы, конечно, в коммуналке.

МИША. Нет, я в роддоме... в тридцать пятом, на Уса-чевке...

БИОГРАФ. Какая разница! Я имею в виду, вы жили в коммуналке?

МИША. Ну да, жили, конечно. Недалеко там, на Zubовском. Потом квартиру дали в шестьдесят пятом, в Черемушках...

БИОГРАФ. И с каким чувством вы вспоминали родную коммунальную квартиру? Вы любили ее, вам нравилась соседка Франия Рувимовна, бухгалтер, сосед Иван Петрович, столяр, студент Шурик, будущий конструктор космических кораблей, соседка Ляля, любимица всего квартала, подруга футболиста Игоря из шестнадцатой квартиры, помните,

где жил еще местный вор Фиксатый, нагонявший ужас на весь двор?

МИША. Погодите, погодите. Я не помню никакой Рувимовны...

БИОГРАФ. Это неважно! Важно, что я ее помню! Мы и так уже лишних полчаса сидим, а у вас через десять минут общение с прессой! Вы понимаете вообще, какое мероприятие вы срываете, или нет? *(Бешено цокает по клавишам.)*

МИША. Подождите, подождите... я же не успею все это выучить...

БИОГРАФ. Говорите, как запомнили. В крайнем случае я здесь, подскажу.

Звонок в дверь.

О Господи! Это они. Переодевайтесь!

МИША. Во что? Мне никто ничего не говорил!

БИОГРАФ. Ну не могут же они обо всем думать! Вот мешок, там все необходимое.

Миша расстегивает рубашку.

О Господи, да не здесь же!

Миша уходит с мешком.

Биограф открывает дверь. Вваливается толпа журналистов с телекамерами. Выделяются пожилая российская журналистка с канала «Культура» и бодрая, подтянутая американка с микрофоном CNN.

Добро пожаловать, сейчас мы начнем нашу пресс-конференцию, сейчас уже, вот буквально сейчас к вам выйдет владелец медведя, но для начала я прошу всех аккредитоваться, то есть представиться. Насколько я помню, у нас тут агентство «Рейтер», агентство «ИТАР-ТАСС», «ЮПИ», «Укринформ», «Франс-пресс»...

Корреспонденты выкрикивают названия газет.

Биограф записывает.

Из-за кулис появляется Миша — одна нога в лапте, другая в красноармейском сапоге, армейские брюки, ватник, буденовка, под ватником офисный пиджак с галстуком,

на левой руке часы «Командирские»,
на правой «Картье».

МИША. Здравствуйте, добро пожаловать, рад вас приветствовать...

БИОГРАФ. Дорогие друзья, каждый имеет возможность задать строго по одному вопросу без отклонений от темы. Животное устало, животное нервничает. У каждого будет возможность посмотреть, не толпитесь. Фотосъемка животного запрещена, мы распространим эксклюзивные фотографии после. Пожалуйста, не толпитесь.

Корреспонденты по очереди заглядывают в глазок. Выкрики: «Гигантиссимо!», «Колоссале!», «Вери, вери биг! Джайант!», «Очень большой», «Гран урс», «Кель оррёр»...

У вас есть возможность задать вопросы Михаилу Григорьеву, простому российскому гражданину, в чьей судьбе так причудливо соединились все главные события российской истории последнего столетия.

КОРРЕСПОНДЕНТКА КАНАЛА «КУЛЬТУРА» (*взволнованно*). Дорогой Михаил! Прежде всего позвольте вас поздравить, что в вашей судьбе... в вашем жилище... состоялось национальное возрождение. Скажите, пожалуйста, почему, по-вашему, именно вы сумели вызвать у себя... это исключительное явление?

МИША. Как вам сказать... Как вас зовут?

КОРРЕСПОНДЕНТКА. Ирина Анатольевна.

МИША. Видите ли, Ирина Анатольевна... Мне кажется, если бы я думал, оно бы не зародилось. Это всегда так бывает — бац, и ах! Я никогда бы, даже в страшном сне... даже в самом кошмарном кошмаре... Но теперь, раз уж случилось, я счастлив, конечно, и ни на что бы не променял. Ну, что ж, что медведь — все-таки не хорек...

КОРРЕСПОНДЕНТКА «ЮПИ» (*с сильным акцентом*). Расскажите, пожалуйста, о вашей судьбе, биография, как вы дошли до это...

МИША (*стесняясь*). Ну, что вам сказать... Мой отец был беспризорник, то есть он не всегда был беспризорник, а так получилось, потому что так вышло. У него была мать, но ее посадили, был отец, но его призвали, и он пошел по дорогам, и там попал в оккупированный детдом. Он был уже тогда оккупирован. Были враги, и отца туда взяли. Но он бежал вместе со сторожем детдома, который оказался его отцом... взятым, видимо, в плен, но я точно сказать не могу. Они как-то встретились и дошли до Берлина, взрывая поезда. В это время мать, дочь дворянки-троцкистки и еврейского революционера, отправилась на целину, где как раз в это время запускали спутник, и там встретила отца, который бежал туда из своей коммуналки, от соседки Франи Рувимовны по кличке Фиксатая, наводившей ужас на весь двор. Там я родился, через два года после запуска спутника, но я вообще всегда все делаю довольно медленно... Ну вот. Жена у меня очень любит охоту и рыболовство, садоводство любит... охрану окружающей среды... Дети все больше как-то по азартным играм, то есть, о Господи, они увлекаются резьбой по стеклу. Это шутка, ха-ха. Говорите уже что-нибудь, я не знаю, что больше сказать.

КОРРЕСПОНДЕНТКА «ФРАНС-ПРЕСС». Скажите, не приносит ли вам это существо, этот урс, каких-либо неприятностей... проблем?

МИША. Нет, ну какие же проблемы. Очень приятно, оно совершенно смирное, но, разумеется, сурово брови мы насупим... Стоит, так сказать, на запасном пути... Мы никому не угрожаем, но если кто-то посягнет на его суверенитет, то вы увидите, что будет. А так я вообще даже сходил в баньку, очень порадовался, потому что давно в последнее время был оторван от моего народа, а тут пошел и попарился, и меня это... отхлестали вениками... избили шайками... Я, понимаете, не привык выступать публично и несколько робею. Но вот у меня есть дочь, она занимается музыкой, она, если можно, вам сплет.

Выходит дочь, исполняет немислимое попури
из русских народных песен, опер и рока.
Медведь подвывает и порывается из-за двери.
Звонок в дверь.

(Журналистам.) Извините, секунду...

Входит Идеолог. Это весьма толстый человек в очках,
сугубо штатского вида, но с необыкновенно
воинственными манерами. С ним — Полковник
и небольшой отряд офицеров.

ПОЛКОВНИК. Значит, проходите, располагайтесь...

ИДЕОЛОГ. Где у нас объект?

ПОЛКОВНИК. Он в ванне...

ИДЕОЛОГ. Почему в ванне?

ПОЛКОВНИК. Там зародилось...

ИДЕОЛОГ. Но это не наглядно, понимаете? Нужно же
как-то демонстрировать.

Рев медведя за дверью.

Это ничего, но все-таки, знаете...

ПОЛКОВНИК. Все понимаем, Иннокентий Всеволодович. Все осознаем. Но поймите и вы: если
выйдет, могут быть жертвы...

ИДЕОЛОГ (*обрадованно*). Жертвы могут быть! Не могут
не быть! Где вы видели модернизацию без жертв?
(*К Мише.*) Вы со мной согласны, хозяин?

МИША. Насчет жертв?

ИДЕОЛОГ. Ну конечно! У нас есть враги. Много.
Собственно, у нас ничего нет, кроме врагов.
Враги — наше главное достояние. А друзей всего
двое — раньше армия и флот, сейчас нефть и газ.
Жертвы будут. Без жертв ничего не делается.
Необходим прорыв. Если кто-то хочет, чтобы все
было тихо, — уезжайте, пока можно. Вы согласны,
хозяин?

МИША. Понимаете... в целом, конечно, да. Я просто
боюсь, что жертвы будут, а прорыва не будет. Мне
опыт подсказывает.

ИДЕОЛОГ. Опыт? Опыт ваш вы можете забыть. Знаете
куда можете засунуть свой опыт? Жертвы и есть

прорыв, как вам еще объяснять? Вы считаете, что прорыв — это когда у каждого трехкомнатный теплый сортир? Прорыв — это мистическое вечное возвращение на великий имперский путь. У вас случилось грандиозное мистическое событие, вам в ванную ударила молния, а вы мямлите! Посредством тонких энергий самозародилось животное, это сопоставимо со Сталинградом, с победой на Куликовом поле, и там, где вы мылись, расцвел пламенный куст нового жертвенника, а вы квакаете. Это какого числа произошло?

МИША. Пятого июня.

ИДЕОЛОГ (*торжественно*). Видите! Это день Посысая-воина, величайшего святого, который истребил в битвах тысячу врагов и десять тысяч своих, а сам остался целехонек, без единой царапины! Это же святой покровитель Генерального штаба, символ российского командования! Я хотел уточнить... (*К Полковнику*.) Как вы думаете насчет того, чтобы, может быть, устроить здесь казни?

ПОЛКОВНИК. Казни? Ммм... казни можно, но кого мы, собственно...

ИДЕОЛОГ. Врагов, полковник, разумеется, врагов! Я уже вижу, как это могло бы эффектно сделаться: приводим врага — и с публичным растерзанием, с прессой, а?

МИША (*решительно*). Никаких казней врагов у меня здесь не будет. Это у меня зародилось, и я никогда... Вам сначала придется скормить ему меня и всю мою семью, и после этого...

ИДЕОЛОГ (*снисходительно*). Ну, если вы настаиваете, можно семью. Женщины — это даже эффективней. (*Доверительно*.) Понимаете, необязательно же, чтобы врагов. Можно друзей, важно, чтобы жертва. Мы должны казнить, казнить, поставить это дело на поток, привести к масштабам гражданской войны, пока не начнется подходящая мировая. Потом можно будет реабилитировать, сделать приятное семьям, бросить кость Западу, но поймите, сегодня необходим рывок. Без этого он

немыслим. Полковник, подготовьте списки, я попробую пробить кампанию и, может быть, трансляцию. А? Как вы думаете, дадут нам трансляцию?

ПОЛКОВНИК. Дадут, куда денутся. Я, знаете, сам уже думаю: ну пора, пора жахнуть хорошенько! Что миндальничаем? Потом, Грузия: что там эта Грузия? Насквозь танками за сутки пройти...

ИДЕОЛОГ (*увлеченный своей идеей*). Или даже знаете как? Возьмем это шоу «Сходитесь!», ну, которое дискуссия, — и сделаем полноценный римский циркус, с гладиаторами, ну! Чтобы проигравшего тут же — медведю, как вы думаете? Я так и вижу: Володя выходит в пеплуме, он похудел, ему пойдут... (*Причмокивает.*) Аве, Вова, моритури те салютант! Выходят дискусганты. Он, как всегда, беспристрастно бьет кого надо, цифирки со звоночками мы подкрутим, а потом — голосование в зале! Сотни рук большим пальцем вниз! Скорми его, скорми его! Тут медведь... (*К Мише.*) ...А вы можете, если хотите, быть с медведем. Как бы от всех простых людей. И дальше в прямом эфире — ам!

Рев медведя за дверью.

Ам! Ам! Я даже думаю, что пусть на одной стороне всегда буду я, потому что где же они наберут столько людей с подлинно имперским сознанием, — а на другой всякий раз кто-то новый. И переименовать в «Медвежья охота», потому что дуэль — это, в общем, не наше, не русское. А медвежья охота — это наше, русское! Я сегодня же позвоню на НТВ, они должны пойти навстречу. Это рейтинг — представляете, какой рейтинг?

МИША. А кандидатов на ту сторону вы где наберете? Думаете, пойдут?

ИДЕОЛОГ (*пожимая плечами*). Не пойдут — поведут, какая разница? Пусть спасибо скажут, так же красивей, чем из-заугла да по подъездам. Сами подумайте, хозяин, как лучше: непонятно где, непонятно как — или в прямом эфире с рейтингом? Непре-

менно договорюсь сегодня же. Ладно, вы тут бдите, мне еще в Патриархию. Отец Тихон представляет «Правду Игнатия Лойолы», я у него там исторический консультант...

В дверях сталкивается с делегацией Академии наук, предводительствуемой Секретарем.

СЕКРЕТАРЬ. Здравствуйте, здравствуйте, какая прелесть. Уважаемый Михаил Валерьевич! Позвольте от души поздравить вас с присвоением вам звания доктора биологических наук, члена-корреспондента нашей академии с вручением вам первой академической зарплаты, которая, согласно директиве Бинома, станет ежемесячной!

МИША (*потрясен*). Но я просто врач... бывший врач...

СЕКРЕТАРЬ (*лукаво*). Михаил Валерьевич, не скромничать, не скромничать! Вы не просто врач, вы источник медведя! Только в результате ваших передовых экспериментов в вашей домашней лаборатории произошло чудо, к которому тщетно стремились Парацельс, Трисмегист и Ленин!

МИША. Но я просто мылся... мы все мылись...

СЕКРЕТАРЬ. А это всегда так бывает, Михаил Валерьевич! Ньютон просто сидел под яблоней, Менделеев просто уснул над списком элементов, Эйнштейн просто играл на скрипочке, а вы просто принимали душ — а величайшее научное открытие делается как бы само собою! Очевидное, так сказать, и невероятное.

МИША. Но если я доктор, хотелось бы знать тему...

СЕКРЕТАРЬ. А как же! (*Разворачивает диплом.*) Звание доктора биологических наук, минуя кандидатскую степень, присуждено по теме: «Исследование механизмов самозарождения медведя среднерусского бурого в условиях мягкого патернализма и благоприятной сырьевой конъюнктуры с цветными иллюстрациями».

МИША. Но я... я ведь этого не писал.

СЕКРЕТАРЬ. Зачем писать, Михаил Валерьевич! Контора пишет! Серьезные люди делают науку, а ре-

зультаты их прозрений обрабатывают ремесленники.

МИША. Но я же даже... я не могу даже дать объяснение...

СЕКРЕТАРЬ. И это нормально! Многие гении человечества были не в состоянии дать объяснение открытому ими феномену.

Академики вторят: «Многие, многие»; вообще слова Секретаря тут же подхватываются и повторяются на разные лады.

Многие знают фразу Галилея «А все-таки она вертится», но не все помнят, что после небольшой паузы ученый добавил: «А толку?». Маркс показал, откуда берутся деньги, но так и не смог объяснить, куда они деваются. Наконец, Ньютон открыл третий закон термодинамики, а в наши дни православная целительница, академик нашей Академии бабушка Евпраксея опровергла его с полпинка, за что и получила такой же диплом, но Ньютону от этого все равно ни жарко, ни холодно, а ей приятно, и нам денежка. Так что поздравляю вас, дорогой Михаил Валерьевич, и если захотите выступить с докладом, мы со своей стороны только приветствуем. *(Протягивает Мише пухлый конверт с академической зарплатой.)*

МИША. Спасибо, коллеги. Знаете, я страшно польщен. Я ведь всегда мечтал посвятить себя науке, да.

Академики восхищенно перешептываются.

Может быть, именно теперь я наконец смогу посвятить всего себя исследованиям... Меня давно увлекает генетика.

СЕКРЕТАРЬ *(уважительно качая головой)*. Генетика!

МИША. Да. Понимаете, Вейсман и Морган объяснили законы наследственности. Но они встали в тупик перед вопросом, почему дети такие сволочи. Мне кажется, здесь непечатый край...

РЕКЛАМЩИК *(врываясь)*. Господин Григорьев! Господин Григорьев, минуточку! Мы представляем пиво «Медведь»!

МИША. Поздравляю, очень своевременное пиво.

РЕКЛАМЩИК. Видите ли, мы придумали слоган — по моему, очень сильный, но нуждаемся в вашей творческой помощи.

МИША. Но я еще никогда не пробовал...

РЕКЛАМЩИК. Мы принесли! (*Вносит ящик пива.*)

МИША. Вы не поняли. Я не пробовал придумывать слоганы.

РЕКЛАМЩИК. Да какая разница! Чтобы член-корреспондент не придумал слоган! У нас простые корреспонденты выдумывают, а тут...

МИША (*постепенно проникаясь сознанием своего величия*). Ладно, давайте. Чего у вас там?

РЕКЛАМЩИК. Вот, мы придумали: «Я выпил пиво “Медведь”!»

МИША. А дальше?

РЕКЛАМЩИК. А дальше мы не придумали.

МИША (*внезапно озаренный*). Да как начал реветь!

РЕКЛАМЩИК. Гениально! (*Убегает.*)

Рев медведя за сценой.

БИОГРАФ (*журналистам*). Благодарю, благодарю вас, господа, пресс-конференция окончена, все свободны.

Журналисты выходят, испуганно оглядываясь на дверь ванной. Одновременно заходят зрители ток-шоу, в основном дамы среднего возраста и крепкие отцы семейств в спортивных костюмах. Появляются телережиссеры, монтируют декорацию, входят двое ведущих — отутюженный Очкарик и рослый Целитель с крестьянскими манерами.

ОЧКАРИК (*к залу*). Дорогие друзья, в эфире воскресный выпуск нашего народного шоу «Нехай клеветуют», и с вами мы, его ведущие, народный ценитель Баранов и народный целитель Баранов плюс!

Рев в зале, рев медведя за сценой.

ОЧКАРИК. Наша сегодняшняя программа, как всегда, посвящена проблемам здоровья. Уважаемый це-

литель, скажите, как дела на фронте народной медицины?

ЦЕЛИТЕЛЬ. Доброго здоровьичка, дорогие зрители, сограждане, сороссияне, доброго утречка, сегодня я расскажу вам об удивительном веществе. Пришло лето, многие поехали на дачу, а там очень высок, как вы знаете, бытовой травматизм, и бывают даже такие ужасные случаи, что человек ел арбуз, вместе с ним съел осу, оса укусила внутри, отек легких, мозга, печени, и все, умер от осы! Обратное же бывает, что косил электрокосой, не туда поставил ногу, вжик, хоп, коса отрезает ногу, неудобно, неприятно, заражение крови, и все, умер от косы! Или тоже еще бывает, что рано утром вышел в сад сорвать огурку, помидорку, свою вкусную, сладкую, родную, сам высадил, вырастил, сам поливал говном, вышел в сад сорвать родное вкусное, пошел босиком по росе, простудился и все — умер от росы! Что делать нам, сограждане, в этом полном опасностей мире? Единственный продукт, который защитит вас надежно и беспрекословно, — медвежье мумие!

ОЧКАРИК. Скажите, пожалуйста, откуда же берется этот необыкновенный продукт?

ЦЕЛИТЕЛЬ. Источником этого продукта, граждане мои и гражданочки, является исключительно прекрасный родной наш государственный медведь, о самозарождении которого все мы с вами так хорошо знаем. Этот медведь, дорогие мои гражданочки, способен давать этого продукта в день до десятка литров, и все, кто обратится на нашу передачу, смогут получить по льготной цене требуемое количество, которого старайтесь приобретать как можно больше, потому что данный продукт очень хорошо бывает от всего. Допустим, порезали вы пальчик, или не с той ноги встали, или общее бывает истощение, особенно когда, сами знаете, Луна в Меркурии и магнитные бури с запада на восток, очень бывает полезно даже и внутрь. Как вы понимаете, это, конечно, не от-

меняет уринотерапии. Я даже скажу, в сочетании с уринотерапией бывает особенно хорошо.

ОЧКАРИК. Мы сегодня для гостей нашей студии устраиваем благотворительную раздачу медвежьего мумия! Подходите, господа, всем хватит! Раздачу осуществляет та самая девочка Ньюта, которая на нашей прошлой передаче нашла свою мать в борделе под Каиром и выкупила ее оттуда сорок лет спустя!

Ньюта широкими жестами выплескивает ведра, подаваемые ей из-за двери человеком в спецкостюме, — не только на гостей, но иногда и в зал, в первые ряды партера.

ЦЕЛИТЕЛЬ. Желаю вам здоровьичка доброго, хлеба вкусного и неба чистого с медвежьим мумием и программой «Баранов плюс Баранов, нехай клеветуют, по пятницам!»

Постепенно публика уходит со сцены, унося ведра с мумием. Миша, один, в задумчивости стоит у окна. Неожиданно к окну с той стороны подбирается диссидент. Ему года 23, он в черных очках и с огромным значком «Несогласный».

НЕСОГЛАСНЫЙ. Тихо. Они здесь?

МИША. Кто?

НЕСОГЛАСНЫЙ. Сатрапы.

МИША. Да вы не шепчите. Тут только караул, они все равно не понимают.

НЕСОГЛАСНЫЙ. Почему?

МИША. Гастарбайтеры.

НЕСОГЛАСНЫЙ. Знаете, в наше время даже у гастарбайтеров есть уши. Так что тихо. Скажите, он очень вырос?

МИША. Говорят, да.

НЕСОГЛАСНЫЙ. Что значит — говорят? Вы не видели?

МИША. Ну откуда же. Они меня не подпускают.

НЕСОГЛАСНЫЙ. Вообще уже. Это же ваша квартира!

МИША. Вот именно!

НЕСОГЛАСНЫЙ. Ну скажите: вы уже наметили?

МИША. Что?

НЕСОГЛАСНЫЙ. Дату.

МИША. Чего?

НЕСОГЛАСНЫЙ. Вы, главное, не робейте. То есть не бойтесь. Мы позаботимся о семье.

МИША. Да они заботятся... *(Вдруг до него доходит.)*
Позвольте, а вы-то с какой стати?

НЕСОГЛАСНЫЙ. Ну как же. Если не мы, то кто же? Не они же будут заботиться, если вы... ну... если вас...

МИША. Подождите. Минуту. Я не могу так сразу. Вы уверены, что он меня обязательно...

НЕСОГЛАСНЫЙ. Нет, ну а сами вы разве не... У нас говорили, что вы фактически уже готовы, что вы возмущены... мы уже лозунги пишем, памятник заказан... Мрамора нет, извините, дорого, так что гранит. Но нам кажется, что даже и лучше. Даже суровее. Красная пасть и в ней черный вы. Нормально? Я потом эскизы покажу, очень интересный мальчик делал, художник, его сейчас в армию хотят забрать, мы прячем у солдатских матерей, поэтому сам прийти не сможет, но я принесу, покажу. Замечательный эскиз. Вот так пасть, вот так голова.

МИША. Чья?

НЕСОГЛАСНЫЙ. Ну, не совсем ваша, но как бы обобщенная голова. Там многие как бы черты, отчасти Шарлотта Корде... но понятно же по смыслу.

МИША. А... Нет, я возмущен, конечно. Я возмущен и все такое, служу России. Но насчет того, чтобы съесть, — это мы не договаривались. Я ничего не говорил, согласия не давал, почему вообще съесть... Его нормально кормят, между прочим...

НЕСОГЛАСНЫЙ. Господи, какая разница, как его кормят? Он от вас не откажется, они никогда не отказываются.

МИША. Да я и предлагать не буду. Что такое вообще?

НЕСОГЛАСНЫЙ. То есть вам нравится как сейчас, да?

МИША. Не нравится. Нет. Но если он меня сожрет, мне лучше не будет.

НЕСОГЛАСНЫЙ. А что, все упирается в ваше личное благо? Ваша жизнь уже мерило всех вещей? Вот оно, мещанство. Вы так и не поняли: дело прочно, когда под ним струится кровь.

МИША. Знаете, уже струилась. Уже ее столько струилось, что вот посюда в ней стояли. И как-то оно не стало прочно.

НЕСОГЛАСНЫЙ. Потому что неправое дело. А если под правым струится, то прочно.

МИША. А вы уверены, что съесть меня — это правое дело?

НЕСОГЛАСНЫЙ. Ну не левое же, верно? Не центристское? Миллионы же поймут... Они не смогут этого скрыть, вас уже по телевизору показали! Если он теперь вас съест, все задумаются, и некоторые одумаются.

МИША. И что?

НЕСОГЛАСНЫЙ. И выйдут на улицы.

МИША. А дальше?

НЕСОГЛАСНЫЙ. А дальше посмотрим. Главное — начать. Но если все будут, как вы, дрожать по углам и беречь шкуру, то это же все навсегда, пока не кончится нефть! А когда кончится нефть, начнется никель, а потом пресная вода — знаете, сколько у них пресной воды? Весь мир утопить хватит. Нам всем перекроют, а им на запад погонят, по водопроводу, и Запад смолчит. Нет, сейчас только личные подвиги, только. Другого выбора нет. Он съест одного вас, а задумаются сотни... ну, десятки... ну, как минимум, два человека насторожатся. Если он съест хотя бы десяток героев, нам обеспечены двадцать задумавшихся! Это огромная цифра.

МИША (*саркастически*). Значит, меня он сожрет, а двое задумаются?!

НЕСОГЛАСНЫЙ. Ну... за себя, по крайней мере, я вам ручаюсь.

МИША. А вы сами не хотите... за правое дело? Сейчас как раз у него скоро полдник. Вы молодой, вкусный... ну?

НЕСОГЛАСНЫЙ. Но не у меня же зародилось...

МИША. А какая разница?

НЕСОГЛАСНЫЙ. Что значит — какая разница? По телевизору кого показали — меня или вас? Страна кого знает? Если он меня сожрет, вообще никто не задумается...

МИША. Почему же. За себя я вам ручаюсь.

НЕСОГЛАСНЫЙ (*теряя терпение*). Слушайте, мы шутки шутим или решаем судьбу Отечества? Если для вас совесть — пустой звук, тогда конечно, продолжайте в том же духе. Продавайте медвежье мумие, ешьте его, заваривайте из него чай...

МИША. Слушайте, а почему все так не меняется, а? Это уже пошел какой-то «Самоубийца». Помните? Вы еще ребенок были, наверное, а я в перестройку смотрел. Там мещанин был, Подсекальников. Он решил застрелиться от плохой жизни. И пошли к нему депутации — монархисты требуют, чтобы он стрелялся на почве отсутствия царя. Либералы вот вроде вас — чтобы на почве отсутствия свободы. Прямо толпами. И он тогда передумал стреляться, потому что не хотелось ему за всякую шваль... То есть я не вас лично имею в виду, а вообще...

НЕСОГЛАСНЫЙ. Слушайте, вы марш хоть раз организовывали? Вы знаете, что это такое — вывести на улицу двадцать человек?!

МИША. Знаю. Я в армии был командир отделения.

НЕСОГЛАСНЫЙ. Тем более! Как я могу... кому-то скармливаться, когда на мне все! Адреса-пароли-явки! В милицию — это я пожалуйста, это я всегда, они меня знают уже и бить стараются не по голове. И потом, если меня — это же совершенно несимволично! Если вас — нормально, потому что до вас дошла вертикаль. Вы жертвуете собой, логично? А мне с чего, у меня же не зародился. Я маршировать, протестовать — это уж всегда, но съедаться я не могу, я вообще здесь выхожу ни при чем! А если он съел квартирному хозяина, то это жена

рыдает и двое детей, и факт произвола, и «Голос Америки». Так что решайтесь. Мы тут подойдем и под окнами поагитируем.

МИША. Знаете что? Идите вы... под окна! Что такое — одни чуть на улицу не выселили, другие чуть медведю не скормили! Чем вы тогда от них отличаетесь, если все за меня решаете не спросясь?

НЕСОГЛАСНЫЙ. А... вот как вы запели! Правду, значит, говорят...

МИША. Что говорят?

НЕСОГЛАСНЫЙ. Что вы ихний с самого начала. Что вы с ними в заговоре.

МИША. В каком заговоре, опомнитесь, что вы несете!

НЕСОГЛАСНЫЙ. Ну, теперь-то ясно! Давайте, сдавайте меня. Ну? Чего ждем? Говорите: это они его к вам привезли?

МИША. А, идите вы к черту... оправдываться тут еще перед вами...

НЕСОГЛАСНЫЙ. Да погодите! Я же не говорю, что вы однозначно с ними... Может, это просто медведь так действует. Понимаете, он же влияние оказывает. От него, наверно, что-то исходит. И вот вы были человек как человек, а стали один из них. И если проживете с ним бок о бок неделю, в вас вообще ничего человеческого не останется.

МИША. Это вы про носорогов начитались. А медведь — он тихий. Сидит себе там и делает мумие.

НЕСОГЛАСНЫЙ. А вы сами разве не чувствуете, что уже слегка косолапите?

МИША. Давайте, давайте отсюда. Как пришли, так и уйдете. Съедаться ему... У меня детей двое.

НЕСОГЛАСНЫЙ (*стоя на подоконнике*). Если бы каждый думал о том, что у него двое детей, мы бы до сих пор жили в пещерах рядом с дикими зверями.

МИША. А сейчас мы как живем?

Рев медведя.

Несогласный качает головой и вылезает в окно.

Почти одновременно вбегает Алик с компанией

одноклассников, одетых в медвежьи маски или костюмы.

АЛИК. Папа! Папа, слышь! Я возглавляю школьное отделение движения «Мишутки»!

МИША (*не расслышав*). «Не шутки»?

АЛИК. Подожди, сейчас мы тебе покажем монтаж!

Дети выстраиваются по росту.

ПЕРВЫЙ.

Мишка, Мишенька, Мишутка!
Без тебя нам было жутко!
Но теперь, когда ты тут,
Наши шансы возрастут.

МИША. Минуточку. Какие шансы? Шансы на что?

АЛИК. Папа, если ты будешь перебивать, мы не покажем монтаж.

МИША. Молчу, молчу...

ВТОРОЙ.

У простой семьи московской
Зародился чудный зверь.
С точки зренья богословской,
Это здорово, поверь!

ТРЕТИЙ.

С точки зренья православной,
Этот зверь в России главный.
В каждой сказочке второй
Этот действует герой.

ЧЕТВЕРТЫЙ.

Пусть завидуют соседи,
Что у нас в тиши квартир
Зарождаются медведи
И прям борются за мир!

МИША. Погодите, погодите. Каким образом борются за мир?

АЛИК. Пап, не придирайся. Мы же торопились. И потом, конечно, он борется за мир. Кто же нападет на страну, где в ванной у каждого медведь?

МИША. Алик. Я хочу сказать тебе очень серьезно. Мальчик мой. Я понимаю, что тебе нравится быть

главным мишуткой. Но я не уверен, что это для тебя хорошо.

АЛИК. Пап, что значит — уверен, не уверен? Ты знаешь, что комиссару после десятого в Высшую школу экономики можно без экзаменов?

МИША. А что такое комиссар?

АЛИК (*стремительно тараторя*). Комиссар — это старший над десяткой, в десятке две пятерки, старший над пятеркой — шестерка, пять комиссаров — звездочка, старший над звездочкой — комстар, пять комстаров — бригада, старший над бригадой — бригадур, пять бригадуров — кулак, кулак летом поедет на озеро с Биномом.

МИША (*совершенно запутанный*). А что Бином делает на озере?

АЛИК. Бином проводит смотр кулаков и проверяет работу по направлениям.

МИША. По каким направлениям, мальчик?

АЛИК. Старшие уже по демографии, младшие пока подметают.

МИША. Что они подметают, Алик? То, что останется после старшей демографии?

АЛИК. Пап, ну чего ты цепляешься? Я тебе потом брошюру принесу, там все написано. Мы вообще-то за мумием.

МИША. Зачем тебе мумие?

АЛИК. Мазать несогласных. Сейчас на улицу пойдем, будем спрашивать — вы согласный или несогласный? Несогласных будем мазать, чтобы согласились.

МИША. Алик... Ребята, подождите пока в парадном, ладно?

АЛИК. Папа, у меня от моей пятерки секретов нет.

МИША. Хорошо. Если ты сам хочешь, то хорошо. (*Пауза.*) Алик... Ты уверен, что хочешь поступить в Высшую школу экономики?

АЛИК. Точняк, пап. Это же наша школа.

МИША. В каком смысле наша?

АЛИК. Ну, в каком все наше. Если я теперь пойду в армию, то это будет наша армия. Если в магазин — то

в наш магазин. Если бы не мишутки, я пошел бы в обычный. А так пойду в наш. Все то же самое, но вкус уже совершенно другой.

МИША. Ты же хотел стать пожарником.

АЛИК. Так это когда было!

МИША. Или полярником.

АЛИК. Это еще раньше.

МИША. Или акробатом...

АЛИК (*утомленный*). Пап, это все можно потом. После Высшей школы экономики. Ладно, где мумие? (*Берет ведро.*) Пап, я не скоро. Нас обещали после этого в кафе-мороженое.

МИША (*грустно*). Помыться не забудь. А то не пустят еще.

АЛИК (*снижительно, как младшему*). Пап? Что значит — не пустят! Это же наше кафе-мороженое.

МИША. Там все в мумие?

АЛИК. Ну, кто в чем... Но ты же знаешь, какое щас время. (*Уходит, унося ведро.*)

МИША (*один*). Ты слышишь? (*К двери ванной.*) Слышишь, сволочь? Слышишь, тварь, что ты с ним сделал? Откуда ты взялся на нашу голову, бурый черт, что ты мне вытащил из ребенка?! Правда, что ли, мизмы от тебя идут...

ЖЕНА (*входя с сумками*). Ну как, что наш маленький друг? Ты смотрел?

МИША (*с отвращением*). Что ты тащишь?

ЖЕНА. Это к ужину, если придет Бином. Ты же понимаешь, надо что-то предъявить. Мы не можем просто так.

МИША. Что ты хочешь предъявить?

ЖЕНА. Знаешь, я подумала, что надо обыграть тему. Ну, мед, варенье — все это само собой. Салат «Медвежье здоровье», зеленый, с редисом. Оленина по-таежному — ну, ты понимаешь, с грибами. (*Выкладывает продукты — частью на стол для разделки, частью в холодильник.*) Я только суп еще не решила — свекольник или щавельный...

МИША. Сделай два в одном. Бином же.

ЖЕНА. А что, идея. Сделаю два, пусть выбирают. Должен же быть какой-то выбор, правильно?

МИША. Если хочешь соответствовать — выбирает пусть он, но решать должна ты.

ЖЕНА. Тогда свекольник. Или щавельный? Или свекольник? Ты как думаешь?

МИША (*грустно*). Видишь, ты совсем уже отвыкла решать сама.

ЖЕНА. Тогда свекольник.

МИША. Маш, я хочу, чтобы эту тварь убрали отсюда.

ЖЕНА. Какую?

МИША. Ты знаешь какую.

ЖЕНА. Зоолога? Но он очень милый, по-моему. Интеллигентный.

МИША (*взрываясь*). Черт тебя подери! Ты совсем уже ничего не понимаешь, да? Вообще уже отучились мозгами шевелить?! Я говорю про эту тварь, которая самозародилась!

ЖЕНА (*настораживаясь*). Что ты хочешь с ним сделать?

МИША. Я понятия не имею! Пусть его заберут. Какая разница. Пусть держат в клетке хоть на Красной площади, но я здесь у себя больше не намерен... я не могу, я не стану... категорически! Они уродуют Алика, они заставляют меня врать, они приносят деньги, которых я не заработал, ты варишь какую-то медвежью болезнь, весь дом пропах медвежьим дерьмом, целители учат жрать его, это не моя жизнь! Мы имеем право, мы ни в чем не виноваты, пусть они его заберут туда, где ему место, туда, откуда он вылез!

ЖЕНА. Григорьев. Успокойся. Выпей воды.

МИША. Я сейчас выпью, только не воды...

ЖЕНА (*неожиданно миролюбиво*). Чего хочешь, того и выпей. Только учти: если ты его выгонишь, я уйду с ним.

МИША. С зоологом?

ЖЕНА. С медведем.

МИША (*в оцепенении*). В каком смысле с медведем?

ЖЕНА. В том смысле, что здесь выбирать придется тебе. Ты же у нас любишь выбирать? Вот и выбирай: или мы оба остаемся, или вместе уходим.

МИША. Ты... ты полюбила его?

ЖЕНА (*устало*). Полюбила я тебя, двадцать лет назад, теперь уж ничего не поделаешь. И за эти двадцать лет, Григорьев, я не видела жизни, хотя ты не худший вариант. Ты нормальный, Григорьев, ты даже хороший, но ты никого и ничего не умеешь замечать, кроме себя. И когда у меня начинается наконец нормальная жизнь, ты хочешь одним движением все обрушить, потому что тебе, видите ли, не нравится мумие. А что у нас впервые есть деньги, и что меня впервые видят люди, и что Стариковы видят меня по телевизору и понимают, из кого вышел толк, а из кого нет...

МИША (*в бешенстве*). Я плевать хотел на Стариковых и на все, что подумают Стариковы!

ЖЕНА (*так же устало*). Я понимаю, что ты плевать хотел на всех, кроме себя. И на будущее сына тебе плевать. И на Ольгу ты плюешь. Про себя я не говорю, на меня ты плюешь двадцать лет. Запомни только одно: если ты выгонишь его, дальше тебе придется плевать в одиночестве.

МИША. Маша! Ты понимаешь, что ты говоришь?

ЖЕНА. Очень хорошо. И надеюсь, что ты тоже понимаешь: я говорю совершенно серьезно. Мне сорок лет, я еще хочужить. Другого шанса не будет. Если мне это даст медведь, я буду жить с медведем, чертом, дьяволом, инфузорией туфелькой. Но с тобой у меня не будет ничего, это я поняла с самого начала. Это можно терпеть, утешаться честно, все, что хочешь. Но когда у меня появился шанс, я не дам тебе его отобрать, Григорьев. Ты понял? Не дам!

МИША. Наши шансы возрастут...

ЖЕНА. Что ты там бурбулишь?

МИША. Неважно. Маш, ты его поцеловать не хочешь?

ЖЕНА. Надо будет — поцелую.

МИША (*мечтательно*). Вдруг превратится?

ЖЕНА. Нет, не надо. Этого, пожалуйста, ни в коем случае. Кому он нужен в качестве принца? Даже мне не нужен. А в качестве медведя к нему придет Бином, представляешь? Ой, я даже не знаю, как с ним разговаривать. Мне кажется, я буду нести такие глупости...

МИША. Не страшно. Они слышат только то, что хотят слышать.

ЖЕНА. А что они хотят?

Рев из ванной.

МИША. Вот это, наверное.

ЖЕНА. Ой, я даже не знаю, что надеть. Можно бурое, а можно трехцветное.

МИША. Да подожди ты. Может быть, еще не приедут.

ЖЕНА. Что значит — не приедут? А для чего весь бульвар липами засадили?

МИША. Когда?

ЖЕНА. С утра. Сидишь тут, как сын, ничего не знаешь. Фонари новые поставили, старушек привезли толстых.

МИША. А наших куда?

ЖЕНА. Не знаю. Наверное, потом привезут. Я даже удивилась, какие толстые старушки...

МИША. Это у них, наверное, бронжилеты поддеты. Охрана, мало ли.

ЖЕНА. Нет, охрану я видела. Охрана в песочнице.

МИША. С ведерками?

ЖЕНА. Нет, с ведерками эти... Мишутки. Охрана с лопатками, в панамках. И еще трое с собаками, якобы выгуливают, только почему-то все во дворе. На асфальте.

Звонок в дверь.

МИША. Что ж они ключами никак не обзаведутся...

Открывает. В квартиру с пением входит целая процессия попов, размахивая кадилами.

ДЬЯКОН. Здравствуйте, хозяева, Господь с вами, мир дому сему.

МИША. Служу России, слава Богу за все.

ДЪЯКОН. По благословению начальства прибыли для процедуры. Где зверек-то?

МИША. Крестить хотите?

ДЪЯКОН. Вот невежда, прости Господи. Ты когда исповедовался-то, раб Божий?

МИША. Я агностик, батюшка.

ДЪЯКОН *(беззлобно)*. Не батюшка, а отец Варсонофий, всему учить тебя, балда. Крещен?

МИША. Не сподобился.

ДЪЯКОН. Оно и видать, что нехристь. Зверька не крестят, сие грех, зверька освящают согласно чину, проводи к зверьку-то.

МИША *(указывая на дверь)*. Се зверек. Аше приидеши, возможет и схавати.

ДЪЯКОН *(заглядывая в глазок)*. И то сказать. Зверь рыкающий, ища кого поглотити. Како же тебя, раба Божия, благословило зверем сим в ванную?

МИША. Не просвещен, отец диакон. Завелось и рыкает.

ДЪЯКОН. Истинно сказано: можешь ли уловить Левиафана удою? Чудны дела твои, Господи, и разнообразны. Приступим, братие. *(Машет кадиллом.)* Создателю и содеятелю человеческого рода, дателю благодати духовныя, подателю вечнаго спасения, сам, Господи, пошли духа Твоего святаго на тварь сию, яко да вооружена силою небеснаго заступления хотящим ю употребляти, помощна будет к телесному спасению и заступлению и помощи, аминь. Господи помилуй, чего только не освящал, одних «Мерседесов» в проклятые девяностые сколь пересвятили, мобильников более ста, спонсор Феофилакт Тамбовский, в миру Пупырь, приносил пистолет «магнум 44», вот такая дура! — а медведя впервые Господь сподобил.

ЖЕНА. Пожалуйте, батюшка, закусить.

ДЪЯКОН. Благослови тебя Господь, хозяйюшка. Очи всех на Тя, Господи, уповают, и ты даеши им пищу во благовремени, отверзаеши ты щедрю руку Твою и исполняешь всякое животное благоволения. *(Наливает, закусывает.)* Приступим, братие.

Братия закусывает.

Ты, раб Божий, знаешь анекдот про православного льва?

МИША. Не просвещен, отец Варсонофий.

ДЬЯКОН. Се просвещаю. Шел некогда отец пустынный через лес и встретил льва. Взмолился: Господи, сделай, чтобы лев сей стал православным! И что ж ты думаешь? Лев поднял лапы и взмолился: «Очи всех на Тя, Господи, уповают, и Ты даеши им пищу во благовремени!»

Братия хохочет.

Понял? Это он перед едой помолился!

МИША. Как не понять, батюшка. В жилу сие.

ДЬЯКОН. А про крокодила знаешь?

МИША. Про бревно зеленое?

ДЬЯКОН. Не, про бревно неинтересно. Это наш такой прикол, православный: поют осмогласие — «Господи, возвах к Тебе, услышь мя, да исправится молитва моя, яко кадило пред Тобою» — псалом 140. Так одна старушка говорит — истинно, Господи, я крокодила пред Тобою!

ОДИН ИЗ БРАТИИ. Есть еще вариант — я крокодила и бегемота.

Хохочут.

ДЬЯКОН (*вытирая усы*). Ей, вкусно! А про печение знаешь?

МИША. Такжеже не просвещен.

ДЬЯКОН. Просвещу. Значит, у нас поется...

Звонок в дверь.

МИША. Сейчас, сейчас.

Сцена заполняется разнообразной публикой: в дверях устанавливается рамка, через нее входят саперы с металлоискателем, пограничник с собакой, охрана с совками в панамках, двое автоматчиков, знаменосцы со знаменем, АП. Следом за ним входит Бином — двое мужчин в одном пиджаке. Это сиамские близнецы с удивительной

синхронностью движений, но большой разницей в интонациях. Бином-1 говорит сладчайшим тенором, Бином-2 — резким, отрывистым баритоном. Следом вваливается толпа журналистов с телекамерами, блицами и спутниковыми антеннами. Перед входом Бинома охрана быстро и точно обыскивает все углы и всех присутствующих. В кухне Миши обнаруживает (и брезгливо бросает хозяевам) заначку в несколько сот долларов, в рясе дьякона — множество мелочей от пистолета до бутылки (все это любезно возвращает), у перепуганной Оли — пачку презервативов и т.д. Эта пантомима без единого слова может длиться минуты две. Всех, кто присутствовал на сцене, оттесняют по углам. АП выталкивает к Биному только Мишу с женой и наклоняет их головы в поклоне.

АП. Вот эти.

Бином синхронно протягивает руки для поцелуя. Миша с женой припадают.

БИНОМ-1. Не соблаговолите ли высоколюбезно указать, хозяйюшка, где обретается высокомохнатый повод к нашему визиту?

БИНОМ-2. Показывай.

ЖЕНА. Вот он... там.

Бином подходит к глазку, смотрит по очереди.

БИНОМ-1. Не соизволите ли высоколюбезно предоставить мне посмотреть...

БИНОМ-2. Не мельтеши.

БИНОМ-1. Насколько удивительно чрезвычайно велико это животное!

БИНОМ-2. Жирный, да.

БИНОМ-1. Не восхитителен ли этот знак высокоростного развития, столь явно свидетельствующий об удивительном росте благосостояния и самосознания в рамках столь же безусловного соблюдения правовых гарантий и прозрачной законности!

БИНОМ-2. Имеем.

БИНОМ-1. Разумеется, без правовых гарантий, без строжайшего обеспечения законности, без решительной борьбы со всем ужасным за все прекрасное мы не могли бы даже помыслить о таких высоковосхитительных результатах.

БИНОМ-2. Мочить.

БИНОМ-1. Я хотел бы подать несколько сигналов, потому что дальнейшее словоизвержение может быть не вполне безопасно.

Подмигивает, щелкает пальцами, топает левой ногой.

Бином-2 молча крутит пальцем у виска.

БИНОМ-1 (*оборачиваясь к Мише*). Глубокоуважаемый хозяин, не расскажете ли вы нам немного о себе?

БИНОМ-2 (*буркает*). Документы.

Миша протягивает документы.

АП (*дирижируя пресс-конференцией*). Пресса! Газета «Шесть соток», пожалуйста.

ЖУРНАЛИСТ (*в руках ведро, на плече грабли*). Пожалуйста, немного о вашей автобиографии, товарищ Григорьев, и особенно в отношении дачи.

ВТОРОЙ ЖУРНАЛИСТ. Расскажите о вашем хобби, пожалуйста! Как вы рыбачите на охоте в свободное от выпиливания время, пожалуйста!

ТРЕТИЙ ЖУРНАЛИСТ. Почему в вашем творчестве так много ремейков?

ЧЕТВЕРТЫЙ ЖУРНАЛИСТ. Какую позу вы предпочитаете при просмотре сериала?

ПЯТЫЙ ЖУРНАЛИСТ. Где вы делаете педикюр и эпилируете ли волосы на груди?

ШЕСТОЙ ЖУРНАЛИСТ. Как вы относитесь к гей-культуре?

СЕДЬМОЙ ЖУРНАЛИСТ. Как тема медведя повлияет на гламур этого сезона?

БИНОМ (*выходя на авансцену*). Тихо!

Полная тишина. Бином-1 открывает рот, чтобы заговорить, но в эту секунду из-за двери ванной доносится тихое мелодичное пение под аккомпанемент балалаек — «Полюшко-поле».

Бином встает в позы солистов ансамбля Александрова
и запевает вместе с медведем — один баритоном,
другой тенором:

Полюшко-поле!
Полюшко широко поле!
Едут по полю герои,
Это Красной армии герои...

БИНОМ-2. Это он?

АП. Видимо.

БИНОМ-2. Мовет.

БИНОМ-1. Господа, я уважительнейше прошу вас всех
поучаствовать.

БИНОМ-2. Встали!

Постепенно песню подхватывают все. Зал встает, тех,
кто не подпевает, поднимают статисты в зале. Финал
первого действия — мощное хоровое исполнение песни
под трубный медвежий рев:

Девушки, гляньте,
Девушки, утрите слезы,
Пусть сильнее грянет песня,
Эх, да наша песня боевая!

Второе действие

КАРТИНА ПЕРВАЯ

Декорация неизменна, но квартира сильно загромождена: софиты, телекамеры, ведра с мумие, двое караульных, гигантский холодильник, раскладушка разводящего, кухонный комбайн от Бинома, палатка от пива «Медведь», рамка, которую забыли унести после визита. Среди всего этого нагромождения Миша с женой невозмутимо смотрят телевизор. Жена сильно переменилась, помолодела, загорела, одета изысканно и не без вызова. Миша мрачен, как многое передумавший и о многом догадывающийся человек. Газету он держит вверх ногами, явно не читая, просто отгораживаясь. Из телевизора доносятся мужской и женский голоса.

М. В общем...

Ж. Как бы сказать...

М. Если можно выразиться...

Ж. Ничего.

М. Так себе.

Ж. Ну, везде так себе...

М (*с жаром*). Везде хуже!

Ж. Будет лучше.

М. Когда-нибудь будет!

Ж. Будет хорошо!

М (*скептически*). Где-нибудь будет.

ЖЕНА. Переключи.

МИША. Подожди, погоду скажут.

Ж. Но никто не сможет вбить клин!

М. Никто не вобьет!

Ж. Мы не дадим вбить клин!

М. Мы не дадим...

Ж. Будет как раньше!

М. Когда-нибудь будет.

Ж. *(тихо плачет. Потом деловито сморкается)*. Погода так себе, но будет лучше. Мы передавали выпуск новостей.

Из-за двери ванной доносится тихий вой.

ЖЕНА. Он что, заболел?

МИША. Третий день вот так.

ЖЕНА. Да, извини. Совсем я закутилась. Все эти балы...

МИША. Я понимаю.

ЖЕНА. Но он здоров?

МИША. Ест хорошо. Зоолог говорит — влияние кризиса.

ЖЕНА *(после паузы)*. Миша, нам надо поговорить.

МИША. Поговорить.

ЖЕНА. Миша. Меня не пригласили на вечер «Оревуар, гламур».

МИША. Слава Богу.

ЖЕНА. Почему?

МИША. Потому что для всех он кончился, а для тебя нет.

ЖЕНА. Пойми, это было главное событие сезона. Первый кризисный бал. Ватники от Зайцева, опорки от Гуччи, отварная картошка и черный хлеб, все это вчерашнее. Там были все наши — ну, ты понимаешь.

МИША. Понимаю.

ЖЕНА. Я должна была, Миша! Это знаковое событие. Почему они меня не позвали? Может быть, они забыли?

МИША. Может быть.

ЖЕНА. Или не забыли?

МИША. Маша. Не огорчайся, Бога ради. Но у меня такое чувство, что они нас теперь будут звать гораздо реже.

ЖЕНА *(оживляясь)*. Почему? Мы сделали что-нибудь не так?

МИША. Да все так. Но просто... что-то кончилось. Я не знаю, может быть, у меня действительно от долгой жизни рядом с ним открылось какое-то чутье. Это... это нельзя объяснить, это носом, как у зверя. Но я чувствую, что нас больше не надо, и все это (*обводит кухню*) скоро кончится. И это хорошо. Это хорошо, но это не кончится просто так.

ЖЕНА. Подожди, подожди. Объясни. Что ты имеешь в виду?

МИША. Я бы объяснил, если бы мог. Но я не могу. Я могу только выть, как он. Это помнишь... в одном романе, но ты не читала, наверное... Там инженер держит в руках инопланетную вещь, герметично замкнутый брусок, и говорит: чувствую, что там внутри разомкнутая цепь, а как чувствую – объяснить не могу. Так и я. Но я попробую. Мы же очень давно не говорили.

Легкий вой медведя.

Понимаешь... Ну вот я попробую, да. Если непонятно, ты скажи. Обычно, если что-то должно кончиться, оно почти никогда не кончается само по себе. Вот оно началось, никто его не хотел, но уж что поделать. Так вот, оно просто так кончиться не может, потому что когда оно началось, то оно там вступило в какие-то отношения, дало корни, зацепилось зацепками, и теперь это уже можно выдрать только с огромной частью жизни, и уже непонятно, стоит ли вырывать такой ценой. Вот и сейчас: оно-то, может, и кончится, и хорошо, и не будет ведер этих, и Алик прекратит бегать поливать из ведра несчастных людей, и ты не будешь бегать по рублевским балам, где они там скидывают со своего плеча секунд-хэнд со стразами на помощь неимущим детям... Но вместе с этим кончится что-то такое, без чего я уже не смогу. Понимаешь?

ЖЕНА. Конечно! Ты же теперь большой человек, как ты сможешь без него? Это я всегда была самодостаточна, и мне, если хочешь знать, совершенно

безразлично, позовут меня или нет. Я уже видеть не могу всех этих людей, я слышать не могу их разговоры, весь этот вещизм, а картошку я могу сварить сама, и будет гораздо лучше. А тебе — конечно, тебе будет трудно, ты ощутил значимость...

МИША. Маша. Я не буду с тобой спорить. Я сам понимаю, что больно. И кроме того, Маша, действительно был момент, когда все эти дипломы, понимаешь... Был, я не спорю. Просто, Маша, я отдал бы дипломы, и плевать на дипломы, и плевать на все... Я боюсь, что кончится не только это.

ЖЕНА. А что? Конец света?

МИША. Понимаешь... Как бы это сказать... Вот есть очень плохой человек, и у него раковая опухоль. Так вот, нельзя быть на стороне опухоли, потому что даже самый плохой человек — ну, кроме Гитлера, может быть, — лучше раковой опухоли. Потому что она не соображает вообще. Потому что она — распад, и когда распадается плохое — невозможно радоваться, будет-то совсем уже... Непонятно?

ЖЕНА. Почему, очень понятно. Ты, как всегда, философствуешь вместо того, чтобы думать.

МИША (*кротко*). А о чем сейчас надо думать?

ЖЕНА. Думать надо о том, как приспособиться к кризису. Как во время кризиса извлечь максимум прибыли из медведя. Я допускаю, что сейчас действительно станет... ммм... несколько не до него. И не до нас. Но руки же нельзя опускать, верно? С медведем можно сделать много всего интересного. Медведь — это серьезный капитал.

МИША. Ты думаешь?

ЖЕНА. Конечно! Мы можем показывать его за деньги... водить на экскурсии...

МИША. Его?

ЖЕНА. Нет! Детей можно приглашать, инвалидов... От него же исходит животная сила! Я читала, была такая программа — больных катали на лошадях. Лошади заболели, а больные выздоравливали.

МИША. В том-то и дело, Маша. Что-то я в последнее время не чувствую от него животной силы.

ЖЕНА. А что чувствуешь?

МИША. А вот примерно что видишь.

ЖЕНА. Вижу какую-то медузу.

МИША. Ну вот... Понимаешь, когда его нет... то есть медведя... это не очень правильно, но по крайней мере хорошо. Никто не мешает жить и все такое. Когда он есть — это трудно и вообще плохо, и не помоешься, и ведра, и все... Но когда он был и вдруг его нет — то это уже совсем ни в какие ворота, потому что становится непонятно, для чего тогда все. Пока он есть, можно его обслуживать, можно с ним бороться... А когда его нет, надо опять выдумывать, что делать с ванной. Просто мыться уже становится как-то недостаточно, Маша!

Звонок в дверь.

Кого черт несет на ночь глядя... *(Открывает дверь.)*

Ба, полковник Голутвин! Какая радость, сколько лет, сколько зим!

ПОЛКОВНИК. Смена караула, хозяин. *(Вводит пожилого мужика с внешностью водопроводчика.)* Снимать будем этот пост. Одного человечка хватит, чай, не Ленина стережем.

МИША. Что, кризис?

ПОЛКОВНИК. Не говори. Гастарбайтеров приказано выслать, а то, сам знаешь, коренному населению негде работать. Оно и не рвется, правда, но приказ есть приказ. Вот тебе теперь караульный.

КАРАУЛЬНЫЙ. Ну, чего, куда становиться?

ПОЛКОВНИК. Сюда, к дверям.

Гастарбайтеры четко, по-военному уходят.

КАРАУЛЬНЫЙ. Чего, стоять, что ли?

ПОЛКОВНИК. А то. В армии служил?

КАРАУЛЬНЫЙ. Давно дело было. А ничего, если я присяду?

ПОЛКОВНИК *(с сомнением)*. Вообще-то не положено...

КАРАУЛЬНЫЙ. Чего — не положено?! Чурки пускай стоят, а я местный. *(Берет табурет.)* Караул устал. *(Достаёт бутылку.)*

МИША. Слушай, это уже какая-то русофобия. Нельзя же так наглядно.

КАРАУЛЬНЫЙ. Кому нельзя? Мне нельзя? Ты, что ли, мне указывать будешь? Еще надо посмотреть, кто ты сам такой.

МИША. Я владелец медведя.

КАРАУЛЬНЫЙ. И что? А я соль земли, я знаешь где видал твоего медведя? Все ради меня, слышал? И ты ради меня, и скажи спасибо, что я вообще тут лежу.

ПОЛКОВНИК. Н-да. Ну, я пойду, наверное...

ОЛЯ *(выбегая из своей комнаты)*. Олег, я с тобой!

ПОЛКОВНИК. Оленька... Ну что ты, девочка?

ОЛЯ. Олег, заberi меня отсюда, я больше не могу. Я чувствую, что здесь будет несчастье.

ПОЛКОВНИК. Оля, ну куда мы... Ну подумай... Я человек военный, меня куда послали — туда пошел...

ОЛЯ. Неправда, ты не такой!

ЖЕНА. Ольга, это неприлично!

ОЛЯ. Что вы все понимаете! Он настоящий, он Чечню топтал!

ПОЛКОВНИК. Кого топтал, что ты мелешь!

ОЛЯ. Ты мне сам говорил! Олег, прошу тебя, пойдем. Я чувствую, здесь будет плохо...

ПОЛКОВНИК. Оля! Ну Оля! Ну что ты! Ну нельзя же! Мне нельзя, Оля! Я женат, Оля!

ОЛЯ. Это ничего, Олег! Сейчас везде бином. Она поймет, Олег. Честное слово. Бином — это же правильно, да?

ПОЛКОВНИК. Это мысль. *(Задумывается.)* Это ничего. Это можно. А клин не вобьешь?

ОЛЯ. Никогда!

ПОЛКОВНИК. Ну, тогда пошли. Как-нибудь. Не взыщи, хозяин.

ЖЕНА. Оля! Стой! Стоять!

ОЛЯ. До свиданья, мама. Я зайду. *(Быстро целует родителей, убегает.)*

ЖЕНА. Черт-те что.

МИША. А может, и правильно. Что-то я чувствую, Маша, здесь действительно будет не очень хорошо...

КАРАУЛЬНЫЙ. Хозяин!

МИША. А?

КАРАУЛЬНЫЙ. Базар до тебя есть.

МИША. Ты на посту, тебе разговаривать не положено.

КАРАУЛЬНЫЙ. Я-то? Я-то не на посту, куда хочу, туда иду. Это ты при медведе своем на посту. Так вот есть до тебя от серьезных людей базар. Все одно кризис. Хозяин, продай медведя.

МИША. Ты что?!

КАРАУЛЬНЫЙ. А что?

МИША. Тебя охранять его наняли, а ты — продай!

КАРАУЛЬНЫЙ. Меня никто не нанимал, я сам нанялся. А тебе он сейчас без надобности, тебе одна копать с ним. Подумай, хозяин, люди серьезные.

МИША. Да он государственный!

КАРАУЛЬНЫЙ. Так а другого мы не покупаем, хозяин.

МИША. Вам-то он на что?

КАРАУЛЬНЫЙ. А это уж наша забота, хозяин. Найдем куда. Может, корейцам, а может, Бен Ладену.

МИША. Да ты... Да ты... Ну-ка пшел отсюда!

ЖЕНА. Тихо, Миша. Может, он дело говорит.

КАРАУЛЬНЫЙ. Бабу слушай, хозяин. Он ведь с каждым днем меньше будет. Давай, пока берут.

МИША. Возьми, если сможешь.

Дикий рев медведя.

КАРАУЛЬНЫЙ. Давай сам, хозяин. Он тебя знает, к тебе пойдет.

МИША. Ко мне Бен Ладен не пойдет.

КАРАУЛЬНЫЙ. Да почему Бен Ладен, что Бен Ладен сразу! Его, может, и не было никогда. Его, может, Рамзан себе в зверинец купит. У него лошадей уже девать некуда, а медведя нет.

МИША. Обойдется. Смотри, какие прыткие все стали — распродавать национального медведя. Мумия сколько хочешь дам, пусть забирает, не жалко.

КАРАУЛЬНЫЙ. Смотри, хозяин, не пожалеть бы тебе.

МИША. Жалею, ой, жалею! Жалею, что он у меня в наморднике. Да он, может, и лапами справится? Чего, открывать? Открываю!

КАРАУЛЬНЫЙ *(уходя)*. Серьезные люди, хозяин...

МИША. Сейчас вот как позвоню, так и придут серьезные люди... Давай, канай, скупщик.

Караульный уходит и в дверях сталкивается с делегацией Академии наук.

ЖЕНА. Накликал, черт бы тебя побрал...

Входят академики.

СЕКРЕТАРЬ *(сухо)*. Здравствуйте, Михаил Валерьевич.

МИША. Служу России. Что, зарплата?

СЕКРЕТАРЬ. Зарплата... больше не будет зарплат, Михаил Валерьевич.

МИША. Деньги кончились?

СЕКРЕТАРЬ. Ваша теория признана антинаучной.

МИША. Какая теория? Я не выдвигал никакой теории!

СЕКРЕТАРЬ. Ну, вот эта. О самозарождении медведя в условиях мягкого патернализма.

МИША. Вы же знаете, что я этого не писал!

СЕКРЕТАРЬ. А написано, что писали. Ваша диссертация? *(Показывает толстый том с множеством графиков.)*

МИША. Не моя. Вы сами сказали – гении открывают, ремесленники пишут...

СЕКРЕТАРЬ. Ремесленники уже наказаны. А вы больше не член-корреспондент, а просто кандидат. И не биологических наук, а филологических.

МИША. Почему филологических?

СЕКРЕТАРЬ. Потому что они в условиях кризиса финансируются по остаточному принципу. Предлагаю вам на выбор три темы: «Сравнительная характеристика Пети и Гаврика в повести “Белеет парус одинокий”», описание картины Пластова «Сенокос» или свободная тема «Как я провел лето».

МИША. Как я провел лето.

СЕКРЕТАРЬ. Ну и как вы провели лето?

МИША. Ничего, спасибо. Но как-то все время было чувство, что это скоро кончится.

СЕКРЕТАРЬ. Знаете, я вас должен успокоить. Тут всегда такое чувство, осенью тоже. Даже зимой иногда бывает такое чувство. Проснешься и думаешь — ну невыносимо! Но потом понимаешь, что это скоро кончится, и идешь ставить чайник.

МИША. Иногда я даже думаю: хорошо ли это, что все вот так кончается? Оно же не успевает восстановиться...

СЕКРЕТАРЬ. Знаете, Миша, скажу вам честно, как ученый ученому. Лет через двадцать, когда все опять кончится, вы сможете защитить на эту тему докторскую. Будет уже можно. Если что-нибудь будет вообще. *(Забирает дипломы.)*

АКАДЕМИК *(задерживаясь возле Миши)*. А я за вас голосовал. Вотум сепаратум. Мне кажется, у вас была отличная работа, отличная... Там особенно интересно была описана стадия имаго, вот когда он вылезает из куколки...

МИША. Да, да... Спасибо, коллега. Пройдут времена обскурантизма, и правда воссияет во всей, так сказать, медвежьей мощи.

АКАДЕМИК. Вы не забудьте тогда, Чесноковский моя фамилия.

МИША. А я Григорьев.

Со значением жмут друг другу руки, расходятся.
Академики сталкиваются в дверях с налоговым инспектором.

НАЛОГОВЫЙ ИНСПЕКТОР. Здравствуйте.

МИША. Добрый день. Вы мясо принесли?

ИНСПЕКТОР *(усмехаясь)*. Да нет. Я ведомость принес.

МИША. На мясо?

ИНСПЕКТОР. Это как посмотреть. На него вот. *(Кивает на ванну.)*

МИША. А зачем?

ИНСПЕКТОР. Заплатите, как говорится, налоги и спите спокойно.

МИША. Я и так спокойно... а какие налоги?

ИНСПЕКТОР. Какие положено. На зверушку.

МИША. То есть я за него плачу?

ИНСПЕКТОР. Да выходит, что вы.

МИША. Вы не понимаете. Он национальное достояние.

ИНСПЕКТОР. Был достояние, а стал имущество. Разницу чувствуете?

МИША. Но я из него прибыли не извлекаю! За что налог-то?

ИНСПЕКТОР. Я не знаю, чего вы там извлекаете, не извлекаете... Я знаю, что у вас зверушка. Собственность? Собственность. Плати налог и спи спокойно.

МИША. И сколько?

ИНСПЕКТОР. А вот посмотрите. Тут все написано.

МИША (*заглядывая в ведомость*). Но это ужас.

ИНСПЕКТОР. Это в месяц. А с вас за пять месяцев, с момента зарождения.

МИША. Это бред какой-то. Я же его не покупал.

ИНСПЕКТОР. Правильно, не покупал. Если б купил, тогда бы еще налог за покупку. А у вас сам взялся, значит, считай, льгота.

МИША. Но он гордость. Его видел Бином.

ИНСПЕКТОР. Бином всех видит. Вы заплатите — и спите спокойно.

МИША. Но у меня сейчас столько нет.

ИНСПЕКТОР. Ну, не страшно. Мы переводом оформим. Пока переведете, воду отключим, свет, газ оставим.

МИША. Слушайте... но нельзя же с кем угодно вытворять что угодно! Я понимаю, кризис. Но его надо кормить!

ИНСПЕКТОР. Да конечно. Заплатите налоги — и кормите спокойно.

МИША. Слушайте, а нельзя сделать так: вы вместо налогов возьмете его — и делайте что хотите! Я его вам задаром отдаю. Вывоз за ваш счет.

ИНСПЕКТОР. Нет, гражданин, мы натурой не берем. Если вам по каким-либо причинам собственность

наскучила, вы звоните в отдел утилизации, они приедут и утилизируют.

МИША. Но его нельзя... как — утилизируют?

ИНСПЕКТОР. Как, как... обычно, как. Если вы не можете себе больше позволить какую-нибудь роскошь, она вручается тому, кто может позволить. А если у вас такая роскошь, что от нее вонь одна, то это шуба там, или мясо, или обратно же корм скоту. У кого что. У вас, я так думаю, в принципе может быть шуба.

МИША. Послушайте. Это шантаж. Вы меня вынуждаете заплатить. Вы понимаете, что это такое? Я сейчас позвоню, и вы сами пойдете на корм...

ИНСПЕКТОР (*невозмутимо*). Это пожалуйста. Заплатите налоги и звоните спокойно.

МИША (*звонит*). Полковника Голутвина! Олег, слушай, это что такое? Ко мне вваливается налоговый инспектор и требует, чтобы я платил за медведя. Ты разберись, пожалуйста... Что? Да. Что? Да. Да. Да. Нет. Нет. Что значит — должен? Олег, ты в своем уме?! Что значит — директива? Что значит — Бином? Что значит — в задницу? (*Потрясенно вешает трубку*.) Нет, я этого не вынесу. Я с ума сойду.

ИНСПЕКТОР. Заплатите налоги и сходите спокойно.

МИША (*выскребает кошелек*). Это все, что у меня есть.

ИНСПЕКТОР (*подсчитывает*). Остальное когда внесете?

МИША. Завтра.

ИНСПЕКТОР. До завтра только свет. Водой пока пользуйтесь.

Уходит. Пауза.

ЖЕНА. Миша...

МИША. Да?

ЖЕНА. Миша, звони в утилизацию.

МИША. Что значит — в утилизацию? Ты понимаешь, что говоришь?

ЖЕНА. Очень хорошо понимаю. Миша, это мало того что разорение. Это позор. Они хотят, чтобы мы не мылись и еще его содержали. Это бред, Миша.

Это откровенное и прямое издевательство. Раньше они нами гордились, а теперь не могут нам этого простить.

МИША. Что ты предлагаешь?

ЖЕНА. Избавься от него, Миша. Он мозолит им глаза. Он напоминает им о чем не надо.

МИША. О чем?

ЖЕНА. О том, что они хотели бы забыть. Как они тут вставали с колен и прочее. Они не простят тебе, Миша. Убери его.

МИША. Что значит — убери? Он живой, ты понимаешь это? Если он зародился, то, может, так надо. Когда он тут гадил и этим давал тебе право входа на любую тусовку, ты его очень любила. Ты говорила — или он, или я. Нельзя же так забывать!

ЖЕНА. Я и не забываю. Я и сейчас тебе говорю: или он, или я.

МИША (*пытается все свести к шутке*). Слушай, но за тебя хоть налоги платить не надо...

ЖЕНА. Не смешно. Звони в утилизацию.

МИША. Никогда.

ЖЕНА. Ты хочешь платить за то, чтобы он жрал и гадил?

МИША. Благодаря ему мы бесплатно жрали и гадили полгода. Как-нибудь потерпим.

ЖЕНА. Терпи. Терпила.

МИША. И куда ты?

ЖЕНА. Поживу у мамы. Приедет Алик с Селигера — заберу туда же.

МИША. Ты это серьезно?

ЖЕНА. Более чем. Я не буду платить за медведя. Я не буду больше нюхать мумие. Я не дам зверю калечить ребенка. Одумайся — звони.

МИША. Стоп. погоди. Ну нельзя так, Маша. Вспомни, ты ведь говорила, что он счастье...

ЖЕНА. Миша. Пойми, есть высшие соображения. Есть государственная необходимость.

МИША. С каких пор ты так хорошо разбираешься в государственной необходимости?

Жена сбрасывает халат. Под ним военная форма внутренних войск.

ЖЕНА. Понял?

МИША. Я всегда говорил, что ты в прекрасной форме.

ЖЕНА. Дошутишься.

МИША. И давно ты у них?

ЖЕНА. С самого начала. С пятого июня, как зародился.

Кто-то должен был вести дом, Миша. Кто-то должен отчитываться обо всем — но не ты же? Не Оля, у которой ветер в голове? Не Алик, которому одиннадцать? Спрашиваю тебя в последний раз: выбирай — государство или он.

МИША. Государство — это ты?

ЖЕНА. Государство — это все. Звони в утилизацию, Миша.

МИША. Я одного не понимаю: почему эта форма так определяет ваше содержание? Почему как только вы ее наденете — так сразу начинаете предавать все и вся? Удивительно еще, как в Грузию не все перебежали.

ЖЕНА. Смирно!

МИША (*командует*). Кругом.

ЖЕНА. Пожалеешь.

МИША. К маме иди стучать. Мы тут разберемся.

ЖЕНА. Один с ним останешься.

МИША. Он хоть стучать не будет.

Медведь бешено стучит в дверь ванной.

ЖЕНА. Будет.

МИША (*в сторону ванной*). Прекрати немедленно!

Медведь жалобно скулит.

То-то. Будешь стучать — утилизирую.

ЖЕНА. Суп в холодильнике. (*Уходит.*)

МИША. Служу России.

Некоторое время сидит неподвижно. Скулит медведь. Звонок в дверь. Миша радостно бросается открывать, но разочарованно застывает. Вместо раскаявшейся жены перед ним американская корреспондентка.

КОРРЕСПОНДЕНТКА. Мое имя Гертруда Уайт. Можно просто Герти.

МИША. Здравствуйте, я Миша.

ГЕРТИ. Я имею несколько вопросов, потому что противоречива информация... Впрочем, судя по запах, медведь еще тут.

МИША. Он тут и будет, не дождетесь.

ГЕРТИ. Но идет слух, что он весьма значительно уменьшился.

МИША. Я не понимаю, миссис Уайт, кто распространяет эти слухи. Казалось бы, ближайший к нему человек — я. И я вам ответственно заявляю, что он вери, вери биг. Джайант.

ГЕРТИ. Но я... я хотела бы иметь смотреть, идти возможность удостовериться. Я бы настаивать смотреть.

МИША (*с ледяной вежливостью*). Вы мочь иметь смотреть быть хотеть настаивать водка анис, чеснок, лимонная корка. Но здесь вы настаивать не мочь, ибо караул быть устать, а лично я не мог гарантировать ваша секьюрити при осмотре наша селебрити.

ГЕРТИ. Ах, вот так!

МИША. Уж вот так. Но я своя сторона мочь уверенно уверить, что медведь быть реветь.

Рев за дверью.

ГЕРТИ. Ах, йа!

МИША (*гордо*). Да, вот так вот. Яволь, хендэ хох.

ГЕРТИ. Но я слышала, что вы получал предложение продать... хорошие деньги, серьезный партнер...

МИША. Диар Герти, есть сингс, которые нот фор сейл.

ГЕРТИ. Но я знать мой источник, что вы уже практично быть лишен мясо...

МИША. Это кремлевская диета. Зверь нуждаться разнообразие. Сегодня мясо, завтра нефть, потом опять мясо.

ГЕРТИ. И я знаю также от очень конфиденциал источник, что вы также лишиться джоб...

МИША. Мой джоп всегда при мне, их бин кандидатен филологише наук, либе дихь, аллес нормаллес.

ГЕРТИ. Я быть уполномочен предложить, чтобы вы и объект получать гуманитарная помощь...

МИША. Нет, я должен категорично отказать. Мы уже получать гуманитарная помощь двадцать лет назад, и ваша гуманитарная помощь уже ставить страна на грань гуманитарная катастрофа. У нас быть очень много всего. Уже я даже отключил холодильник, потому что не помещается. Уже я просил, я умолял: не несите больше еды. Но несут и несут, как ходоки к Ленину.

ГЕРТИ. Однако я знаю совершенно надежно, что ваша жена покинула квартира сегодня морнинг...

МИША. Вынужденно, миссис Уайт, вынужденно. Еда не вмещалась в холодильник, пришлось поместить в Машинной комнате. Как только мы с объектом съедим еду, пространство освободится, и Маша вернется.

ГЕРТИ (*мягко*). Это очень жаль, что в условиях перезагрузка вы упорственно сохранять нравы холодной войны. Мы к вам со всем добром, мистер Григорьев...

Рев медведя.

МИША. Мы тоже со всем добром, миссис Уайт, и тоже готовы в случае чего гуманитарная помощь, потому что у вас там, я знаю, инфляция. Так что вы приходите в случае чего.

ГЕРТИ. У вас дырка вот тут... (*Показывает на штаны.*)

МИША. Ничего не поделаешь, мода. «Оревуар, гламур».

ГЕРТИ. Гуд бай, мистер Григорьев.

МИША. Источникам привет. (*Один.*) Ну, ты даешь, а? Значит, как на экспорт, так мы можем? Ну-ка покажи!

Медведь скулит.

Для меня рычать не можешь, для нее можешь? Вот всегда мы так: самим жрать нечего, а гостям пир. Хорошо ты ее.

Медведь скулит.

Гуманитарная помощь! Помню я гуманитарную помощь, сенк ю вери мач. Получил в девяностом

году туфельки вот на таком каблуке тридцать пятого размера, со стразами.

Медведь скулит.

Господи, да что ж ты нервы-то мне мотаешь! Ты сверхдержава или кто? Рычи давай!

Жалобный визг.

Господи, совсем я один с ним остался! Оля! Маша! Маша!

КАРТИНА ВТОРАЯ

Ночь. Синий свет. Миша один в кухне.

МИША. Что, воешь? Давай, вой. Мяса больше нет. Нет мяса. Не завезли. Кризис. Рыбу жри. Полярные могут, и ты сможешь.

Жалобный скулеж медведя.

Ничего, привыкай. Вся страна затягивает пояса, и ты затянешь. Между вами ведь — как его — мистическая связь?

Скулеж.

Дашь ты мне спать или нет, сволочь?! На, жри! *(Вынимает из холодильника и кидает в ванну кусок мяса.)*

Довольное чавканье, поскребывание.

Больше не проси!

Молчание.

Слушай, какого черта я тебе покупаю мясо? На свои деньги, между прочим! На заветные сбережения, на черный день! Ты в курсе, что мне за тебя зарплату больше не платят? Так какого черта я гроблюсь? Я что, хочу, чтобы ты меня любил? Ты меня не любишь и никогда не полюбишь. Ты любишь мясо. Ты можешь любить человека только

тогда, когда он доведен до состояния мяса. А я еще поживу, ты слышишь? Поживу!

Скулеж медведя.

И нечего скулить, дубина бурая. Если уж завелся, мог бы как-нибудь предотвратить кризис. А я тебя теперь содержи. Думаешь, ты им нужен? Ты никому, кроме меня, не нужен! И мне не нужен, но мне некуда деваться, и вот я убираю за тобой дерьмо и на свои деньги кормлю мясом!

Медведь скулит с особенной жалобностью.

А, конечно! Когда нам плохо, мы сразу к Мише! Миша, помоги, Миша, накорми! Когда все в порядке, кто про Мишу помнит? А я тебе скажу: и слава Богу! Не вспоминали бы вы все про меня, я бы, может, как-нибудь построил себе какую-никакую жизнь... Но только я ее построю, ты сразу же зарождаешься! А как кризис, так они все шасть, и я корми тебя мясом. Я сам не ем мяса, дети не видят мяса, сыну только положен паек за эти его мишутки, и то он все сжирает сам под подушкой, потому что его так научили в рамках акции «Накорми себя сам». А ты жрешь. Что ты еще можешь, кроме жрать?

Из-за двери доносится тихая мелодия.

Жалобный голос поет:

По приютам я с детства скитался,
Не имея родного угла,
Ах, зачем я на свет появился,
Ах, зачем меня мать родила?

А когда из приюта я вышел
И пошел наниматься в завод,
Меня мастер по злобе не принял,
Говорит, что не вышел мой год.

И пошел я, мальчишка, скитаться,
По карманам я начал шмонать.
По чужим, по буржуйским карманам
Я рубли и копейки щипать.

Осторожный раз барин попался —
Меня за руку цепко поймал,
Судья тоже не стал разбираться
И в Литовский меня закатал.

Из тюрьмы я, мальчишка, сорвался,
И опять, не имея угла,
Ах, зачем я на свет появился?
Ах, зачем меня мать родила?

МИША (*подпевает*). А ничего, слушай! Скажи, ты сам это делаешь?

Скулеж медведя.

Это очень даже ничего! Это мы могли бы ходить по ярмаркам, просить подавания... как, собственно, уже и делали в девяностые годы... Я бы водил, ты бы пел... Ведь цыгане — они, мне кажется, вроде нас. Они утратили какого-то своего бога. И вот теперь этот бог сократился до медведя, которого они водят по ярмаркам. Он пляшет, они поют. И поэтому никто в России не может спокойно слушать цыганское пение. Мы понимаем, что нас это ждет, что мы сами когда-нибудь так пойдем, потому что бог наш больше не может о нас заботиться. Он сдал нашу землю в аренду, а потом еще в субаренду... Скоро мы пойдем по этой земле, ничему не хозяева, и будем петь эти невыносимые песни, которые обычно поем только спьяну, потому что у трезвого на уме, а у пьяного на языке. Ты заметил, что они все о бродяжничестве?

По диким степям Забайкалья...

Медведь подпевает.

Вот это твое человеческое лицо мне гораздо больше нравится. Жаль, что это только во время кризиса. А вот эту знаешь: «Клен ты мой опавший»...

Поют хором.

Слушай, нормально! Давай выпьем! (*Берет бутылку водки, передает в ванную.*) Только оставь!

За дверью бульканье, через минуту вылетает пустая бутылка.

Я же говорил — оставь! Вот жадная тварь! Ты что, остановиться не можешь?

Скулеж медведя за стеной переходит в жалобное повизгиванье.

А, черт с тобой. Ну, пой теперь. Все, что знаешь.

Из-за двери доносится «Меж высоких хлебов».

Миша подпевает.

Легкий стук в окно. Миша подходит к окну, выглядывает.

А, это опять вы?

НЕСОГЛАСНЫЙ *(влезая)*. А вас еще не скормили?

МИША. Нет, как видите. Да и вас не взяли.

НЕСОГЛАСНЫЙ. Да, правда. Такая тоска, не представляете.

МИША. Почему?

НЕСОГЛАСНЫЙ. Ну, не то чтобы я, конечно, так уж хотел, чтобы взяли... Жена какая-никакая, дети... от другой, правда, но неважно... Но раньше они хоть как-то реагировали, а теперь вообще никак. Кажется, им не до меня.

МИША. Им и было не до вас.

НЕСОГЛАСНЫЙ. Ну, знаете... Раньше хотя бы дубинкой... Был смысл...

МИША. Да и тогда никакого не было. Что за радость, не понимаю...

НЕСОГЛАСНЫЙ. Был, не говорите. Корреспонденты приезжали, вообще какое-то ощущение жизни... А сейчас, понимаете, — вообще черт-те что. ОМОН соглашается выходить на улицы, только если мы заплатим. Мы, понимаете! За то, что они нас дубинкой!

МИША. Ну а что такого? Это же не им нужно?

НЕСОГЛАСНЫЙ. А что, нам?

МИША. А что, им?

НЕСОГЛАСНЫЙ. Ну, знаете... А что это у вас караула больше нет?

МИША. Гастарбайтеров выслали, а наш устал.

НЕСОГЛАСНЫЙ. Ну да, я так и думал... Как-то они вообще все стали делать спустя рукава. И хватают-то все больше своих...

МИША. Это как раз понятно. Когда они хватают ваших, они сразу получают сатрапы, а когда своих — они сразу ангелы. Им сейчас важнее быть ангелами. Сатрапами хорошо, когда денег много.

НЕСОГЛАСНЫЙ. И что нам делать?

МИША. Ну, если у вас есть стратегическая цель — чтобы они схватили... то лучше всего, наверное, как-то влезть в систему и сильно провороваться. Тогда, может быть, возьмут. Или влезть и провороваться слегка — тогда возьмут точно. Я заметил — они сейчас берут в среднем за миллион.

НЕСОГЛАСНЫЙ. Не больше?!

МИША. Нет, больше — начинаются уже неприкасаемые. Так что в систему, и вперед.

Вбегает Алик.

АЛИК. Дяденька диссидент, возьмите меня!

МИША. Ты почему не на Селигере?!

АЛИК. Я сбежал, пап, дураков нету кроссы бегать за спасибо. Дяденька диссидент, возьмите меня, пожалуйста. Я теперь тоже диссидент.

НЕСОГЛАСНЫЙ (*Мише*). Это ваш?

МИША. Мой, да.

АЛИК. Представляете, они столько обещали и так кинули! Они обещали, что шестерки будут комиссарами, комиссары соберутся в кулак, всех кулаков повезут на Селигер и там покажут Бинома! После чего сразу Высшая школа экономики. А они знаете что сделали? Они раскулачили кулаков и отменили Селигер! Я уже не говорю про Высшую школу экономики! Вместо нее теперь... (*Рыдает.*) Новочеркасский ветеринарный техникум!

МИША. Ну, что ж. Тоже профессия. Без экзаменов хоть?

АЛИК. Пап, ты что, издеваешься?

МИША. Нет, сынок. Я вполне серьезно. Я даже думаю, что для тебя это будет сейчас не самое худшее ме-

сто. Когда-нибудь, лет через двадцать, у нас опять кто-нибудь зародится, и ты по крайней мере будешь знать, как его лечить...

Скулеж медведя.

Видишь, он согласен. Ему плохо, а я ничего не могу сделать.

АЛИК. Дяденька диссидент! Возьмите меня! Я уже был почти шестеркой!

НЕСОГЛАСНЫЙ. А что ты умеешь делать?

АЛИК. Ой, я много чего умею! Я мумием могу поливать, могу проклинать, камлать могу..

НЕСОГЛАСНЫЙ. Как?

АЛИК. Камлать! Я вас научу, это легко. Это вот так: «Враги Бинома, враги Бинома! Не дадим вбить клин, не дадим вбить клин!» Я могу вывести на улицы пятьдесят человек!

НЕСОГЛАСНЫЙ. Зачем?

АЛИК. Чтобы камлать! Я еще могу знаете что? Я могу броситься на неприятного человека и закричать «Папа, папа!».

МИША (*грустно*). Спасибо, сынок!

АЛИК. Пап, ну ты ни при чем! Просто, представляешь, — пятьдесят человек напрыгивают и кричат: «Папа, папа!». Это же сразу насмерть.

МИША. Алик... Ты же только что в них плескал мумием...

АЛИК. Пап, это когда было! Нас же тогда еще не кинули. Дяденька диссидент, вы папу не слушайте, он негибкий. Если вы меня возьмете, мы первую неделю всей пятеркой можем бесплатно.

НЕСОГЛАСНЫЙ. А потом?

АЛИК. А потом договоримся, у нас гибкая система скидок. Если вы не можете в Высшую школу экономики, то мы сначала можем договориться по «Твиксу». Но в «Твиксах» это много, сами понимаете. Можно «Баунти». Еще в кино можно. Дальше можно разговаривать по велосипедам.

НЕСОГЛАСНЫЙ. Господи, что ж мне так скучно-то, а?

АЛИК. Вот видите! С нами вам сразу станет нескучно.

Несогласный внезапно выпрыгивает в окно.
Стук, чертыхание.

НЕСОГЛАСНЫЙ (*снизу*). Черт, опять забыл, что второй этаж...

Скулеж медведя.

МИША. Иди к себе, Алик. Я попробую его успокоить.
Может, споем еще...

Звонок в дверь. Миша открывает. На пороге Полковник, с ним Идеолог и телегруппа.

ПОЛКОВНИК (*вволакивает Идеолога*). Стоять, тварь.

Телегруппа наводит технику.

Признавайся, Иннокентий Всеволодович.

ИДЕОЛОГ. Я признаю себя виновным. (*Дрожащим голосом, заученно, сквозь слезы.*) Признаю себя виновным... прежде всего в нецелевом расходовании средств. Я обязался израсходовать средства на одно, а израсходовал на другое. Я оставил часть денег себе. Еще немного денег я украл и не заплатил налоги. Это началось еще в детстве, когда я нашел на улице рубль и не заплатил налоги. С тех пор я никогда не платил налоги. У меня было две любовницы. Я пользовался обеими и не платил налоги. Я вел себя безобразно. (*Рыдает.*) Я жопа.

РЕЖИССЕР ТЕЛЕГРУППЫ. Погромче, пожалуйста.

ИДЕОЛОГ. Я жопа! Шампанское стаканами тянул, все отвергал — законы, совесть, веру. Жил в Одессе, бывал в Крыму, ездил в карете. Лгал, все лгал. Мамашу зарезал, папашу задушил, а младшую сестренку невинности лишил. Кризис из-за меня. Прошу использовать на стройках народного хозяйства.

МИША. Подождите, подождите. Полковник, тут что-то нечисто. Я же его видел, он сюда приезжал. Он ничего не лгал. Он совершенно искренняя сволочь.

ПОЛКОВНИК. Да какая разница, Михаил? Что ты как маленький, я не знаю. Их сейчас всех начнут по одному — губернаторов, вице-губернаторов, этих вот... по идейной части... Бабок нет, так? Кто-то виноват, так? Пускай теперь рассказывает, как рыл тоннель Москва—Тбилиси.

МИША. Но вы бы хоть текст придумали ему. Какие две любовницы? Ему с одной бы справиться, и то если она все время будет говорить про империю.

ИДЕОЛОГ. Не справиться, это точно, я только мозги, остальное мне неинтересно...

ПОЛКОВНИК (*Мише*). Слушай, академик, не лезь. Без тебя тошно. Он идеолог, он знает, что говорить...

ИДЕОЛОГ. Я готовил покушение. Я замышлял ужасное. Я говорил глупости.

МИША. Вы бы это все сказали в программе «Сходитесь». Рейтинг был бы — мама дорогая!

ПОЛКОВНИК. Закрыли программу «Сходитесь».

МИША. Вот черт, а я и не знал. За что же?

ПОЛКОВНИК. Дискутировали много. Надо было сразу меж глаз... Вместо нее теперь ток-шоу «Разойдись».

Вбегает АП.

АП. Отсняли?

ПОЛКОВНИК. Иннокентий, имеешь что добавить?

ИДЕОЛОГ. Прошу убить не сразу, дать помучиться.
(*Рыдает.*)

АП. Скармливайте.

МИША. Что значит — скармливайте? Вы в своем уме? Я понимаю, когда этот предлагал, но вы-то...

АП. Между прочим, он дело предлагал. Только момент был невыгодный. Тогда были тучные дни, все в шоколаде. Мы думали — так и пронесет. Оказалось, нет. Не пронесло. Бесплатный газ бьет только в душегубке. Значит, скармливать.

Идеолог рыдает.

Ну, Иннокентий Всеволодович! Сам же, сука, говорил — нет прорыва без жертв!

ИДЕОЛОГ. Ну какой же это прорыв...

АП. Это полный прорыв, Иннокентий Всеволодович!

Это прорыв по всем направлениям! Идите осуществлять модернизацию и будьте счастливы — завтра все это покажут в прайм-тайм!

ПОЛКОВНИК. Извини, профессор.

Вталкивает Идеолога в ванную и подпирает дверь. Идеолог бешено молотит в дверь кулаками. Из ванной доносится вой Идеолога и пронзительный визг медведя. Резкий удар, Идеолога выпихивают обратно.

ИДЕОЛОГ (*отряхиваясь и приводя себя в порядок*). Брезгует, сволочь.

АП (*в задумчивости*). Надо же. И на это не сгодился.

ИДЕОЛОГ. Ну... я пойду?

АП. Иди, что с тобой делать...

Пауза.

МИША. И что же... теперь — все?

АП (*глядя куда-то вверх*). Если бы этот ваш автор что-то из себя представлял... Сейчас, конечно, уже понятно, что он не Эрдман и не Шварц, и даже не Горин. Сейчас уже видно, что его потолок — стихи в газетке. Пусть бы он их и писал, они никому не мешают. А театр — другое дело, в театре должно быть действие и герой. В жизни, в политике даже — их может не быть, без них могут пройти десятилетия, и никто ничего не заметит. А в пьесе нужен герой, но он никогда не увидит такого героя, который мог бы спасти всю эту нашу жалкую пьесу. Это должен быть молодой человек, с талантом, который придает ему зоркости, и энергией, которой хватило бы на десятерых. Он начинал когда-то со стихов или тоже пьес, неважно, — но понял, что это время миновало. В наше время надо художествовать в другом театре, переставлять не слова, а людей, рисовать не красками, а толпами! Он идет в политику, потому что это высшая форма творчества, потому что после «Черного квадрата» Малевича, после супрематиз-

ма — да-да, я знаю и это слово, не извольте беспокоиться, — следующим направлением в искусстве может быть уже только пиар! Уорхол это доказал, Джексон продемонстрировал... Прочие формы искусства кончены. И он идет в политику, этот человек, понимающий цену всему и знающий столько слов. Он приходит во власть, он делает блестящую карьеру. И в тот самый миг, когда все эти ничтожества, все эти твари, все эти м-р-а-з-и уже готовы стать красками на его палитре, когда он уже готов приступить к своему главному шедевру — новой пиар-концепции страны, где нет никакого народа вообще, — происходит этот идиотский кризис американской ипотеки, и он снова ощущает себя никому не нужным, вот где трагедия! Это вы можете понять, вы, жалкие остатки прошлого века, вы, пыль на его ботинках, каждый из которых стоит больше, чем все вы заработаете за всю свою ничтожную жизнь...

МИША (*осторожно*). Понимаете... мне все-таки кажется, что если бы вы чуть менее пренебрежительно думали обо всех этих... Я имею в виду — обо всех ничтожествах, о которых только что говорили... Мне кажется, может быть, тогда было бы чуть лучше, или по крайней мере этот ваш герой не кончил бы таким печальным образом... извините, но я считаю...

АП (*выходя из франса*). Что вы сказали?

МИША. Я сказал, что если бы этот молодой человек иногда думал о других не так гадко...

АП. Кто вы такой?

МИША. Я хозяин медведя.

АП. Что вы здесь делаете?

МИША. Не знаю.

АП. Вот и молчите. Я не с вами разговариваю.

МИША. А с кем?

АП. С автором. Ладно, счастливо оставаться. (*Пинает ведро с мумием, уходит.*)

Звонок в дверь. Миша впускает Дьякона и Зоолога.

МИША. Здравствуйте, как я рад! Мне давно хотелось с вами поговорить...

ДЬЯКОН. Да меня и прислали поговорить. Здравствуй, раб Божий. Жалобы есть?

МИША. Есть. Воеет очень.

ДЬЯКОН (*крестит дверь*). Понятно, что воеет. Кому ж охота... (*Заглядывает в глазок.*) Вроде поменьше стал.

МИША. И аппетита нет. Только что от обеда отказался.

ДЬЯКОН. Так что ж такого? Время-то постное, тварь освященная... он и чувствует... Ты бы морковки ему.

МИША (*с надеждой*). Морковки? Я потру...

ДЬЯКОН. Ты вот чего, раб Божий. Сам понимаешь, сейчас всякое может... Кризис, чего говорить. Дна не видать. Так вот я тебе хочу сказать — все в руке Божией, Миша. И надо спасибо сказать. Что бы ни было — спасибо. Понимаешь? Во-первых, все к лучшему, а во-вторых, что ты ни скажи — оно ведь так и будет. А тебе лучше, если ты без злобы. Так что ты благодари, Миш. Встал — благодари. Покушал — благодари. Живой — благодари. Жена ушла — отлично, пришла — отлично...

МИША. Нет, отец дьякон. Я и раньше-то с трудом, а сейчас я так совсем не могу.

ДЬЯКОН. Ну вот то-то ты мне и не нравишься. Чего изменилось-то, Миш? Недоволен-то чем?

МИША. Ты понимаешь, какая странная вещь. Вроде какая-то жизнь началась, а сразу и кончилась.

Зоолог в это время начинает копаться в своем рюкзаке и свинчивать что-то из лежащих там деталей.

ДЬЯКОН. Нет, это-то я понимаю. Ты вроде большим человеком стал, и вдруг такая катавасия. Но мы ж тебя не виним, Миш. И потом, это бывает. Врачу Тимашук было тоже знаешь как обидно?

МИША. Слушай, отец дьякон! Вообще уже... При чем тут врач Тимашук? Если ты думаешь, что мне дипломы нужны, так я тьфу на эти дипломы. Что мне это все? Я не верил, когда вручали, и плевал, когда

забирали... Я другого не пойму: вот был вроде какой-то смысл. Отвратительный, чего там, позорный! Но он был. А сейчас я вроде опять ничего не понимаю...

Рабочие сцены начинают разбирать декорацию, уносить рамку, ведра с мумием, подарки медведю и т.д.

ДЪЯКОН. Миш! Вот ты скажи мне, простому человеку. Ты не пробовал просто жить?

МИША. Пробовал. Сорок пять лет пробовал.

ДЪЯКОН. И что? Плохо разве? Да отлично! Утром встал, покушал. Салат любишь?

МИША (*вяло*). Люблю.

ДЪЯКОН. Хорошо! Со сметаной, с маслом?

МИША. С майонезом.

ДЪЯКОН. Отлично! Огурцы свежие, соленые?

МИША. Я люблю сахалинский. С лососем.

ДЪЯКОН. Нет лосося, Миша! Не завезли лосося!

МИША. Давай с солеными огурцами.

ДЪЯКОН. Хорошо! Видишь, ты уж и продвинулся. Другой бы зароптал: не надо мне огурцов, хоч лосося! А ты — правильно, нету, и ладно. По-нашему, по-православному. Еще чего хочешь?

МИША. Чаю. (*Спыхватываясь.*) Да, кстати, хотите чаю? А то я не предложил...

ДЪЯКОН. Давай, можно чаю. Где ж хозяйка-то, Миш?

МИША. Ушла хозяйка.

ДЪЯКОН. Хорошо! Слава Богу за все. Она ушла, а мы вот пришли, все уравновешено... (*К Зоологу.*) Ты как, готов там?

ЗООЛОГ. Сейчас, сейчас...

ДЪЯКОН. Ты пойми, Миша: думать-то не надо. За тебя есть кому подумать. А ты будь свеж духом, вот и будет ладно...

МИША. Ты знаешь, отец дьякон, где-нибудь, может, оно и нормально. Но у нас нет, понимаешь?

ДЪЯКОН. Почему? Не уразумел.

МИША. Я сам не уразумел. Но я теперь понимаю, что если тут живешь — как-то надо понимать зачем.

Иначе черт-те что. Тут для того, чтобы просто встать с кровати, надо иметь какой-то огромный стимул. Особенно если зима. Где-нибудь на Таити открыл глаза — и хочешь встать. А у нас открыл — и хочешь лечь. Это ужасное ощущение. У нас столько всего надо делать, и такого в основном неприятного, что надо знать — зачем. Понимаешь ты это? Иногда самая простая вещь такого требует напряжения, и все на пустом месте, — что просто, знаешь, лег бы и лежал, и почти все так и делают. Так что если не знать зачем, — получается как сейчас. А как сейчас — мне не нравится, отец дьякон. Слава Богу за все, служу России, но мне не нравится.

ДЬЯКОН. Эх тебя медведем-то... Правду, видно, что-то исходит.

МИША. Не говори.

ДЬЯКОН. Слышь, специалист?

ЗООЛОГ. А?

ДЬЯКОН. Он задумываться стал. Раб-то Божий.

ЗООЛОГ. Ну так это по твоей части, затем и позвали.

ДЬЯКОН. Нет, товарищ дорогой, этак не получится. Это как раз не по моей. Раз он задумался, значит, веры нет, а раз веры нет, то я пошел.

ЗООЛОГ. Дезертируем, значит?

ДЬЯКОН. Дезертируем не дезертируем, а я при убийстве присутствовать не хочу. Это клиент не мой, мне тут делать нечего, вы решайте, а я того.

МИША. Минуточку. При каком убийстве?

ЗООЛОГ. Дурак ты, отец дьякон, и шутки твои дурацкие.

МИША. Какие шутки? В чем дело?

ЗООЛОГ. Дело в том, что отцу дьякону надо отлучиться, и он сейчас отлучится. А мы потом с ним в отведенном месте поговорим. И представление на следующее звание, может статься, не подпишем.

ДЬЯКОН. А я за звездочками не гонюсь, слава Богу за все. Бывайте здоровеньки, не кашляйте. *(Крестит Мишу, уходит.)*

МИША. Я не понял. Объясните, пожалуйста. Я не то что возражаю, но мне надо понять...

ЗООЛОГ. Понимать тут особо нечего, Миша. Лично вам ничего не угрожает, успокойтесь, пейте чай. Мне от вас нужно очень небольшое содействие в очень небольшом вопросе.

МИША (*успокаиваясь*). Какое содействие?

ЗООЛОГ. Минимальное. Вы его приманите, а остальное предоставьте мне.

МИША. Так. Не понял. Еще раз. Что вы намерены делать?

ЗООЛОГ. Я не буду перед вами отчитываться, что я намерен делать. Я работаю не в такой организации, чтобы каждому кандидату филологических наук объяснять свои действия. От вас требуется очень немного: откройте дверь и приманите животное. Дальше профессионал разберется сам.

МИША. Минуту, минуту. Вы в какой же организации работаете?

ЗООЛОГ. Слушай, у тебя голова или арбуз? Ты сразу не понял, где я работаю? Послали бы к твоему медведю зоолога из другой организации или нет?

МИША (*быстро*). Это ладно. Это я готов. Я уже понял, что все из этой организации, а кто не из этой организации, те из Администрации, то есть из той же организации. Но я не понимаю, что ты хочешь с ним делать.

ЗООЛОГ. Господи, тебе-то какая разница? Мы к тебе претензий не имеем, ты все делал как надо, тебя даже не лишают степени. Живи, работай, ради Бога, никто не против. Вымани медведя, и все.

МИША. А сам ты не можешь его выманить?

ЗООЛОГ. Идиот. А стрелять кто будет?

МИША. А кто будет стрелять?

ЗООЛОГ (*отходя в сторону, так что зрителям и Мише становится видна огромная пушка*). Я буду стрелять, я. Я зоолог, это моя непосредственная обязанность.

МИША. А почему? Почему, ты мне можешь объяснить? Что он сделал?

ЗООЛОГ. Он ничего не сделал. Но Запад, Миша, Запад.

МИША. Что у вас все Запад! Есть деньги — все делается для Запада. Нет денег — все для Запада. Что вам этот Запад, кого он колышет? Какое ему дело до моего медведя?!

ЗООЛОГ. Миша. Пока будет медведь, не будет денег.

МИША. Вы же встали с колен!

ЗООЛОГ. Так точно, встали. Встали с колен и опустились на четвереньки. Деньги нужны, Миша. А при медведе они денег не дают.

МИША. Почему?

ЗООЛОГ. Боятся. Они говорят — или медведь, или деньги. Мы не тянем больше твоего медведя, Миша.

МИША. Ну так не кормите, я сам прокормлю...

ЗООЛОГ. Миша. Пойми, дурацкая твоя голова. Я понимаю твои чувства, все дела. Я, когда у дочери пятнадцатый хомяк умер, сам задумался — может, мы что не так делаем. Но уразумей наконец: пока мы им не покажем шкуру убитого медведя, денег не будет. Они теперь умные, Миша. Они помнят, как мы вставали с колен.

МИША. Слушай, а давай покажем неубитого, а скажем, что убитого. Снимем его, допустим, когда он спит.

ЗООЛОГ. Миша. Если бы это можно было сделать, я бы так и сделал. Честное слово. Мне не тяжело, ты думаешь? Мне очень тяжело тащить сюда эту пушку. Это двадцать килограмм в разобранном виде плюс снаряд. Если бы можно его не убивать, я бы лучше, конечно, тебя. Или не тебя, мало ли. Мне, думаешь, нравится? Но надо его.

МИША. Значит, я приманиваю, а ты стреляешь?

ЗООЛОГ. Ты приманиваешь, а я стреляю.

МИША (*вкрадчиво*). Слушай, зоолог. Ты же по зверям специалист, верно? А что, если у меня после этого зародится там еще кто-нибудь? Шакал, гиена?

ЗООЛОГ. Это я не подумал. Это да... Но это вряд ли, Миша, честно говоря.

МИША. А по-моему, запросто. Жизнь вышла из воды, помнишь?

ЗООЛОГ. Она из теплой вышла, Миша. А у вас с завтрашнего дня отключают горячую воду.

МИША. Почему?

ЗООЛОГ. Кризис. Во всех домах давно отключили, только у вас еще держали, потому что Запад.

МИША. Понятно.

Пауза.

Значит, я приманиваю, ты стреляешь?

ЗООЛОГ. Да. Но ты не думай, я защитный костюм принес. В первую секунду не порвет, а потом я работаю.

МИША. Ты медведей когда-нибудь убивал?

ЗООЛОГ. Одевайся, Миш, не спрашивай.

МИША (*медленно надевает защитный костюм*). А если он тебе являться будет?

ЗООЛОГ. Не будет, Миш. Это Ивану Грозному являлось, потому что он был половой психопат. Семь жен, прикинь, не то б давно канонизировали.

МИША. А не жалко? Он же безобидный. Даже имперца вашего жрать не стал.

ЗООЛОГ. Слушай, что ты тянешь, а? Что ты нервы мотаешь? Тебе же лучше. Сам мне потом спасибо скажешь, если выживешь. Никакого запаха, никакого мумия. Пресса придет — скажешь, сдох. Опять же никаких трат на мясо. Что, ты до него плохо жил? Давай, давай.

МИША (*почти полностью в защитном костюме*). Если что, позаботьтесь о детях.

ЗООЛОГ. Это будь спокоен. Мальчик и так правильный растет, а дочерью лично займусь.

МИША (*к залу*). Товарищи, поймите, у меня не было выхода.

ГОЛОС ИЗ ЗАЛА. Да кончай ты уже, всю душу вымотал!

МИША. Я пошел. (*Нырять в дверь ванной и через несколько секунд напряженного ожидания выныривает с крошеч-*

ным медвежонком на руках. Прижимает его к груди, стоя в позе берлинского солдата-освободителя в Третьяковской парке.)

ЗООЛОГ. Опустит объект.

МИША. Никогда.

ЗООЛОГ. Приказываю.

МИША. Отказываю.

ЗООЛОГ. Отпустил быстро и ушел со сцены.

МИША. Увез пушку и пошел на хер. Не отдам. (*Выходит на авансцену.*) Сука гадина тварь подонок мразь не отдам. Моя сука тварь гадина не отдам. Только вместе со мной. Никому не отдам, что хочешь делай, сука тварь гадина киса лапа солнышко роденький никому. Тварь падла сука любимая родная единственная не отдам. Только вместе со мной, тварь. Только вместе со мной.

СТАВКА

Трагедия
в одном действии

*Пьеса написана в соавторстве
с Максимом Чертановым*

Действующие лица:

АЛЕКСЕЙ.
АНАСТАСИЯ.
ПОЛКОВНИК НКВД.
СОЛДАТ.
ПЯТЕРО В ФОРМЕ.
ОДИН В ШТАТСКОМ.
ЗРИТЕЛИ.

Действие происходит 15 июля 1941 года
под Ленинградом и основано
на действительных событиях.
Полная темнота в зале. Светлое пятно
на сцене, перед занавесом.

ПОЛКОВНИК НКВД (*говорит, стоя на авансцене и обра-
щаясь в зал*). Все здесь?

Пауза.

Значит, довожу имеющееся. Это дело государ-
ственное. Государственное! Всем смотреть в оба.
Так, чтобы муха мне тут не пролетела. Каждое сло-
во, каждое движение, кто как посмотрел. От этого
зависит... много чего зависит. Нечитайло!

ГОЛОС ИЗ ЗАЛА. Я!

ПОЛКОВНИК. С него глаз не спускать. Какие знаки по-
дает, как реагирует, все фиксировать. Будет что
писать — отбирать немедленно. Будет нападать
или что — пресекать вплоть до полного. В другом
случае себя не обнаруживать. Рюхин!

ГОЛОС ИЗ ЗАЛА. Я!

ПОЛКОВНИК. С ней то же самое. Как повернулась, как села. Если чего пропустишь, потом не жалуйся. Всем смотреть! Каждое слово слушать. Вы не дети, я не нянька. Время сами знаете какое. Тут такое может быть, что костей не найдут. Теперь слушать всем, я зачитываю сопроводительное. Это то, что на них прислано. *(Раскрывает красную папку.)* Так, история болезни. Муромский Алексей Петрович, 1901 года рождения, из служащих, беспартийный, до марта 1937-го инженер завода имени Кирова, разведенный, детей нет. Наличие наследственных заболеваний, кроме гемофилии, отрицает. *(Отрывается от чтения, поднимает палец.)* Ге-мо-фи-ли-и! В марте 1937-го перенес пневмонию, после чего заявил врачам шестнадцатой горбольницы, что желает сделать признание и является царевичем Алексеем, укравшимся от возмездия. При ликвидации семьи последнего царя был якобы чудесно спасен и проживал в Киеве под чужим именем, получив паспорт при помощи связей, раскрыть которые отказался. Бред устойчивый, систематизированный, с мотивом преследования. Утверждает, что помнит схему расположения комнат во всех дворцах. На плече характерный шрам от пулевого ранения, происхождение шрама приписывает расстрелу, был якобы ранен и выхожен крестьянами. Контактен, критичен, с персоналом любезен. Бывают приступы подавленности. Слезлив, эмоционально лабилен, жалобы на постоянный голод, капризы, требования изысканной пищи. Рассеян, легко утомляется. Позволяет себе высказывания антисоветского характера, в основном в связи с Гражданской войной. Носогубная асимметрия... ну, это так... А, вот: утверждает, что как наследник престола знает пути к спасению Отечества. Объективно: так... ну, это вам не надо. Шизофрения. Ну, это мы будем смотреть, какая там шизофрения... Неопрятность, сознание разо-

рванное, концентрация слабая. Утверждает, что знает французский язык. При проверке специалистом обнаруживаются знания в объеме четырех классов средней школы. Объясняет, что многое забыл. Рассказывает вымышленные подробности царского быта. Лечение принимает.

История номер два. Михайлова Анастасия Петровна, точная дата рождения неизвестна, социальное происхождение неизвестно, без определенных занятий, детей, с ее слов, нет. Наличие наследственных заболеваний отрицает. Арестована в 1927 году по делу антисоветской группы розенкрейцеров. (*Поднимает палец.*) Ро-зен-крей-це-ров! Это германский шпионаж в чистом виде! (*Читает далее.*) Выдавала себя за царевну Анастасию, чудесно спасшуюся после расстрела. В кружке розенкрейцеров была предметом поклонения, жила на пожертвования. По освидетельствовании переведена для пожизненного наблюдения в психиатрическую лечебницу номер девять. Устойчивый паранойяльный бред без слуховых и висцеральных галлюцинаций... Висцеральных! Обычно сознание ясное, проявляет хитрость... Ну, это мы будем смотреть, какая хитрость. Развитие без патологии, легкое истощение... так... менструации регулярно, болезненные... так... утверждает, что знает французский язык... контакты и родственники не выявлены... так... мышление паралогичное, с элементами резонерства. Слезлива, обидчива, эротические фантазии о близости с врачом. Постоянно прячет пищу под матрас. Жалобы на голод, на отсутствие общества. С другими больными ровна, намекает на высокое происхождение, о подробностях не рассказывает. Суицидальная попытка в январе 1935 года. С интересом прочитывает газеты, делает записи якобы по-французски, но в действительности бессмысленные. Любит и поливает цветы в отделении. Носогубная... ну, дальше по специальности.

Теперь так: они не знают. Им сказали обоим, что повезли в Москву на переосвидетельствование. Он, значит, прибыл с лечебницы в Киеве, она с лечебницы номер девять в Ленинграде. Они лечение тут не получают, чтобы ясное сознание и все такое. Поэтому у них возможно буйство и вплоть даже до попытки бегства. Вы сами должны понимать, что мы их обязаны сдать живыми, а дальше будет поступлено сообразно как надо. Поэтому в случае их каких-то действий — не до смерти. Это ясно? Не до смерти.

Что я намерен вам довести? Я повторяю, что это дело государственное. Если бы оно не было, то оба уже были бы понятно где. Раз зачем-то держали, значит, надо. Они под особым наблюдением обое, с самого начала, и о них докладывалось туда, куда, сами понимаете, просто так не будут. Сейчас будет очная ставка, весь результат пойдет туда же. Вы люди собрались серьезные, я вам тут азбуку рассказывать не буду. Но время вы сами видите какое, все на разгром врага и вообще. И хотя мы разгромим, конечно, врага... *(Оглядывается.)* Но сами понимаете, сейчас любая мелочь может иметь. Она такое может иметь значение, что некоторые могут полететь очень далеко. Если в такое время им сделана ставка, то это значит, что не просто так. Это всякое может быть. И я хочу, чтобы вы осознавали. Все, что тут сейчас будет, никто не должен знать вообще. Если одно слово просочится, то вы будете известно где. Вы нигде уже не будете. Одно слово! Все, что сейчас будет, — это никому. Ясно это? Я всех спрашиваю: ясно это?

РАЗРОЗНЕННЫЕ ГОЛОСА ИЗ ЗАЛА. Так точно!

ПОЛКОВНИК. Вольно, дальнейшее вам будет доведено.

Занавес раздвигается. Комната: шесть окон, занавешенных зелеными портьерами, конторский шкаф, на нем фикус в горшке, стол, вокруг него десять стульев, на стене огромный портрет Сталина. Солдат вводит Алексея, указывает ему на стул и уходит. Алексей садится, но, как только солдат ушел, встает

и медленно обходит комнату. С противоположной стороны солдат вводит Анастасию, в руках у нее вышивание. Солдат уходит. Анастасия стоит и смотрит на Алексея, тот опять встает. Они молча, недоверчиво смотрят друг на друга.

АЛЕКСЕЙ. Здравствуйте. Вы мой доктор?

АНАСТАСИЯ. Нет, это вы мой доктор.

Пауза.

АЛЕКСЕЙ. Вы пришли ко мне?

АНАСТАСИЯ. Да, меня привели к вам.

АЛЕКСЕЙ. Тогда мы должны быть осторожны.

АНАСТАСИЯ. Мы всегда должны быть осторожны.

Я иногда бывала неосторожна, и было нехорошо.

АЛЕКСЕЙ. Если мы будем осторожны, нам ничего не сделают.

АНАСТАСИЯ. Это мне всегда говорили и всегда что-нибудь делали.

АЛЕКСЕЙ. Я вас прошу быть спокойной. Мне кажется, я вас знаю.

АНАСТАСИЯ. Мне тоже так кажется.

АЛЕКСЕЙ. Вы изменились, но я вас знаю.

АНАСТАСИЯ. Вы тоже изменились, но мы должны быть осторожны.

АЛЕКСЕЙ. Мы будем осторожны. Мы должны помогать друг другу.

АНАСТАСИЯ. Все люди должны помогать друг другу.

АЛЕКСЕЙ. Вы не очень сильно изменились.

АНАСТАСИЯ. А вы совсем не изменились.

АЛЕКСЕЙ. Я очень сильно изменился. Прошло много лет.

АНАСТАСИЯ (*эхом*). Да, очень много.

АЛЕКСЕЙ (*загибая пальцы*). Один, два, три, четыре, двадцать три года.

АНАСТАСИЯ. Мне было семнадцать лет.

АЛЕКСЕЙ. Это ты? Я знал.

АНАСТАСИЯ. И я знала.

АЛЕКСЕЙ. Что ты знала?

АНАСТАСИЯ. Что это ты.

АЛЕКСЕЙ (*подозрительно*). Откуда ты знала?

АНАСТАСИЯ. Я видела сон.

АЛЕКСЕЙ. Какой сон?

АНАСТАСИЯ. Там была какая-то комната, темная. И стулья, много стульев, все пустые. Вошла я, вошел ты, а прочие так и остались пустые. И я все думала: почему десять, если нас двое? А потом поняла. Потому что нас осталось двое.

АЛЕКСЕЙ. Но я не знал.

АНАСТАСИЯ. И я не знала.

АЛЕКСЕЙ. Мне кажется, я должен наконец... Позволь мне наконец... *(Подходит к ней.)*

АНАСТАСИЯ. Нет, не надо. Я все боюсь, что это не ты.

АЛЕКСЕЙ. Кто же еще это может быть?

АНАСТАСИЯ. Какой-нибудь... врач.

АЛЕКСЕЙ. Я не врач. Скажи мне, как тебя теперь зовут?

АНАСТАСИЯ. Меня зовут так же, как и звали.

АЛЕКСЕЙ. Я тоже сохранил мое имя. А как теперь твоя фамилия?

АНАСТАСИЯ. Моя фамилия теперь больная Михайлова.

АЛЕКСЕЙ. Это хорошая фамилия, достойная фамилия. Был род Михайловых.

АНАСТАСИЯ. А какая теперь твоя фамилия?

АЛЕКСЕЙ. Я скажу тебе после. Скажи мое домашнее имя.

АНАСТАСИЯ *(после паузы, задумчиво)*. Твое домашнее имя... было... Маша.

АЛЕКСЕЙ *(разочарованно)*. Нет, не так.

АНАСТАСИЯ *(смущаясь)*. Ну конечно, не так! Я тебя проверяю. Твое домашнее имя... было... Скажи мне сначала мое домашнее имя!

АЛЕКСЕЙ. Я первый спросил!

АНАСТАСИЯ. Но я девочка!

АЛЕКСЕЙ *(с облегчением)*. Да, это ты. Когда я тебя обогнал, ты тоже всегда говорила: но ведь я девочка.

АНАСТАСИЯ. А ты говорил: ну и что, ведь я царь!

АЛЕКСЕЙ. Но я и был царь.

АНАСТАСИЯ *(смеясь)*. Над всеми царь, а над девочками не царь. Я вырасту, выйду замуж за принца, принц побьет тебя.

АЛЕКСЕЙ. Я сам побью принца силой русского оружия!

АНАСТАСИЯ. И тут я уже ничего не могла сказать, потому что тоже любила силу русского оружия.

АЛЕКСЕЙ. Никто не устоит против силы русского оружия!

Шевелится портьера.

АНАСТАСИЯ. Ты изменился.

АЛЕКСЕЙ. А ты не изменилась. Я тоже видел сон.

АНАСТАСИЯ. Расскажи.

АЛЕКСЕЙ. Я видел комнату, и в ней много стульев. И там были мы, но не вдвоем. Эти стулья были люди, ты понимаешь? Они смотрели за нами. И я боялся сесть на стул, потому что в то же самое время это мог оказаться человек. И там была ты, но я боялся обнять тебя, потому что ты смотрела за мной. Я думал, что тебя прислали смотреть за мной.

АНАСТАСИЯ. Я не буду смотреть за тобой, я буду смотреть на тебя.

АЛЕКСЕЙ. Так мне можно обнять тебя?

АНАСТАСИЯ. Тебе можно обнять меня, Брюшенька.

АЛЕКСЕЙ (*застывает*). Так ты помнишь?

АНАСТАСИЯ. Но мы должны быть осторожны.

АЛЕКСЕЙ. Мы будем осторожны. (*Бережно обнимает ее.*)

Некоторое время стоят неподвижно.

Начиная с этого момента Алексей становится оживлен и почти весел, он обращается к Анастасии нежно, с интонациями тринадцатилетнего мальчика, Анастасия все еще недоверчива.

Я всегда знал, что ты жива.

АНАСТАСИЯ (*после долгой паузы*). Я не жива.

АЛЕКСЕЙ (*весело*). Да, пожалуй, я тоже. Конечно, ты права. Я тоже не жив. Но теперь мы вместе и все будет хорошо.

Алексей встает, подходит к Анастасии, опускается на колени и пытается с детскими ужимками ее обнять. Она отгалкивает его.

В этот момент входит солдат с подносом, на подносе чайник, чашки, тарелочка с двумя чахлыми

бутербродами. Алексей крепче обнимает Анастасию, она перестает вырываться.

Солдат ставит поднос на стол.

(*Солдату.*) Вы забыли сливки. Сестра любит чай со сливками. Принесите, пожалуйста, сливки.

СОЛДАТ. Не положено. (*Уходит.*)

АНАСТАСИЯ (*вырывается из рук Алексея*). Я никогда не любила сливки. Это Маша любила сливки. Вы всё забыли, всё перепутали.

АЛЕКСЕЙ (*садится снова на свой стул*). Ничего подобного. Это ты забыла.

АНАСТАСИЯ. Я ничего не забыла.

АЛЕКСЕЙ. Ты любила сливки. И Маша тоже. А я не любил. Терпеть не мог сливки.

АНАСТАСИЯ. Да, это верно. И папа никогда не любил.

АЛЕКСЕЙ. Папа любил меня больше всех.

АНАСТАСИЯ. Папа любил меня, потому что я была швибзик.

АЛЕКСЕЙ. Кто ты была?

АНАСТАСИЯ. Вы всё забыли. Это не вы.

АЛЕКСЕЙ (*становясь подчеркнута строгим*). Мы должны быть осторожны.

АНАСТАСИЯ. Откуда вы знаете, что мы должны и как мы должны? Я ничего не должна. Мне уже не будет хуже. Вы не помните даже швибзика.

АЛЕКСЕЙ. Я помню швибзика. Я проверял вас.

АНАСТАСИЯ. Зачем вам проверять меня, когда — вот? (*Закатывает рукав и показывает ему локтевой сгиб.*)

АЛЕКСЕЙ. Это может быть у другой, это может быть у многих... Папа больше всех любил меня, потому что я был царь. А швибзик может быть кто угодно. Ты много бегала и смеялась, и поэтому швибзик. А я был коричневый медвежонок, brun, поэтому брюша.

АНАСТАСИЯ. Я знаю, что коричневый будет brun!

АЛЕКСЕЙ (*быстро, по-французски*). Если вы хотите, чтобы нам сохранили жизнь, вы должны играть со мной и все подтверждать.

АНАСТАСИЯ (*по-французски, запинаясь*). Мой дом слева,

Анна идет на вокзал, вокзал далеко.

СОЛДАТ (*входя*). Не положено.

АЛЕКСЕЙ. Что не положено?

СОЛДАТ (*тупо*). Не положено! (*Уходит.*)

АЛЕКСЕЙ. Он все слышит.

АНАСТАСИЯ. Я вам говорила.

АЛЕКСЕЙ. Я знал. Почему ты говорила эту чушь?

АНАСТАСИЯ. Почему, почему. Должен сам понимать почему. Сам сказал, они все слышат. (*Разливает чай.*)

Алексей пытается ей помочь, она шлепает его по руке, как маленького мальчика. Оба молча глядят на бутерброды, потом одновременно протягивают к ним руки, их руки сталкиваются. Алексей пытается задержать руку Анастасии, та отдергивает ее.

АЛЕКСЕЙ. И я знаю, кто ты. Я сразу тебя узнал. Я узнал бы тебя даже через тысячу лет.

АНАСТАСИЯ. Голова болит. Доктор, прошу вас, скажите, чтобы мне не давали столько таблеток. От них у меня все время болит голова.

АЛЕКСЕЙ. Хорошо, хорошо. Я скажу, чтоб они не давали тебе таблеток.

АНАСТАСИЯ (*светским тоном*). Расскажите мне новости. Что там происходит?

АЛЕКСЕЙ. Где?

АНАСТАСИЯ. Там, у них.

АЛЕКСЕЙ (*пожимает плечами*). Ничего особенного. Что у них может происходить такого, что имело бы для нас значение?

Анастасия внезапно вскакивает, подбегает к первой портъере и резким движением отдергивает ее. Зрителю не видно, что там, за портьерой: по-видимому, пусто. Алексей следит за ней разинув рот. Анастасия задерживает портьеру и возвращается на свое место.

АНАСТАСИЯ (*понижив голос и озираясь*). А я слыхала, что немцы стоят под Могилевом!

АЛЕКСЕЙ (*с искренним удивлением*). Немцы? Какие немцы?

АНАСТАСИЯ (*шепотом*). Вот-вот Могилев будет сдан.
Это не мое мнение, так все говорят...

АЛЕКСЕЙ. Боже, я так и знал, я так и знал... В Могилеве у папы была Ставка... (*Обхватывает руками голову*). Мы не должны были останавливаться после Брусиловского прорыва... Надо было разбивать, разбивать... Разве папа не разбил немцев?

АНАСТАСИЯ (*берет бутерброд и жадно ест*). Ты ничего не знаешь? Ты сумасшедший!

АЛЕКСЕЙ. Я не сумасшедший. Ты не должна говорить, что я сумасшедший!

АНАСТАСИЯ (*невозмутимо ест*). Ну конечно, ты сумасшедший. Ты до сих пор думаешь, что папа разбил немцев.

АЛЕКСЕЙ. Нас бомбили, но я не думал, что это немцы.

АНАСТАСИЯ. А кому же еще нужно нас бомбить?! Немцы – враги России. Мы не добились тогда немцев, потому что мы добились нас. Если бы нас тогда не добились, то мы добились бы немцев, и тогда бы нас не бомбили. А ты сумасшедший и ничего не знаешь.

АЛЕКСЕЙ. Нет-нет, я все знаю. Я проверял тебя.

АНАСТАСИЯ. Так вы меня опять разыграли!

АЛЕКСЕЙ. Ну да, как тогда, с розовой собакой.

АНАСТАСИЯ (*поднимает голову и изумленно смотрит на Алексея*). С розовой собакой... Боже мой... но ты так переменялся, я бы никогда... Нет, нет...

АЛЕКСЕЙ. Наконец-то!

Анастасия протягивает руку и кладет ее на руку Алексея. Они держатся за руки. Вдруг Анастасия выдергивает свою руку.

АНАСТАСИЯ (*с внезапным отчаянием*). Мой бедный, глупый мальчик, мальчик Брюша... Неужели ты не понимаешь? Если они узнают правду, они нас убьют.

АЛЕКСЕЙ. Они не посмеют.

АНАСТАСИЯ. Я говорила им правду, потому что хотела умереть, но теперь я не хочу.

АЛЕКСЕЙ. Ты не умрешь.

АНАСТАСИЯ. Они все подслушивают. (*Указывает на окна.*)

АЛЕКСЕЙ. В этом все и дело. Это самое главное, ты понимаешь? (*Раздельно, как ребенку.*) В этом все и дело. Ты должна говорить все, что хочешь, но мы должны быть осторожны. Ты должна говорить так, как можешь говорить только ты.

АНАСТАСИЯ (*медленно догадываясь*). Я видела сон про дворец...

АЛЕКСЕЙ. Правильно, правильно!

АНАСТАСИЯ. Мне снилось... что мы гуляем по нашему дворцу.

АЛЕКСЕЙ. Ну конечно! По нашему дворцу!

АНАСТАСИЯ. И там, в нашем дворце... была розовая собака.

АЛЕКСЕЙ (*с досадой*). Розовая собака, розовая собака... Это все глупости! Ты видела Григория?

АНАСТАСИЯ (*повторяя, словно загипнотизированная*). Да, я видела... Григория...

АЛЕКСЕЙ (*наводя ее на мысль*). И что же Григорий?!

АНАСТАСИЯ. Григорий... у нас был такой больной... да, такой больной. Но потом его выписали.

АЛЕКСЕЙ. Он не был больной! Он лечил меня, я помню! Ты все лжешь, что он был больной!

АНАСТАСИЯ (*виновато*). Ну конечно, не больной. Это был такой врач, он лечил тебя, я помню. Но его потом выписали. Врача же тоже могут выписать, был врач, потом выздоровел, его выписали!

АЛЕКСЕЙ (*в искреннем ужасе*). Что они с тобой делали?!

АНАСТАСИЯ. О... они многое со мной делали. Много, многое. Но теперь мы вместе, да, и все позади?

АЛЕКСЕЙ. Сколько времени ты... у них?

АНАСТАСИЯ. Много, много. После того как мы с тобой убежали... после того как нас вывел матрос... ты же помнишь, как нас вывел матрос?

АЛЕКСЕЙ (*в отчаянии*). Это тебя вывел матрос! Меня спрятал солдат!

АНАСТАСИЯ (*лихорадочно перестраиваясь по ходу*). Ну хорошо, после того как тебя спрятали солдат, меня вывел матрос. И я жила в Петербурге как дама. Он поселил меня у себя и содержал как даму. Но я болела очень долго, пойми. Я плохо помню. Я помню только, что он однажды не пришел, ушел и не пришел, а я была еще очень слаба и осталась без средств. Я все помнила, но как бы сквозь сон. И тогда добрый старичок, сосед, взял меня к себе. У него были очень славные люди, все они поклонялись мне. Они говорили, что я чудесно спаслась, что я чудо. Мама тоже мне говорила, что я чудо. Я чудо?

АЛЕКСЕЙ (*равнодушно*). Ты чудо.

АНАСТАСИЯ. Потом их всех куда-то увезли, а меня стали лечить. Это было давно, меня уже много лет лечат. Уже почти столько лет, сколько мне было... тогда.

АЛЕКСЕЙ. А меня недавно. Я никому не говорил.

АНАСТАСИЯ (*с живым интересом*). Почему же ты сказал?

АЛЕКСЕЙ. Я подумал, что умираю, и решил сказать.

АНАСТАСИЯ. Но ведь ты не умер?!

АЛЕКСЕЙ. Кажется, нет. Нельзя же допустить, что после смерти... вот это.

АНАСТАСИЯ. Почему же нельзя? После смерти все можно допустить. Я очень грешна. Я однажды взяла эклер и не сказала.

АЛЕКСЕЙ. Я люблю эклеры. Если бы я стал царь, я бы ел одни эклеры.

АНАСТАСИЯ. Я помню, помню... Бедный мой мальчик... Когда мы выйдем отсюда, я куплю тебе тысячу эклеров... Помнишь, как однажды мы играли в прятки в комнате у татап, и я тебя нашла, и ты проиграл мне пять эклеров? Эклеры — это очень вкусно, в особенности шоколадные! Ты сидел вот здесь. (*Резко поднимает скатерть.*)

Под столом сидит человек в форме. Он встает, одергивает китель и смущенно уходит.

АЛЕКСЕЙ. Откуда ты знала, что он там?

АНАСТАСИЯ (*гордо*). Я всегда все знаю! Я ведь и тебя тогда нашла! Теперь он должен мне пять эклеров. (*Кричит в зал.*) Слышите? Вы должны мне пять эклеров!

АЛЕКСЕЙ. Зачем тебе эклеры? Ты любила безе и птифуры. Я куплю тебе сто тысяч безе и двести миллионов птифуров, клянусь.

АНАСТАСИЯ. А тебе снятся сны?

АЛЕКСЕЙ. А как же, конечно. Небось поинтересней, чем тебе. Мне снилось, что я... (*Задумывается.*) ...что меня назначили начальником отдела.

АНАСТАСИЯ (*испуганно*). Какого отдела?

АЛЕКСЕЙ. Второго отдела комиссариата.

АНАСТАСИЯ. Брюшенька! Какого комиссариата?

АЛЕКСЕЙ. Ну... самого главного.

АНАСТАСИЯ. И что дальше?

АЛЕКСЕЙ. О, у меня было много планов спасения. Очень много. Я их даже записывал, но потом все сжег, чтобы никому не досталось. А дальше была чистка, и меня вычистили. (*Стряхивает крошки с одежды.*)

АНАСТАСИЯ. Почему?

АЛЕКСЕЙ. Я скрыл свое происхождение.

АНАСТАСИЯ. А какое у вас происхождение? Там, во сне?

АЛЕКСЕЙ. Мой отец был... (*Задумывается.*) ...сапожником. Богатым сапожником. Очень богатым. Очень, очень богатым сапожником. То есть, прошу прощения, он был портным. Очень богатым портным. У него было много...

АНАСТАСИЯ. Итак, тебя вычистили. Что было дальше?

АЛЕКСЕЙ. Дальше меня нужно было казнить.

АНАСТАСИЯ. За то, что ваш отец был портным?

АЛЕКСЕЙ. Да.

АНАСТАСИЯ. Что ж, это справедливо. Расскажи, как тебя казнили.

АЛЕКСЕЙ. Меня принесли в комнату, там было три стула... На один стул посадили папу, на другой — маму... На третий стул они посадили меня... Ты стояла у стены, у тебя на руках был Джимми...

Портьера на втором окне слабо шевелится.

АНАСТАСИЯ (*косится на портьера, шепотом*). Нет, нет, замолчи, это не то... (*Громко.*) Это очень скучный сон, я не хочу его больше слушать.

АЛЕКСЕЙ. На стульях лежали подушечки... Я все думаю: зачем подушечки? Зачем они позволили нам взять подушечки? Такие красивые подушечки, потом очень трудно отмывать с них кровь...

Портьера снова шевелится.

АНАСТАСИЯ. Замолчи, умоляю тебя!

АЛЕКСЕЙ. Они стали читать какую-то бумагу, очень глупую, я не мог понять ни слова... Я поглядел на тебя, ты была бледна и прижимала к себе Джимми..

АНАСТАСИЯ (*всхлипывает*). Я не должна была брать Джимми с собой...

АЛЕКСЕЙ. Ты не знала.

АНАСТАСИЯ. Знала. Мы все знали.

АЛЕКСЕЙ. Я не знал.

АНАСТАСИЯ. Я не должна была брать Джимми...

АЛЕКСЕЙ. Потом меня что-то горячее толкнуло в грудь, и я упал.

АНАСТАСИЯ (*плачет*). Нет, нет...

АЛЕКСЕЙ. Я упал, но я был еще не мертвый. Я видел папу и маму, они были мертвые. И Оля, и Маша, и Таня, и ты — все были мертвые. (*Косится на портьера, громко.*) Смешной сон, правда?

АНАСТАСИЯ. Смешной?!

АЛЕКСЕЙ (*очень громко*). Мне часто снятся такие сны, будто я не тот, кто я на самом деле. Будто мой отец был сапожник. Людям часто снится, будто они не те, за кого себя выдают. Будто они не сапожники. Это все из-за Фрейда. Вы читали Фрейда? Он враг советского народа.

АНАСТАСИЯ (*не слушая его*). Я тоже не была мертвая... Это потому что пуля попала в Джимми... Я не должна была брать Джимми, но я взяла его, потому что думала: они увидят Джимми, и им станет его жалко...

АЛЕКСЕЙ. Молчи, молчи!

АНАСТАСИЯ. Они стали колоть нас штыками... Я видела, как они кололи штыком тебя, но ты не пошевелился, я поняла, что ты умер, и мне стало все равно... Штык уколол меня в плечо, и я закричала... Тогда они стали бить меня по голове. (*Закрывает руками голову.*) Они ужасно били меня, я просила, чтоб они меня застрелили, но они не послушались... Потом я ничего не помню...

АЛЕКСЕЙ. Ах, замолчи...

Портьера на втором окне опять шевелится. Алексей вскакивает, подбегает к окну и отдергивает портьеру. Там человек в форме. Он спрыгивает с подоконника. одергивает китель и уходит.

АНАСТАСИЯ. Однако, доктор, мы отвлеклись.

АЛЕКСЕЙ. Это просто ветер. Там никого не было.

АНАСТАСИЯ. Ну конечно, ветер. Лейтенант зюйд-вест.

АЛЕКСЕЙ (*поправляя*). Старший лейтенант.

АНАСТАСИЯ. Да, да. Простого зюйд-веста не послали бы. Только старший.

АЛЕКСЕЙ (*глядит ее руки*). Да, да, успокойся, прошу тебя.

АНАСТАСИЯ. Хочешь, я расскажу тебе, что мне на самом деле снится?

АЛЕКСЕЙ. Хочу.

АНАСТАСИЯ. Чаще всего мне снится, будто мы с тобой играем в лаун-теннис.

АЛЕКСЕЙ. Ты же знаешь, я никогда не играл хорошо в лаун-теннис. Мне не позволяли.

АНАСТАСИЯ. А в моем сне ты играл очень хорошо. Давай сыграем партию, пожалуйста, мне так хочется!

Анастасия вскакивает и тянет Алексея за собой, тот упирается, потом встает. Они становятся друг напротив друга и изображают игру. Алексей посылает невидимый мяч слишком сильно и вбок, он падает на пол возле первого окна. Анастасия подбегает к окну, слегка приоткрывает портьеру и несколько мгновений пристально смотрит на то, что за нею (зрителю не видно). Нагибается, подбирает мяч. Игра продолжается.

АЛЕКСЕЙ (*затыхавшись*). Я устал.
АНАСТАСИЯ. Прости меня.

Садятся. Анастасия наливает чай в чашки, разламывает второй бутерброд, половину отдает Алексею. Алексей ест.

АЛЕКСЕЙ. Помнишь, какой вкусный хлеб был раньше?

АНАСТАСИЯ. Я не любила хлеб.

АЛЕКСЕЙ. Я тоже не любил.

АНАСТАСИЯ. Одна Ольга любила хлеб, больше никто. Мама говорила, что любит, но она не любила, я знаю.

АЛЕКСЕЙ. Этот хлеб невкусный. (*Доедает и облизывает пальцы.*)

АНАСТАСИЯ (*протягивает Алексею свою половинку бутерброда, к которой еще не притронулась*). Помнишь, как мы делали, когда нам велели есть овсянку?

АЛЕКСЕЙ. Помню. Мы придумывали для себя разные истории.

АНАСТАСИЯ. Ты придумывал, будто твой прибор — это военный корабль, а овсянка — это флот противника, и ты должен его уничтожить.

АЛЕКСЕЙ. А ты придумывала, будто овсянка — это волшебное зелье, если съешь его до последней капельки, станешь самой красивой на свете и научишься летать.

АНАСТАСИЯ. Придумай что-нибудь про этот бутерброд.

АЛЕКСЕЙ. Я придумаю, что это эклер. (*Ест и жмурится от наслаждения.*)

АНАСТАСИЯ. Вкусно?

АЛЕКСЕЙ. Очень. (*Соскальзывает со стула, садится на пол у ног Анастасии, прижимается к ней, обнимает ее колени.*)

АНАСТАСИЯ (*гладит его по голове*). Как ты думаешь, что они с нами сделают?

АЛЕКСЕЙ. Я думаю, если мы будем вести себя правильно, они нас отпустят.

АНАСТАСИЯ. А потом? Куда мы пойдем, когда они нас отпустят?

АЛЕКСЕЙ. Я пойду на фронт. Ведь под Могилевом немцы.

АНАСТАСИЯ. Я тоже пойду на фронт, сестрой милосердия.

АЛЕКСЕЙ. Ты никогда не хотела быть сестрой милосердия. Когда мы играли в войну, ты хотела быть казачьим атаманом.

АНАСТАСИЯ. Да, правда, я забыла.

АЛЕКСЕЙ. Ты рисовала себе во-от такие усы.

АНАСТАСИЯ. Да, да.

АЛЕКСЕЙ. Мы разобьем немцев. В военной стратегии самое главное — все время развивать. Если бы мы развивали после Брусиловского прорыва, сейчас бы под Могилевом были мы, а не они. Я буду развивать, и меня произведут в генералы.

АНАСТАСИЯ. А потом?

АЛЕКСЕЙ (*серьезно, озабоченно*). Полагаю, я должен буду принять на себя ответственность за мой народ.

АНАСТАСИЯ. Да, ты прав.

АЛЕКСЕЙ. Будет трудно, но я должен справиться.

АНАСТАСИЯ. Ты справишься.

АЛЕКСЕЙ. Я распорядюсь, чтоб у каждого к ужину был эклер.

АНАСТАСИЯ. Ты говоришь, как Мария-Антуанетта.

АЛЕКСЕЙ. А как она говорила? Я забыл.

АНАСТАСИЯ. Она сказала: если у них нет хлеба — пусть едят пирожные.

АЛЕКСЕЙ. А, да-да. Бедняжка. Но у нас будет не так. Кто любит хлеб, тот будет сколько захочет есть хлеб, а кто любит пирожные — будет сколько захочет есть пирожные.

АНАСТАСИЯ (*жалобно*). А можно мне к ужину безе?

АЛЕКСЕЙ (*небрежно*). Разумеется. Сколько захочешь.

АНАСТАСИЯ. А что мы сделаем с ними?

АЛЕКСЕЙ. С кем?

АНАСТАСИЯ. С ними. Ну, со всеми. Кто убил папу и маму, и всех...

АЛЕКСЕЙ. Мы их казним. Это будет нелегко. Но я должен справиться.

АНАСТАСИЯ. Ты справишься.

АЛЕКСЕЙ. Нужно будет заказать в Париже гильотину.
АНАСТАСИЯ. Нет, лучше зашить их в медвежьи шкуры
и скормить собакам.

АЛЕКСЕЙ. А потом колесовать на площади.

АНАСТАСИЯ. Или сначала колесовать.

Говорят все быстрее и громче, смеются,
корча ужасные гримасы.

АЛЕКСЕЙ. А потом посадить на кол.

АНАСТАСИЯ. Сперва выколоть им глаза.

АЛЕКСЕЙ. Потом на костер.

АНАСТАСИЯ. Масло для варки лучше взять оливковое.

АЛЕКСЕЙ. Когда их вздернут на дыбу, они будут кри-
чать, кричать, кричать.

АНАСТАСИЯ. А потом я возьму штык и буду колоть их.

АЛЕКСЕЙ. А кто закричит, того будут бить прикладом.

АНАСТАСИЯ. Они будут умолять, чтоб их застрелили...

АЛЕКСЕЙ. Но их никто не станет слушать.

АНАСТАСИЯ. обойдемся без гильотины.

АЛЕКСЕЙ. Это будет нелегко.

АНАСТАСИЯ. Ты справишься.

АЛЕКСЕЙ. А всем, кто придет на казнь, будут раздавать
эклеры.

АНАСТАСИЯ. И безе.

АЛЕКСЕЙ. Нет, нет, это жестоко.

АНАСТАСИЯ. Хорошо, тогда только эклеры.

АЛЕКСЕЙ. Я не об этом. Ты меня прекрасно понимаешь.
Может быть, все-таки ограничимся высылкой?

АНАСТАСИЯ. Да? А с папой, и мамой, и мной, и тобой
они ограничились? Зачем они убили папу с ма-
мой?!

АЛЕКСЕЙ. Это же была не их воля.

АНАСТАСИЯ. Они ничего больше не умеют, только
убивать. И эти ужасные таблетки. Если мы их не
убьем, они перебьют всех. *(В зал.)* Зачем вы убили
папу с мамой?

АЛЕКСЕЙ. И всех, всех!

АНАСТАСИЯ. Мы сироты, нам можно!

АЛЕКСЕЙ. У меня был сосед, там, где я жил. В этой
страшной коммунальной квартире. Страшный со-

сед. Он за всеми следил. Он работал в каком-то учреждении, как они это называют, в каких-то органах. Я думаю, это были органы пищеварения, потому что он все время жрал. Он только за всеми следил. Он всегда следил за мной. Он ненавидел меня так, как будто знал, кто я на самом деле.

АНАСТАСИЯ. Но он не знал?

АЛЕКСЕЙ. И он не знал, и я не знал. Никто не знал. Но ненавидели все. У него была страшная розовая собака, которая тоже меня ненавидела.

АНАСТАСИЯ. Розовая собака?!

АЛЕКСЕЙ. Да. Он однажды обварил ее кипятком, и на этом боку у нее был страшный розовый лишай. Он обварил ее кипятком со зла, спьяну, когда его вычистили из органов. Она подошла к нему лизаться, а он заорал на нее: «Кыш, сволочь!» — и обдал кипятком из стакана. Но знаешь, что самое страшное? Она не убежала! Она дичилась его два дня, а потом все простила, потому что ей некуда было пойти. Она как-то зализала себе бок и стала розовая, но по-прежнему приходила к нему лизаться. Мы обязательно уьем его, мы сварим его в кипятке.

АНАСТАСИЯ. Собака нам этого не простит.

АЛЕКСЕЙ. Простит. Мы дадим ей эклеры.

АЛЕКСЕЙ. И птифуры. (*Шепотом, совсем другим тоном.*)

Ты уверена, что мы ведем себя правильно?

АНАСТАСИЯ. Главное, чтоб они не узнали о нас правду.

Шевелится портьера на первом окне
(откуда Анастасия доставала невидимый мяч).
Алексей оглядывается. Встает, подходит к окну
и резким движением отдергивает портьеру —
там стоит человек в штатском, с блокнотом в руках.
Алексей и человек в штатском молча смотрят друг
на друга. Человек в штатском выходит из-за портьеры
и уходит со сцены. Алексей подходит к Анастасии
и долго молча смотрит на нее, потом замахивается,
намереваясь дать ей пощечину, но не делает этого.

АЛЕКСЕЙ. Ты заодно с ними...

АНАСТАСИЯ. Я тебе все объясню.

АЛЕКСЕЙ. Ты меня обманула.

АНАСТАСИЯ. Так нужно. Я тебе все объясню.

АЛЕКСЕЙ. Ты меня обманула, ты всегда была хитрая, всегда меня обманывала! Когда мы играли в прятки, ты всегда пряталась в комнатах тамапа, а это не положено!

АНАСТАСИЯ. Я тебе все объясню!

АЛЕКСЕЙ. Вам приказали выведать мою тайну! Вы – агент НКВД, я вас узнал! Вы приходили меня арестовывать! На вас было кожаное пальто!

АНАСТАСИЯ. Господи...

АЛЕКСЕЙ. Это вы убили мою сестру! Убили и заняли ее место!

АНАСТАСИЯ. Прошу тебя...

АЛЕКСЕЙ. Вы немецкая шпионка! Товарищи! Товарищи, на помощь! Товарищи, будьте бдительны! Здесь немецкий шпион! Товарищи, сюда!

Портьеры не шевелятся. Анастасия опускает голову на руки и плачет. Алексей замолкает, ходит кругами по сцене, морщится, жестикулирует, что-то бормочет себе под нос. Несколько раз приближается к Анастасии, смотрит на нее и отходит. Наконец он останавливается и трогает ее за плечо. Анастасия отталкивает его руку. Алексей опять делает круги, опять приближается, садится на корточки перед Анастасией, пытается взять ее за руку – мизинцем за мизинец – с третьей попытки Анастасия позволяет ему сделать это. Они держатся мизинцами.

Мирись, мирись и больше не дерись...

Анастасия перестает плакать. Алексей берет стул, придвигает к стулу Анастасии. Они сидят рядом, лицом к залу, и держатся за руки.

Прости меня.

Анастасия молчит.

Прости меня. Я все понял.

АНАСТАСИЯ. Понял, правда?

АЛЕКСЕЙ. Правда.

АНАСТАСИЯ. Я знала, знала, что ты поймешь! Мы с тобой всегда понимали друг друга без слов — как тогда, помнишь, с розовой собакой?

АЛЕКСЕЙ. Хватит, прошу вас.

АНАСТАСИЯ. Всегда понимали. Всегда. *(Улыбается.)*

АЛЕКСЕЙ. Вы могли бы быть неплохой актрисой. Я ведь и в самом деле поверил, что вы сотрудник НКВД и должны были меня разоблачить.

АНАСТАСИЯ. Как ты думаешь, они тоже поверили, что ты поверил, что...

АЛЕКСЕЙ. Надеюсь.

АНАСТАСИЯ. Они должны думать, будто мы... *(Пауза.)*
и будто мы думаем, что они думают, что мы...

АЛЕКСЕЙ. Да, да, я понимаю.

АНАСТАСИЯ. Мы должны вести себя умно. Должны пройти по лезвию бритвы.

АЛЕКСЕЙ. Да, да.

АНАСТАСИЯ. Мы их перехитрим.

АЛЕКСЕЙ. Да.

АНАСТАСИЯ. Мы не позволим им узнать о нас правду.

АЛЕКСЕЙ. Ни в коем случае.

АНАСТАСИЯ. Когда они убедятся, что мы... *(Пауза.)*
...может быть, они нас отпустят.

АЛЕКСЕЙ. Да, наверное... Отпустят. Должны отпустить. На войну с немцами нас, конечно, не возьмут. *(Вздыхает.)*

АНАСТАСИЯ. Да, к сожалению, не возьмут. Но мы будем просто жить где-нибудь.

АЛЕКСЕЙ. В каком-нибудь маленьком тихом городе.

АНАСТАСИЯ. В самом-самом маленьком.

АЛЕКСЕЙ. Или в деревне.

АНАСТАСИЯ. Нет, лучше все-таки в городе... У нас будет маленький домик на окраине.

АЛЕКСЕЙ. У нас нет денег.

АНАСТАСИЯ. Совсем маленький, совсем старенький, который никому не нужен.

АЛЕКСЕЙ. С маленьким-маленьким садиком.

АНАСТАСИЯ. Совсем маленьким: два дерева — одна яблоня и... и одна вишня.

АЛЕКСЕЙ. Лучше слива.

АНАСТАСИЯ. Хорошо, пусть будет слива. И цветы.

АЛЕКСЕЙ. И мы заведем собаку.

АНАСТАСИЯ. Утром я буду вставать рано-рано. Полюю цветы, покормлю собаку и пойду в boulangerie.

АЛЕКСЕЙ. Что вы сказали?

АНАСТАСИЯ. Пойду в булочную за свежим хлебом и пирожными. Булочная — boulangerie. Вокзал — le gar. Анна идет на вокзал — Anne marches à la gar. Больше я ничего не помню. Я ведь почти не училась французскому.

АЛЕКСЕЙ (*догадавшись*). А, так вот почему тогда...

АНАСТАСИЯ. Да. По-французски со мной говорить бессмысленно.

АЛЕКСЕЙ. Но мы не будем говорить по-французски, чтобы нас не приняли за шпионов.

АНАСТАСИЯ. Мы не будем ходить в boulangerie, мы будем ходить в булочную.

АЛЕКСЕЙ. Но у нас нет денег.

АНАСТАСИЯ. Мы будем служить.

АЛЕКСЕЙ. Нас не возьмут на службу.

Анастасия берет со стола вышивание и продолжает вышивать. Она очень спокойна.

АНАСТАСИЯ. Сперва не возьмут, а потом возьмут. Ведь все уйдут на войну, служить будет некому.

АЛЕКСЕЙ. Да... возможно. А где мы будем служить?

АНАСТАСИЯ. Где-нибудь. Я, например, могла бы служить на почте... да, я думаю, смогла бы.

АЛЕКСЕЙ. Я тоже.

АНАСТАСИЯ. Мы не можем служить вместе, это — семейственность.

АЛЕКСЕЙ. Я буду служить в другом почтовом отделении. И мы сможем писать друг другу письма.

АНАСТАСИЯ. В маленьком-маленьком городе может быть только одно почтовое отделение. Хорошо, ты будешь служить на почте, а я буду делать шляпы... нет, наверное, когда война, шляп никто носить не станет. Лучше я буду просто вести хозяйство. Я умею вести хозяйство.

АЛЕКСЕЙ. Да, да. Пока ты ходишь за свежим хлебом и пирожными, я накрою на стол.

Оба говорят как дети, с детскими интонациями и детским выражением на лицах.

АНАСТАСИЯ. Я приду, и мы будем завтракать.

АЛЕКСЕЙ. А потом я пойду на службу, а ты останешься дома и будешь вести хозяйство.

АНАСТАСИЯ. Я буду вести хозяйство и ждать твоего возвращения со службы.

АЛЕКСЕЙ. А вечером мы будем читать книги.

АНАСТАСИЯ. В саду под яблоней.

АЛЕКСЕЙ. Каждый вечер.

АНАСТАСИЯ. И обсуждать их.

АЛЕКСЕЙ. И собирать puzzle.

АНАСТАСИЯ. И ставить из пьес Чехова.

АЛЕКСЕЙ. И рисовать.

АНАСТАСИЯ. И играть на фортепиано.

АЛЕКСЕЙ. Ненавижу играть на фортепиано. Я люблю играть на балалайке.

АНАСТАСИЯ. Я буду играть на рояле.

АЛЕКСЕЙ. Да, пожалуйста, играй. А я на балалайке.

АНАСТАСИЯ. Будем играть друг другу каждый вечер.

Очень-очень тихо, чтоб никто не услышал.

АЛЕКСЕЙ. А потом за нами придут.

АНАСТАСИЯ (*испуганно*). Нет, нет! Не придут.

АЛЕКСЕЙ. Придут. (*Открывает шкаф.*)

Там человек в форме.

Он одергивает китель и смущенно уходит.

Пауза.

Вот видишь?

АНАСТАСИЯ. Нет, нет. Мы будем жить очень-очень тихо, как все. Мы вступим в профсоюз. И будем платить взносы.

АЛЕКСЕЙ. А потом на почте будет чистка, и за нами придут.

АНАСТАСИЯ. Не придут. Они нас не тронут. Они забудут про нас.

АЛЕКСЕЙ. Ты думаешь?

АНАСТАСИЯ. Уверена. Ты должен слушать меня.
Я старше.

АЛЕКСЕЙ. Иногда мы будем гулять по улице.

АНАСТАСИЯ. По самой-самой дальней улице, где никто не гуляет.

АЛЕКСЕЙ. И играть в лаун-теннис.

АНАСТАСИЯ. Или в прятки.

АЛЕКСЕЙ. Взрослые люди не играют в прятки.

АНАСТАСИЯ. Играют-играют, ты же видел. Они все время играют в прятки. Пожалуйста! Мне так хочется.

АЛЕКСЕЙ. Хорошо, будем играть и в прятки.

АНАСТАСИЯ. Давай поиграем прямо сейчас. Пожалуйста!

АЛЕКСЕЙ *(неохотно)*. Хорошо...

АНАСТАСИЯ. Я буду прятаться, а ты — водить.

АЛЕКСЕЙ. Хорошо. *(Закрывает глаза и начинает вслух считать до десяти.)*

Анастасия ищет, где спрятаться. Сначала она прячется за третьей портьерой, откуда еще никто не выходил, потом передумывает и бежит к четвертой. Отдергивает ее, отшатывается, громко кричит. Алексей оборачивается. Из-за четвертой портьеры выходит человек в штатском и молча уходит со сцены. Алексей встает. Лицо его изменилось: это лицо взрослого человека. Он хлопает себя по карманам, достает коробку папирос и спички. Разминает папиросу, дует в нее. Закуривает. Садится на корточки, как з/к. Папиросу он держит тремя пальцами, как з/к. Анастасия подходит к нему и тоже садится на корточки.

АНАСТАСИЯ. Дайте закурить.

АЛЕКСЕЙ. На. *(Протягивает Анастасии коробку с папиросами.)*

Она вытаскивает две, одну кладет за ухо, другую разминает и закуривает. Они курят молча, глубоко затягиваясь и сплевывая. Вдруг они начинают безудержно, до слез хохотать.

АНАСТАСИЯ. Ой, не могу...

АЛЕКСЕЙ. Да...

АНАСТАСИЯ. Ну ладно, теперь расскажите, кто вы такой на самом деле.

АЛЕКСЕЙ. Да нечего рассказывать-то. Ну, служил.

АНАСТАСИЯ. На почте?

АЛЕКСЕЙ. Нет, в одном учреждении... Потом была чистка...

АНАСТАСИЯ. И вас вычистили.

АЛЕКСЕЙ. Ну да. И меня никуда не брали на службу. Я старался сидеть тихо, как мышь. Но за мной все равно пришли.

АНАСТАСИЯ. И вы предпочли сумасшедший дом.

АЛЕКСЕЙ. Предпочел... Возможно, я совершил ошибку.

АНАСТАСИЯ (*по-мужски хлопает Алексея по плечу*).

Ничего. Выкрутимся.

АЛЕКСЕЙ. Главное, чтоб они не узнали о нас правду.

АНАСТАСИЯ. Не узнают.

АЛЕКСЕЙ. А вас как угораздило?

АНАСТАСИЯ (*махнет рукой*). Да в общем так же. Только меня из-за мужа никуда не брали.

АЛЕКСЕЙ. Вы замужем?!

АНАСТАСИЯ. Была.

АЛЕКСЕЙ. А где теперь ваш муж?

АНАСТАСИЯ. Какая разница. Он был матрос или солдат. Не помню. Потом ушел, и нету. Еще были мама и папа, но их убили.

АЛЕКСЕЙ. За что?

АНАСТАСИЯ. Не знаю. Кто же знает? За то, что были.

Они убивают всех пап и мам, чтобы мы остались одни и наделали глупостей. Мы же ничего не можем сами. Я такая беспомощная, ужас. Если кого убивают раньше родителей, это большое счастье.

АЛЕКСЕЙ. А кто их убил?

АНАСТАСИЯ. Не знаю. Наверное, эти. Всех убивают эти, только не все понимают. Мама была добрая, папа был добрый, они были просто люди. И вот именно за это их убили. Тут можно быть кем угодно, нельзя только людьми. Они могут пожалеть

бога или зверя, но людей — никогда. Надо как-то сделать, чтобы они поверили, будто мы не люди.

АЛЕКСЕЙ. Тогда нас не убьют?

АНАСТАСИЯ. Может быть, может быть...

АЛЕКСЕЙ. А дети у вас есть?

АНАСТАСИЯ. Был ребенок.

АЛЕКСЕЙ. Сын?

АНАСТАСИЯ. Дочка.

АЛЕКСЕЙ. Жаль.

АНАСТАСИЯ. Почему жаль?

АЛЕКСЕЙ. Мужское престолонаследование, безусловно, является предрассудком, но оно относится к тем предрассудкам, с которыми мы вынуждены считаться.

АНАСТАСИЯ. А у вас есть жена?

АЛЕКСЕЙ. Нет.

АНАСТАСИЯ. А дети?

АЛЕКСЕЙ. Не знаю. Нет, наверно.

АНАСТАСИЯ. Жаль.

АЛЕКСЕЙ. Да, жаль.

АНАСТАСИЯ. У нас в палате все говорят, что немцы под Могилевом.

АЛЕКСЕЙ. Да, у нас тоже.

АНАСТАСИЯ. И что кругом шпионы.

АЛЕКСЕЙ. Понятное дело.

АНАСТАСИЯ. И ведь это правда.

АЛЕКСЕЙ. Разумеется, правда! Я помню, когда рара брал меня с собой в Ставку...

АНАСТАСИЯ. Ну, хватит, хватит.

АЛЕКСЕЙ. Извините. Забылся. Но что шпионы кругом — это верно. Органы должны проявлять бдительность.

АНАСТАСИЯ. Конечно, должны.

АЛЕКСЕЙ. Один мой сослуживец, представьте, был троцкистом. А другой — японским шпионом.

АНАСТАСИЯ. Какой ужас!

АЛЕКСЕЙ. Со мной вышла ошибка. Я не обижаюсь. Ведь нужно проявлять бдительность. С вами тоже вышла ошибка.

АНАСТАСИЯ. Нет, ошибки не было.

АЛЕКСЕЙ. Как это?!

АНАСТАСИЯ (*уныло*). Он был плохой матрос. Бил меня.
Так ему и надо.

Алексей поднимается с корточек и садится на стул.
Анастасия тоже поднимается и садится на стул рядом
с Алексеем. Тот вместе со стулом отодвигается.
Анастасия — за ним. Таким образом они совершают круг
вокруг стола.

АЛЕКСЕЙ (*тяжело дыша*). Не приближайтесь ко мне.

АНАСТАСИЯ (*придвигается*). Но я же с ним развелась!

АЛЕКСЕЙ (*отодвигается*). Это неважно.

АНАСТАСИЯ (*придвигается*). Я отреклась от него.
Сменила фамилию.

АЛЕКСЕЙ. Правда?

АНАСТАСИЯ. Клянусь вам.

АЛЕКСЕЙ. И вы действительно ничего не знали о нем?

АНАСТАСИЯ. Клянусь. Он вообще был плохим человеком.
Изменял мне с другими... матросками.

АЛЕКСЕЙ. Это вы донесли на него?

АНАСТАСИЯ. Я.

АЛЕКСЕЙ (*берет руку Анастасии и крепко пожимает ее*).
Я вам верю.

АНАСТАСИЯ. Нужно проявлять бдительность.

АЛЕКСЕЙ. Отдельные ошибки ничего не значат.

АНАСТАСИЯ. Абсолютно ничего.

АЛЕКСЕЙ. Что-то я вам не очень верю. (*Достает из коробки папиросу и разминает ее.*)

АНАСТАСИЯ. Дайте папиросу.

АЛЕКСЕЙ. У вас уже есть папироса. (*Показывает на ухо Анастасии.*)

АНАСТАСИЯ. Что вам, папиросы жалко?

АЛЕКСЕЙ. Жалко.

АНАСТАСИЯ. Какой вы жадный. (*Внезапно выхватывает у Алексея коробку папирос и вскакивает.*)

Алексей бросается за ней. Они бегают по сцене
и налетают с размаху на вторую портьеру, оттуда
слышится приглушенный вскрик. Из-за портьеры
выходит человек в штатском и, потирая ушибленную

ногу, торопливо идет через сцену.
Анастасия размахивается и дает Алексею такую пощечину, что он едва не падает.
Подходит к столу, садится, опускает голову на руки и рыдает. Алексей подходит к ней и трогает за плечо. Она отталкивает его руку.

АЛЕКСЕЙ. Умоляю вас...

Анастасия плачет.

Я все объясню...

АНАСТАСИЯ. Вы своего добились. Радуйтесь.

АЛЕКСЕЙ. Позвольте, я вам все объясню.

АНАСТАСИЯ. В каком вы звании?

АЛЕКСЕЙ. Я штатский.

АНАСТАСИЯ. Вы мерзавец.

АЛЕКСЕЙ. Я вам все объясню.

АНАСТАСИЯ. Сколько они вам заплатили?

АЛЕКСЕЙ. Умоляю вас...

АНАСТАСИЯ (*выпрямляется и утирает слезы*). Вы — мерзкий провокатор. Но я вас не боюсь. Я вас презираю. Я помню ваше лицо...

АЛЕКСЕЙ. Умоляю вас!

АНАСТАСИЯ. Нет, не думайте, что я сумасшедшая. Вашего лица я не знаю, но я видела такие же лица, как у вас.

АЛЕКСЕЙ. Где? Когда?

АНАСТАСИЯ. Там, тогда. Там было три стула... На один стул посадили папу, на другой — маму... На третий стул они посадили моего брата... Я стояла у стены, у меня на руках был Джимми...

АЛЕКСЕЙ. Пожалуйста, не надо.

АНАСТАСИЯ. На стульях лежали подушечки... Я все думаю: зачем подушечки? Зачем они позволили нам взять подушечки? Такие красивые подушечки, потом очень трудно отмывать с них кровь...

АЛЕКСЕЙ. Перестаньте!

АНАСТАСИЯ. Они стали читать какую-то бумагу, очень глупую, я не могла понять ни слова... Я не должна была брать Джимми с собой... Джимми — это моя собака.

АЛЕКСЕЙ. Да понял я, понял.

АНАСТАСИЯ. Потом меня что-то горячее толкнуло в грудь, и я упала.

АЛЕКСЕЙ. Хватит, замолчите.

АНАСТАСИЯ. Я упала, но я была еще не мертвая. Я видела папу и маму, они были мертвые. И Оля, и Маша, и Таня, и мой брат, все были мертвые. Пуля попала в Джимми... Я не должна была брать Джимми, но я взяла его, потому что думала: они увидят Джимми, и им станет его жалко...

АЛЕКСЕЙ. Молчи, молчи!

АНАСТАСИЯ. Они стали колоть нас штыками... У них были точно такие же лица, как ваше... Я видела, как они кололи штыком моего брата, но он не пошевелился, я поняла, что он умер, и мне стало все равно... Штык уколол меня в плечо, и я закричала... Тогда вы стали бить меня по голове. *(Закрывает руками голову.)* Вы ужасно били меня, я просила, чтоб вы меня застрелили, но вы не послушались... Потом я ничего не помню...

АЛЕКСЕЙ. Не вспоминай, не надо.

АНАСТАСИЯ. Да что уж теперь. Все равно вы своего добились.

АЛЕКСЕЙ. Послушайте! Я совсем не тот, за кого вы меня принимаете.

АНАСТАСИЯ. Я очнулась от тряски. Мне было очень больно, кругом было все мокрое и липкое от крови... Я лежала щекой на ноге мамы, она была неподвижная, мертвая... Отец не дышал... Сестры не дышали, я трогала их, плакала... Я приподнялась и увидела, что наши тела везут в грузовике... Грузовик остановился перед железнодорожным разъездом... Я сумела приподняться на руках и перевалиться через борт грузовика...

АЛЕКСЕЙ. А ваш брат? Где он был?

АНАСТАСИЯ. Мой брат лежал в самом углу. Он не дышал. И сердце у него не билось. Так что напрасно вы пытались выдавать себя за него. Я точно знаю, что мой брат мертв.

АЛЕКСЕЙ. А если вы ошиблись?

АНАСТАСИЯ. Я не могла ошибиться. У него не было пульса.

АЛЕКСЕЙ. В том эмоциональном состоянии, в каком вы находились, вы вполне могли ошибиться.

АНАСТАСИЯ. Я обучалась работе сестры милосердия. Я не могла ошибиться.

АЛЕКСЕЙ. И все-таки вы ошиблись.

АНАСТАСИЯ. Нет. Оставьте меня в покое, грязный негодяй. Вы узнали обо мне правду. Что вам еще от меня нужно?

АЛЕКСЕЙ. Послушайте...

АНАСТАСИЯ. Подлец, подлец, подлец! Вы только и умеете что стрелять в безоружных женщин и детей!

АЛЕКСЕЙ. Да послушайте же...

АНАСТАСИЯ. Негодяй! *(Набрасывается на Алексея и хватает его за горло.)*

Он пытается вырваться. Коробка с папиросами падает на пол, папиросы рассыпаются.

Анастасия выпускает Алексея, и оба, упав на колени, начинают поспешно подбирать папиросы.

Анастасия снова набрасывается на Алексея.

Они катаются по полу.

Из-за шестой портьеры выбегают сразу три человека: двое в штатском и врач в белом халате, с зеркальцем на лбу. Двое в штатском разнимают Алексея и Анастасию и грубо усаживают их на стулья

по разные стороны стола; папиросы они бросают на стол, не забыв прихватить себе по паре папирос.

Врач осматривает Алексея и Анастасию, щупает пульс, смотрит зрачки. Все молчат. Двое в штатском и врач уходят со сцены.

Анастасия через стол протягивает руку, Алексей протягивает руку ей навстречу. Они держатся за руки.

АЛЕКСЕЙ. Мы многому научились.

АНАСТАСИЯ. Это хорошо.

АЛЕКСЕЙ. Мы выдержали испытание.

АНАСТАСИЯ. Надеюсь... *(Встает и обходит по очереди окна (почему-то пропустив пятое), отдергивает портьеры – зрителю видно, что там пусто – и снова задергивает.)*

Алексей взглядом следит за ней. Анастасия возвращается к столу, берет свой стул и придвигает его к стулу Алексея. Они снова сидят рядом, лицом к залу, и держатся за руки.

АЛЕКСЕЙ. Ты пропустила одно окно.

АНАСТАСИЯ. Там никого нет.

АЛЕКСЕЙ. Что там, на улице?

АНАСТАСИЯ. Там не улица. Там двор.

АЛЕКСЕЙ. И что там, во дворе?

АНАСТАСИЯ. Ничего.

АЛЕКСЕЙ. А погода какая?

АНАСТАСИЯ. Солнечная.

АЛЕКСЕЙ. Значит, сейчас день?

АНАСТАСИЯ (*пожимает плечами*). Наверное...

АЛЕКСЕЙ (*дотрагивается до щеки Анастасии*). Ты запачкалась.

АНАСТАСИЯ. Дай мне платок, пожалуйста.

Алексей достает из кармана носовой платок и протягивает Анастасии, та стирает со щеки грязь. Вертит платок в руках. Делает из платка фигурку зайца с длинными ушами и дразнит ею Алексея.

Помнишь, каких зверей тебе делал мсье Жильяр из платка, когда ты болел?

АЛЕКСЕЙ. Конечно, помню. Чудак. (*Забирает у Анастасии платок и делает из него другую фигурку.*) Он со мной обращался как с ребенком. А я, между прочим, царь.

АНАСТАСИЯ. Ты любил его?

АЛЕКСЕЙ. Нет. Но он был забавный.

АНАСТАСИЯ. А у меня никогда не было забавных гувернанток. Все были зануды, одна хуже другой.

АЛЕКСЕЙ. Да помню я, помню. Помнишь, как ты подкладывала кнопки на сиденье мадемуазель Дижон?

АНАСТАСИЯ. Это не я. Это Маша.

АЛЕКСЕЙ. Нет, ты.

АНАСТАСИЯ. Честное слово, не я.

АЛЕКСЕЙ (*берет руку Анастасии и целует*). Ладно, пусть не ты. Но я-то помню, что ты.

АНАСТАСИЯ (*пренебрежительно*). Что ты можешь помнить!

АЛЕКСЕЙ. А вот и помню.

АНАСТАСИЯ. Ладно, сдаюсь. Это не Маша, это я делала.

Алексей вдруг выпускает руку Анастасии, встает, подходит к пятой портъере, которую Анастасия пропустила, и резким движением отдергивает ее. Там пусто. Алексей задергивает портьеру и возвращается на место.

(*Усмехается.*) Ну что?

АЛЕКСЕЙ. Прости.

АНАСТАСИЯ. Прощаю.

АЛЕКСЕЙ. Ты всегда меня обманывала, всегда. Всегда жулила. В фанты жулила, в лото жулила, в шашки жулила. Никто так не жулил, как ты.

АНАСТАСИЯ. Как это можно жулить в шашки, хотела бы я знать.

АЛЕКСЕЙ. Почему-то у тебя дамок получалось больше, чем было шашек.

АНАСТАСИЯ. Ничего подобного.

АЛЕКСЕЙ. Все про тебя говорили, что ты не ребенок, а наказание Божие. Непоседа и егоза. Мама даже плакала из-за тебя.

АНАСТАСИЯ. Ну, это только один раз, из-за глобуса.

АЛЕКСЕЙ. Еще из-за шляпки и из-за кролика.

АНАСТАСИЯ (*огорченно*). Я не знала, что из-за шляпки и из-за кролика мама плакала.

АЛЕКСЕЙ. Совсем немножко.

АНАСТАСИЯ. Я не хотела никого огорчать, клянусь.

АЛЕКСЕЙ. Да она почти и не плакала.

АНАСТАСИЯ. Если б я могла вернуть все обратно, я бы никогда ее не огорчала. Я бы никого не огорчала.

АЛЕКСЕЙ. Ты и не огорчала. Я просто так сказал. Тебя любили больше всех нас.

АНАСТАСИЯ. Зачем, зачем ты мне сказал, что она плакала из-за кролика!

АЛЕКСЕЙ. Да не плакала она. Я это придумал.

АНАСТАСИЯ. Ах, зачем, зачем...

АЛЕКСЕЙ. Перестань, прошу тебя.

АНАСТАСИЯ. О, если бы все вернуть обратно...
АЛЕКСЕЙ. Никогда ничего нельзя вернуть обратно.
АНАСТАСИЯ. А у нас в палате одна женщина говорит,
что можно.
АЛЕКСЕЙ. Так она, должно быть, сумасшедшая.
АНАСТАСИЯ (*вздыхает*). Да, наверно. Я как-то об этом
не подумала.
АЛЕКСЕЙ. Расскажи про свою палату.
АНАСТАСИЯ. Не знаю, что рассказывать.
АЛЕКСЕЙ. У вас есть буйные?
АНАСТАСИЯ. Нет, у нас все тихие. А у вас?
АЛЕКСЕЙ. У нас тоже.
АНАСТАСИЯ. А санитары у вас злые?
АЛЕКСЕЙ. Не очень. Меня сильно били только два
раза.
АНАСТАСИЯ. И меня только два.
АЛЕКСЕЙ. Сильно — два или всего два?
АНАСТАСИЯ. Сильно.
АЛЕКСЕЙ (*глядит ее руку*). Бедная моя...
АНАСТАСИЯ. Ну, не так уж сильно.
АЛЕКСЕЙ. Вообще-то у нас хорошо. Кругом зелень, де-
ревья.
АНАСТАСИЯ. И у нас.
АЛЕКСЕЙ. У меня хорошая кровать. Самая лучшая в па-
лате.
АНАСТАСИЯ. У окна, да?
АЛЕКСЕЙ. У окна.
АНАСТАСИЯ. А моя кровать у двери.
АЛЕКСЕЙ. А кормят вас хорошо?
АНАСТАСИЯ. Третьего дня на обед была лапша по-
флотски.
АЛЕКСЕЙ (*радостно*). У нас тоже! Люблю лапшу по-
флотски. В Ставке мы часто ели лапшу по-флотски.
АНАСТАСИЯ. А я не люблю. А сегодня должна быть
гречневая каша. И кисель.
АЛЕКСЕЙ. Я не люблю киселя.
АНАСТАСИЯ. А я люблю.
АЛЕКСЕЙ. Помнишь, как ты пролила вишневый кисель
на юбку мадемуазель Леруа?

АНАСТАСИЯ. Во-первых, не вишневый, а молочный.
Во-вторых, я сделала это не специально.

АЛЕКСЕЙ. Так я тебе и поверил.

АНАСТАСИЯ. А как ты сам забросил в речку зонтик баронессы Буксгевден?

АЛЕКСЕЙ. Ты откуда знаешь? Это было в Ставке.

АНАСТАСИЯ. Ольга рассказывала. А дяде Георгию кто шею маслом намазывал? Кто кидал в генералов хлебными шариками?

АЛЕКСЕЙ (*смущенно*). Это когда я был совсем маленьким ребенком.

АНАСТАСИЯ. Не такимуж и маленьким. А кто нахлобучил арбуз дяде Сергею на голову?!

АЛЕКСЕЙ. Не я.

АНАСТАСИЯ. Ты, ты. Про тебя тоже говорили, что ты не ребенок, а наказание Божие.

АЛЕКСЕЙ. Неправда.

АНАСТАСИЯ. Правда, правда. Скажи, у тебя вправду никогда не было жены?

АЛЕКСЕЙ. Не было. А ты была замужем?

АНАСТАСИЯ. Нет, не была.

АЛЕКСЕЙ. Это хорошо.

АНАСТАСИЯ. Почему хорошо?

АЛЕКСЕЙ. Потому что когда нас отпустят, ты не пойдешь к своему мужу, а останешься со мной.

АНАСТАСИЯ. Я не уверена, что нас отпустят.

АЛЕКСЕЙ. Но ведь мы не позволили им узнать правду. Мы их запутали.

АНАСТАСИЯ. Да, я думаю, запутали. Но... я не уверена. Ах, я вообще ни в чем не уверена. Даже в том, что я — это я.

АЛЕКСЕЙ. А ты уверена, что я — это я?

АНАСТАСИЯ (*берет руку Алексея и целует*). Да.

АЛЕКСЕЙ. Мы ведь не только для них разыгрывали спектакль, верно?

АНАСТАСИЯ. Да, верно.

АЛЕКСЕЙ. Еще затем, чтоб не говорить друг с другом о важном.

АНАСТАСИЯ. Да.

АЛЕКСЕЙ. Но когда-то нужно говорить о важном.
АНАСТАСИЯ. Нужно.
АЛЕКСЕЙ. Как ты... ты действительно щупала мой
пульс — там? И тебе показалось, что я мертв?
АНАСТАСИЯ. Я могла ошибиться.
АЛЕКСЕЙ. Ты решила, что я умер.
АНАСТАСИЯ. Я ошиблась.
АЛЕКСЕЙ (*с обидой*). Ты обучалась работе сестры мило-
сердия. Ты не должна была ошибиться.
АНАСТАСИЯ. Боже мой, в том состоянии, в каком
я была...
АЛЕКСЕЙ (*кричит*). Ты не должна была одна прыгать
с грузовика! Ты должна была забрать меня с со-
бой!
АНАСТАСИЯ. Я ошиблась. Прости меня.
АЛЕКСЕЙ. Ты не имела права меня там бросить!
АНАСТАСИЯ. Прости...
АЛЕКСЕЙ. Да нет, ничего.
АНАСТАСИЯ. Расскажи, как ты...
АЛЕКСЕЙ. Когда я очнулся, нас уже бросили в колодец.
Грязь была у меня во рту, в носу, я задыхался. В гря-
зи плавали тела отца и... и всех. Но тебя не было.
Вверху были какие-то доски. Я снял с отца пояс-
ной ремень, забросил на доски и вылез. Это я так
рассказываю, будто я сразу вылез, а на самом деле
я лез, наверное, час или пять часов, не знаю...
АНАСТАСИЯ. А потом?
АЛЕКСЕЙ. Рядом был лес, и я побежал туда.
АНАСТАСИЯ. Как ты мог бежать? Ты был ранен, и твоя
нога...
АЛЕКСЕЙ. Я сам не знаю как. Но я бежал.
АНАСТАСИЯ. Куда ты бежал?
АЛЕКСЕЙ. Искать тебя.
АНАСТАСИЯ (*опять целует руку Алексея*). Прости меня,
прости... Я не должна была бросать тебя. Я не
должна была ошибиться...
АЛЕКСЕЙ. Ну вот, а потом меня подобрали крестьяне.
Они были добрые. У них была родня в Курске,
и меня отправили туда. Дальше... (*Машет рукой.*)
Дальше была, кажется, какая-то жизнь.

АНАСТАСИЯ. Какая? Та, в которой ты работал на заводе?

АЛЕКСЕЙ. Не помню. Забыл. Ты не должна была бросать меня там, в колодце!

АНАСТАСИЯ. Прости, прости!

АЛЕКСЕЙ (*трет рукой лоб*). Видишь, я стал нервным. Прости меня. Все хорошо. Я верил, что мы встретимся.

АНАСТАСИЯ. А я не верила.

АЛЕКСЕЙ. Ты никогда ни во что не верила. Ладно, довольно об этом. Скажи... скажи, у тебя были... ты знала мужчин?

АНАСТАСИЯ (*после паузы*). Это неприличный вопрос.

АЛЕКСЕЙ. Почему неприличный?

АНАСТАСИЯ. Потому что потому.

АЛЕКСЕЙ. Ах, значит, неприличный. А кто изводил Ольгу и мадемуазель Дижон расспросами, откуда дети берутся? А когда они смущались и краснели — кто злорадно хихикал?

АНАСТАСИЯ. Не я.

АЛЕКСЕЙ. А кто под подушкой держал неприличные картинки?

АНАСТАСИЯ. Это не я.

АЛЕКСЕЙ. Так ты знала мужчин? Отвечай.

АНАСТАСИЯ (*отодвигается со своим стулом*). Да.

АЛЕКСЕЙ (*движется за ней*). Матросы? Крестьяне? Мещане? Советские служащие? Кто они были? Говори — кто?

АНАСТАСИЯ (*отодвигается*). Разные.

АЛЕКСЕЙ. Это ужасно! Ты не должна была...

АНАСТАСИЯ. Знаю. Но ничего не поделаешь. Без помощи мужчин я бы не выжила. Я была красива, мужчины мне помогали... иногда. Даже следователь... И один санитар...

АЛЕКСЕЙ. Какой ужас! Замолчи! (*Зажимает руками уши.*)

АНАСТАСИЯ. Ты сам спросил. Не надо было спрашивать.

АЛЕКСЕЙ (*отодвигается со стулом в обратную сторону*). Ты меня ужасно расстроила. Не знаю, как я теперь смогу с тобой говорить.

АНАСТАСИЯ (*придвигается к нему*). Ну и не говори. А ты что же, прожил все эти годы, не зная женщин?

АЛЕКСЕЙ (*отдвигается еще дальше*). Я мужчина. Это другое дело.

АНАСТАСИЯ. Ничего не другое. (*Берет со стола вышиванье и продолжает вышивать.*)

АЛЕКСЕЙ (*усаживается напротив нее*). Право, не знаю, как я теперь смогу на тебя смотреть.

АНАСТАСИЯ (*не поднимая головы*). Ну и не смотри.

АЛЕКСЕЙ. Скажи мне их фамилии.

АНАСТАСИЯ. Я не помню их фамилий.

АЛЕКСЕЙ. Скажи мне фамилию этого санитаря, я убью его.

АНАСТАСИЯ. Не скажу.

АЛЕКСЕЙ. Не представляю, как мы сможем жить с этим.

АНАСТАСИЯ. Ну и не представляй.

АЛЕКСЕЙ. Лучше б я тебя не встретил. Лучше б я думал, что ты умерла.

АНАСТАСИЯ (*берет со стола папиросу и разминает ее*).
Лучше всего было бы, если б я вправду умерла.

АЛЕКСЕЙ. В монастырь бы тебя — да жаль, не те времена.

АНАСТАСИЯ. Перестань сейчас же дуться, это глупо.
Дай мне спички.

АЛЕКСЕЙ. Не дам. Ты не смеешь курить.

АНАСТАСИЯ. Хочу и смею. Дай спички!

Алексей молча швыряет через стол коробок спичек.

Анастасия достает из кармана юбки мундштук, вставляет в него папиросу и закуривает. Теперь она держит папиросу очень изящно.

АЛЕКСЕЙ. Ты очень изменилась.

АНАСТАСИЯ (*пускает дым ему в лицо*). А ты совсем не изменился. Такой же противный маленький ханжа.

АЛЕКСЕЙ. Я ханжа?!

АНАСТАСИЯ. Да, ты. Ханжа, ябеда и подлиза. Всеобщий любимчик. Всех шантажировал своей болезнью. Тебе все позволяли, а нам ничего.

АЛЕКСЕЙ. Вот, стало быть, каким ты меня запомнила.

АНАСТАСИЯ. Да.

АЛЕКСЕЙ. Так вот почему ты бросила меня там, в грузовике!

АНАСТАСИЯ (*тушит папиросу*). Нет. Нет. Прости меня, я сорвалась и... Прости. Я люблю тебя.

АЛЕКСЕЙ. Не любишь.

АНАСТАСИЯ. Люблю. Бога ради, прости...

АЛЕКСЕЙ. Не знаю, когда ты обманываешь, а когда говоришь правду.

АНАСТАСИЯ. Сама не знаю. Но сейчас говорю правду.

Со стороны пятого окна раздается громкий храп. Алексей и Анастасия вздрагивают и оборачиваются. Храп повторяется. Алексей резким движением смахивает со стола все — стаканы, тарелки, папиросы. Храп обрывается.

ЧЕЛОВЕК В ШТАТСКОМ. Прошу прощения. (*Уходит со сцены.*)

Алексей стоит спиной к зрителю и смотрит в окно. Анастасия подходит к нему и обнимает его.

АЛЕКСЕЙ. Какие они...

АНАСТАСИЯ. Нелепые.

АЛЕКСЕЙ (*вздыхает*). И откуда он взялся?

АНАСТАСИЯ (*указывает*). Вон там внизу пожарная лестница.

Алексей и Анастасия обходят все окна и отдергивают портьеры на них. Зрителю хорошо видны нарисованные окна. Соглядатаев нигде нет. Портьеры так и остаются незадернутыми. Алексей и Анастасия обходят и тщательно обыскивают всю сцену: заглядывают под стол, долго смотрят на потолок, выдвигают все ящики шкафа. Алексей встает на стул и заглядывает в горшок с фикусом. Все это делается очень серьезно и тщательно. Анастасия собирает с пола все, что сбросил Алексей, и аккуратно складывает на стол. Затем они усаживаются за стол друг против друга.

(*Берет вышивание.*) Двор закрытый. Каменный мешок. Бежать невозможно.

АЛЕКСЕЙ. Да.

АНАСТАСИЯ. Если бы окна выходили на улицу...

АЛЕКСЕЙ. Все равно. Под лестницей стоит часовой.

АНАСТАСИЯ (*вышивает*). Мы бы убили часового.

АЛЕКСЕЙ. Не говори глупостей. (*Вдруг вскакивает, подбегает к шкафу и заново проверяет один из ящиков. Садится на место.*)

АНАСТАСИЯ. Если б окна выходили на улицу, мы бы убили часового...

АЛЕКСЕЙ. Нет.

АНАСТАСИЯ. И сели в трамвай.

АЛЕКСЕЙ. Никто не позволит нам сесть в трамвай.

АНАСТАСИЯ. Сели в трамвай и уехали.

АЛЕКСЕЙ. Я люблю ездить в трамвае.

АНАСТАСИЯ. А я никогда не ездила в трамвае. Мы бы поехали на вокзал. Потом мы бы сели в поезд...

АЛЕКСЕЙ. У нас нет денег.

АНАСТАСИЯ. Мы бы забрались в товарный вагон.

АЛЕКСЕЙ. И куда бы мы уехали?

АНАСТАСИЯ. Не знаю. В Париж, например.

АЛЕКСЕЙ. Лучше в Лондон.

Анастасия откладывает вышивание и протягивает Алексею руку через стол. Они вновь держатся за руки.

АНАСТАСИЯ. Мы бы купили домик, маленький-маленький, старенький-старенький, на самой окраине, где никто не ходит...

АЛЕКСЕЙ (*изумленно смотрит на Анастасию*). Домик?!

Ну нет. Мы немедленно представимся королю...

АНАСТАСИЯ (*радостно*). И он подарит нам домик, маленький-маленький...

АЛЕКСЕЙ. Он даст мне полк.

АНАСТАСИЯ. Но не очень старенький, на самой окраине...

АЛЕКСЕЙ. Нет, дивизию.

АНАСТАСИЯ. С маленьким-маленьким садиком: два дерева...

АЛЕКСЕЙ. Артиллерийскую.

АНАСТАСИЯ. Яблоня и слива.

АЛЕКСЕЙ. Лучше танковую.

АНАСТАСИЯ. Лучше дуб и платан.

АЛЕКСЕЙ. Ты представляешь себе возможности тяжелых танков в современной войне?! Подумай только...

АНАСТАСИЯ. Ты устроишься служить...

АЛЕКСЕЙ. Я убежден, что танки сыграют решающую роль. Танки — это прорыв. Надо развивать!

АНАСТАСИЯ. Например, на почту. Мне нравится форма английских почтальонов. Она такая красивая.

АЛЕКСЕЙ. Некоторые горе-специалисты недооценивают возможности танков и артиллерии.

АНАСТАСИЯ. Утром я буду вставать очень рано.

АЛЕКСЕЙ. После победы над немцами я освобожу Россию.

АНАСТАСИЯ. Полюю цветы и пойду за свежим хлебом и пирожными.

АЛЕКСЕЙ. Моим первым указом я дарю свободу всем узникам.

АНАСТАСИЯ. Я забыла про собаку. У нас обязательно будет собака.

АЛЕКСЕЙ. Россия будет самым просвещенным, самым либеральным государством Европы.

АНАСТАСИЯ. Когда я вернусь, ты уже накроешь стол к завтраку.

АЛЕКСЕЙ. К сожалению, у меня сейчас нет подходящей кандидатуры на пост главы правительства.

АНАСТАСИЯ. Если не будет дождя, мы позавтракаем в саду, под платаном.

АЛЕКСЕЙ. Я посоветуюсь с королем.

АНАСТАСИЯ. Когда ты уйдешь на службу, я буду ждать тебя и вести хозяйство.

АЛЕКСЕЙ. Главное — не давать Думе слишком много воли.

АНАСТАСИЯ. Много прислуги нам не нужно.

АЛЕКСЕЙ. Опыт британского парламентаризма нам не подойдет.

АНАСТАСИЯ. Трех горничных вполне достаточно.

АЛЕКСЕЙ. Да, Россия — европейское государство. Но нам нужен особый путь.

АНАСТАСИЯ. Мы купим домик на Большой Морской, маленький-маленький...

АЛЕКСЕЙ. Российский опыт показывает, что никакой Думы нам вовсе не нужно.

АНАСТАСИЯ. Отбором фрейлин я буду заниматься лично.

АЛЕКСЕЙ. Единственное, что нужно России — это порядок.

АНАСТАСИЯ. Мне бы хотелось, чтоб ты взял себе жену из Виндзоров. Но это, конечно, твое дело. Я вмешиваться не стану.

АЛЕКСЕЙ. Повторения февральского бунта мы допустить не можем.

АНАСТАСИЯ. Я лично займусь воспитанием наследника.

АЛЕКСЕЙ. Нашему народу нужна твердая рука.

АНАСТАСИЯ. Я уверена, он вырастет добрым, нежным мальчиком.

АЛЕКСЕЙ (*отнимает свою руку у Анастасии и начинает жестикулировать*). Оппозицию следует рубить на корню.

АНАСТАСИЯ (*безуспешно пытается снова взять Алексея за руку*). Он будет как две капли воды похож на тебя.

АЛЕКСЕЙ. Выжигать каленым железом.

АНАСТАСИЯ. Он будет добр и великодушен. Все будут обожать его.

АЛЕКСЕЙ. Революций я не допущу.

АНАСТАСИЯ. По вечерам мы с ним будем читать книги и играть на фортепиано.

АЛЕКСЕЙ. Смутьяны, финансируемые нашими врагами, должны немедленно братья под арест.

АНАСТАСИЯ. Я молю Господа, чтоб Он даровал наследнику крепкое здоровье.

АЛЕКСЕЙ. Нельзя полностью отбрасывать опыт НКВД. У них есть неплохие специалисты своего дела.

АНАСТАСИЯ. Я не позволю тебе брать ребенка с собой в Ставку. Война — не место для детей.

АЛЕКСЕЙ (*встает и начинает ходить по сцене, заложив руки за спину*). Уличных беспорядков я не допущу. И пора уже наконец усмирить Кавказ.

АНАСТАСИЯ. Бедный мой, а что, если у тебя не будет детей?

АЛЕКСЕЙ. Некоторые сильно недооценивают возможности танков и артиллерии!

АНАСТАСИЯ. Я постараюсь относиться к твоей жене с любовью.

АЛЕКСЕЙ. Мы не собираемся прислушиваться к мнению всяких там... Нидерландов.

АНАСТАСИЯ. По вечерам мы будем играть в puzzle.

АЛЕКСЕЙ. Глупцы недооценивают возможности танков и артиллерии.

АНАСТАСИЯ. А потом за нами придут.

АЛЕКСЕЙ. Пожалуй, черта оседлости для евреев не помешает.

АНАСТАСИЯ. Они приведут нас в комнату. Там будут три стула...

АЛЕКСЕЙ. Некоторые недооценивают... (*Останавливается посреди комнаты и вздыхает.*) А у нас в больнице сегодня вишневый кисель...

АНАСТАСИЯ. Когда они дадут залп, я не умру. Они станут колоть меня штыками...

АЛЕКСЕЙ (*подходит к Анастасии и осторожно дотрагивается до нее*). Не надо.

АНАСТАСИЯ. Все это было бы, если б окна выходили на улицу.

АЛЕКСЕЙ. Да. Но они выходят во двор. (*Встает на колени и кладет голову на колени Анастасии.*)

АНАСТАСИЯ (*гладит его голову*). Боже, как я устала.

АЛЕКСЕЙ. Я тоже устал.

Алексей и Анастасия закрывают глаза; они, кажется, дремлют. Алексей во сне вскидывается и бормочет.

И пора наконец усмирить Кавказ...

АНАСТАСИЯ (*гладит Алексея по голове, шепчет ему колыбельную*). Баю-баюшки-баю...

Алексей успокаивается.

Прижавшись друг к другу, они спят.
Из-за портрета появляется человек в штатском.
Он бесшумно подходит к столу и кашляет. Алексей
и Анастасия вздрагивают; увидев человека в штатском,
они съеживаются и со страхом глядят на него.

АЛЕКСЕЙ. Пора наконец усмири... Пожалуйста, пожалуйста, не нужно бить нас!

АНАСТАСИЯ. Ради Бога, не бейте его, у него слабое здоровье.

Пауза.

(Будничным, совершенно здоровым голосом.) Ну что, их нет больше?

АЛЕКСЕЙ. Думаю, нет. Куда тут еще спрячешься? И зачем больше семи сотрудников на двух больных? Даже там... в подвале... было только семеро на десятиерых.

АНАСТАСИЯ. Откуда ты знаешь?

АЛЕКСЕЙ. Да все знают, Настя. Кстати, как тебя зовут?

АНАСТАСИЯ. Настя.

АЛЕКСЕЙ. Ну, а я Леша. Можно Брюша.

АНАСТАСИЯ. Как ты думаешь, зачем они нас... свели?

АЛЕКСЕЙ. Ну, откуда же я знаю. Они не очень предсказуемы. Только дураки говорят, что они дураки. Никогда не знаешь, что им может прийти в голову. И самое интересное, что иногда срабатывает. Лично я думаю знаешь что? Если немцы действительно в Могилеве, то ведь может быть всякое.

АНАСТАСИЯ. Например?

АЛЕКСЕЙ. Например, они хотят вернуть монархию. Кстати, все ведь готово. Кто пойдет умирать за СССР? А за Русь святую — очень может быть. Тут мы им и понадобится — может быть такое?

АНАСТАСИЯ. Не может.

АЛЕКСЕЙ. Почему не может? Еще немного — они обязательно вернут Бога, вот увидишь. Куда они денутся без Бога? Некоторое время у них были вместо него разные чучела, которым в старое время не доверили бы... *(С кавказским акцентом.)* ...ябло-

невый сад охранять, слушай... Все завалил, к чему притронулся. И если немцы в Могилеве, им обязательно будет нужен Бог. А что я такого говорю? Я сумасшедший, мне все можно.

АНАСТАСИЯ. Ты думаешь, они для этого нас... держали?

АЛЕКСЕЙ. Ну а для чего же еще? Что еще с нами делать? Понимали же они, что рано или поздно придется... возвращать. Хоть что-то. А где тогда брать? Вот тогда я и подумал: кто им рано или поздно понадобится? С кем они не сделают ничего? Разумеется, царевич Алексей! (*Гордо.*) Хорошо я придумал?

АНАСТАСИЯ (*в ужасе*). Ты действительно сумасшедший...

АЛЕКСЕЙ. Если честно, теперь уже не знаю. Я так долго у них пробыл в этом лазарете, что... Не знаю, не знаю. Но идея хороша, согласись? Где можно спастись от бури? В центре бури. Есть такое понятие, я читал в детстве. Глаз бури. Там всегда тихо. Кругом ревет, воет — а там тихо, как у Христа за пазухой. Собственно, я не ошибся. И очень может быть, что теперь они меня заметят. У меня было множество планов по переустройству. Я даже записывал одно время, но потом сжигал, чтобы не нашли. И сейчас у меня все шансы прийти к власти. Вместе с тобой, конечно.

Анастасия молча смотрит на него, кусая губы.

(*Восхищаясь собой все больше.*) Один мой друг — они его тоже взяли, он работал в издательстве, — сказал мне однажды: знаешь, почему я монархист? Потому что монархия — это единственный строй, при котором к власти может прийти порядочный человек. Им теперь нужен символ, ты понимаешь? Им ужасно нужен символ, за который не жаль умереть. А тут мы. Чудесное спасение. Мы идеально годимся. Мы еще вполне ничего. Я, по крайней мере, вполне ничего. И ты, если тебя отмыть, вполне ничего.

АНАСТАСИЯ (*качая головой*). Нет, нет.

АЛЕКСЕЙ. Почему? Что ты такое говоришь?! (*Топает ногами.*) Знаешь ли ты, как я мечтал об этом? Как я хотел этого?! Дура!

АНАСТАСИЯ (*тихо*). Иди сюда.

АЛЕКСЕЙ. Почему иди сюда?! Кто ты такая?! Ты не царевна! Ты не принцесса! Почему я должен иди сюда?! Ты ничего не понимаешь, дура, девчонка, ты не видишь наш исторический шанс! Я ничего тебе не дам, у тебя не будет мужа! Иди сюда, иди сюда... Ну хорошо, вот я иду сюда. Что ты мне можешь сказать?

АНАСТАСИЯ (*глядя его голову*). Я ничего не могу тебе сказать. В том-то и дело, что я ничего не могу тебе сказать. Мы им не подходим, Леша, они это поняли. Им ведь не надо было проверять, настоящие мы или нет. Им сгодились бы ненастоящие, лишь бы похоже. Но из нас ничего не получится.

АЛЕКСЕЙ. Почему?

АНАСТАСИЯ. Потому что мы люди. Потому что мы просто люди. И те были просто люди, и у них ничего не получилось. Если бы из них можно было что-нибудь сделать, их бы обязательно оставили в живых. Ими можно было бы торговаться. Их можно было заставить что-нибудь говорить. Их можно было бы выставить в музей, чтобы они рассказывали, как пили кровь. Но они были только люди, и все сразу поняли бы это. А с людьми ничего нельзя сделать. Люди им ни к чему.

АЛЕКСЕЙ (*встревоженно*). А кто же им нужен?

АНАСТАСИЯ. Не знаю. Может, звери. Может, боги. Но не мы, это точно. Теперь они это поняли, и спасения нам нет.

АЛЕКСЕЙ. Ты уверена?

АНАСТАСИЯ. Я уверена. Пусть приходят и делают что хотят. С нами у них ничего не получится.

АЛЕКСЕЙ (*с детской интонацией*). Слушай, а может 'быть, они в самом деле ушли? Все? Мы же не нуж-

ны им больше. Теперь нас можно просто отпустить.

АНАСТАСИЯ. Может быть, может быть.

Некоторое время сидят неподвижно, напоминая финальную мизансцену «Пер Гюнта» — старый Пер Гюнт на коленях перед старой Сольвейг. В полной тишине распахиваются дверцы шкафа, открываются портьеры, люди в форме начинают выходить из зала на сцену, окружают и скрывают их. Окружив, уводят со сцены. На сцене остается один из них.

ЧЕЛОВЕК В ФОРМЕ (*в зал*). Алексей Муромский и Анастасия Михайлова содержались в советских психиатрических лечебницах до июля 1941 года. 15 июля им была устроена очная ставка, протоколы которой уничтожены. Дальнейшая судьба Муромского и Михайловой неизвестна.

ХЬЮСТОН, ИЛИ НИКТО НИКОГО НЕ ЛЮБИТ

Драма в двух частях

Действующие лица:

М.
Ж.
М1.

ПРЕДУВЕДОМЛЕНИЕ

В интересах соблюдения тайны, которой окутано все происходящее, на афише и в программке должно быть указано очень много действующих лиц. Примерные варианты приводятся ниже.

Вариант 1, для театров, ориентированных на кассу:

ИЗАБЕЛЬ, богатая мексиканка.
ЛУИС МИХЕЛЬ АУРОБИНДО, ее любовник.
КАРЛОС АСТУРИАС, ее незаконный сын.
АНХЕЛИО КАСЕРРАС, его брат, потерявшийся в роддоме.
ХОСЕ ГАЭТАНО, начальник полиции.
ЛАСАРИО БАНДЕРАС, крестный отец городской мафии.
ИВАН АБРОСИМОВ, русский разведчик.
ИЗАУРА САУРА, прислуга.
ПЕДРО ГОМЕС, повар, вор и ее любовник.
ПРОСТЫЕ МЕКСИКАНЦЫ.

*Вариант 2, для театров, ориентированных
на какое-никакое искусство:*

МАРЬЯ ВАСИЛЬЕВНА АНДРЕЕВА, учительница.
АНДРЕЙ, ее старший сын, владелец фирмы «Андреев и компания».
БОРИС, ее младший сын, киллер.
МАРИНА, жена Андрея.
ВИОЛЕТТА, фотомодель, подруга Бориса.

ЭЖЕН БЛЮ, стилист.

МАКСИМ ГОЛУБЕВ, русский офицер.

ЧУДИН. м

ГОРОХОВ. е

СОБОЛЕВ. н

БУКИН. т

ШПЕЦ. ы

ГУЛЯЮЩИЕ, ДЕТИ, РАБОТНИКИ АНАТОМИЧЕСКОГО
ТЕАТРА, МИЛИЦИЯ, СПАСАТЕЛИ.

*Вариант 3, для эстетских театров и антрепризы
Олега Меньшикова:*

ЗИГФРИД.

МАНФРЕД.

КАСТОР.

ПОЛЛУКС.

ЕЛЕНА ПРЕКРАСНАЯ.

ТЮТЬКИН.

ПРОЧАЯ НЕЧИСТЬ.

На самом деле в спектакле участвуют всего три
человека — двое мужчин и женщина. Но об этом пока
знаем только мы с вами.

Часть первая

Кухня в просторном загородном особняке, столь знакомом нам по множеству американских фильмов, психологических триллеров по преимуществу. В таком особняке непременно должна жить американская либо европейская пара лет под тридцать, с годовым доходом тысяч по шестьдесят; оба преуспели по службе, и у каждого свой скелет в шкафу.

Прежде чем дойти до этого дома с его большими окнами, белыми стенами, каминами под старину и множеством новых дорогих вещей, незванный гость должен был пересечь большой рыжий парк с шуршащими листьями, с желто-зелеными березами. Стоит солнечный, резкий, синий день ранней осени, когда все так тревожно. Мы не видим, конечно, ни дома, ни парка, прилегающего к нему. Нам видна только удобная и просторная кухня и осенний полдень за окном.

Женщина лет тридцати (далее Ж.) готовит в СВЧ какое-то мясо, по вкусу своему и постановщика. Она ходит по кухне, смотрит в окно, пьет сок, закуривает, тут же выбрасывает сигарету, просматривает журнал — словом, проделывает все, что свойственно проделывать не слишком уравновешенным людям наедине с собой.

Бесшумно открывается дверь. На пороге — мужчина в светлом плаще и мягкой коричневой шляпе. Ему лет сорок пять, — может, и больше, но с виду он весьма моложав. Назовем его М.

М. Раздевайся.

Ж. Что?!

М. Я сказал, раздевайся.

Ж. Как ты... что это такое... как ты вошел? как ты на-
шел?!

М. А вообще да, давай мы не будем торопиться. Стоять!
(*Видит, как она тянется к телефону.*) Телефон сюда.
Быстро.

Ж. протягивает ему трубку.

Вот и славно. Дженни всегда слушалась старших.
Правда, когда она выросла большая, она с ужасом
поняла, что это не всегда хорошо.

Ж. Но как ты сюда попал? Где охрана?

М. Ты что, какая охрана? Откуда охрана?

Ж. А, да... Но все-таки! В конце концов, я сменила фами-
лию... у меня давно другая жизнь! Ничего больше
нет!

М (*ослабляясь*). О, конечно. Конечно. Я тебе вполне
верю. Но знаешь, думать ведь можно что угодно.
Ты думаешь, что у тебя давно другая жизнь, что
ничего не было, что меня тоже нет... и это, кстати,
в известном смысле верно. Но я есть, представь!
Можно даже думать, что у тебя по-прежнему есть
охрана. Что сейчас вернется наш муж, например.
Но действительность ничего не желает знать о на-
ших представлениях. Все было. И сейчас эта исто-
рия наконец обретет замечательный конец.

Ж. Фу, какая пошлость...

М (*радостно*). Именно, именно пошлость! У Дженни
всегда был такой хороший вкус! Она так любила
окружать свое рабочее место всякими милыми
безделушками, она так безупречно выбирала гал-
стуки, так мило делала своему боссу замечания на-
счет цвета его носков и носовых платков! Дженни
с рождения была наделена чувством стиля. Разби-
ралась в парфюме, читала книжки. И собствен-
ную свою книжку она написала без всякой помо-
щи профессиональных журналистов. Ее слог на-
зывали образцовым, в нем находили влияние

этого... этого, Господи... я так плохо знаю литературу, все некогда было подзаняться. И даже это скромное, я бы сказал, гнездо... обставлено с таким исключительным художественным тактом! Но сейчас в него грубо ворвется реальность. Можно даже сказать, уже ворвалась. Сейчас Дженни трахнут прямо на столе. Да. Как в дешевом плохом кино. Но сначала она, конечно, разденется. Под дулом пистолета. Это уже полный запретел. Однако прежде, чем это произойдет, хотелось бы произнести небольшой монолог о вреде хорошего вкуса. (*Заметив, что она тянется к сковородке.*) Руки по швам! Прежде чем ты успеешь ее швырнуть, я сделаю в тебе не одну, а целых три дырки. Пожалуйста, не надо думать, что я шучу. Намерения у меня самые серьезные. И учти, овладеть тобой в еще теплом виде мне будет только приятно. Количество нераскрытых преступлений в вашем городе меня вдохновляет, полиция совершенно мышей не ловит.

Да, так вот. Краткая лекция о вреде хорошего вкуса. У Боба был плохой вкус, его некогда и некому было формировать. Сын сенатора от штата... допустим...

Ж. Теннесси.

М. Да, хорошо, пусть будет Теннесси. Папа весь в политике, мама вся в хозяйстве. Как-никак пятидесятые годы, эмансипации еще никакой. Интересы мальчика с ранних лет поглощены карьерой. Он ничего не понимал в живописи, а литературой интересовался ровно настолько, насколько это было нужно, чтобы вставить цитату в устное выступление. Это потом на него стал трудиться штат помощников, а первое время он лично копался в справочнике «Тысяча изречений на все случаи жизни». Устные выступления вообще были слабостью нашего героя. Свою первую речь он произнес перед сверстниками шести лет от роду, требуя наказания для кошки, съевшей птичку.

Ж. Голубую сойку.

М. Нуда... Они устроили целое судилище. Удивительный народ эти дети политиканов! Наш герой прилично разбирался в юриспруденции, но никогда и ничего не понимал в прекрасном. Думаю, только эта сосредоточенность на своем деле в ущерб всему остальному и позволила ему в конечном итоге возглавить страну. Он питался бог весть как, занимался сексом редко и через силу, потому что женился на деньгах, а владелицей этих денег была отвратительная плоскогрудая кобыла по имени Барби, фригидная, как сорок тысяч братьев. Братьев-импотентов, я имею в виду. Изучим для сравнения биографию девочки с хорошим вкусом. Хороший вкус Дженни выражался прежде всего в том, что она умела обращать на себя внимание пожилых, еще кое на что способных, но не избалованных любовью мужчин. Один такой мужчина, леди и джентльмены, сейчас перед вами. И что же? *(Обращается в зал, не переставая, однако, время от времени отслеживать все движения зачарованно слушающей его Ж.)* Дженни, написав книжку о соблазнении президента, получила кое-какие деньги — да, господа, сумма не разглашается из соображений приватности, это ведь у нас о форме президентского члена можно писать что угодно, а о сумме гонораров ни-ни, — но после этой книжки, любезные слушатели, общественное мнение быстро к ней охладевает, скандал прекращается, и в конечном итоге нашего дурновкусного героя оставляют на посту, без всякого импичмента. И он продолжает вести страну к процветанию как ни в чем не бывало. Даже наложил вето на закон, запрещающий вторгаться в частную жизнь высших чиновников. Госдума в порядке подхалимажа утвердила, а он не одобрил. У нас прозрачность. Так что все закончилось ко благу Боба. Правда, он проиграл выборы. Проиграл с треском и позором. Нация решила, что ей нужен консерватор. *(С ненавистью.)* Нация ужасно любит порядок. Джордж Железная Рука.

Пятнадцать смертных казней за время губернаторства в штате Техас. Причем на роже, на красной плотоядной роже этого убийцы, сделавшего смертельную инъекцию трем женщинам, написано огромными буквами: я имел весь Техас и буду теперь иметь всю страну, и все бабы мои, и все это знают, но я такой простой парень! Я такой простой, я не буду вас мучить заумными речами, как Боб, и не попадусь за непристойными играми с секретаршей! Ты понимаешь, Дженни? Боба прокатили не за то, что он хватал свою Дженни за сиськи и кусал ее за уши. Боба прокатили за то, что он попался! В результате нация поставила себе идеалом того, кто делает все то же самое, но никогда не попадается!

О, конечно, наш Боб никогда так не смог бы ответить на вызов радикального ислама, как Джордж Железная Рука. Пришло время консерваторов, я правильно понимаю? Прозрачный мир у всех уже вот тут, Интернет облажался... Дайте нам старых ценностей и новых противостояний, мы их так хотим! Поразительно, до чего он оказался вовремя! Между прочим, ты знаешь, что мне на него приносили? Ууу, вся страна встала бы на уши. Вульгарнейшая, многолетняя связь с продавщицей мясного отдела, пальцы как сосиски, жуткая бабища, знаю таких, — он даже не особенно скрывался! Но вообрази, как бы это выглядело: Боб Симпсон разоблачает любовную связь Джорджа Харриса! И это в то время, как он в любой своей предвыборной речи называет меня не иначе как неудачливым ухажером Дженни Пински, потому что твоя книга «Я ушла первой!» появляется аккурат перед выборами, через два года после описываемых событий! И мир узнает из этой книги, что Дженни Пински никогда не любила Боба Симпсона. Что она лишь проверяла, таков ли в душе президент сверхдержавы, как и любой кобелек из ее прошлой жизни. И что даже тогда, тогда, ты помнишь... в наш первый, самый первый день,

когда ничего не было, ну почти ничего... ты помнишь, Дженни?

Ж (после паузы). Помню.

М (словно экзаменуя ее). Ну и где это было? А? Где это было?!

Ж (помолчав, со вздохом). В Хьюстоне.

М (неуверенно). И что я там делал?

Ж. Ты выступал... перед автовладельцами.

М. Точно, перед автовладельцами. Но потом, после выступления... ты помнишь?

Ж. Помню. (Улыбается.) Я принесла тебе статистику. Ты покраснел.

М (мрачно). От счастья. (Издавательски сюсюкает.) От счастья, Дженни! А что было потом?

Ж. А сам ты не помнишь?

М. Отчего же, отлично помню! Ты так описала это в своей книге, что я никогда теперь не забуду! Ты так ярко изобразила свое отвращение при виде раскрасневшегося самца, ты даже отвернулась, когда он полез к тебе со слюнявыми поцелуями! Так, Дженни? Мне казалось, ты отворачиваешься от смущения... ты так улыбалась... а ты, оказывается, из брезгливости, да? И улыбалась от шока, просто от шока? Это было... это было, может быть, единственное мое воспоминание за всю жизнь... за всю... (Встряхивает головой.) Полный триумф, да, Дженни? Сколько они тебе заплатили, эти... эти...

Ж. Саймон и Шустер.

М. Да, да, сколько тебе заплатили эти два лысых ублюдка? Миллион, два, три? Но они не учли главного, Дженни: в стране победили консервативные ценности! Из тебя не получилось даже полновесного символа женского равноправия. Ты так и осталась в их глазах шлюхой, поставившей рискованный эксперимент на боссе. У нас ведь нация консерваторов, Дженни. Этого ты и не учла. Они забыли тебя через полгода, а женское движение возглавляет моя жена, плоскогрудая кобыла Барби... быв-

шая жена, слава Богу. Кстати, не сказать, чтобы она пользовалась в этом качестве большим успехом. Движение ее захлебывается очень быстро, потому что куда большую славу набирает Мэри Стаффорд, простая, как три копейки, толстая мать пятерых детей, абсолютная королева, олицетворение покорной и доброй самки! Глобализация кончилась, пошел возврат, в моде семейные ценности, голубых поперли из армии! И Боб Симпсон, сделавшись символом либеральной оппозиции, читает свои занудные лекции с огромным успехом под овации мыслящей части страны, а в остальное время тихо себе живет в роскошном особняке в родном этом, как его, мать твою, Теннесси, — тогда как Дженнифер Пински, автор единственного бестселлера, терпит катастрофический крах и становится национальным позором. Вот так, господа присяжные заседатели! И в конце концов ей ничего не остается, как выйти замуж за скучнейшего ортодоксального еврея и спрятаться от глаз людских в далекой Европе. Но, слава Богу, шеф моей охраны остался моим другом. Просто другом. Отслеживает всех, кого надо. И вот я здесь.
(Кланяется.)

Ж. Тогда что ты тут делаешь, если так счастлив? И для чего вообще весь этот цирк?

М. Но Боба мучила одно: он никогда не видел свою Дженни голой! А без этого какое же обладание? Я же говорю: он был донельзя старомоден, представления о любви у него самые пещерные. Сексуальная революция прошла мимо. Когда его сверстники громили кампусы и любили на газонах, он читал этого... ну кого он читал?

Ж. Хейзингу.

М. Ты думаешь? Ладно, пускай Хейзингу... Политическая философия, все дела. Ну и вот. Случайные связи не в счет. Надо блюсти карьеру. И представляешь, на высшем посту, когда уже нечего больше желать, он позволил себе расслабиться. Встретил девушку,

полумесяцем бровь. На попке родинка, в глазах любовь. Представления о минете, сама понимаешь, у героя самые приблизительные.

Ж. Что да, то да.

М. А ты не перебивай! Меня вся страна слушала и не перебивала. Бывало, выхожу на Красную площадь, что на Капитолийском холме, поздравляю оттуда народ с наступающим Новым годом – прилипали к телевизорам, как эти... эти... вот что значит нету помощников! Ну, как евреи к лону Авраамову! (*Хохочет.*) Нет, нет. Все сворачивает на одно. Получается, что евреи сосали у Авраама!

Ж. Прекрати богохульствовать!

М. А, да, пардон. Я все забываю, что это вера отцов. Настолько неприлично стало еврея назвать евреем, что иногда кажется, будто такой национальности нет вообще. Русский есть, немец есть, а еврея не бывает. Так вот, встречает наш президент такую девушку и забывает обо всем на свете. Но девушка не позволяет ему ничего лишнего, нет! То ли она искренне надеется, что он бросит свою плоскую дуру, то ли хочет его как следует разжечь, но дело никак, понимаете ли, никак не доходит до логического конца! Мы беседуем об искусстве, мы делаем загадочные глазки, наша грудь вздымается, как некое цунами! Мы разрешаем себя потрогать практически везде, мы вертим всем, что вертится, мы хватаем нашего друга за нашего друга (помнишь, мы ведь именно так его называли, Дженни!) – но главного так и не происходит! И когда корреспондент Daily Shit Александр Кронштейн публикует наконец свою первую разоблачительную заметку о том, что президент склоняет к сожительству Дженнифер Пински, и наш герой оказывается в центре крупнейшего сексуального скандала за всю американскую историю... да и русскую тоже... когда вся Америка распевает «Моника-Моника, поиграем в слоника», – все это время героя по большому счету гложет только одно: он же не кон-

чил! Не кончил, ядер батон! Всех доказательств у Дженни Пински — пара записок да платье, на которое один раз что-то такое брызнуло. Но это же не называется полноценным оргазмом, господа! Это что-то щелкающее, клацающее, что-то подростковое... в машине, после выпускного бала... Столько тискать — и ни разу по-нормальному не вставить, нет, как вам это нравится! И потом, когда он давно на покое, когда его оставила наконец его кобыла... оказавшаяся давней и куда более скрытной любовницей Кеннета Суперстара! Того самого прокурора, что так усердно валил нашего героя! Нет, ты представляешь, а?

Ж. Что, серьезно? Я думала, вы разошлись именно из-за... *(Впервые за все время улыбается.)*

М. Да ну, что за центропулизм! Свет не клином! Вообрази, я узнал об этом на следующий день после того, как проиграл выборы. Тут-то Барби мне и лягнула, в лучших традициях. Как это — «Уж если ты разлюбишь, так теперь!»

Ж. Я никогда не сомневалась, что из всего Шекспира ты знаешь именно эту вещь.

М. Почему, я знаю еще «Быть или не быть», знаю «Дуй, ветер, дуй, пока не лопнет»... Что там у него должно лопнуть? *(По-детски радостно хохочет.)* И представь, — я сижу в отчаянии, в апатии, делать ничего не могу, жалюзи опущены, голова раскалывается, — и в порядке утешения она мне выдает свою коронку: «Боб, так и так, я никогда не любила тебя, но не стала бы подставлять ножку в твоей борьбе. В конце концов я тоже политик, я все понимаю», — слышь, Дженни, она мне говорит, что она тоже политик. Президент школьного клуба Фи Бета Каппа и патрон всеамериканской организации рукодельниц «Вышей сам». *(Проводит рукой по лицу, продолжает после паузы медленно и серьезно.)* Тьфу, черт. Я все еще говорю с тобой, как будто ты моя единомышленница. Ты чудесно слушаешь, Дженни, ты всегда чудесно слушала. Я забыл, что

ты тоже никогда меня не любила. То есть там так написано. И я, наверное, не должен с тобой плохо говорить о ней. В этой истории она все-таки вела себя порядочнее, чем я, — о тебе уж и не говорю. Мне так нравилось говорить о ней всякое... тебе... за ее спиной. Эта была месть за двадцать лет чудовищно скучной жизни. Иногда мне бывало ее жалко, но тут я хорошо получил по носу. Ты понимаешь, я вдруг допер наконец, что нельзя никого жалеть! Вообще никого! Мы жалеем, снисходим, а тут бац! — и объект нашей жалости как врежет нам под дых, и жалеть надо уже нас. Я ведь и тебя жалел, веришь, нет?

Ж (*спокойно*). Верю. Ты всегда был очень жалостлив. Сейчас — особенно.

М. Да, да... трахаю и плачу... Да, так вот она мне и говорит: «Я тоже политик, и я никогда не подставила бы тебе ножку во время выборов. Но теперь, когда ты проиграл, мне бояться нечего. Мы с Кеном давно любим друг друга». Нет, прикинь, да? Приколись, баклан! Барби и Кен, да? Правда, к чести его, он ничего не рассказал о моей подноготной. Даже если знал. Все, что она говорила ему, — если действительно говорила, — осталось его тайной. Он вел себя как порядочный человек. Но подумай, каковы были его мотивы! Выходит, он меня топил... чтобы у нее были основания красиво развестись со мной! И чтобы они поженились, и весело укатили на свое ранчо, штат Атланта! Каков Кирджали? Дженни, я поседел за одну ночь.

Ж. Ты седел с тридцатилетнего возраста.

М. Ну да, но могу я себе позволить мелодраматическое преувеличение, черт возьми?! Мало ли их в твоей книге? Несмотря на весь хороший вкус? А твое разочарование в мужской природе, а то, как ты перечитывала Эсхила, чтобы набраться решимости?! Конечно, ни фи́га я не поседел, конечно, я пошел и страшно надрался, но надрался весело. Теперь я мог себе это позволить. И знаешь, я чув-

ствовал, что нация, переизбравшая меня, втайне мне же и сострадает. В чем, в чем, а в ее психологии я разбираюсь получше многих. Они посадили себе на голову такого, что начали жалеть обо мне практически сразу. Я понял это, когда прислуга в моем собственном особняке, кухарка, которая приносила мне все новые и новые порции джина, подмигнула мне и сказала: вы сделали все, что могли, господин президент, и такие, как я, не забудут этого никогда! В конце концов, сказала она, то, что мой Билли не вылезает из Интернета, — это ваша заслуга, и спасибо вам за моего мальчика! Конец цитаты. Я нализался, я выгнал Барбару, дав ей наконец отменного пинка под зад, давно желанного пинка — ты не веришь? Ты не веришь даже, что я спущу курок в случае чего, а очень напрасно, Дженнифер, очень напрасно! *(Становится суров.)* По-моему, я тебе все рассказал. Если кто-то думает... *(С угрозой смотрит в зал.)* Если кто-то думает, что самое интересное произойдет под занавес, — этот кто-то совершенно не понимает законов современной драматургии. Все будет сейчас. Раздевайся, Дженни.

Ж. А... а с кем ты сейчас?

М. Я скажу тебе потом, если тебе все еще будет интересно. А вообще мне надоело, и публике, наверное, тоже. Сеанс стриптиза душевного плавно переходит в сеанс стриптиза телесного. Живо. *(Достаёт пистолет, вполне настоящий, и передергивает затвор.)*

Ж *(высокомерно)*. Ты не сделаешь этого, Боб.

М *(спокойно, но за этим спокойствием чувствуется основательная, даже веселая решимость)*. Я сделаю это, Дженни. И чтобы ты убедилась, что я не промахнусь, — а я ведь тренировался, Дженни, я готовился! — доказательство первое. *(Стреляет в изящный светильник, разбивает его вдребезги.)* Я обо всем позаботился, Дженни. Алиби. Тысяча приятных мелочей, даже не проходящих тебе в голову. В об-

щем, на этот раз я кончу, все кончу. Ты думаешь, это для меня чисто ритуальный акт? Но я-то не еврей, Дженни, моя вера не так ритуализована! Я просто привык все доводить до конца. Мне кажется, что полоса неудач в моей жизни кончится только тогда, когда в ней кончишься ты. А покончить с тобой, извини, пожалуйста, можно только одним способом. Серьезно. Раздевайся, Дженни. В каком это было фильме? — я водил на него дочь, когда ей было двенадцать. «Последний киногерой», точно. Со Шварцем. Помню, я еще думал: что за вкус у моей девочки? Теперь, когда моя девочка полгода проводит в психиатрической клинике, а другую половину сидит дома, забившись в самый темный угол и трясясь от непонятного ужаса... нет, я не думаю, что виновата ты, Дженни. И Барбара тоже не виновата. Кому суждено рехнуться, тот рехнется. И все-таки я думаю: лучше бы она любила Шварца. Лучше бы она выросла простым и добрым ребенком, каких много. Дурой вроде тебя. Ты же дура, Дженни. Ты и вправду думала, что все это тебе так и сойдет.

Так вот: в этом «Последнем герое» мальчик говорит замечательную вещь. Сейчас вспомню. Он говорит: «Ты делаешь вечную ошибку всех отрицательных героев: ты слишком много говоришь перед тем, как выстрелить».

Ж. Ты злоупотребляешь цитатами, Билл.

М. Боб меня зовут, Боб! Ты хоть это могла бы помнить, черт тебя возьми совсем!

Ж. Ну Боб, Билл, вечно эти условности! В конце концов, какая разница, как тебя зовут! Ты такой же, как все, как тысячи, как сотни тысяч, понимаешь? Это-то меня и оскорбило больше всего! И точно так же ты все время цитируешь. Твоя настольная книга — это «Тысяча изречений на все случаи жизни», потому что своих мыслей у тебя нет! Ты пустой внутри, понимаешь? Я всю жизнь проверяю людей, я делаю это даже не по собственной воле —

такой меня сделал Бог, или мать, или я не знаю кто. Я такой ходячий лакмус, понимаешь? Меня не все выдерживают, меня почти никто не выдерживает. Потому что я все-таки не из вашего теста, я вся поперек, поэтому вы все и ломаетесь, натолкнувшись на меня. Вы ведь так устроены — вы, благопристойные люди с благопристойными женами, с набором цитат, с обязательными этими вашими этими... вашими этими... этими вашими барбекю, на которых вы решаете свои карьеры! С этими напитками на доньшках одинаковых стаканов, одинаковых, одинаковых — что в Белом доме, что в Кремле, что в Барвихе, что у нас в моем родном штате этот, как его, Висконсин! Вы все абсолютно одинаковые мещане, классические буржуа, яппи, средний класс — от председателя школьного клуба и до президента, и у всех у вас страшная пустота внутри! В надежде ее заполнить вы все время жрете, жрете, жрете, вы хватаете и подминаете под себя все, что видите. И когда вам случается вещь, или событие, или человек, который выше вашего понимания, — вы ломаетесь тут же, вылезает вся ваша гниль! Вы начинаете лгать нации, вертеться, как ужи на сковороде, мелко юлить, просить прощения — в вас же нет ничего прочного, ничего мало-мальски надежного! Но при этом вы никак не можете примириться с тем, что эта непонятная вещь вам не принадлежит. Хватать, хватать! Жрать, совокупляться, так или иначе употреблять — вот единственная доступная вам форма общения. «Разговоры об искусстве, разговоры об искусстве»... Более уничижительной формулировки в твоём лексиконе нет! Что для меня жизнь, что для меня единственное ее содержание — то для вас прелюдия, затянувшаяся прелюдия к самому главному! К тому, чтобы... какие там у вас есть для этого глаголы? И все это, конечно, совмещать с женой, с плоской добропорядочной кобылой, которую ты сам же и презираешь, не догадываясь о том,

что и она ненавидит тебя! Как тебя можно не ненавидеть, ты, собрание цитат с оправданиями на все случаи жизни!

М (*абсолютно спокойно*). Ну ладно, Дженни! Пока ты говорила, я насчитал уже штук пять цитат! У тебя просто несколько больший опыт по их маскировке. Из Уильямса, из Берроуза, из Радзинского две штуки... мелькнул Сорокин... Я тут тоже зря времени не терял, если хочешь знать. Что мне было делать в последние пять лет? Я читал, Дженни, много читал! Кстати, задним числом обнаружил множество цитат в том, что ты мне тогда говорила. На меня это действовало неотразимо, но ты пойми, Дженни, — я понимал в литературе гораздо меньше, чем в минете. В минете я по крайней мере понимал, что к чему относится, то есть... ну, что с чем соединяется. А в литературе я и этого не понимал, так что даже твоя первая фраза, так меня умилившая, — насчет того, что единственный способ противостоять соблазну — это поскорее поддаться ему... Это же тоже краденое, Дженни! Кто это сказал... Пелевин, кажется... что цитировать — это хуже, чем в драке звать на помощь старшего брата, что вся современная литература — это человек, который просто ходит по арене с портретами великих канатоходцев! Все цитируют, Женя, все, и никто никого не любит! Но вообще ты молодец. Если угодно, даже появилось какое-то подобие конфликта. Оказывается, у нее есть своя правда. Даже мотив социального протеста, если угодно. Против пошлой респектабельности, да... Эстетам вроде тебя все и всегда кажется пошлой респектабельностью. Простые вещи и простые чувства для них всегда слишком заурядны. Отец любит дочь — пошлость. Муж любит жену — пошлость. Самая большая пошлость — это ходить в магазин, говорить о бейсболе, отдавать ребенка в школу... да ведь, Дженни? То есть накуриться марихуаны и плевать всю жизнь в по-

толок — это не пошлость, конечно. Отрастить сальные космы и путешествовать автостопом — это высокая свобода. Спать с кем попало — опять же высокая свобода...

Ж. Я бесконечно счастлива слышать подобную критику промискуитета от такого поборника семейных ценностей, как Боб Симпсон. Я также счастлива слышать из его уст филиппики в адрес молодежного нонконформизма. В своей известной арканзасской речи, которую я имела честь готовить ему лично под руководством его пресс-секретаря и счастливого соперника Кена Уистлера, он утверждал ровно противоположное. Впрочем, тогда он нуждался в поддержке молодежи. Цитирую дословно — думаю, эта цитата не будет поставлена мне в упрек: «Вы, именно вы, не желающие жить скучной и рутинной жизнью, отказывающиеся от наследия отцов, жаждущие новых, неформальных и духовных отношений, — станете в будущем стеновым хребтом нации! Будущее Америки в ваших руках! Это вам суждено построить новую Россию, свободную от пошлых предрассудков! Я сам, между прочим, в юности поигрывал на гитаре!» (Взал.) Приносит из кустов гитару, берет три блатных аккорда, наигрывает начало «Йестедей». Бурная овация, все встают.

М. Да! Да, черт возьми! Ты всегда все умела обернуть в свою пользу! Ну, тогда еще в мою: за то и держали... Но как тебе, дура, было не понять, что где у тебя проба, проверка, поиск новых ощущений, сексуальная провокация — там может быть любовь, ты понимаешь, любовь! (Стреляет во второй светильник.)

Ж. Слушай... (Вдруг зафрокидывается и хохочет во весь голос.) Слушай... у тебя всегда так бурно происходит любовь? Может быть, это наше общее счастье, что ты толком так ни разу и не кончил? Потому что если у тебя во время прелюдии уже успели раз-

разиться два выстрела плюс скандал на весь мир, то что же будет на пике?!

М (*взбешенный*). А вот это мы сейчас и увидим! Раздавайся!

Ж (*продолжая хохотать*). Только осторожнее, Боб! Не истратить весь свой заряд, а то ведь, насколько я знаю, там только шесть патронов... Двух уже нет, а ведь я только начала анализировать тип идеального политика! Я боюсь, все кончится, так и не начавшись. Годы берут свое, Бобби! Вон еще лампочка горит...

М. выстрелом разбивает стеклянную дверь буфета прямо над ее головой. Сыплются осколки.

М. Там не шесть патронов, Дженни. Там восемь. Ты всегда недооценивала стариков.

Долгая пауза. Пристально взглядевшись в его лицо

и очень хорошо поняв, что дело нештучное,

Ж. медленно расстегивает блузку. Впрочем, не исключено, что такой оборот событий даже интересует ее.

Подожди! Без музыки – это совсем не то! Сейчас будет музыка. (*Перебирает CD на комод.*) О! Что я вижу! Сестры Бэрри. И думать не думал попасть в такую ортодоксальную среду. Впрочем, это очень по-вашему, по-еврейски: вы ненавидите все чужие предрассудки, но свято блюдете собственные. Чужую родину можно и нужно высмеивать: ведь мы космополиты! А вашу трогать не смей. Чужую нацию можно и нужно разрушать: ведь мы интернационалисты! А наша священна, мы и браки заключаем только со своими. Знаешь, Дженни, ты много сделала, чтобы мои взгляды претерпели эволюцию подобного рода. Слышал бы это старик Либерман! Либерман, где ты? Ау, Либерман! Внимание, сейчас у нас последует небольшой комнатный холокост. «Ночной портье-2». Неужели тебя это не возбуждает? Сейчас, сейчас... (*Ставит диск в проигрыватель, оттуда доносится «Тум, бала-лайка».*) Три-четыре, поехали!

Под звуки «Тум, балалайки» в исполнении сестер Бэрри (впрочем, автор не возражал бы против любого другого исполнения с русским текстом) начинается захватывающий стриптиз — захватывающий настолько, чтобы М., только что горячо ненавидевший героиню, решительно проникся если не любовью, то по крайней мере сильным желанием. Все это время он не сводит с нее ни глаз, ни пистолета. Песня не успевает закончиться, как М., заблаговременно положив пистолет в холодильник (туда ей никак не дотянуться), валит Ж. на кушетку, стоящую слева от стола. Прочее автор оставляет на усмотрение постановщика, но полагает, что затемнение было бы непозволительной пошлостью. Гораздо уместнее будет простой и натуралистичный любовный акт, с сопением, рычанием, постаныванием и прочими естественными звуками; насколько далеко зайдет дело у артистов — вопрос их личного выбора. Сестры Бэрри под это дело могут еще что-нибудь спеть.

После того как все закончится, герои некоторое время помолчат. Как ни странно, М. чувствует себя в очередной раз проигравшим, Ж., напротив, — стопроцентная, уверенная победительница. Он встает и начинает приводить свою одежду в порядок. Достает из холодильника пистолет, прячет. Она лежит неподвижно.

- Ж. Ляг, отдохни. Мужчина, который кончил, должен хотеть спать.
- М (*все еще задыхаясь*). Мужчина, который кончил, много чего должен... как мы знаем...
- Ж (*с ленивой усмешкой*). Послушай, а у тебя теперь получается только с пистолетом, да? Только когда ты представляешь себя нацистом, а партнершу — жертвой холокоста? И всегда под музыку? Наверное, тебе больше подошел бы «Хорст Вессель», но «Хорста Весселя» я не держу.
- М. Теперь ты скажешь, — это у вас любимый аргумент, — что в антисемиты всегда подаются неудачники.
- Ж. Почему? Вовсе не скажу... Вообще... (*Приподнимается с ленивой грацией, смотрит на него, не думая одеваться.*)
...вообще я тебе скажу, что это большая твоя ошиб-

ка — обороняться еще до нападения. Политика, вероятно, выработала такой инстинкт, да? Ах ты мой бедненький... Ну какой же ты неудачник? Ты так завелся, у тебя был такой победительный вид... когда треснула дверца этого буфета, кстати, давно мне надоевшего. Все не соберусь сменить. И потом... все так хорошо получилось. *(Потягивается.)* Может быть, именно чего-то подобного я от тебя все время и ждала, Роберт Симпсон. Если угодно, даже провоцировала. И пять лет спустя мои усилия увенчались триумфом.

М. Да, ты всегда будешь права. И всегда будешь на коне.

Ж. На коне я еще не была. Может, попробуем?

М. Благодарю, с меня хватит.

Ж. Тебе что, не понравилось? Ах ты несчастненький. Пять лет мечтал, а тут обычная тридцатилетняя тетка. И еще в кухне, на кушетке.

М. Почему же, все шло по плану.

Ж. И это все, о чем ты мечтал пять лет? Ну полно, Бобби, я не верю, что ты так мелок. Давай поиграем еще во что-нибудь. А? Неужели ты вот так сразу и уйдешь? Ну хочешь, я поприседаю под музыку? Хочешь, спляшу на столе? Могу минет... разумеется, когда ты опять придешь в боеготовность. Ты знаешь, я даже вошла во вкус. У мужа все замечательно обстоит с фантазией, но ты же понимаешь, еврейская тема в наших отношениях не звучит. Мы же в некотором смысле оба... У меня еще не было подобного опыта. В жизни все надо испытать, нет? Оказывается, быть жертвой насильника не так уж плохо... особенно для женщины, которая уже несколько пресыщена, но все еще хорошо выглядит. Конечно, у них бы никогда ничего не получалось, если бы нам самим это не нравилось.

М. Имея в виду мужчин?

Ж. Имея в виду антисемитов.

М. Рад, что доставил тебе удовольствие.

Ж. Слушай, что ты дуешься? Лучшее средство обороны — нападение, не так ли? По идее, обижаться

должна я. Может быть, тебе для полного удовлетворения надо еще пострелять? *(Смеется.)* Ну давай... можно в меня... в конце концов, если мне понравилось быть жертвой, может, понравится и этот последний опыт...

М. Да нет, Дженни. Достаточно. Но знаешь... сразу уходить я действительно не собираюсь. Мне хотелось еще кое-что сказать тебе напоследок.

Ж. Почему напоследок, Бобби? Ты ведешь себя как заправский еврей. Я бы даже сказала — как сионист. Как Гусинский и Березовский вместе, Бобби. Ты прощаешься и не уходишь.

М. Нет, Дженни. На этот раз ухожу. Теперь между нами все кончено. *(Невольно смеется.)*

Ж *(тоже хохоча)*. То есть кончили оба.

М. Ну да. И как раз между нами, то есть в прямом контакте. Без всей этой патологии... с сигарами, с платьем... *(Внезапно серьезнеет, и тут мы видим, что это действительно не очень молодой и очень умный мужчина, когда-то руливший большой страной.)* Но вот что я хочу тебе сказать, Дженни. Я сделал с тобой все, что хотел, Дженни. Но я никогда не любил тебя, Дженни.

Ж *(уязвлена, но все еще сохраняет ленивый и иронический вид)*. По-моему, это прямой плагиат.

М. Ну конечно. Только это не я краду у тебя, а ты в своей книге все украла у меня. Я не такой дурак, Дженни. И я очень хорошо видел, как ты смотрела мне в рот. Все эти разговоры про девушку, которая испытывает мужчин, проверяет президента... коллекционирует впечатления... все это сказки для идиотов, Дженни. Борис Акунин. Даша Асламова, даже сказал бы я.

Ж. Ты много успел прочитать...

М. Да, я быстро читаю, особенно всякую дрянь... Но твою книгу, Дженни, я читал внимательно. Я отлично видел, как и где ты врешь. Ты врешь осторожно, грамотно и с полной видимостью честности. Ты начинаешь с полуправды, с крошечных

штришков, а кончаешь тем, что подменяешь все и всему сама веришь. Ты и впрямь почти поверила, что никогда не любила меня. Но я очень хорошо помню тот вечер в Хьюстоне. Помню этот полусвет, помню твои глаза... Знаешь, от чего я тогда покраснел?

Ж. Ну естественно, от смущения. Тебя же соблазняли... практически в открытую... Как не покраснеть?

М. Да ладно тебе! Что за игрушки, в конце концов... Покраснел я, дитя мое, от того, что за две минуты до тебя от меня выбежала Сисси Джеймс.

Ж (*упавшим голосом*). То есть ты хочешь сказать... Ты хочешь сказать, что это все правда? Про Сисси?

М (*с досадой*). Господи, ну конечно. Мы же вместе учились в Гарварде, так что еще с тех пор... Потом она переехала в Хьюстон, и я использовал всякий предлог, чтобы там оказаться. Не то чтобы уж ахти какая любовь, но так себе... ностальгическая привязанность. Поговаривали, конечно, но так, — с твоим скандалом не сравнить. Она прибежала ко мне после этого выступления... дурацкого, никому не нужного выступления перед автовладельцами. Прибежала смеющаяся и цветущая: ей ведь теперь так мало было надо — крошечный знак внимания, открытка, или чтобы я рукой помахал с трибуны персонально ей... И сказала: Боб, я так счастлива, ведь это же не измена, правда? То, что у меня есть Майкл, то, что у тебя есть Барбара, — это же не мешает нам быть иногда счастливыми, ладно? Я приду вечером... И убежала, все еще молодая в сорок лет, красивая, пахнущая свежестью, — есть, ты знаешь, такой тип женщин, заряженных страшной витальной силой. И тут входишь ты, Дженни, полуувядшая в двадцать три года, томимая бесплодными мечтаниями... И тогда я сказал себе: как ты смеешь мечтать о том, чтобы сделать счастливой свою страну, если не можешь сделать счастливой одну эту девочку? Эту маленькую девочку, которая прочла три с половиной книжки и думает, что она знает все про всех? Сделай ее

счастливой, подари ей одну незабываемую минуту. Поцелуй ее, и она не забудет этого никогда. Что тебе стоит взять у нее подарок — этот смешной и нелепый галстук, который она подложила тебе на стол в день Благодарения? Что с того, что потом ты наденешь этот галстук на саммит большой семерки, и все тебя засмеют? Что с того? — ведь ей и всей ее огромной, крикливой, честолюбивой родне, которая в лепешку расшиблась, чтобы дать девочке образование, это будет бесконечно приятно! Ведь, может быть, весь огонь своего очага, все пламя своей жалкой, неистребимой, жадной жизни они пронесли сквозь холод и ужас мира только для того, чтобы ты сейчас поцеловал эту девочку. На эту девочку мало кто обратит внимание, у нее масса комплексов, экстравагантные манеры, заурядная внешность, дикий вкус, большая задница, но эта девочка любит тебя, тратится на бог весть какие духи, а я знаю, сколько у нее родни и сколько платят рядовому спичрайтеру... Сделай это, и она не забудет тебя. Если ты не можешь сделать такой ерунды для одной девочки, Боб Симпсон, что ты можешь сделать для двухсот миллионов человек? И я подошел к тебе, Дженни, и взял тебя за плечи, и, стараясь не замечать твоих душных и ужасных духов «Опиум», поцеловал тебя в жирно покрашенный рот. Понимаешь? В жирно покрашенный рот. И ты все пыталась отвернуться, но потом задрожала в моих руках, и закрыла глаза, и застонала совершенно по-блядски, как стонут в самых ширпотребных фильмах. В таких ширпотребных фильмах, в которые еще вставляют пару расхожих цитат, чтобы выдать их за кино для умных.

Ж (*презрительно*). И наш общий друг немедленно встал по стойке смирно — вероятно, от сострадания к несчастному американскому народу, который ты так снисходительно осчастливил...

М. Я нормальный мужчина, Дженни. Я не из племени твоих ровесников, привыкших к относительно

сти всех истин. Я вырос в Теннесси, Дженни, в консервативной семье. Я не успел пресытиться сексом и отравиться наркотиками. И когда в моих объятиях оказывается молодая, полная желаний девушка, пусть даже безвкусно накрашенная и душно надушенная, — у меня встает, Дженни. Все-таки у тебя неплохие природные данные — даже несмотря на все, что ты делала с собой. Вот почему сейчас ты выглядишь даже лучше.

Ж (*задаяя всерьез и уже не скрывающая этого*). И ты ловил и притискивал меня во всех коридорах Белого дома, чтобы только...

М. Чтобы только, Дженни. Не надо забывать, что на меня работали хорошие осведомители. Однажды мне принесли копию твоего письма, Дженни. Твоего электронного письма. Ты не знаешь, что вся почта сотрудников Белого дома, даже приватная, даже секретная, — просматривается службой личной президентской охраны.

Ж. Коржаковской?

М. Ну да, его за это и поперли... когда все вскрылось... Словом, я прочел твое письмо к Хелен Агнес. Помнишь эту смешную венгерку, твою наперсницу? Интересно, где она сейчас?

Ж. На редкость скучная набитая дура. Полагаю, где-нибудь в Пентагоне.

М. Ну да, в Пентагоне умных и не надо... Так вот, ангел мой, — ты писала, что полюбила одного человека. Одного большого-большого человека, который больше своей должности, больше своих доходов, больше всех в мире. Но тебе кажется, что он ласкает тебя через силу и снисходит до тебя чуть ли не с отвращением, а потому ты все чаще думаешь о самоубийстве и рано или поздно сделаешь то же, что и твой отец... Что сделал твой отец, Дженни?

Ж (*словно в трансе*). Нет!

М (*властно*). Что сделал твой отец, Дженни?

Ж. Мой отец... вышиб себе мозги...

М. Правильно, Дженни. Он вышиб — себе — мозги. Оставив твою мать с тобой и братом на руках. И я знал об этом, потому что затребовал полное досье на тебя сразу после того, как ты подарила мне галстук.

Ж (*злобно*). О! Теперь я понимаю, почему Израиль чуть не подрался с Ливаном, а русские профукали всю американскую помощь! Потому что президент крупнейшей державы мира вместо того, чтобы заниматься делом, читал досье на спичрайтершу, подарившую ему галстук!

М (*совершенно спокоен*). Если бы ты научилась что-нибудь понимать, — а в Белом доме у тебя было время чему-нибудь научиться, — ты поняла бы, бедная девочка, что все зависит именно от галстуков, досье на спичрайтеров и прочих приятных мелочей.

Ж. То есть Бараку просто не нравится цвет глаз Арафата?

М. И запах его духов.

Оба хохочут.

Ж (*серьезно*). Да. Забавно. Значит, никогда, ни одной минуты?

М. Никогда, ни одной минуты, Дженни. Я любил сначала Сисси, а потом Барбару. Я и до сих пор люблю Барбару. С ней всегда было о чем поговорить, и она так старалась помочь мне во всем... Она ни о чем не догадывалась, да и не о чем было догадываться. Я ведь все это время продолжал спать с ней, как всегда, — ты знаешь, никаких африканских страстей, но надежная, прочная, доверчивая близость. Вот почему для нее таким шоком была вся эта история... Но ушла она действительно не из-за нее, не думай. Оказывается, ей в самом деле давно нравился Кен. Вот это меня и сломало. Понимаешь, я жалел тебя — и ты написала обо мне грязную, гнусную и высокомерную книгу. Я жалел ее — а она терпела меня из последних сил. Я жалел страну и старался помочь ей, чем мог, — все эти люди казались мне такими беспомощными, все эти почти беспозвоночные, размякшие, как жертва страшного опыта, всю жизнь просидевшая

в масле... Ткни — насквозь! И эта размякшая страна с такой железной решимостью вытолкала меня вон, эта страна хохотала над мерзкими публикациями в Daily Shit, эта страна назвала их автора, двадцатипятилетнего Кронштейна, человеком года — за то, что он вывел президента на чистую воду, выведав у его пассии, своей бывшей одноклассницы, всю жалкую правду об их жалких отношениях! Согласись, Дженни, что за такие разочарования я мог бы воспользоваться самой скромной компенсацией. Конечно, я не выстрелю в тебя. Конечно, я не могу выстрелить в человека. И конечно, ты дала мне не потому, что испугалась моего пистолета. Я сделал, что хотел: соблазнил тебя и пнул ногой. Будь здорова, Дженни. Оставляю тебя на попечение мужа — пусть утешит, как сможет. Тебе ведь теперь понадобится утешение.

ГОЛОС ИЗ-ЗА ДВЕРЕЙ. Обязательно утешит.

Ж (*все еще голая*). Так. Те же и муж.

М1 (*входя*). Совершенно верно. Те же и муж. Александр Кронштейн собственной персоной. Антракт.

Часть вторая

Декорация прежняя. Ж., уже в халате, сидит на кушетке и кругообразно массирует свои виски кончиками пальцев. М. невозмутимо пьет виски. М1 откровенно веселится над всей этой ситуацией, сидя посреди кухни на табуретке. Он смазлив, невысок, полноват, курчавая голова, блудливая улыбка на гладком лице. В нем чувствуется ум, хитрость, иногда, быть может, и сентиментальность, — но масштаба личности, хоть убей, не чувствуется. Если уж кто родился журналистом, с этим ничего не поделаешь.

М. Значит, так, ребята. Я все-таки ваш президент, хотя и бывший, и потому ответьте мне на один вопрос. Только на один. Мне это важно знать для дальнейшего. У вас, по сценарию, это появление подстроено — или он случайно вернулся раньше времени?

Ж (к М1). Саш, ты как думаешь?

М1. Нет, ну конечно, случайно. Раньше вернулся из города, управился с делами. Там в машине пакетов полно, я пожрать купил. Скромное семейное торжество на двоих. Мы вас совершенно не ждали. Но там на троих хватит. Тоже придумали — подстроено... Вы еще скажете теперь, что мы вас сюда нарочно заманили... Впрочем, мы теперь ведь можем быть на ты.

М. К чему нам быть на ты?

М1. Ну как же. Все-таки молочные братья.

М (*после паузы*). Так. И давно ты здесь?

М1. Все пять лет. Мы же с ней уехали. Вместе.

М. Я не про то. Ты давно... здесь? За дверью?

М1. Только что вошел. Делать мне нечего, как вас тут караулить. Нет, честно. Исходим из того, что я только что вернулся.

М. Да... классно придумано.

М1 (*с журналистской суетливостью*). Что придумано, ничего не придумано, вообще не понимаю, что такое. Сам ворвался, трахнул и еще в претензии. Стоит тут ворчит. Спасибо мне должен сказать. Вообще, что за дела? Могли бы предложить виски... мужу-то... Только мне с содовой. (*Лезет в холодильник, видит пистолет.*) Так. Очень интересно. Это мне? Все понятно. Коварный план. Мало того что жену трахнул, еще и пистолет подложил. (*Достаёт не очень чистый носовой платок, берёт им пистолет, кладет в карман.*)

М. Отдай пистолетик-то.

М1. Пистолетик ему отдай. Фиг тебе, а не пистолетик. Это теперь вещественное доказательство. Шантажировал, это... пистолетом угрожал... под дулом пистолета заставил отдаться. Бывший президент сверхдержавы. Это года на два потянет.

М. Поднимай выше.

М1. Ты что думаешь, я твой срок считаю? Твой срок теперь считать не пересчитать, я считаю, насколько мне этой кампании хватит. Года на два скандалчик.

Ж. Перестань, Крон. Это все глупости. Пистолет действительно его, это подарок мне. Мы его туда положили для смеха. Я отдалась ему совершенно добровольно.

М1. Ты что? Ты вообще... понимаешь, что ты говоришь? Это... я не знаю... мы могли с него ты знаешь сколько иметь? Шантаж — раз; потом, если не выгорит шантаж, это же газетная кампания на два года мини-мум! Это мне была бы лучшая возможность вернуться в профессию, ты понимаешь, нет? Он

- бы у меня знаешь как плясал? Давай быстро бери свои слова обратно!
- М. Поздно! (*Достает из кармана диктофон, показывает издалека.*)
- М1 (*направляет на него пистолет*). Давай сюда!
- М. Через мой труп! Ну, стреляй, поросенок! А? Не можешь? Только и можешь бумагу пачкать... говнюк.
- Ж (*устало*). Правда, Крон, хватит. Я бы все-таки хотела, чтобы хоть изредка ты был не только профессионалом, но и мужчиной... немного. Если бы ты его застрелил сразу, это была бы гораздо более эффективная кампания. Лет на пять, я думаю. Тебя бы точно оправдали, а уж слава... слава! Я поменяла бы буфет. (*Усмехается.*)
- М1. Ты что... действительно хотела бы этого?!
- Ж. Ну а почему нет? Все-таки интересно. Я бы наконец поняла, что ты на что-то способен. В последние пять лет у нас с тобой так мало всего происходило... Главное событие — поездка в город, в китайский ресторан. Обалдеть! Не забывай, мне все-таки всего тридцать лет!
- М1. Ага. Все понятно, все понятно. Жажда приключений. Ты потому и дала ему?
- Ж. Откуда я знаю, почему я ему дала. Какая разница. Считай, что я дала ему из чувства справедливости. Все-таки мы с тобой именно на нем сделали... (*Обводит кухню рукой.*) ...все это. Если бы не он, не было бы ни твоей серии в Daily Shit, ни моей книжки, ни Европы...
- М1 (*ехидно*). Европы бы уж точно не было.
- Ж (*не обращая внимания*). Должен же он был получить хоть что-то от нас... взамен разбитой жизни.
- М (*озадачен*). Э! Минутку, минутку! «От вас»... Вы что же, хотите сказать, что это я вам обоим был обязан... всей этой историей пятилетней давности? Вы что, действовали в сговоре?
- Ж (*еще более устало*). Бог мой, ну нельзя же быть таким тупым! С этой неискоренимой наивностью, с этим

шестидесятничеством еще управлять сверхдержавой! Нормальный человек сразу бы все понял, Боб. Я любила Крона. С первого класса. По крайней мере, я его любила тогда. Пока не стала с ним жить. Ему надо было раскручиваться. Он и раскрутился.

М (*третье лицо*). Но, но! Нельзя же так сразу. Я понимаю, темп, ритм действия... все такое... Сегодняшний зритель не может себе позволить психологических рассоливаний... ему надо сразу: хряп! хряп! Но все-таки, еще раз: ты соблазняла меня по его просьбе?

Ж. Ну подумай, Боб, тут же нет ничего страшного, в конце-то концов. Ты что, не помогал Барбаре? Ты что, не раскручивал ее законодательные инициативы? Все ее идиотские благотворительные фонды, весь этот medical care... Когда один супруг... или возлюбленный, скажем так... помогает другому, — это же в порядке вещей, Боббик! Мы любим друг друга, а ему надо раскрутиться, — да? Что я делаю? Я в администрации президента, пусть на двадцать пятых ролях, но все-таки. Он молодой, авантюрный, он многое может, но ему не дают пробиться. Нужен мощный стартовый капитал. Толчок нужен, понимаешь? И тогда я... (*Раздельно, как ребенку.*) Попадаюсь тебе. Соблазняю тебя. Рассказываю ему. И мы становимся звездами. Кстати, знаешь, от кого я тогда пришла к тебе в Хьюстоне? Знаешь, как он приводил меня в нужное настроение? «Настоящий аппил, Дженни, — говорил он, и я, кстати, вполне согласна, — исходит от женщины, которая только что. И кроме того, говорил он, я хочу тебя безумно. А у меня было только пять минут, я должна была идти к тебе — и мы, не раздеваясь... Сзади, как сейчас помню... Вот почему я была такая растрепанная, так плохо покрашенная. Мне же пришлось приводить себя в порядок за двадцать секунд. Добежать из своего номера, где был Крон, в твой, где ты отдыхал после выступления... Помню, мне было

очень забавно, что вы оба... отдыхаете. Скажи, Боб, ты никогда не кончал во время речей? У тебя так пылко получалось...

М. Да, сильно. Очень сильно. Вы только об одном не подумали.

Ж. О чем, интересно? О твоём разбитом сердце?

М. Нет, нет...

Ж. А о чем же?

М. Да погоди ты, не гони! Сейчас придумаю. А, вот. Вы не подумали о Кеннете Суперстаре. О прокуроре, который вывел меня на чистую воду.

Ж. Ну? И о чем же мы применительно к нему не подумали?

М. О том, что Кеннет Суперстар все-таки по-настоящему любил мою жену. Понимаешь? Мою жену. И уважал ее несчастного мужа, обманутого всеми президента Соединенных Штатов. Вот почему, Александр Кронштейн, тебя вышибли из Daily Shit и возникло то самое дело с наркотиками.

М1 (с ненавистью). Так это твоих рук дело?

М (с усмешкой). Ну... не знаю, рук ли... и даже моих ли... Кеннет Суперстар не мог тебе простить, что ты вывалял в грязи институт президентства. Видишь ли, у вас с ним были все-таки разные задачи. Он меня ловил на том, что я солгал под присягой, а ты — на том, что я трахнул Дженни сигарой. Согласись, что это разные вещи, да?

М1. То есть, то есть, то есть! Так это он мне, значит... тот пакетик с марихуаной!

Ж. Любопытно, да... У тебя всегда были такие ходы — примитивные, но действенные. Всю первую кампанию на этом провел...

М. А я при чем? Это был его ход, чисто его, я узнал только по случаю... благодаря все тому же охраннику... И потом, почерк. Я же знаю почерк. Кеннет Суперстар никогда не подложил бы вещественных доказательств мне, потому что, хорош я или плох, я все же президент Соединенных Штатов. Великая держава и все прочее. Кеннет Суперстар не стал бы заляпывать моей спермой твоё платье,

хотя бы это и оказалось технически исполнимо. Но фитюльке, тряпке, шелкоперу, бумагомараке подложить пакетик марихуаны — это совершенно по-американски, Дженни! Это нормальный ход! Человек подрывает нам тут институт президентства, а сам курит траву. И, накурившись этой травы, катает грязные пасквили на первое лицо. А ведь ты куришь ее, Крон, я-то знаю, мне тут же принесли на тебя все, что было. И если бы я это опубликовал — кто поверил бы в твои грошовые статейки? Но я решил: нет. Не имею права. Знаешь, чем я отличался от вас всех? Я играл по правилам. Хорошо, плохо — не важно: важно, что по правилам. А для вас правил не было с самого начала, поэтому-то я и проигрывал всегда. Это же так просто, понимаешь?

Ж. Да. Это просто. Все правила — ложь, лицемерие, которыми вы защищаете собственную слабость. По вашим правилам женщина должна стоять у плиты, мужчины курят после барбекю и говорят о футболе...

М. О соккере.

Ж. Ну, пусть о соккере, черт с тобой... А журналисты обязаны пользоваться только вашими источниками. Я все понимаю, Боб. Я за то и любила Крона, что он не играл по этим правилам.

М. Э, э! Не зарывайся, Дженни, не зарывайся! Не надо мне тут, пожалуйста, оборачивать против меня мою же пропаганду. Не я ли в первую кампанию изо всех сил доказывал, что старые нормы отжили свое? Что мир нуждается в новых, более либеральных законах? Долиберальничался, старый идиот. Это теперь я понимаю, что ни от кого ничего не зависит, что это Богу было угодно несколько подзакрутить гайки, а чтобы их подзакрутить, нужно было сначала облагать либерализм на глазах у всех. Тут я и сгодился. Ты понимаешь, я надеюсь, что никто из нас не играет в мире никакой роли? То есть играть-то играет, да текст давно написан?! (В зал.) Вы что, думаете, мы от себя все это

говорим? Я, он, она? Ни хрена подобного, это пьеса, и плохая пьеса. Но она уже написана, и от нас зависит только выбор ролей. А сюжет состоит из непрерывного закручивания гаек, потому что конструкция все больше ветшает и разбалтывается. Но вот ведь какая штука — чтобы их закрутить, надо периодически их отпускать. Кое-что разрешать, кое на что смотреть сквозь пальцы... Я только для того и был нужен, чтобы немножко отпустить тормоза. А ты, Дженни, — не обольщайся, пожалуйста! — была нужна на свете только для того, чтобы нация полюбила консерватора. А меня пожалела, по-матерински пожалела, но списала в архив! Понимаешь теперь? Если бы не было тебя, они придумали бы что-нибудь другое. Нельзя же, понимаешь, так просто взять и разлюбить либералов. Написали бы, что у меня на ногах грибок, что я вытащил во власть всех ребят из родного Арканзаса...

М1. Теннесси.

М. Ну Теннесси, хрен с вами совсем... Что вы так цепляетесь за эти реалии, зритель давно следит за действием.

Ж (*лениво*). Вот действие и давай. А то размышления все эти... о роли личности в истории... Дорвался до книжек на старости лет, вот и самовыражается... Напиши книжку, издай, может, кто и купит. А нам действие давай. У тебя нет еще одного пистолета?

М. Нет. Я думал, на тебя и одного много.

М1. Вот в этом и была твоя беда, понимаешь? Не надо тут молотить про либеральные ценности. Не надо. Все теперь молотят про либеральные ценности, как что — либеральные ценности, другой темы вам не осталось. Нудят, нудят... Ты и речи свои занудные так же строил. Мысли на копейку, разговоров на три часа. Сладкоречивый Боб. У нас в Shit, бывало, как тебя понесет, все извращаются: давайте выпишем из его речи все глаголы, может, смысл выплывет? Пожалуйста, выписываем: хотим, можем, должны, будем, приложим...

Ж. Ты забыл «обустроим». Это был наш фирменный глагол. Когда он забывал, я его специально вписывала во все речи. Такой хороший глагол, уютный. Будто у нас не страна, а один большой курятник. И в нем один большой... как это... куровод. Трепло фиговое.

М (*после паузы*). Слушай, Дженни, я так и не понял за все это время одного, но главного. За чем я, собственно, сюда и приехал. Ты меня любишь?

М1. Это сильно, да. Это сильно. Не можем взять действом — переводим в мелодраму. Это да, это конечно...

М (*серьезно*). погоди, Крон, а? Можно она сама скажет?

Ж. А я не знаю, Боб. Честно, не знаю. Я ведь была уверена, что ты рано или поздно приедешь. Найдешь. Ты действительно всегда доводил все до конца, педант, хороший мальчик. И вот тогда, думала я, я наконец пойму. Увижу тебя без ауры власти, такого, какой ты есть. Ты меня трахнешь, как надо. Я тебе дам, как надо. Без этой постоянной оглядки. И даже под музыку. И тогда я, трах-тарарах, пойму, чувствую я к тебе что-нибудь или нет, или мне просто интересно посмотреть, как это президент Соединенных Штатов начинает сопеть и выпучивать глаза. Но ведь смотреть, как ты, допустим, тужишься в сортире, мне совсем не было бы интересно. Не противно, а просто неинтересно. А как ты меня будешь валять — это меня очень занимало, не скрою, но я и сама не знаю, какого сорта было это любопытство. Иногда я тебя любила, безусловно. То есть мне казалось, что я тебя любила. А после всей этой истории — даже сильней, честно. Иногда. Подумаешь, и жалко. А Крон вдобавок оказался такой скучный... как и все люди без правил... Вот парадокс, которого мне, умной девочке, за тридцать лет никто так и не объяснил: ну ладно, ты без правил, ты без башни, ты террорист Иван Помидоров, взрываешь города, публикуешь компромат, не признаешь авторитетов, ходишь дома хрен тебя знает

в чем... Но почему ж ты такой скучный, вот я о чем думаю?! Потому что этот... (Указывает на Боба.) И правильный, и нудный, и такой-сякой, но вот он может выкинуть иногда фортель, и даже сказать ласковое слово, и что-то такое выдать-сбацать... А ты — никогда и ничего. Вот мы тут сейчас жуем мочалку все второе действие, и вдруг он просто так спрашивает: ты — любишь — меня? А я понятия не имею, но в этом есть психологический интерес. Меняются условия игры, перспектива какая-то сразу... Ты ужасно скучный, Крон, и поэтому всегда проигрываешь. Вот мы его свалили, а что мы выиграли? Тоска ужасная...

М1. Что да, то да. Ты как заведешь, сразу тоска. Я ее представляю физически: зеленая такая.

М. Так ты мне и не ответила, Дженни.

Ж. Да откуда я знаю, правда, Боб? Ты видел, чтобы кто-нибудь кого-нибудь любил? Это такая штука... действительно Бог с чертом сходится. Вроде и трахаешься, просто трахаешься, для спорта, а сама замечаешь, как и любишь. Вроде и любишь, а при этом все время как бы и скучаешь. И как бы ни любила, все равно замечаешь: вот запах изо рта, а вот сказал глупость... Ну не бывает так, чтобы ничто не отвратило или чтобы было что-то такое огромное, огромное... и все перевешивало. (Внезапно смеется.) Ой, не могу.

М. Чего ты?

Ж. Да карикатуру вспомнила... ой, батюшки. Кошунство ужасное. Пусть меня простит мой еврейский Бог. Ну, короче, там босс секретаршу трахает — совсем как ты меня, но не сигарой, а по-настоящему. Засунул ей сзади и глаза закрыл от наслаждения. А она смотрит в окно, как прямо в нее самолет летит, и кричит: «Боже, какой он огромный!» Правда классно?

М1. Наш Боб сразу закрыл бы газету за такое кошунство, правда, Боб? Наш Боббик самых честных прайвил...

М. Много я их закрывал, газет-то. Да, Крон?

Ж. Ладно, мальчики, не ссорьтесь. Я про что говорю-то: так не бывает, чтобы любишь и знаешь, что любишь. Иногда мучаешь и любишь, иногда ненавидишь и любишь, иногда все это делаешь и только убеждаешь себя, что любишь... Кого я вообще любила? Я папу очень любила. *(Долго сдерживается, плачет.)*

М1. Так, это уже пошел другой жанр, но мне это путешествие надоело, давайте вернемся к первоначальной комедии положений с легким привкусом психологического театра. Я ведь с рецензий начинал, Боб, веришь, нет? Мочил, что твой Минкин. Виктук мне руку жал, и это самое...

М. Что это самое он тебе жал?

М1. Вот! Вот это да, это я понимаю, это реприза, это реплика, очень хорошо. Вот в таком же духе. А то пошли эти излияния, эти изыскания, у вас сначала было гораздо интереснее. В первом акте, простите за невольный каламбур.

Ж. Значит, подсматривал?

М1. «Эхо Москвы» подслушивает, ТВ-6 подглядывает, почему стыдно, ничего не стыдно, в порядке вещей. Значит, действие у нас когда стало провисать? Когда я узнал про марихуану. Тут у вас опять пошли ваши занудные разборки. Значит, давай: почему Кеннет Суперстар это мне подложил?

М. Потому что ты оскорбил институт президентства.

М1. Вот и ни фига подобного, класть ему на институт президентства с большим прибором, смех в зале, не слышу смеха. Смеха не слышу! Вот, нормально. Значит, идея в чем: я знаю всю правду про Кеннета Суперстара. Тогда, в Хьюстоне, он от тебя только что вышел. И у вас было.

М. Слушай, это уже пошел Виктук.

М1. Какой Виктук, ничего не Виктук, я американский журналист, не знаю никакого Виктюка. Просто Кеннет Суперстар — это женщина, нормальная женщина, но он трансвестит. Он сделал операцию по перемене пола. Или нет, давай лучше он

ее не делал. Он просто переодетый, как папесса Иоанна, как Виола, как этот еще тип у Пикуля, ну не помню, «Пером и шпагой». Он мужик, но он баба, вот, и он всегда тебя любил, и поступил со своей любовью как положено — убил ее и надругался, но потом отомстил всему миру. Он тебя любил всю жизнь, понимаешь, нет? А потом, когда так тебя обгадил, не смог себе этого простить и хотел отравить себя ядом, но у него куражу не хватило, кишка оказалась тонкая у него, понял, нет? И он тогда меня, это самое, с марихуаной. Вот как я все придумал. Как тебе такой поворот, ты вообще чувствуешь, нет?

Ж. Скучно. Скучно все это, Крон, ужасно скучно. Да и вообще. Три часа уже. Все, поиграли.

М1. Какое поиграли, ничего не поиграли, я вообще, можно сказать, только появился, у нас двадцать минут еще...

Ж. Ну хорошо. Тогда я переодетая мужчина.

М1. Как мужчина?

М. Как мужчина?

Ж. Ну так, мужчина, мадам Баттерфляй, не знаю. Всегда была мужчина, и ум такой у меня мужской, и ноги волосатые, во. *(Показывает ноги.)* Если б я не эпилировала, ты бы давно заметил. Как тебе такой ход? На сколько это потянет?

М1. Ни на сколько не потянет, чушь собачья.

Ж. Ну вот видишь? Все, схема исчерпана, на будущий год другую придумаем. Самое обидное, что так ничего и не решили.

М *(неожиданно серьезно)*. Ну, а что тут можно решить, девочка? Что тут можно решить, и кто может решать, кроме тебя?

Ж. Да ну помогите же мне уже как-нибудь! Четвертый год маемся этой фигней, я не могу уже, честное слово...

М1 *(так же серьезно)*. Если не можешь выбрать из двух, найди третьего.

Ж *(взрываясь)*. Где?! Кого?! Какого третьего я себе найду, кретин? Мальчика сниму? На девочек перебро-

шусь? Все связано с двумя идиотами, все на них повернуто, сплю с одним — думаю про другого, приходит другой — жалею первого... Какой к дьяволу третий? Ты представь: будет какой-нибудь новый, он нормальный, хороший человек. Он любви хочет, большой и чистой. И получает меня, которая любила одного, встретила другого и теперь всю жизнь так разрывается, и врозь не может, и вместе не может... Господи, если бы хоть вместе жить, так ведь нельзя вместе! Все пробовали, все невыносимо. Теперь игрушки эти... блин...

М. Но ты же сама хотела игрушки. Вспомни, мы с тобой все время во что-нибудь играли. То ты была Мария-Антуанетта, а я Людовик. То еще что-нибудь...

М1. И мы играли! Ты жене можешь иначе, Женька, что ты нас-то винишь? У нас, конечно, было без Людовигов, у нас было попроще — но свое отыграли, и очень прилично. Я даже один раз был Елизавета. Нет, серьезно!

М. А она что, Мария Стюарт?

М1 (*с застенчивой улыбкой*). Нет, что ты, она была Глостер...

М. Какой Глостер?

М1. Да не знаю, ты у нас историк, а не я. Черт ногу сломит, там этих Глостеров было больше, чем Людовигов. Короче, было так: я, значит, девственница-королева, но она ужасно влюблена и все дела, и она мне показывает все мужские приемы обольщения. Чтобы я, значит, узнал себя и устыдился. А потом все-таки она овладела мной, конечно, ей же иначе неинтересно, — но прелюдия должна быть долгая и обязательно литературная. Да, я главное забыл — мы же все это время разговаривали пятистопным ямбом! Ты прикинь, всю дорогу ямбом. Потом привязалось, я уж иначе и не мог: «Любимая, ты вынесла ведро?»

Ж. Не вынесла, не вынесла, любимый!
Я столько выносила от тебя —
Попреки, скуку, склоки, вероломство,

Аборт, еще аборт... Но не ведро!
Ты вынесешь и сам его, мой ангел!

М1. Заметь, не я сегодня это начал!
Я вообще тебя не попрекал!
Я даже не просил, а лишь спросил...
Хоть мог бы заглянуть: ведро на месте!
Ну вот, пойду и вынесу. Добавлю
К тому, что вынес, новую печаль...
Прикинь, Борис, и так четыре года!

Ж. И что, все эти годы ты томился?

М1. Нет, не вполне. Все это даже мило,
Но иногда... затрахиивает, блин.
Особенно еще визиты эти.
Ведь, кажется, решили – ан опять.
Борис, зачем ты ходишь к нам, скажи?
Ведь все решили – и опять ты ходишь!
Как маятник, как лошади по кругу,
Как поршень, блин, в турбине, блин, вообще!
Ну что ты в ней особого нашел,
Ну что б тебе оставить нас в покое,
Ну что б тебе кого-нибудь найти
С такими ж волосатыми ногами!
Ведь каждый раз, как я иду на службу,
Я все боюсь, что ты шмыгнешь сюда!
Все кончено! Забудь про нас совсем!
Ну, посылай открытки с Новым годом,
Ну, улыбнись, коль встретимся в метро,
Но не ходи к своей жене, несчастный!
Она уже давно моя жена!
Мы счастливы! Ты это понимаешь?

М. Вижу я, как вы счастливы...

М1. Нет, ты уж отвечай мне тоже ямбом,
Иначе силы будут неравны!
Она тебя не любит, понимаешь?
Когда мужчина спрашивает вслух:
«Ты любишь или нет», а в результате
Не получает ясного ответа,
То ясно, что его послали в жопу!

Послали в жопу, да! Иди туда!
И не смущай нас больше, словно призрак
Какого-то сякого-то отца!

Ж. снова всхлипывает.

М1. Ой, извини. Про отца я нечаянно.

М. Слушай, Жень... Может, мне действительно больше не ходить? А то я это... ну, сама видишь...

Ж. Крон, не сердись на него. Я сама его позвала.

М1. Слушай, но тебе что — действительно все время со мной скучно?

Ж. Да не скучно... но просто, понимаешь... А черт его знает, зачем я его позвала. Ведь не сказать же, что я его безумно люблю, верно? Ты и в постели лучше, если тут вообще применимы критерии. Хуже-лучше, какая гадость... Ну, назови это любовью, если тебе так больнее. Но это не любовь, правда, Крон. Я просто должна иногда его видеть, с ним в это играть... ну и вообще... Мне, кстати, понравилось в этот раз. Серьезно, Борька. Я никогда не знаю, что ты придумашь.

М. Очень рад, что угодил тебе.

Ж. Нет, правда, не сердись.

М. Да ладно, чего там. Сердиться еще. Но просто каждый раз, как ты меня зовешь, я же надеяться начинаю, понимаешь? Я что-то такое придумываю, что-то такое разыгрываю... каждый раз все более серьезное, вот, видишь, до пистолетика уже дошло. Кстати, отдайте пистолетик.

М1. Ну нет, я из вас тут самый трезвый, пистолетик будет разобран на части и выброшен в мусоропровод.

М. Отдай, мне его возвращать.

М1. Какой пистолетик, ничего не знаю, еще стреляться надумашь, нет уж, давай лучше вешайся.

М. Да вот еще. Нет, ничего же еще не кончилось. Я так чувствую, все это надолго... лет на пять по крайней мере. Жанр такой. Менаж а труа. А что вы думаете, бывает, редко, но бывает. Воту Маяковского с Лилей, она не может без Оси, а Володя не может без нее. Или еще, были примеры, я просто сейчас

не вспомню. Любовь — это же не всегда так, что бац — и влюбился, все, навек. Это действительно такая штука, что тут тебе и Бог, и дьявол, и иногда получается только мучение, а иногда только втроем. Вот, дамы и господа, есть такая женщина удивительная, она даже не красавица, хотя привлекательна, конечно, по-своему. Ей нравится все время играть, она только в это время и живет. Играть по-настоящему в ее жизни умел только один мужчина. Но потом она, видите ли, полюбила другого, тоже неглупого малого, но без всякой игры. Полюбила просто, по-бабски, несколько даже поблядски, и вот она между ними разрывается — ни тебе полноценной семьи, ни тебе полновесного извращения. Иногда ей бывает скучно, она зовет свою прежнюю пассию, и он с ней опять играет. А потом приходит муж, и начинается срывание всех и всяческих масок. Причем что интересно — она очень, очень хотела бы жить нормальной жизнью, но вот не может, потому что рутина ей претит. А вместе с тем ее первый муж совершенно ей не годится, потому что в их отношениях она чувствует фальшь, нельзя же все время удерживать такую планку... Он для нее умен, он для нее слишком немножко ветреник, вообще он какой-то на всю голову неправильный. И если бы он знал, что это так кончится, он бы, конечно, вообще не стал с ней знакомиться, он ее оставил бы в покое и дал ей встретить хорошего человека. Только тогда ей никогда не было бы так интересно, но, с другой стороны, оно, может быть, и на фиг не надо, чтобы было интересно...

М1. Стоп, стоп. Это уже пошла интерпретация.

Ж. Нет, ничего, пусть он говорит. Хотя вообще-то, по моему, это не совсем так... то есть я играла как бы не совсем то. Мне казалось, что она какая? Она такая девочка-ищет-отца, знаете, есть такой тип? Она такая...

М. Меньше «таких», это уже пошел Гришковец. И «как бы» тоже меньше.

Ж (*с вызовом, нагло*). И вот она как бы такая... Мне чихать, что это Гришковец, понятно?! Мне вообще чихать, было это где-то или нет! Выйди уже из роли, хватит этого постмодерна, он сдох давно, ваш постмодерн! Она от тебя потому и сбежала, что ты все время цитировал! (*В зал.*) Значит, так: она мне представлялась такой... ну, как бы такой... отец рано погиб, может, действительно застрелился, она с комплексами, она кончает только в таких вот экстремальных ситуациях, и эти двое ей их все время создают. То есть ей хорошо, только когда она двоих сталкивает лбами, понимаете? Или когда один ее домогается, или когда другой оказывается полной сволочью, но, в общем, нормальные отношения ее не устраивают категорически. Поэтому она все время придумывает себе всякие такие штуки. И они вынужденно подыгрывают, потому что, в общем, иначе она не будет вообще ничья. Не чья-то еще, а вообще ничья — это вот самое страшное. Страшно ведь не когда женщина уходит к другому, а когда она уходит в никуда. Из «никуда» уже совершенно не возвращаются.

М1. Понятно. То есть Борька думал, что он главный, а ты играла, как будто ты главная.

Ж. Ну а как иначе, Крон? Как иначе играть роль, если ты не уверен, что она главная?

М. Можно, я это запишу? Пригодится. Вдруг нам еще когда-нибудь придется вот так...

М1. Придется как? Ты серьезно полагаешь, что мы еще одну замену так выдержим?

Ж. Подождите, подождите, надо им сказать. (*В зал.*) Господа!

М (*неправляет*). Дамы и господа!

Ж. Дамы и господа! Как вы видели по афише, у нас сегодня предполагался совершенно другой спектакль. Но вышло так, что по Москве ходит грипп, и пятерых скосило. В наличии только трое, а отменять спектакль по нашим временам — это знаете что такое? Это ничего хорошего, поверьте мне

без калькуляции. Пьеса новая, современная, никто не читал. Мы срочно собрались и решили: давайте играть, ну его к черту. Вот он... (Показывает на М1.) ...вообще режиссер, он впервые на сцену вышел в этом качестве. Поэтому, возможно, был не очень убедителен.

М1. Но Виктюк мне правда руку жал. Он мой диплом видел и тогда пожал.

Ж. Сегодня он бы всего тебя пожал, так ты эффектно вылез. И мы, короче, решили: импровизируем по полной на темы Клинтона и Моника. В антракте подумали — а что дальше? Вроде вы сидите, никто не уходит, надо как-то спасти положение. Ладно, давайте в конце бомбу. Как будто это все не Клинтон и не Моника, а реальные такие люди, у них любовь, семья, но вот девушка плохая и никак не может выбрать из двух. Хотя какая она, в жопу, девушка, когда ей тридцать лет. Ну, мне чуть поменьше, но по сюжету там тридцать. И вот, короче, мы решили, что в конце оказывается: это они так играют, чтобы она выбрала наконец. Но нам совершенно непонятно, как тут выбирать. В принципе можно решить простым голосованием, но это было бы нечестно, потому что Борька профессиональный артист, а Крон вообще режиссер и у него харизмы мало. Но такие вещи разве можно решать простым голосованием? Я вот, если честно, сама для себя не понимаю, к кому из них я должна уйти. Так что получается типа открытый финал. Мы все так уже загадили свою любовь, что это нас привязало друг к другу крепче любого каната, потому что общее преступление связывает больше, чем страсть. И так далее. А на самом деле никто никого не любит, так что это, видимо, навсегда.

М. Неправда. Я тебя люблю.

Ж. Борь, ну серьезно, выйди уже из роли, а? Мы прощаемся с публикой, спасибо большое за внимание, приходите к нам еще, когда эпидемия кончится.

М. Нет, так нельзя! Так нельзя, я тебе говорю! Я всегда ненавидел открытые финалы, это ложь, это авторское признание своей слабости! Мы что, не можем придумать разрешения конфликта?

М1. А в жизни ты всегда можешь его придумать?

М. Как правило.

М1. Ну вот, придумай: я не люблю Женьку, ты не любишь Женьку, а Женька не любит никого. Что тут можно сделать?

Ж. Никто никого не любит!

М. Никто никого не любит!

Ж. И если вы сегодня пришли сюда с девушкой, а она вас не любит, то вы не огорчайтесь, потому что никто никого не любит!

М. И если вас не любит начальник, то это тоже не повод для грусти, потому что никто никого не любит!

М1. Люди по тысяче раз на дню предают друг друга, врут, терпят из милости, несут полную ерунду, но это нормально, они обычные, хорошие люди, и не надо с них спрашивать слишком много! Потому что никто никого не любит!

М. Скажите, вы чувствуете катарсис?

Ж. Мы вас утешили?

М1. И если вам сейчас кажется, что вы влюблены и любимы, то и прекрасно, и оставайтесь при этой иллюзии, но не огорчайтесь, когда она рухнет!

Ж. Потому что никто! Никого! Не любит!

М. Музыка! Музыка!

Включает магнитофон. Звучит «Тум, балалайка».
Общий танец.

СОДЕРЖАНИЕ

РАССКАЗЫ

- Синдром Черныша 7
Христос 20
Прощай, кукушка 33
Маршрут 46
Киллер 58
Экзорцист 76
Обходчик 92
Проводник 104
Миледи 118
Девочка со спичками
даёт прикурить 131
Предмет 140
Подлинная история
Маатской обители 153
Лето в городе 174
Мужской вагон 181
Битки «Толстовец» 193
Убийство в восточном
экспрессе 204
Работа над ошибками 217
Можарово 229
Отпуск 242
Ангарская история 254
Чудь 265
Инструкция 277
Другая опера 287

ПЬЕСЫ

- Сцены конца века 301
Медведь 339
Ставка 421
Хьюстон, или Никто
никого не любит 467

Литературно-художественное издание

Быков Дмитрий Львович
Синдром Черныша
РАССКАЗЫ, ПЬЕСЫ

Выпускающий редактор

Д.В.Савиных

Художественный редактор

Т.Н.Костерина

Технолог

С.С.Басипова

Оператор компьютерной верстки

А.Ю.Бирюков

Оператор компьютерной

верстки переплета

Е.В.Мелентьева

Корректор

Т.В.Мальшева

Подписано в печать 22.06.2012

Формат 84х108/32

Тираж 3000 экз.

Заказ № 4985.

ЗАО «ПРОЗАиК»

107078, г. Москва, ул. Новорязанская, д. 8А, стр. 3

Телефон: (495) 795-01-46

Электронная почта:

prozaic@prozaic.ru

По вопросам реализации обращаться:

Книжный Клуб 36.6

105082, г. Москва, ул. Бакунинская, д. 71, стр. 10

Телефон: (495) 926-45-44

Электронная почта:

club366@club366.ru

Информация в Интернете:

www.club366.ru

Отпечатано с готовых файлов заказчика

в ОАО «Первая Образцовая типография»,

филиал «Ульяновский Дом печати»

432980 г. Ульяновск, ул. Гончарова, д. 14



ISBN 978-5-91631-171-6



9 785916 311716